

Дальневосточный федеральный университет
Институт истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ**

Материалы международной конференции

Владивосток
Издательский дом Дальневосточного федерального университета
2012

УДК 572.027
ББК 28.7
П49

*Печатается по решению Ученого Совета
Школы гуманитарных наук ДВФУ
и Ученого совета Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН*

*Работа выполнена в рамках проекта ДВО РАН
«Становление ранней государственности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (№ 12-III-A-11-216)
и проекта Министерства образования и науки РФ
«Исторический опыт взаимодействия культур и цивилизаций
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»*

Ответственный редактор
член-корреспондент РАН Н.Н. Крадин

**Политическая антропология традиционных и современных об-
ществ** : материалы международной конференции / [отв. ред. Н.Н. Кра-
дин]. – Владивосток : Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та,
2012. – 464 с.
ISBN 978-5-7444-2750-4

Представленные на проведенную во Владивостоке 16–17 апреля 2012 г. междуна-
родную конференцию доклады демонстрируют современное состояние та-
кой междисциплинарной специальности, как политическая антропология. Охва-
тывается широкий круг вопросов – от проблем теории и философии истории до
конкретных аспектов исследования институтов власти в первобытности, пробле-
матики возникновения государственности; изучения трансформации традицион-
ных политических институтов в процессе политической модернизации и антро-
пологических подходов к изучению современных политических процессов.

Предназначена для научных сотрудников, преподавателей и аспирантов
антропологических, исторических, политологических, регионоведческих, со-
циологических и юридических специальностей, а также всех интересующихся
теоретическими проблемами исторической науки.

УДК 572.027
ББК 28.7

© ДВФУ, 2012
© ИИАЭН ДВ ДВО РАН, 2012
© Издательский дом Дальневосточного
федерального университета,
оформление, 2012

ISBN 978-5-7444-2750-4

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛЬМЕКСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ*

В такой важной области антропологических исследований как политогенез данные из Нового Света всегда занимали очень важное место – это второй, наряду с Древним Востоком, регион спонтанного, «чистого» возникновения сложной социально-политической организации. Поэтому процессы, происходившие во II – I тыс. до н. э. и приведшие к становлению первых сложных обществ, подлежат тщательному изучению.

Традиционная схема происхождения цивилизации в Месоамерике в доклассический или формативный период (2000 г. до н. э. – 200 г. н. э.) связана с так называемой «ольмекской проблемой»¹. Культура ольмекков, сформировавшаяся на побережье Мексиканского залива, считалась «культурой-матерью», первой достигшей порога цивилизации, а затем распространившей «свет прогресса» в остальные регионы. Все другие общества получили название «ольмекоидных», возникших под влиянием «метрополии».

Археологические исследования в 1970–1980-е гг. существенно изменили старое понимание проблемы. Стало ясно, что сложные общества формировались параллельно в разных регионах Мезоамерики на общем культурном субстрате архаического периода. Модель «материнской культуры» стала рассматриваться как анахронизм². Как отмечает Майкл Лав, «лишенные привилегированного статуса самых сложных обществ, очага высокой культуры, социумы побере-

* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (госконтракт № 14.740.12.1356 «Эпиграфическое наследие доколумбовых культур Америки: новые подходы в изучении древних цивилизаций»).

¹ Основные этапы истории изучения ольмекков и обзор дискуссий по этой проблеме см.: Гуляев 1972. См. также учебное пособие А.В. Табарева (Табарев 2005).

² Детальную критику последних работ сторонников этой концепции см.: Flannery, Marcus 2000.

жья Мексиканского залива теперь кажутся лишь часть целой группы ранних сложных обществ, которые были объединены в единую сеть общим стилем, иконографией и символизмом» (Love 1991: 73).

Участники симпозиума “Региональные перспективы в ольмекской проблеме” в 1983 г. предложили использовать термин “ольмекки” только в узком значении: общество и археологическая культура, существовавшая на южном побережье Мексиканского залива во II – I тыс. до н. э. (Sharer, Grove 1989; Flannery, Marcus 1994: 385–390). Именно в этом значении он будет применяться в данной работе. Для периода 1150–850 гг. до н. э., когда во многих регионах Мезоамерики распространяются схожие иконографические мотивы, будет использоваться термин “Ранний горизонт”.

Начиная с 1960-х гг. доминирующей в изучении формативных мезоамериканских обществ стала концепция вожества. Первыми, кто применил ее в мезоамериканистике были Уильям Сандерс и Барбара Прайс, а также Кент Флэннери (Sanders, Price 1968; Flannery 1968).

Наиболее распространенная типология вожеств делит их по уровню иерархической сложности: простые, сложные и суперсложные, или, в терминологии Р. Карнейро, простые, компаундные и консолидированные (Крадин 1995: 24-25; Карнейро 2000: 91-94). Простое вожество состоит из центрального поселения – резиденции вождя – и подвластных деревень. Сложное вожество объединяет под властью верховного вождя несколько простых, сохраняющих своих лидеров. Таким образом, сложное вожество имеет трехуровневую иерархию поселений. В суперсложных вожествах верховный вождь смещал правителей завоеванных областей и сажал на их место лиц по своему усмотрению, как правило своих родичей.

В современной науке существует два основных направления в изучении вожеств (Beliaev, Bondarenko, Korotaev 2001). Первое восходит к Э. Сервису, введшему это понятие в широкий научный оборот. Сервис делал акцент на ранговой природе вожества (Service 1962; 1975). М. Фрид считал термин “ранжированное общество” более точным, чем “вожество” (Fried 1967: 109-129). В таком плане основной характеристикой вожеств является социальная стратификация и связанные с ней феномены. Второе направление базируется на работах К. Оберга и Р. Карнейро и рассматривает вожества с точки зрения политической организации. Карнейро, основываясь на идеях Оберга, определяет вожество как “автономное политическое обра-

зование, объединяющее несколько деревень под постоянным контролем верховного вождя” (Carneiro 1981: 45). Критикуя первый подход, он отмечает, что ранги возникают как результат формирования иерархической политической структуры во главе с наследственными вождями (Carneiro 1998: 20). Принимая в целом точку зрения Карнейро, тем не менее, следует отметить, что поселенческая иерархия не является единственным археологическим индикатором вожеств. Необходимо комплексно рассматривать всю структуру поселенческой организации, включая микроуровень (отдельные комплексы внутри поселений) и мезоуровень (структура поселений целиком).

В археологии Нового Света одним из важнейших критериев формирования сложной социально-политической организации является монументальная архитектура. Один из классиков доколумбовой археологии Гордон Уилли в 1964 г. писал: “... несомненно, организация доколумбовых обществ значительно варьировалась во времени и пространстве, но появление площадей, храмов и других общественных построек в любой локальной или региональной мезоамериканской культурной последовательности является наиболее существенным моментом для того, чтобы постулировать начало изменений, которые вели от относительно недифференцированного к относительно высоко дифференцированному обществу” (Willey, Ekholm, Millon 1964: 489). Даже простые вожества Больших Антильских островов (Александров 1976: 148-160) оставили после себя ряд церемониальных памятников, таких как площадки для игры в мяч на Пуэрто-Рико и Кубе, а также найденная в Сан-Хуан-де-Магуана мощеная камнем площадка с вертикально установленным блоком (Там же: 62).

При этом, однако, следует принимать во внимание, что монументальные сооружения появляются достаточно рано и необязательно связаны с существованием надлокальной организации¹. Как правило, это святилища, строившиеся силами нескольких групп и служившие культовыми центрами прилегающей округи. В Америке хорошо известные примеры такого типа сооружений – это маунды домиссисипского времени на Юго-Востоке США.

¹ Критику связи моделей, непосредственно связывающих появление монументальных построек и формирование сложной социально-политической организации, см.: Березкин 1995а: 62–63; 1995б: 94–95; Крадин 1995: 40; Шедел 1995: 65; Шедел, Робинсон 2000: 157–158; Kaplan 1963.

Оптимальным в реконструкции вожеств является привлечение археологических материалов, характеризующих все стороны его социально-экономической, политической и идеологической организации. Классическим примером подобного исследования является статья К. Пиблза и С. Кус, посвященная Маундвиллю – одному из миссисиппских вожеств Юго-Востока США (Peebles, Kus 1977). Авторы использовали для характеристики общества Маундвилля следующие критерии: 1) различия в погребениях; 2) поселенческая организация; 3) характер ремесленного производства; 4) организация торговли.

Новые археологические проекты 1980-2000-х годов, проводившиеся в таких ольмекских центрах как Сан-Лоренсо, Ла-Венте, Трес-Сапотес, Лагуна-де-Лос-Серрос, а также в окружающих их поселениях обогатили мезоамериканистику богатейшим фактическим материалом, который потребовал нового осмысления (Cyphers 1994; 1997a; 1997b; Gonzalez Lauck 1994; Pool 2003; 2007; Pool et al. 2010; Symmonds, Lunagomez 1997; Symonds, Cyphers, Lunagomez 2002; Wendt 2005; 2010 и др.). Результатом стала последняя дискуссия по “ольмекской проблеме”, развернувшаяся на страницах журналов *Science*, *Latin American Antiquity* и *Proceedings of National Academy of Science* в 2005–2006 гг. (Blomster, Neff and Glascock 2005; Stoltman et al. 2005; Flannery et al. 2005; Neff et al. 2006a; Sharer et al. 2006; Neff et al. 2006b). К удивлению археологической общественности, она показала, что дискутирующие стороны настолько же далеки от взаимопонимания как и несколько десятилетий назад. Начавшись как обсуждение вопросов методики и техники анализа керамики, в которой Дж. Бломстер, Г. Нефф и М. Глазкок отстаивали преимущества метода нейтронной активации, в то время как Дж. Столтманн, Дж. Маркус, К. Флэннери и др. считали более релевантным петрографический анализ, она закончилась очередным разделением мезоамериканской археологии на два лагеря. В первом из них, продолжающем считать, что социальная эволюция в формативной Мезоамерике шла параллельными путями в различных регионах оказались К. Флэннери, Дж. Маркус, Р. Шэрер, Э. Балкански, Г. Фейнман, Д. Гроув, Т. Дуглас Прайс, Э. Редмонд, Ч. Спенсер, Дж. Йегер и др. Во второй вошли специалисты по нейтронному анализу Г. Нефф, М. Глазкок, Р. Бишоп, а также археологи Дж. Бломстер, Э. Сайферс, А. Джойс, С. Хаустон, М. Винтер, Дж. Каугилл, М. Ко, Р. Дил и др.

Несмотря на постоянные заверения последних, что они не намерены возвращаться к старой дихотомии “материнская культура” – “се-стринская культура”, заключительный раздел их последней статьи посвящен уже не керамике, а свидетельствам более высокого уровня социально-политического развития Сан-Лоренсо по сравнению с другими мезоамериканскими обществами. В заключении авторы заявляют, что “гипотеза, что Сан-Лоренсо во много раз больше и более сложно организован, чем Сан-Хосе-Моготе, может быть проверена. Если этот паттерн, основанный на последних работах Сайферс, выдержит дальнейшую проверку, это поставит под сомнение верность утверждений, что раннеформативная Мезоамерика была покрыта примерно равными вождествами” (Neff et al. 2006b: 116). Фактически это возрождение теории “первого государства Мезоамерики” на новом уровне, о чем прямо заявил американский археолог Дж. Кларк в одноименной статье (Clark 2007).

Колыбель ольмекской культуры – побережье Мексиканского залива (“Ольман”) – является составной частью более широкого ареала, обозначаемого как Юго-Восточная Мезоамерика, который включает территорию ряда современных мексиканских штатов (юг Веракруса, Табаско, Чиापас, Кампече, Юкатан, Кинтана-Роо), Гватемалу, Белиз, Гондурас и Сальвадор. В начале раннеформативного периода Мезоамерика была поделена между двумя большими культурными традициями: “горной”, распространенной в Центральной и Западной Мезоамерике, и “равнинной”, охватывавшей Юго-восточную Мезоамерику. Для первой характерны посуда красно-желтых тонов (кувшины, чаши и бутылки), а для второй – текомате (кувшины без горла) с двуцветным ангобом или с желобчатым или сетчатым орнаментом (Flannery, Marcus 1994; 2000: 8–9, 10–11; Marcus, Flannery 1996: 89).

Ольман представляет собой прибрежную равнину, разрезанную текущими меридионально реками Тонала, Коацакоалькос и Папалопан. Бассейн каждой из этих рек образует особый физико-географический регион, которые можно обозначить как Восточный Ольман, Центральный Ольман и Западный Ольман. Отдельно следует выделить горный массив Тустла, бывший очагом вулканической активности.

Первые следы обитания на побережье Мексиканского залива относятся к позднеархаическому времени (VI–IV тыс. до н.э.). Уже в конце VI тыс. до н.э. население низовий реки Тонала возделывало

кукурузу и маниок (Pope et al. 2001), а в конце III тыс. до н.э. возделывало подсолнечник (Lentz et al. 2001). В горах Тустла первые свидетельства присутствия пыльцы маиса и флоры, связанной с началом агрикультуры, датируются временем не позднее первой четверти III тыс. до н.э.¹, однако к концу III тыс. до н.э. свидетельства следы исчезают вплоть до VII в. до н.э. (Goman, Byrne 1998: 85–86). Однако вплоть до рубежа II–I тыс. до н.э. продукты земледелия не составляли большую часть диеты, наряду с ними активно использовались речные и морские ресурсы.

Непрерывная последовательность поселения прослеживается в восточной части ольмекского ареала, в районе Ла-Венты, начиная с конца IV тыс. до н.э. Первые поселенцы освоили экологические зоны речных эстуариев и создали комплексную экономику с использованием земледелия (маис, дававший три урожая в год, бобы, авокадо), морских и речных ресурсов. Первые поселения представляли собой небольшие деревни в орошаемых зонах. В раннеформативной последовательности выделяются несколько фаз: ранний Бари 1 (3100–2650 до н. э.), ранний Бари 2 (2650–2200 до н. э.), ранний Бари 3 (2200–1450 до н.э.) и поздний Бари (1450–1150 до н. э.) (Rust 1992; 2008). В конце фазы ранний Бари 3, начиная приблизительно с 1750 до н.э. население в районе Ла-Венты сокращается в связи с затоплением болот.

Напротив, в Центральном Ольмане, в долине реки Коацакоалькос этот период является временем бурного роста. В Сан-Лоренсо наиболее ранние слои относятся к фазам Охочи (1750–1550 до н. э.), Бахио (1550–1450/1400 до н. э.) и Чичаррас (1450/1400–1400/1300 до н. э.). Ранние раскопки Ко и Дила (Сое, Diehl 1981) определили керамическую хронологию, однако не дали достаточно материала для анализа социальной организации общества Сан-Лоренсо этого времени. Работы 1990-х гг., в особенности региональные обследования Р. Луна-гомеса, С. Саймондс и Дж. Борстейна позволяют сделать вывод, что формирования сложной социально-политической организации приходится на первую половину II тыс. до н.э.

Использование данных по поселенческой археологии района Сан-Лоренсо, охватывающего около 450 кв. км, осложняется спец-

¹ Калиброванная дата 2880 до н.э. из донных отложений лагуны Помпаль (Goman, Byrne 1998: 85).

ификой их публикации. Во-первых, в своей последней монографии Саймондс, Лунагомес и Сайферс не различают фазы Охочи, Бахио и Чичаррас, объединяя их в этап Охочи-Бахио (Symonds, Cyphers, Lunagomez 2002). Судя по всему, реконструируемая ими картина относится уже к середине II тыс. до н.э. (Бахио / Чичаррас).

Во-вторых, они подменяют иерархию поселений типологией. ЗадOCUMENTИРОВАННЫЕ 105 памятников они подразделяют на 5 типов: 1) изолированные земляные насыпи (islotos) – 54; 2) маленькие поселки – 22; 3) средние поселки – 19; 4) маленькие деревни – 9; 5) средняя деревня – 1. При этом никаких данных по площади и возможной численности населения первых двух типов, составляющих вместе почти три четверти памятников (76 из 105) нет (Ibid: 57, Tabla 4.4), поэтому их использования для анализа поселенческой иерархии невозможно. Из оставшихся 29 поселений верхний уровень занимает Сан-Лоренсо, площадь которого оценивается минимум в 20 га (а возможно и больше), а население – в 180 человек. Уже только численное соотношение маленьких деревень и средних поселков (9 и 19 соответственно) не дает оснований считать их двумя разными уровнями поселенческой иерархии. Анализ их пространственного распределения также не показывает концентрации средних поселков вокруг маленьких деревень. Общая численность населения в исследованном районе составляла по приблизительным оценкам около 1000 человек (Ibid: 56).

Таким образом, поселенческая иерархия вокруг Сан-Лоренсо к 1500–1400 гг. до н.э., по-видимому, состояла из двух уровней: 1) Сан-Лоренсо; 2) деревни и поселки. Изолированные земляные насыпи, в основном концентрирующиеся в непосредственной округе Сан-Лоренсо, очевидно, представляли собой остатки сезонно использовавшихся построек, возможно, связанных с эксплуатацией аллювиальных почв.

Аналогичная поселенческая система существовала на запад от Сан-Лоренсо, в долине реки Эль-Хулие. На заключительном этапе периода Охочи-Бахио-Чичаррас здесь существовало 6 поселений, группирующихся вокруг крупного памятника Эстеро-Рабон (Borstein 2001: 151-157). Часть поселений, видимо, находилась за пределами исследованной зоны. Площадь самого Эстеро-Рабона Дж. Борстейн оценивает в 50-60 га, что в три раза больше, чем Сан-Лоренсо (хотя

следует принимать во внимание, что площадь последнего в 20 га это минимальная оценка).

Хотя поселенческой иерархией свидетельства формирования надобщинных социально-политических структур пока ограничиваются, синхронность сложения двухуровневых территориально-политических образований в Центральном Ольмане и на тихоокеанском побережье Чьяпаса (культура мокайя), а также их последующая история позволяет говорить о них как о простых вождествах. Свидетельства ритуальной активности происходят из Эль-Манати – памятника, расположенного к востоку от Сан-Лоренсо. Это источник пресной воды, который на протяжении 600 лет (1700–1100 до н.э.) использовался как место принесения жертв. Найденные артефакты включали деревянные скульптуры, полированные топоры-кельты и бусины из жада, резиновые мячи, керамику (Ortiz, Rodriguez 1999). На этапе Манати А (около 1700–1500 до н.э.) приношения бросались в источник без какого-либо определенного порядка, формализация начинается с фазы Манати В (около 1500–1400 до н.э.). Другой культовый раннеольмекский памятник – Ла-Мерсед – также демонстрирует формализацию ритуала начиная с середины II тыс. до н.э. Несколько сот кельтов из серпентина были заложены начиная с 1510–1380 гг. до н.э. (Pool 2007: 97) Такое количество импортных объектов, принесенных в жертву одновременно, свидетельствует о начале концентрации ресурсов в руках элиты.

В Восточном Ольмане между 1450 и 1150 гг. до н. э. произошло сильное наводнение, нарушившее старую систему расселения, что, вероятно, привело к возвышению Ла-Венты (Rust, Sharer 1988). В то же время четких свидетельств сложения социального ранжирования и формирования надобщинных политических структур в районе Ла-Венты нет. Из четырех поселений размерами выделяются Исла-Алор и Сан-Андрес, однако раскопки домохозяйств в Исла-Алор не выявили ни престижной керамики, ни наличия импортных материалов (Rust 2008: 1416–1417).

С быстрой эволюцией первых ольмекских вождеств связан расцвет Сан-Лоренсо. На протяжении одноименной фазы (1400/1300 – 1000 до н.э.) он превратился в крупнейший центр во всей Мезоамерике. Именно материалы этого периода используются в качестве аргументов в дискуссии о характере социально-политической организации ольмекского общества.

Богатейшая материальная культура Сан-Лоренсо, включающая многочисленные изделия из привозных материалов (жад, ильменит, пирит, обсидиан и др.), изящная орнаментированная керамика и обширный корпус каменной скульптуры не оставляют сомнений в высоком уровне социальной сложности общества Сан-Лоренсо. Однако ключевые вопросы об уровне политической сложности остаются предметом дискуссии.

Одной из причин этой дискуссии является отмеченный выше специфический формат публикации поселенческих данных, что было отмечено как Ч. Спенсером и Э. Редмонд (Spencer, Redmond 2004), так и их оппонентом Дж. Кларком (Clark 2007). Приводимые С. Саймондс и Р. Лунагомесом данные по площади поселений не разбиты по временным периодам. Учитывая мощный постклассический компонент (фаза Вилья-Альта, 900-1100 гг. н.э.), который представлен даже шире, чем ольмекский, эти оценки затруднительно использовать для построения поселенческой иерархии.

Дж. Кларк предпринял попытку откалибровать данные Саймондс и Лунагомеса и определить площадь раннеформативных компонентов в многокомпонентных памятниках. На этом основании он выделил три административных уровня над локальными деревнями и общинами (Clark 2007: 17-19, 44-46). Однако на составленной им гистограмме (Ibid: 19, Fig. 2.6) отмечается 5 пиков, которые должны были бы соответствовать 5 уровням поселенческой иерархии. Причиной такого распределения является включение Кларком 127 местонахождений, классифицированных как “изолированные земляные насыпи” и “маленькие поселки”, по которым, как и в случае с предыдущим периодом, данные о площади отсутствуют. Кроме того, некоторые поселения Кларк создал “аналитически” из расположенных недалеко друг от друга местонахождений.

Четыре поселенческих типа Саймондс и Лунагомеса (“изолированная земляная насыпь”, “маленький поселок”, “средний поселок” и “маленькая деревня”) Кларк объединил в одну категорию “малых местонахождений” (Ibid: 44). Между тем именно на них приходится три пика на его гистограмме. Если же считать их нерелевантными, пика остается всего два: Сан-Лоренсо и поселения второго и третьего уровня.

Более ранние публикации проекта Сан-Лоренсо давали основания реконструировать трехуровневую поселенческую иерархию. Первый

уровень представлен Сан-Лоренсо. Второй уровень – четыре поселения с террасами и площадью до 25 га (Symonds, Lunagomez 1997: 122-124), которые располагались на возвышенностях примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Третий уровень составляют многочисленные деревушки и изолированные домохозяйства (Ibid: Fig. 5.4). Однако в последующих публикациях размеры поселений второго уровня существенно увеличены: так, Лома-дель-Сапоте теперь оценивается в 400 га.

Второй ключевой аргумент сторонников теории ольмекской государственности – размеры Сан-Лоренсо. Его площадь определяется по-разному: 52,9 га (Marcus 1976: 85), 300 га (Cyphers 1994: 63) и даже 690 га (Cyphers 1997: 272). Последняя цифра особенно активно использовалась в дискуссии 2005-2006 гг. Однако в итоговой монографии Саймондс, Сайферс и Лунагомес дают цифру 500 га с приблизительным населением 3500-7500 человек (Symonds, Cyphers, Lunagomez 2002: 57, Tabla 4.4.). Серия шурфов, заложенных на периферии, подтвердила наличие раннеформативного культурного слоя в ассоциации с зафиксированным ранее подъемным материалом (Ibid: 66-68).

Однако более детальное знакомство с методикой исследования показывает, что площадь в 500 га, по-видимому, представляет собой искусственную конструкцию. Эта площадь образована тремя зонами: 1) центральный сектор (около 50 га, группы построек отстоят друг от друга на 25-50 м); 2) террасы по склонам плато (около 200 га, группы построек отстоят друг от друга на 100-150 м); 3) периферия (около 250 га, группы построек отстоят друг от друга на 200 м). В поселенческой археологии Оахаки и Центральной Мексики группы построек, отстоящие друг от друга более, чем на 100 м, считаются отдельными местонахождениями, соответственно для корректного сравнения ольмекских поселенческих данных с данными из горной Мезоамерики, площадь Сан-Лоренсо надо уменьшить вдвое. Однако даже в этом случае он остается крупнейшим известным раннеформативным центром в Мезоамерике.

Однако Сан-Лоренсо разительно отличается от более поздних мезоамериканских отсутствием монументальной архитектуры. Хотя на вершине плато располагался традиционный архитектурный комплекс из площади и искусственных земляных холмов, исследования показали, что они датируются среднеформативным временем (Сое, 12

Diehl 1980). В связи с этим была выдвинута гипотеза, что все плато представляло собой искусственную постройку, которая, по мнению Майкла Ко, имела форму “летающей птицы” (Coe 1968: 44; Diehl 1981: 75). Это широко распространившаяся идея была опровергнута раскопками 1990-х гг. Плато оказалось естественным, хотя его склоны действительно были модифицированы, чтобы создать многочисленные жилые террасы.

Все высокостатусные постройки, обнаруженные на городище в 1990-е гг., располагались на невысоких, не более 2 м, платформах. Самой важной из них был так называемый “Красный дворец”. Это было большое длинное здание со стенами из утрамбованной земли и из известняковых и песчаниковых плит. Под полом находился акведук из базальтовых желобов. Судя по анализу почв, крыша “дворца” была из пальмовых листьев. Центральной опорой для крыши служила базальтовая колонна (Cyphers 1997: 98-99). Другая важная постройка (D4-7), длиной 12 м и апсидальная в плане, стояла на платформе из глины размерами 75 на 50 м.

По-видимому, в раннеформативных мезоамериканских обществах существовали иные стили власти и иные идеологические модели, не связанные с воздвижением земляных или каменных платформ-насыпей. Д. Гроув отмечает сходство ольмекской архитектуры этого времени с центральной постройкой (Здание 6) Сан-Хосе-Моготе (Оахака) (Grove 1997: 77). Очень похоже выглядел и Маунд 6 в Пасо-де-ла-Амада (тихоокеанское побережье Чиапаса).

Вопрос о функции этих строений остается неясным. “Мужской дом” в Сан-Хосе-Моготе, представлял собой святилище на невысоком (около 40 см) основании, размерами 4 на 6 м (Marcus, Flannery 1996: 87). Маркус и Флэннери предполагают подобную же роль и для Маунда 6 в Пасо-де-ла-Амада, но по археологическим данным оно было резиденцией местного вождя (Lesure 2002).

Место монументальной архитектуры в общественной идеологии ольмеков играла монументальная скульптура. Обширный корпус Сан-Лоренсо включает 10 колоссальных голов из базальта, алтари/троны и несколько десятков различных антропоморфных и зооморфных изваяний. В меньших количествах монументы были обнаружены и в окружающих поселениях. Однако колоссальные головы встречаются только в Сан-Лоренсо, а в поселениях второго уровня находят лишь алтари/троны (например, в Потреро-Нуэво) и статуи сидящих

мужчин со знаками высокого статуса (ожерелья, серьги) в сложных головных уборах (Cyphers 1994: 65; Clark 1994: 266).

Колоссальные головы, очевидно, изображали верховных вождей. Их незначительное количество и концентрация в центральном поселении дополнительно свидетельствуют в пользу этого. Хотя головы не являются индивидуальными портретами, но они отличаются друг от друга. Кроме того, каждая голова имеет свой особый шлем. Известно, что в Мезоамерике головной убор служил основным показателем статуса человека. Более того, в классический период в головные уборы часто вписывались именные иероглифы царей и знати. Хотя у ольмеков письменности еще не было, но уже существовала сложная символическая иконографическая система (Joralemon 1971; Pohorilenko 1990; Reilly 1994). По аналогии с позднейшей традицией можно предположить, что символы на шлеме могут передавать имена и титулы вождей.

Как показал Д. Гроув, так называемые “алтари” в действительности представляли собой троны (Grove 1973). Трон, по-видимому, был символом власти вождя. Находки тронов в поселениях второго уровня, таким образом, говорят о существовании иерархии вождей. Дж. Портер продемонстрировал, что некоторые головы Сан-Лоренсо были высечены из тронов. Он полагает, что они использовались в рамках одного цикла: трон (использовался инаугурации) – голова (посмертный портрет?) (Porter 1990: 91-97).

Статуи сидящих мужчин, по мнению Дж. Кларка, изображают второстепенную элиту, не принадлежавшую к роду верховных вождей. Таким образом, распределение монументов отражает политическую иерархию.

Социальная стратификация в Сан-Лоренсо прослеживается по материалам домашней архитектуры. На вершине плато располагались большие жилища, в сооружении которых использовался камень, а на террасах по склонам – небольшие дома со стенами из глины и утрамбованной земли. Таким образом, можно говорить о выделении двух рангов – элиты и общинников. При этом общинники имели доступ к таким “престижным” материалам как резная и расписная керамика и обсидиан (Kruger 1999). По материалам других поселений отмечается, что в их домохозяйствах импортные материалы встречаются существенно реже, чем в Сан-Лоренсо (Wendt 2005; 2010).

Ремесло, в частности изготовление каменных орудий и керамики, практиковалось на домашнем уровне. Однако изготовление каменных скульптур происходило не на общинном уровне. Исследованные археологами мастерская по обработке базальта и по переделке монументов располагались недалеко от “Красного дворца” и были с ним связаны (Cuyfers 1997: 267). Очевидно, эта сфера контролировалась элитой.

Широкое распространение изящной орнаментированной керамики, связанной с Сан-Лоренсо как в Ольмане, так и за его пределами, стало основанием говорить о его экспансии. В некоторых случаях эти предположения базируются на довольно серьезных основаниях. Так Эстеро-Рабон, ранее являвшийся центром независимого вожества, позднее включается в орбиту власти Сан-Лоренсо. Об этом свидетельствует не только керамика, но и каменный трон, аналогичный найденным в поселениях второго ранга вокруг Сан-Лоренсо. Вокруг Эстеро-Рабон, выросшего, по оценкам Дж. Борстейна, до 140-160 га, располагались 7 поселений третьего уровня (Borstein 2001: 158-163).

Борстейн также предполагает, что Сан-Лоренсо осуществил колонизацию долины реки Сан-Хуан и основание Лагуна-де-лос-Серрос, расположенного в 60 км на северо-восток (Ibid: 167-171). Он основывается как на отсутствии в районе Лагуна-де-лос-Серрос существенного населения в предшествующее время, так и на близости керамики. Раскопки расположенного в 7 км поселения Льяно-де-Хикаро выявили следы специализированной мастерской по первичной обработке монументов из базальта, добывавшегося на горе Серро-Синтепек. С. Гиллеспи полагает, что элита Лагуна-де-Лос-Серрос частично контролировала базальтовые каменоломни и распространение камня по всему ольмекскому региону (Gillespie 1996), в то время как Дж. Борстейн напрямую связывает основание Лагуна-де-лос-Серрос с заинтересованностью правителей Сан-Лоренсо в добыче базальта.

Быстрый рост как самого центра (до 300 га), так и поселений вокруг него (с 10 до 47) свидетельствует о формировании в фазу Сан-Лоренсо Б нового политического объединения со столицей в Лагуна-де-Лос-Серрос. Центр окружали несколько меньших по размерам поселений с одной или двумя скульптурами: Куаутотолпан, Ла-Исла, Лос-Мангос. Э. Сайферс предполагает, что оно было независимым от Сан-Лоренсо и объясняет распространение традиции переделки тронов в каменные головы ограничением поставок базаль-

та с Серро-Синтепек (цит. в Borstein 2001: 186-188). К этому мнению присоединяется и Дж. Кларк (Clark 2007: 24).

Другим примером экспансии Сан-Лоренсо считаются социально-политические изменения в Масатане в начале фазы Куадрос (около 1300 до н.э.), приведшие к объединению простых вождеств мокаяя в одно сложное. Они сопровождались распространением панмезоамериканских мотивов на керамике, что Дж. Кларк и Г. Лоу объясняют ольмекским завоеванием. После раскопок на памятнике Кантон-Корралито, где было обнаружено большое количество керамики и статуэток ольмекского стиля, ряд археологов стали говорить, что это была первая колония в Мезоамерике, основанная ольмеками из Сан-Лоренсо для управления завоеванной провинцией (Cheetham Clark 2007: 20-24). Однако никаких свидетельств разрушений или пожаров не обнаружено, а такой довод как падение количества обсидиана (он якобы отправлялся в “метрополию”) можно объяснить и другими причинами (перенос торговых путей, конфликт с майяскими группами, взявшими под контроль месторождения в горной Гватемале и др.).

Картина обширной ольмекской державы с центром в Сан-Лоренсо противоречит ситуации на побережье Мексиканского залива. Ни Западный, ни Восточный Ольман не демонстрируют влияния Сан-Лоренсо. Ла-Вента сохраняют свой собственный керамический комплекс (Rust 2008), а анализ обсидиана из Трес-Сапотес показывает, что он никак не связан с сетью обмена, в которую входил Сан-Лоренсо (Pool et al. 2010: 100).

Хотя раннеформативная история Ла-Венты (фаза ранняя Ла-Вента, 1150–850 г. до н. э.) исследована хуже, наличие здесь колоссальных голов говорит о том, что уже до 900 г. до н. э. она стала центром другого важного вождества. Уточненные радиоуглеродные датировки свидетельствуют, что сооружение комплекса А началось еще в конце XII в. до н.э. (Rust 2008: 1420).

Третий центр, где были найдены колоссальные головы – Трес-Сапотес. В некоторых последних работах он не рассматривается как ольмекский центр, а целиком относится к эпиольмекскому этапу (Grove 1997: 75). Однако последние исследования показали, что в Трес-Сапотес есть раннеольмекский компонент, хотя его характер остается неясным (Pool et al. 2010). Собственная скульптурная школа позволяют говорить о его политической значимости хотя бы на локальном уровне.

Приведенные выше данные свидетельствуют, что говорить об ольмекской государственности пока не представляется возможным. Поселенческая иерархия из трех уровней, социальная система, состоящая из двух рангов, изображения лидеров в камне, символы власти – все это характерные признаки сложных вожеств. Сокращение территории Сан-Лоренсо в середине XII в. до н.э. и последующий упадок в конце II тыс. до н.э. хорошо согласуются с моделью циклического развития вожеств.

Однако, как показали исследования в Оахаке, в горной Мезоамерике в это же время продолжала развитие другая форма политической организации – сложные общинные объединения. Так Маркус и Флэннери полагают, что общество долины Оахаки до 1150 г. до н. э. состояло из независимых территориальных общин (Marcus, Flannery 1996: 76-92). Р. Блэнтон и его коллеги же полагают, что о вожествах в Оахаке нельзя говорить вплоть до начала фазы Росарио (ок. 700 г. до н. э.) (Blanton, Feinman, Kowalewski 1999: 34-42). В долине Мехико нет сведений о формировании надлокальной организации вплоть до конца II тыс. до н. э. (Serra Puche 1989: 280). По-видимому, первые вожества и общинные объединения достаточно длительное время сосуществовали.

Около 1000 г. до н. э. заканчивается эпоха расцвета Сан-Лоренсо. Этому предлагались как исторические (завоевание, социальная борьба), так и природные (вулканическая активность, изменение речного русла) объяснения. Однако сам центр заброшен не был (фаза Накасте, 1000–800 гг. до н.э.). Именно к среднеформативной фазе относится монументальная архитектура – земляные холмы и платформы, расположенные вокруг площадей. Изучение поселений вокруг также показывает, что упадок был относительным. Поселенческая иерархия по-прежнему состояла из трех уровней: 1) Сан-Лоренсо; 2) поселения с террасами, площадью до 25 га и несколькими земляными насыпями-платформами; 3) небольшие деревни без монументальной архитектуры. Центры второго уровня в некоторых случаях поменяли свое местоположение (Symonds, Lunagómez 1997: 136. Fig. 5.5). В целом количество поселений в непосредственной округе Сан-Лоренсо уменьшилось, а на периферии выросло (Ibid: 135). Все это говорит о том, что сложное вожество Сан-Лоренсо, хотя и пережило суровый кризис, продолжало существовать.

Похожая ситуация отмечается и в других регионах. Площадь Лагуна-де-лос-Серрос существенно уменьшилась, сократилось и ко-

личество окружающих его поселений (с 47 до 14). Поселения вокруг центра второго уровня Куаутотолапана также сократились (с 40 до 7), сам Куаутотолалан был практически оставлен (Borstein 2001: 195). Обширный корпус каменной скульптуры (27 изваяний), ранее датированный среднеформативным временем, по-видимому относится к другим периодам.

Параллельно наблюдается резкий взлет могущества Ла-Венты. Возможно, это было связано с очередным изменением русла реки Бари. С рубежа II–I тыс. до н. э. оно пролегло в 2 км от Группы “А” в Ла-Венте, что давало возможность контроля за коммуникациями и облегчало перемещение ресурсов.

В районе Ла-Венты окончательно формируется трехуровневая поселенческая иерархия: 1) поселения без маундов; 2) поселения с центральным маундом; 3) поселения с несколькими маундами (Rust, Sharer 1989; Rust 2008). Население зоны между Ла-Вентой и Сан-Мигелем (эти памятники разделяет около 40 км) составляло не менее 10 000 человек. Социальная дифференциация прослеживается по различиям в домашней архитектуре, керамике и диете. Особенно показательна последняя: нижний сегмент населения питался маисом, рыбой, моллюсками и черепаками, а в рацион верхнего дополнительно входили крокодилы, олени и домашние собаки (Rust 1992: 123-129).

Ла-Вента достигла в размерах 200 га. Отличительной ее особенностью являлись монументальные земляные постройки. Их сооружение началось в X в. до н. э. Между 900 и 750 гг. до н. э. были сооружены комплексы “А” и “С”. Центральной осью поселения являлась “Большая пирамида” – округлый в плане земляной холм высотой более 30 м. В строительстве пирамиды не было определено каких-либо этапов: похоже, что она была воздвигнута как единовременный проект в IX в. до н. э. (Heizer 1968: 19). На север от пирамиды располагается двор, образованный несколькими длинными постройками (комплекс “А”). В данном случае это наиболее ранний в Ольмане сложный архитектурный ансамбль – так называемый двухчастный комплекс, ориентированный по оси север-юг, по Э. МакДональду (McDonald 1999). Возможно, уже в это время сложилась традиция создания сложных мозаик из серпентина, характеризующих Ла-Венту.

Следующие строительные этапы сопровождались закладкой мозаик из серпентиновых блоков (по-видимому, это были освященные

ные жертвы). После 600 г. до н. э. в группе “D” сооружается новый комплекс: небольшая пирамида, ориентированная на длинную платформу. Эти постройки расположены по линии запад – восток и, вероятно, представляют собой пример новой архитектурной традиции, берущей начало в Чьяпасе.

В среднеформативное время в Ла-Венте появляется новый тип монументальной скульптуры – стелы, которых известно восемь. Стела 1 изображает женщину в сложном головном уборе, стоящую в нише¹. На Стеле 2 представлен правитель в богатом одеянии с оружием в руках, окруженный шестью человеческими фигурами. Стела 3 – это сцена встречи двух знатных персонажей; один из них в пышной короне, как на Стеле 2, а второй изображен с бородой и «римским» профилем, видимо, олицетворяя этнически чуждый ольмекам тип. На Стеле 5 также видно несколько человек: правитель, который опознается по богатому одеянию и жезлу в руке, воин или игрок в мяч в шлеме перед ним и персонаж с нечеловеческими чертами лица и сетью на спине. Над сценой парит еще один сверхъестественный участник – очевидно, обожествленный предок.

На последнем этапе (V в. до н. э.) в комплексе «А» внутри Маунда А-2 сооружаются богатые захоронения. Гробница «А» состояла из 44 базальтовых колонн, образующих камеру размерами 4 м в длину, 2 м в ширину и 1,8 м в высоту. В ней были найдены останки двух юношей, покрытых красной краской и сопровождавшихся многочисленными объектами из жада (антропоморфные и зооморфные статуэтки, подвески, бусины), обсидиана, магнетита, и необычное ожерелье из шести хвостовых шипов ската, центром которого был искусственный шип из жада (Drucker 1952: 23-25). К югу от Гробницы “А” находилась Гробница “Е”, также изготовленная из базальтовых колонн. Перед ней был найден резной каменный саркофаг (Гробница “В”), изображающий мифического зверя с чертами ягуара и аллигатора. В саркофаге не было обнаружено костей, а лишь две серьги из жада с подвесками в виде клыков ягуара, статуэтка из серпентина и каменная проколка (Ibid: 64).

При раскопках в 1940-е гг. было обнаружено также несколько скоплений объектов из жада и других материалов без сопутствующ-

¹ По-видимому, эта стела представляет собой переходный этап между сценами на алтарях-тронах и стелах.

щих костных останков. Ф. Дракер обозначил их как “погребения-тайники” (с литерами “С” и “D»). Гробница «С», составленная из каменных плит, содержала украшения из жада, расположенные по форме тела (Ibid: 67-68). По мнению М. Стирлинга, это связано с тем, что кости плохо сохраняются в болотистой почве, и в действительности перед нами обычные захоронения (Bernal 1961: 56, note 113).

Лас-Лимас, расположенный на крайнем юге Ольмана, исследован хуже. Здесь была обнаружена статуя сидящего человека из зеленоватого камня (так называемый “Правитель из Лас-Лимас”). Исследования Х. Йадеуна (1977–1978) и последующие работы Х. Гомеса Руэды показали, что это городище было центром важного вождества, объединявшего по меньшей мере 27 поселений второго и третьего ранга (Grove 1997: 68-69).

В Трес-Сапотес одноименная фаза (900-400 гг. до н. э.) прослеживается по концентрации керамического материала в нескольких пунктах. Однако, как отмечает К. Пул, трудно отнести к этому периоду какие-либо постройки, за исключением маунда 5 в группе 1. К этому периоду большинство исследователей относит колоссальных каменные головы, которые по нашему мнению датируются предыдущей фазой, а также монументы Н, I, J и М, но подтверждений этому нет.

В среднеформативное время такие типы монументальной скульптуры, как колоссальные головы и алтари исчезают. В таком случае десять голов из Сан-Лоренсо, вероятно, представляют собой десять поколений династии, правившей в долине р. Коацакоалькос на протяжении 300 лет (1300–1000 г. до н. э.). Если четыре головы из Ла-Венты частично им современны, то их можно отнести к 1000–900 гг. до н. э. Три головы из района Трес-Сапотес, видимо, изображают трех наиболее могущественных вождей в XI–X вв. до н. э. Отсутствие голов в других центрах, видимо, указывает на неравномерность политического развития раннеформативного Ольмана: в Трес-Сапотес, Сан-Лоренсо и Ла-Венте уже сформировались сложные вождества, а между ними продолжали существовать многочисленные простые.

На основании регулярного распределения Сан-Лоренсо, Ла-Венты, Лагуна-де-Лос-Серрос и Трес-Сапотес (в среднем на расстоянии 50–60 км), Т. Ерл в свое время пришел к выводу, что между 900 и 600 гг. до н. э. на побережье Мексиканского залива существовало минимум пять сложных вождеств, которые контролировали весь Ольман (около 12 000 кв. км). В их состав входили центры второго

ранга: Сан-Лоренсо, подчинял Эстеро-Рабон, Сан-Исидро и Крусдель-Милагро; Ла-Вента – Арройо-Сонсо и Лос-Солдадос (Earle 1976). Однако новые исследования свидетельствуют, что эта идеализированная картина далека от реальности, и в действительности Сан-Лоренсо и Лагуна-де-лос-Серрос находились в упадке.

Открытие укрепленного рвом и валом поселения Ла-Оахакенья между Сан-Лоренсо и Лас-Лимас показывает, что отношения между ольмекскими вождествами не были мирными (Cobean 1995). О политическом соперничестве говорит и тот факт, что Ла-Вента и Сан-Лоренсо входили в различные межрегиональные политико-экономические сети. Ла-Вента состояла в союзе с вождествами Центральночапасской впадины и получала обсидиан с месторождения Сан-Мартин-Хилотепек, а Сан-Лоренсо был в альянсе с политиями тихоокеанского побережья и использовал обсидиан из Эль-Чайяля (Pires-Ferreira 1976). Изображения отрубленных человеческих голов и оружия на стелах Ла-Венты говорят о том, что военная функция была одной из важнейших у ольмекских вождей.

Возвышение Ла-Венты и установление новой сложной системы торговли и обмена, охватывавшей Юго-Восточную Мезоамерику, не привело к радикальному усложнению социально-политической организации. Район Ла-Венты характеризует трехуровневая иерархия поселений, свойственная сложным вождествам, вероятно Ла-Вента контролировала и поселения за его пределами, но данных об этом у нас нет. Различия между материальной культурой элиты и общинников по-прежнему не превосходят различий, свойственных ранжированным обществам. Тем не менее, полития Ла-Венты оказалась более стабильной, чем Сан-Лоренсо и просуществовала более 500 лет. Инновации в идеологии отражаются в трансформации иконографии и типов монументальной скульптуры. Серединой или второй половиной VII в. до н.э. датируется первый образец ольмекского письма, первый монумент с надписью, видимо, относится к более позднему времени.

Вождество Ла-Венты окончательно приходит в упадок около 350 г. до н. э., несколько раньше завершается фаза Палангана в Сан-Лоренсо, после которой этот центр забрасывается. Данная дата выбрана исследователями как условная дата конца ольмекской археологической культуры, хотя в действительности речь идет о конце одного этапа в истории региона и начале другого, получившего название эпиоль-

мекского. Ядро политического и культурного развития смещается из долины Тоналы к горам Тустлы и распространяется вдоль побережья Веракруса. Наряду со старыми центрами, такими как Трес-Сапотес, вырастают новые (Серро-де-Лас-Месас, Эль-Вьехон), которые продолжат свое развитие в классический период.

Анализ развития ранних политических структур показывает, что в Мезоамерике не наблюдается линейного поступательного усложнения надобщинных институтов власти и управления. Если в Юго-восточной Мезоамерике – области “равнинной” культурной традиции – в конце II тыс. до н. э. уже сформировались вождества, то в регионах, входивших в “горную” традицию, продолжалось развитие общин. Как показали работы К. Флэннери, Дж. Маркус, Р. Блэнтона, С. Ковалевски и других, в Оахаке в это время существовали сложные двухуровневые общинные объединения. Во главе ее находилась большая деревня, служившая центром культовой интеграции всего сообщества, куда жители окрестных деревушек собираются на общинные празднества.

Политии подобного типа известны по всей Мезоамерике, а также в Старом Свете, но стали объектом внимания исследователей совсем недавно (Березкин 1995а; 1995б; Spielman 1994 и др.). Археологически такого рода системы очень сложно отличить от вождеств, поскольку их также характеризует двухуровневая поселенческая иерархия. Центральное поселение может иметь монументальные постройки, сопоставимые с теми, что воздвигаются в вождествах. Главное отличие этих двух типов среднemasштабных обществ – отсутствие централизованного принятия решений в общинных объединениях. По археологическим материалам это можно проследить по отсутствию выраженной дифференциации погребений (Spielman 1994: 46).

С появлением вождей постепенно выделяется группа элиты, чьи погребения резко выделяются из общей массы. Статус элиты выражается и в ее жилищах. В некоторых обществах появляется монументальная скульптура, служащая прославлению вождей, как, например, ольмекские колоссальные головы.

Один из создателей концепции вождества Роберт Карнейро считает войну основным механизмом сложения вождеств. Однако если в ранних работах его конфликтная теория предполагала, что вожди появлялись в результате столкновений между отдельными деревня-

ми (Carneiro 1981), то в новой модели первыми вождями были военные предводители (chieftains), которые возглавляли войны между объединениями деревень (Carneiro 1998). Самые удачливые из них удерживали власть до своей смерти и даже могли передать ее по наследству.

В модели Карнейро важную роль в генезисе вожеств играет демографический фактор. Завоевательные войны связаны прежде всего с тем, что то или иное сообщество испытывает экологическое и демографическое давление (circumscription theory). Эта идея уже подвергалась критике с точки зрения кросс-культурных данных (Beliaev, Bondarenko, Korotaev 2001: 384-388).

Рост социально-политической сложности в Сан-Лоренсо наблюдается в тот период, когда соседние районы были довольно слабо заселены, и ничто не препятствовало миграции. По-видимому, зависимость между демографией и социально-политическим развитием более сложна, чем это казалось ранее.

Дж. Кларк и М. Блэйк предложили в свое время собственную модель формирования вожеств в культуре мокайя на тихоокеанском побережье Чьяпаса. По их мнению, это было вызвано соперничеством “накопителей” (aggrandizers) – людей с высоким статусом или выдающимися организационными способностями – за престиж. Выказывая особую щедрость они привлекали последователей, становящихся их клиентами и создающих им поддержку (см. Clark, Blake 2000 и др.).

По-видимому, обе модели – военная и “накопительская” могли реализовываться в различных условиях. Какая из них более адекватна ольмекскому материалу покажут дальнейшие исследования.

Отражением возникновения в Мезоамерике обширной сети сложных обществ стало распространение стиля Раннего горизонта (1300–900 гг. до н. э.). Использование жада и других пород камня зеленоватого оттенка, изготовление статуэток с младенческими лицами, специфическая иконография, изображения людей-ягуаров – все эти черты характеризуют культуру элиты многочисленных вожеств. Связь стиля с политическим развитием хорошо видна на примере юго-восточного побережья Гватемалы, где панмезоамериканские мотивы появляются лишь после 850 г. до н. э., когда в Оахаке и долине Мехико уже складываются собственные региональные стили.

Единство представлений элиты о своем статусе и своем месте в мире накладывалось на множество локальных религиозно-мифоло-

гических концепций. Однако все они, в свою очередь, опирались на единый мезоамериканский культурный субстрат. Так, в среднеформативный период не существовало единой модели планировки церемониальных построек. В Ла-Венте главные постройки имели ориентировку 8 градусов на северо-запад, в Сан-Исидро (Чьяпас) – 20 градусов на северо-запад, в Коите – 50 градусов на северо-запад, в Ухуште (побережье Гватемалы) – 35 градусов на северо-восток, в Исапе (побережье Чьяпаса) – 13 градусов на северо-восток. Но все эти варианты, по-видимому, подчинялись единой идее: ориентация на местную священную гору. Для Ла-Венты это один из пиков гор Тустлы, для Исапы – вулкан Такано, для Абах-Такалика – вулкан Санта-Мария, для Бильбао/Эль-Бауля – вулкан Агуа.

Наиболее близким аналогом стилю Раннего горизонта является, очевидно, скифо-сибирский звериный стиль раннего железного века степей Евразии. Также, как и стиль Раннего горизонта, звериный стиль характеризует культуру элиты этнически разнородных обществ Великой степи от Балканского полуострова до Хакасии.

ЛИТЕРАТУРА

- Александренков Э.Г. 1976. *Индейцы Антильских островов до европейского завоевания*. М.: Наука.
- Березкин Ю.Е. 1995а. Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности*. М.: 62-78.
- Березкин Ю.Е. 1995б. Модели среднемасштабного общества: Америка и древнейший Ближний Восток. *Альтернативные пути к ранней государственности*. Владивосток: 94-104.
- Гуляев В.И. 1972. *Идолы прячутся в джунглях*. М.
- Карнейро Р. 2000. Процесс или стадии: ложная дихотомия в исследовании истории возникновения государства. *Альтернативные пути к цивилизации*. М., С. 84–94.
- Крадин Н.Н. 1995. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности*. М., С.11–61.
- Табарев А.В. 2005. *Древние ольмеки: история и проблематика исследований*: Учеб. пособие. Новосибирск.

- Шедел Р. 1995. Варианты протогосударственных обществ во временной последовательности. *Альтернативные пути к ранней государственности*. Владивосток, С.59–68.
- Шэддел Р., Робинсон Д. 2000. Становление государства в доколумбовой Америке. *Альтернативные пути к цивилизации*. М., С. 155–170.
- Beliaev D., Bondarenko D., Korotayev A. 2001. Origins and Evolution of Chiefdoms. *Reviews in Anthropology*. Vol. 30: 387–409.
- Blanton R.E., Feinman G.M., Kowalewski S.A., Nicholas L.M. 1999. *Ancient Oaxaca. The Monte Alban State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blomster J., Neff H., Glascock M. 2005. Olmec Pottery Production and Export in Ancient Mesoamerica as Determined through Elemental Analysis. *Science* 307: 1068–1072.
- Borstein J. 2001. *Tripping Over Colossal Heads: Settlement Patterns and Population Development in the Upland Olmec Heartland*. Unpublished PhD dissertation, The Pennsylvania State University.
- Bove F. 1978. Laguna de los Cerros, an Olmec central place. *Journal of New World Archaeology*. Vol. 2, № 3: 15–23.
- Carneiro R.L. 1981. The chiefdom: Precursor of the state. *The Transition to Statehood in the New World*. Cambridge etc.: 3779.
- Carneiro R.L. 1998. What happened at the flashpoint? Conjectures on chiefdom formation at the very moment of conception. *Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas*. Gainesville etc.: 1842.
- Cheetham D. 2010. Cultural Imperatives in Clay: Early Olmec Carved Pottery from San Lorenzo and Cantón Corralito. *Ancient Mesoamerica*. Vol. 21: 165–185.
- Clark J. 2007. Mesoamerica's First State. *The Political Economy of Ancient Mesoamerica: Transformations During the Formative and Classic Periods*. Albuquerque: 11–46.
- Clark J.L., Blake M. 2000. The Power of Prestige: Competitive Generosity and the Emergence of Rank Societies in Lowland Mesoamerica. *The Ancient Civilizations of Mesoamerica: A Reader*. Malden (Mass.); London.
- Cobean R. 1995. La Oaxaqueña, Veracruz: un centro olmeca menor en su contexto regional. *Arqueología Mesoamericana: Homenaje a William T. Sanders*. México, T. 2: 37–61.
- Coe M.D. 1968. San Lorenzo and the Olmec Civilization. *Dumbarton Oaks Conference on the Olmecs*. Washington: 41-78.

- Coe M.D., Diehl R. 1980. *In the Land of the Olmec*. Vol. 1. Austin.
- Cyphers A. 1994. San Lorenzo Tenochtitlán. *Los Olmecas en Mesoamérica*. México.
- Cyphers A. 1997a. Crecimiento y desarrollo de San Lorenzo. *Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán*. México: 255-274.
- Cyphers A. 1997b. La arquitectura olmeca en San Lorenzo Tenochtitlán. *Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán*. México: 91-118.
- Diehl R. 1981. Olmec Architecture: A Comparison of San Lorenzo and La Venta. *The Olmec and Their Neighbors*. Washington: 69-81.
- Drucker P. 1952. *La Venta, Tabasco: A Study of Olmec Ceramics and Art*. Washington.
- Earle T. 1976. A Nearest Neighbor Analysis of Two Formative Settlement Systems. *The Early Mesoamerican Village*. Ed. by Kent V. Flannery. New York: 196–223.
- Flannery K.V. 1968. The Olmec and the valley of Oaxaca: A model for interregional interaction in Formative times. *Dumbarton Oaks Conference on the Olmecs*. Washington: 79–110.
- Flannery K.V., Marcus J. 2000. Formative Mexican chiefdoms and the myth of the “Mother Culture”. *Journal of Anthropological Archaeology*. Vol. 19. P.1–37.
- Flannery K. et al. 2005. Implications of New Petrographic Analysis for the Olmec ‘Mother Culture’ Model. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 102: 11219-11223.
- Fried M. 1967. *The Evolution of Political Society: An Essay in Political Economy*. New York.
- Gillespie S. 1996. Llano del Júcaro: Un taller de monumentos olmeca. *Arqueología*. № 16: 29–42.
- Goman M., Byrne R. 1998. A 5,000 Year Record of Agriculture and Tropical Forest Clearance in the Tuxtlas, Veracruz, Mexico. *The Holocene*. Vol. 8: 83-89.
- Gonzalez Lauck R. 1988. Proyecto Arqueológico La Venta. *Arqueología*. No. 4: 121-165.
- Grove D. 1973. Olmec Altars and Myth. *Archaeology*. Vol. 26, № 2: 128–135.
- Grove D. 1997. Olmec Archaeology: A Half Century of Research and Its Accomplishments. *Journal of World Prehistory*. Vol. 11, № 1.

- Heizer R.F. 1968. New Observations on La Venta. *Dumbarton Oaks Conference on the Olmecs*. Washington: 9-40.
- Joralemon P.D. 1971. *A study of Olmec iconography*. Dumbarton Oaks.
- Kaplan D. 1963. Men, Monuments and Political Systems. *Southwestern Journal of Anthropology*. Vol. 19, № 4: 397–410.
- Kruger R.P. 1999 San Carlos Rural Olmec Household Project. Report Submitted to FAMSI. FAMSI: Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, Inc. <<http://www.famsi.org/reports/95101/index.html>>.
- Lentz D. et al. 2001. Prehistoric sunflower (*Helianthus annuus* L.) domestication in Mexico. *Economic Botany*. Vol. 55: 370–376.
- Lesure R. 2002. Interpretive Challenges in the Study of Early Complexity: Economy, Ritual, and Architecture at Paso de la Amada, Mexico. *Journal of Anthropological Archaeology*. Vol. 21: 1–24.
- Love M.W. 1991. Style and Social Complexity in Formative Mesoamerica. *The Formation of Complex Society in Southeastern Mesoamerica*. Ed. by William R. Fowler. Boca Raton: 47–76.
- Marcus J. 1976. The Size of the Early Mesoamerican Village. *The Early Mesoamerican Village*. Ed. by K.V. Flannery. New York: 79–88.
- McDonald A.J. 1999. *Middle Formative Pyramidal Platform Complexes in Southern Chiapas, Mexico: Structure and Meaning*. Unpublished PhD dissertation, University of Texas at Austin, Austin.
- Neff H. et al. 2006a. Methodological Issues in the Provenance Investigation of Early Formative Mesoamerican Ceramics. *Latin American Antiquity*. Vol. 17: 54–76.
- Neff H. et al. 2006b. Smokescreens in the Provenance Investigation of Early Formative Mesoamerican Ceramics. *Latin American Antiquity*. Vol. 17: 104–118.
- Ortiz P., Rodriguez M. d. C. 1999. Olmec ritual behavior at El Manati: A sacred space. *Social Patterns in Pre-Classical Mesoamerica*. Ed. by Grove, D. C., and Joyce, R. A. Washington, DC: 225–254.
- Peebles C.S., Kus S.M. 1977. Some archaeological correlates of ranked societies. *American Antiquity*. Vol. 42, № 3. P. 421–448.
- Pires-Ferreira J.F. 1976. Obsidian Exchange in Formative Mesoamerica. *Early Mesoamerican Village*. New York etc.: 292–306.
- Pohorilenko A. 1990. La estructura del sistema representacional olmeca. *Arqueología*. México, № 3: 85–90

- Pool C. 2003. *Settlement archaeology and political economy at Tres Zapotes, Veracruz, Mexico*. Los Angeles.
- Pool C. 2007. *Olmec Archaeology and Early Mesoamerica*. Cambridge.
- Pool C., Ortiz P., Rodriguez M., Loughlin M. 2010. The Early Horizon at Tres Zapotes: Implications for Olmec Interaction. *Ancient Mesoamerica*. Vol. 21: 95-105.
- Pope K. et al. 2001. Origin and environmental setting of ancient agriculture in the lowlands of Mesoamerica. *Science*. Vol. 292: 1370–1373.
- Porter J.B. 1990. Las cabezas colosales olmecas como altares reesculpidos: “mutilación”, revolución y reesculpido. *Arqueología*. México, № 3.
- Reilly F.K., III. 1994. Cosmología, soberanismo y espacio ritual en la Mesoamérica del Formativo. *Los Olmecas en Mesoamérica*. México: 239–259;
- Rust W.F., 1989. Sharer R.J. Olmec settlement data from La Venta, Tabasco, Mexico. *Science* 242: 102–104.
- Rust W.F. 1992. New ceremonial and settlement evidence at La Venta, and its relation to preclassic Maya cultures. *New Theories on the Ancient Maya*. Philadelphia: 123–129.
- Rust W.F. 2008. *A Settlement Survey of La Venta, Tabasco, Mexico*. Unpublished PhD dissertation, University of Pennsylvania, Philadelphia.
- Sanders W.T., Price B. 1968. *Mesoamerica: The Evolution of a Civilization*. New York.
- Serra Pucho M. 1989. El sur de la cuenca de México durante el Formativo. *El Preclásico o Formativo*. Avances y perspectivas. México.
- Service E.R. 1962. *Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective*. New York.
- Service E.R. 1975. *The Origins of State and Civilization: The Process of Cultural Evolution*. New York.
- Sharer R. et al. 2006. On the Logic of Archaeological Inference: Early Formative Pottery and the Evolution of Mesoamerican Societies. *Latin American Antiquity*. Vol. 17: 90-103.
- Spielman K.A. 1994. Clustered confederacies: sociopolitical organization in the protohistoric Rio Grande. *Ancient Southwestern Community: Models and Methods for the Study of Prehistoric Social Organization*. Ed. by W.H. Wills and R.D. Leonard. Albuquerque: 45–54.

- Stoltman J. et al. 2005. Petrographic Evidence Shows that Pottery Exchange between the Olmec and Their Neighbors Was Two Way. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 102: 11213–11218.
- Symonds S., Cyphers A., Lunagómez R. 2002. *Asentamiento prehispánico en San Lorenzo Tenochtitlan*. Mexico.
- Symonds S., Lunagómez R. 1997. El sistema de asentamientos y el desarrollo de poblaciones en San Lorenzo Tenochtitlán, Veracruz. *Población, subsistencia y medio ambiente en San Lorenzo Tenochtitlán*. México.
- Wendt C. 2005. Excavations at El Remolino: Household Archaeology in the San Lorenzo Olmec Region. *Journal of Field Archaeology*. Vol. 30: 163–180.
- Wendt C. 2010. A San Lorenzo Phase Household Assemblage from El Remolino, Veracruz. *Ancient Mesoamerica*. Vol. 21: 107-122.
- Willey G.R., Ekholm G.F., Millon R.F. 1964. The Patterns of Farming Life and Civilization. *Handbook of Middle American Indians*. Austin, Vol. 1.

ГОСУДАРСТВО И ИДЕОЛОГИЯ РОДСТВА

Как особо подчеркивает М. Годелье, «родство может в любой момент быть преобразовано в идеологическую конструкцию ...» (Godelier 1989: 6; выделено нами. – Д. Б.). Сама социальная природа родства, которая позволяет объявлять и считать родственниками не только тех, кто является таковыми биологически, дает возможность манипулировать родством как идеологией в различных целях. Вследствие этого «в сложных обществах ... можно обнаружить... стратегии использования родства во имя сохранения или приобретения богатства и власти. Родством манипулируют во имя выгодного обращения с отношениями богатства и власти, существующими помимо и вне родства» (Godelier 1989: 8). Действительно, не только «примитивные», но и «сложные социально-политические системы могут быть легитимизированы в категориях родства ...» (Claessen 2000b: 150). Например, в государстве инков осуществление манипуляций с терминологией родства было обычным, широко распространенным путем достижения самых разных политических целей (Silverblatt 1988; Zuidema 1990). Уже в типологически догосударственных обществах идеология родства может превратиться в эффективное средство манипулирования массовым сознанием ради утверждения социального и политического неравенства. Фиктивные генеалогии местных и пришлых вождей и привлечение труда бедняков богачами под видом родственной помощи – явления, которые сразу же приходят в голову в этой связи¹. Конечно, также «в большинстве ранних государств ... всеобъемлющие идентичности [*overarching identities*] обычно выражались в терминах символического родства с божествами, королями и королевами, часто изображавшимися “отцами и матерями” своих подданных» (Spier 2005: 120; также см. Trigger 1985). Таким образом, для подданных ранних государств было типично восприятие государства по аналогии с семьей, а суверена – по аналогии с ее

¹ См., например, Аверкиева 1970; Irons 1975; Barth 1987; Hedeager 1992: 153–155; Scarry 1996: 35, 57; Colarusso 1997; Robertshaw 1999: 124–127; Bulbeck, Prasetyo 2000: 133–134; Claessen 2000a; Булатова 2003: 218; Дамдынчап 2006: 14, 18; также см. Wolf 1966.

главой (см., например, Ray 1991: 205; Vansina 1994: 37–38; Tymowski 1996: 248). Исключениями из этого правила могли являться немногочисленные в истории обширные первичные «территориальные государства», такие, как Египет или Китай, в которых сакральность верховного правителя имела универсализирующий характер, будучи направлена на утверждение идеологии территориального государства путем преодоления сопротивления идеологии родства (Демидчик 2002).

Более того, не только в ранних, но нередко и в «зрелых государствах» коннотации между обществом и семьей, авторитарным правителем и главой семьи осознанно эксплуатируются в целях более прочной легитимации власти. В Римской империи во 2 г. до н.э. Октавиан Август получил официальный титул «отца отечества», а впоследствии Сенека и Плиний Младший разрабатывали теории о достойном принце как «отце» для тех, кем он управляет (Штаерман 1985: 70; Никишин 2009: 103, 111–115). Уже в Новое время образ монарха как главы семейства-народа активно использовался властью во Франции в XVI – XVIII вв. (Crest 2002). Королева Англии XVI в. Елизавета I отказывалась выходить замуж за кого-либо, утверждая идеологический постулат о том, что она мистически помолвлена со своим народом, а королевская пропаганда навязчиво внедряла ее образ как «Матери Страны» (Smith 1976). В дореволюционной России патерналистский дискурс отношений между монархом и подданными, хотя и не был внедрен официально и формализован, все же культивировался в массовом сознании¹ и оказывал решающее воздействие на народные представления об обязанностях и поведении идеального суверена (Лукин 2000). Даже И. В. Сталина в индустриализированном, территориально организованном и забюрократизированном Советском Союзе пропаганда неофициально, но каждодневно провозглашала «отцом народов» (а вождя социалистической революции, когда о нем рассказывали детям, вплоть до конца советского периода истории страны называли «дедушкой Лениным»). Также и основатель современного светского турецкого государства известен под именем «Ататюрк» – «отец турок», а в Китае Сунь Ятсену посмертно (в 1940 г.) правительством был официально

¹ Достаточно вспомнить такие устойчивые выражения, как «царь-батюшка» и «царица-матушка».

присвоен титул «отца нации»¹. Эксплуатация идеи уподобления обществу семье, а главы государства – главе семьи достаточно широко распространена в странах Третьего мира с авторитарными и тоталитарными политическими режимами. К примеру, бывший президент Того Г. Эйадема в годы нахождения у власти был провозглашен «отцом нации», как и ныне экс-президент Кении Д. арап Мои (Садовская 1999: 58). В Заире (с 1997 г. – Демократическая Республика Конго) население призывалось разучивать и петь хором песни о «брачном союзе между народом и вождем» – тогдашним главой государства Мобуту (см. Садовская 1999: 61). На другой аспект проблемы процветания идеологии родства в постколониальных африканских государствах обратил внимание Й. Аббинк: «В современной африканской политической культуре бросается в глаза роль этничности и порожденных ею конструкций: культура и “фиктивное родство” превращаются в коллективную идентичность, на основе которой выдвигаются социальные и политические требования и создаются общественно-политические движения» (Abbink 2000: 5).

Итак, ясно, что идея уподобления общества семье и, следовательно, его правителя – главе последней представляется естественной и самоочевидной в рамках конкретного вида мышления, и не случайно этот образ охотно эксплуатировался уже в древних государствах Востока и Запада (см. Нерсесянц 1985; Stevenson 1992). Также не вызывает сомнений, что этот идеологический постулат был не полной инновацией, появившейся лишь с возникновением государства, но итогом переосмысления в новых условиях более древней, догосударственной идеологии². С переходом же к раннему государству, неизменно, по определению, иерархическому (или «гомоархическому»), как нам представляется более правильным называть подоб-

¹ За информацию о Сунь Ятсене автор признателен В.Ц. Головачеву.

² Это догосударственное наследие особенно ощутимо в политической философии Конфуция, в которой государство уподоблено клану, а суверен – его главе (см., например, Васильев 1985: 165–172; Переломов 1993). Примечательно, что идеи Конфуция имели глубокие корни в архаических народных религиозных верованиях (Baum 2004). В первую очередь, это был культ предков, прослеживаемый в Китае со времени культуры Луншань, т.е. с III тыс. до н.э. (Степугина 2004: 379). Также патерналистское начало сильно в политической доктрине другой древней восточной религии – буддизма; в частности, именно с влиянием этого вероучения связано утверждение представлений о правителях и подвластном им населении как об отцах и детях в аристократической культуре монголов (Sneath 2011: 170–171).

ные общества: см., например, Bondarenko 2006; 2007; Bondarenko, Nemirovskiy 2007)¹, идеологема о народе и правителе как семье и ее главе оказалась призвана одновременно и дополнительно подчеркивать патерналистский характер сложившейся новой системы отношений между персонифицированной в правителе властью и народом, и способствовать легитимизации первой в глазах вторых. Как справедливо отмечает Н.Н. Крадин (2010: 237), «символика власти тесно связана с иерархической организацией общества». В полной мере это относится и к находящим выражение в символах патерналистским образам власти и правителя как ее высшего воплощения в монархических обществах, численно абсолютно доминировавших среди ранних, а до XX в. – и зрелых государств.

Однако случаи использования идеологии родства в государствах не следует путать с примерами ситуации совершенно иного рода. Даже в очень сложных доиндустриальных обществах – не менее сложных, чем многие ранние государства характер социумов и направления их развития определяются не «сверху» (как должно быть в государствах), а «снизу», т.е. с уровня локальной общины, которая, в свою очередь, пронизана родственными связями. По нашему мнению, такие общества не могут называться государствами и, следовательно, с учетом высокого общего уровня их социокультурной сложности, должны обозначаться как «альтернативы государству» (см., например, Bondarenko 2006). Например, в королевстве Бенин

¹ В хорошо известном «каноническом» определении раннего государства Х.Й.М. Классена и П. Скальника нами выделены курсивом те его фрагменты, из которых явственно вытекает, что этот феномен имеет иерархическую (гомоархическую) сущность:

Раннее государство – это централизованная социально-политическая организация для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделенном как минимум на два основных слоя, или формирующихся общественных класса – управляющих и управляемых, отношения между которыми характеризуются политическим доминированием первых и данническими обязанностями последних, будучи легитимизированы общей идеологией, в основе которой лежит принцип реципрокности (Claessen, Skalnik 1978: 640).

В разработанном недавно Х.Й.М. Классеном при участии автора данной статьи уточненном определении раннего государства выделенные нами курсивом фрагменты определения 1978 г. практически не претерпели изменений, и, следовательно, безусловно гомоархический характер раннего государства вновь нашел полное выражение в его дефиниции (Claessen *et al.* 2008: 260; см. также Claessen 2008: 13).

XIII – XIX вв.¹ политические отношения «естественным образом» воспринимались и выражались в терминологии родства². Духи монарших предков «распространяли» свою власть на всех подданных суверена. Однако в Бенине родство было не только идеологией; оно было гораздо большим – подлинной, «объективной» социокультурной основой этого суперсложного общества³, стягивавшей его в «мегаобщину» – иерархию социальных и политических институтов от большой семьи через общину⁴ и вождество к «королевству», «матричным» элементом которой являлась родственная семейная община (см., например, Бондаренко 1995а; 1995б; 2001; Bondarenko 2004; 2006: 64–88, 96–107).

Целостность мегаобщины обеспечивалась в принципе теми же разнообразными механизмами, что и общины. Само же существование и процветание жителей мегаобщины, по их собственному убеждению, гарантировалось наличием династии сакрализованных верховных правителей, титуловавшихся *оба* (см. Бондаренко 1995а: 176–180). Мегаобщинные институты возвысились над общинами и вождествами, утвердили свое доминирование над ними. Но в общинном по своей глубинной сути бенинском социуме, в котором территориальные связи не имели безусловного приоритета перед родственными, даже те, кто управлял им на высшем уровне, не были профессиональными администраторами. Специфика бенинской мегаобщины заключалась в организации в ее пределах на достаточно большом пространстве сложного, «многоярусного» общества на основе в первую очередь не территориального принципа, а трансформированного принципа родства, унаследованного от гетерогенной общины, в которой большие семьи не просто соседствовали, но сохраняли родственные отношения друг с другом. Таким образом, в бенинской общине родственные

¹ Ныне его земли составляют юго-западную часть Федеративной Республики Нигерия, и, следовательно, доколониальный Бенин не следует путать с находящейся западнее современной Республикой Бенин.

² Что вообще типично для так называемых «традиционных» африканских обществ, независимо от того, классифицируются они учеными как государства или нет (см.: Diop 1958–1959: 16; Armstrong 1960: 38; также см., например, Kaberry 1959: 373; Tardits 1980: 753–754; Tymowski 1985: 187–188; Ray 1991: 205; Skalník 1996: 92).

³ Т.е. превосходящего по уровню структурной сложности составное вождество (Bondarenko 2006: 24–25, 54–63, 89–107).

⁴ В Бенине община, как правило, состояла более чем из одной большой семьи.

связи дополнялись территориальными. Безусловно, в процессе сложения мегаобщины и после его завершения (возможно, к середине XIII в.) значение территориальных связей существенно возросло. Однако следует еще раз подчеркнуть, что, как и прежде, эти связи были «встроены» в систему родственных отношений не только в идеологической сфере, но и в реалиях социально-политической организации (Bradbury 1957: 31). Община не просто сохранилась: она продолжала играть роль базового социально-политического института, сколько бы «уровней сложности» ни надстраивалось над ней (Bradbury 1966: 129).

Помимо Бенина XIII – XIX вв. в доколониальной Африке мегаобщиной, в частности, можно признать королевство Бамум конца XVI – XIX вв. в лесной зоне современного Камеруна – суперсложное общество, которое представляло собой результат расширения вплоть до высшего уровня линиджных принципов и форм организации: «максимальный линидж» (Tardits 1980). Аналогично в «традиционных королевствах», располагавшихся в саванных областях того же постколониального государства, «монархическая система ... ни в коей мере не является совершенно уникальной и единственной формой организации, но представляет собой структуру, фактически идентичную структуре линиджных групп» (Koloss 1992: 42). За пределами африканского континента мегаобщины (не обязательно бенинского типа, т.е. основанные на родственных локальных общинах) могут быть опознаны, например, в индийских обществах конца I тыс. до н.э. – первых веков н.э. Естественно, отличаясь во многих отношениях от бенинской модели, они тем не менее характеризовались наличием главной отличительной черты мегаобщины как негосударственного типа общественной организации: интеграции суперсложного общества на общинной основе и направления их развития «снизу вверх». Так, А. М. Самозванцев (2001) описывает эти общества как пронизанные общинными порядками, несмотря на различия в конкретных формах социально-политической организации. «Принцип общинности», утверждает он, был наиважнейшим фактором, определявшим социальную организацию индийских политий в тот период (также см. Лелюхин 2001; 2004). На юге Индии подобное положение сохранялось намного дольше, до времени империи Виджаянагара – середины XIV в., когда в регионе наконец произошли «... усиление централизации политической власти и как следствие – концентрация ресурсов в руках царской бюрократии...» (Palat 1987: 170). Примеры

суперсложных обществ, выстроенных по общинной «матрице», дает и Юго-Восточная Азия I тыс. н.э.: таковы были Фунань и, возможно, Дваравати (Ребрикова 1987: 159–163; см., однако, Mudar 1999). Специфика мегаобщины становится особенно ясной при сравнении ее с «галактическими» государствами, исследованными в Юго-Восточной Азии С. Тамбия (Tambiah 1977; 1985). Подобно им, мегаобщина имеет политический и ритуальный центр – столицу, являющуюся резиденцией сакрализованного правителя – и ближний, средний и дальний «круги периферии» вокруг нее. Однако, несмотря на кажущуюся центристскость, подлинный социокультурный фокус мегаобщины – община, а не политико-ритуальный центр, как в «галактических» государствах, где «круги периферии», образуемые прежде всего локальными общинами, образно говоря, вращаются вокруг него, как планеты вокруг солнца. Мегаобщинами, основанными на общинах с доминированием не родственных, а территориальных (соседских) связей, – гражданскими мегаобщинами можно считать общества полисного типа (Бондаренко 1998; 2000; 2001: 259–263; 2004; Bondarenko 2006: 92–96; Штырбул 2006: 123–135).

Таким образом, прямого соответствия между социально-политическими (переход к государству) и идеологическими (отход от идеологии родства) процессами не существует, и этот, казалось бы, очевидный факт следует признавать и принимать во внимание исследователям.

ЛИТЕРАТУРА

- Аверкиева Ю.П. 1970. *Индийское кочевое общество XVIII – XIX веков*. М.: Наука.
- Бондаренко Д.М. 1995а. *Бенин накануне первых контактов с европейцами: человек, общество, власть*. М: Институт Африки РАН.
- Бондаренко Д.М. 1995б. Мегаобщина как вариант структуры и типа социума: доколониальный Бенин. *Альтернативные пути к ранней государственности*. Отв. ред. Н.Н. Крадин, В.А. Лынша. Владивосток: 139–150.
- Бондаренко Д.М. 1998. Многолинейность социальной эволюции и альтернативы государству. *Восток*. № 1: 195–202.
- Бондаренко Д.М. 2000. «Гомологические ряды» социальной эволюции альтернативы государству в мировой истории. *Альтернатив-*

- ные пути к цивилизации. Отв. ред. Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Д.М. Бондаренко, В. А. Лынша. М.: Логос: 198–206.
- Бондаренко Д.М. 2001. *Доимперский Бенин: формирование и эволюция системы социально-политических институтов*. М.: Институт Африки РАН.
- Бондаренко Д.М. 2004. Социально-политическая эволюция: от равноположенности типов общины к альтернативности форм надобщинной организации. *Alaïca. Сборник научных трудов российских востоковедов, подготовленный к 70-летию профессора, доктора исторических наук Л.Б. Алаева*. Отв. ред. О.Е. Непомнин. М.: Восточная литература: 32–53.
- Булатова А.Г. 2003. *Рутульцы в XIX – начале XX вв. (историко-этнографическое исследование)*. М.: Институт этнологии и антропологии РАН.
- Васильев Л.С. 1985. Политическая и правовая мысль древнего Китая. *История политических и правовых учений (Древний мир)*. Отв. ред. В.С. Нерсесянц. М.: Наука: 156–208.
- Дамдынчап В.М. 2006. *Роль обычного права в развитии тувинского общества (вторая половина XIX – первая половина XX в.)*. Автореф. дис. канд. ист. наук. Абакан: Хакассский государственный университет.
- Демидчик А.Е. 2002. Примечательная особенность идеологии древнейших территориальных государств. *История и культура Востока Азии*. Отв. ред. С. В. Алкин. Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН: Т. 1: 76–79.
- Крадин Н.Н. 2010. Символика традиционной власти. *Обычай. Символ. Власть*. Отв. ред. Н.Б. Кочакова, В.А. Попов. М.: Институт Африки РАН: 234–246.
- Лелюхин Д.Н. 2001. Концепция идеального царства в «Артхашастре» Каутильи и проблема структуры древнеиндийского государства. *Государство в истории общества. К проблеме критериев государственности*. Отв. ред. Д.Н. Лелюхин, Ю. В. Любимов. М.: Институт востоковедения РАН: 9–148.
- Лелюхин Д.Н. 2004. Проблема формирования социально-политической структуры раннего общества и государства по сведениям эпиграфики. Непал периода Личчави. *Государство на Древнем Востоке*. Отв. ред. Э.А. Грантовский, Т.В. Степугина. М.: Восточная литература: 319–341.

- Лукин П.В. 2000. *Народные представления о государственной власти в России XVII века*. М.: Наука.
- Нерсесянц В.С. 1985. (ред.). *История политических и правовых учений (Древний мир)*. М.: Наука.
- Никишин В.О. 2009. Императоры, граждане и подданные в эпоху принципата: идеал и реальность. *Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти*. Отв. ред. Д.М. Бондаренко, А.А. Немировский. М.: Институт Африки РАН: 96–122.
- Переломов Л.С. 1993. *Конфуций: жизнь, учение, судьба*. М.: Наука.
- Ребрикова Н.В. 1987. Государство, община, класс в буддийских обществах Центрального Индокитая (V – XV вв.). *Государство в докапиталистических обществах Азии*. Отв. ред. Г.Ф. Ким, К.З. Ашрафян. М.: Наука: 158–180.
- Садовская Л.М. 1999. Политическая культура африканского лидера (харизма, вождизм). *Африка: особенности политической культуры*. Отв. ред. Н.Д. Косухин. М.: Институт Африки РАН: 56–71.
- Самозванцев А.М. 2001. Социально-правовая организация индийского общества в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э.. *Государство в истории общества. К проблеме критериев государственности*. Отв. ред. Д.Н. Лелюхин, Ю. В. Любимов. М.: Институт востоковедения РАН: 259–292.
- Степугина Т.В. 2004. Государство и общество в древнем Китае. *Государство на Древнем Востоке*. Отв. ред. Э.А. Грантовский, Т.В. Степугина. М.: Восточная литература: 375–448.
- Штаерман Е.М. 1985. От гражданина к подданному. *Культура древнего Рима*. Отв. ред. Е.С. Голубцова. М.: Наука: Т. 1: 22–105.
- Штырбул А.А. 2006. *Безгосударственные общества в эпоху государственности (III тысячелетие до н.э. – II тысячелетие н.э.)*. Омск: Омский государственный педагогический университет.
- Abbinck J. 2000. Violence and State (Re)formation in the African Context: The General and the Particular. Paper presented at the Seminar “War and Society”. Aarhus: Aarhus University.
- Armstrong R.G. 1960. The Development of Kingdoms in Negro Africa. *Journal of the Historical Society of Nigeria*. Vol. 2: 27–39.
- Barth F. 1987. *Cosmologies in the Making: A Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Baum R. 2004. Ritual and Rationality: Religious Roots of the Bureaucratic State in Ancient China. *Social Evolution and History*. Vol. 3. № 1: 41–68.
- Bondarenko D.M. 2004. From Local Communities to Megacommunity: Biniland in the 1st Millennium B.C. – 19th Century A.D.. *The Early State, Its Alternatives and Analogues*. Ed. by L.E. Grinin, R.L. Carneiro, D.M. Bondarenko, N.N. Kradin, A.V. Korotayev. Volgograd: Uchitel: 325–363.
- Bondarenko D.M. 2006. *Homoarchy: A Principle of Culture's Organization. The 13th – 19th Centuries Benin Kingdom as a Non-State Supercomplex Society*. Moscow: KomKniga.
- Bondarenko D.M. 2007. Homoarchy as a Principle of Socio-Political Organization: An Introduction. *Anthropos*. Vol. 102: 187–199.
- Bondarenko D.M., Nemirovskiy A.A. 2007. (Eds.). *Alternativeness in Cultural History: Heterarchy and Homoarchy as Evolutionary Trajectories. Third International Conference "Hierarchy and Power in the History of Civilizations". June 18-21 2004, Moscow. Selected Papers*. Moscow: Center for Civilizational and Regional Studies Press.
- Bradbury R.E. 1957. *The Benin Kingdom and the Edo-Speaking Peoples of Southwestern Nigeria*. L.: International African Institute Press.
- Bradbury R.E. 1966. Fathers, Elders and Ghosts in Edo Religion. *Anthropological Approaches to the Study of Religion*. Ed. by M. Banton. L.: Tavistock: 127–153.
- Bulbeck F.D., Prasetyo B. 2000. Two Millennia of Socio-Cultural Development in Luwu, South Sulawesi, Indonesia. *World Archaeology*. Vol. 32: 121–137.
- Claessen H.J.M. 2000a. Ideology, Leadership and Fertility: Evaluating a Model of Polynesian Chiefship. *Bijdragen tot de Taal-, Land – en Volkerkunde*. Vol. 156: 707–735.
- Claessen H.J.M. 2000b. *Structural Change. Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology*. Leiden: Leiden University.
- Claessen H.J.M. 2008. Before *The Early State* and After: An Introduction. *Social Evolution and History*. Vol. 7. № 1: 4–18.
- Claessen H.J.M., Hagesteijn R.R., Velde P. van de. 2008. Early State Today. *Social Evolution and History*. Vol. 7. № 1: 245–265.
- Claessen H.J.M., Skalnik P. 1978. The Early State: Models and Reality. *The Early State*. Ed. by H.J.M. Claessen, P. Skalnik. The Hague etc.: Mouton: 637–650.

- Colarusso J. 1997. Peoples of the Caucasus. *Encyclopedia of Cultures and Daily Life*. Ed. by T.L. Gall. Pepper Pike: Eastword Publications: http://www.circassianworld.com/colarusso_2.html (accessed September 1, 2005).
- Crest A. du. 2002. *Modèle familial et pouvoir monarchique (XVI^e – XVIII^e siècles)*. Aix-en-Provence: Presses Universitaires d'Aix-Marseille.
- Diop T. 1958–1959. Forme traditionnelle de gouvernement en Afrique Noire. *Presence Africaine*. Vol. 23: 1–16.
- Godelier M. 1989. Kinship and the Evolution of Society. *Kinship, Social Change, and Evolution. Proceedings of a Symposium Held in Honour of Walter Dostal*. Ed. by A. Gingrich, Siegr. Haas, Sylv. Haas, G. Paleczek. Wien: Berger und Söhne: 3–9.
- Hedeager L. 1992. *Iron-Age Societies: From Tribe to State in Northern Europe, 500 BC to AD 700*. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell.
- Irons W. 1975. *The Yomut Turkmen: A Study of Social Organization among a Central Asian Turkic-speaking Population*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kaberry P.M. 1959. Traditional Politics in Nsaw. *Africa*. Vol. 29: 366–383.
- Koloss H.-J. 1992. Kwifon and Fon in Oku. On Kingship in the Cameroon Grasslands. *Kings of Africa. Art and Authority in Central Africa*. Ed. by E. Beumers, H.-J. Koloss. Maastricht: Foundation Kings of Africa: 33–42.
- Mudar K.M. 1999. How Many Dvaravati Kingdoms? Locational Analysis of First Millennium AD Moated Settlements in Central Thailand. *Journal of Anthropological Archaeology*. Vol. 18: 1–28.
- Palat R.A. 1987. The Vijayanagara Empire. Re-integration of the Agrarian Order of Medieval South India, 1336 – 1565. *Early State Dynamics*. Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde. Leiden: Brill: 170–186.
- Ray B.C. 1991. *Myth, Ritual, and Kingship in Buganda*. N.Y. – Oxf.: Oxford University Press.
- Robertshaw P. 1999. Seeking and Keeping Power in Bunyoro-Kitara, Uganda. *Beyond Chiefdoms. Pathways to Complexity in Africa*. Ed. by S.K. McIntosh. Cambridge: Cambridge University Press: 124–135.
- Scarry J.F. 1996. (Ed.). *Political Structure and Change in the Prehistoric Southeastern United States*. Gainesville etc.: University Press of Florida.
- Silverblatt I. 1988. Imperial Dilemmas, the Politics of Kinship, and Inka Reconstructions of History. *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 30: 83–102.

- Skalník P. 1996. Ideological and Symbolic Authority: Political Culture in Nanun, Northern Ghana. *Ideology and the Formation of Early States*. Ed. by H.J.M. Claessen, J.G. Oosten. Leiden: Brill: 84–98.
- Smith E.O. 1976. *Crown and Commonwealth: A Study in the Official Elizabethan Doctrine of the Prince*. Philadelphia: American Philosophical Society.
- Sneath D. 2011. The Headless State in Inner Asia. *Hierarchy. Persistence and Transformation in Social Formations*. Ed. by K.M. Rio, O.H. Smedal. N.Y. – Oxf.: Berghahn Books: 143–181.
- Spier F. 2005. How Big History Works: Energy Flows and the Rise and Demise of Complexity. *Social Evolution and History*. Vol. 4. № 1: 87–135.
- Stevenson T.R. 1992. The Ideal Benefactor and the Father Analogy in Greek and Roman Thought. *Classical Quarterly*. Vol. 42: 421–436.
- Tambiah S.J. 1977. The Galactic Polity: The Structure of Traditional Kingdoms in Southeast Asia. *Annals of the New York Academy of Sciences*. Vol. 293: 69–97.
- Tambiah S.J. 1985. *Culture, Thought, and Social Action: An Anthropological Perspective*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Tardits C. 1980. *Le royaume Bamoum*. P.: Colin.
- Trigger B.G. 1985. Generalized Coercion and Inequality: The Basis of State Power in the Early Civilizations. *Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organization*. Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde, M.E. Smith. South Hadley: Bergin and Garvey: 46–61.
- Tymowski M. 1985. The Evolution of Primitive Political Organization from Extended Family to Early State. *Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organization*. Ed. by H.J.M. Claessen, P. van de Velde, M.E. Smith. South Hadley: Bergin and Garvey: 183–195.
- Tymowski M. 1996. Oral Tradition, Dynastic Legend and Legitimation of Ducal Power in the Process of the Formation of the Polish State. *Ideology and the Formation of Early States*. Ed. by H.J.M. Claessen, J.G. Oosten. Leiden: Brill: 242–255.
- Vansina J. 1994. Antécédents des royaumes kongo et teke. *Muntu*. Vol. 9: 7–49.
- Wolf E.R. 1966. Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations in Complex Societies. *The Social Anthropology of Complex Societies*. Ed. by M. Banton. L.: Tavistock: 1–21.
- Zuidema R.T. 1990. *Inca Civilization in Cuzco*. Austin: University of Texas Press.

ВЛАСТЬ: МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА¹

Власть мужчин, управление женщин. Положение о том, что власть мужчины над женщиной обусловлена естественными причинами, прежде всего, различиями в психофизиологии, не принимается, как известно, антропологами феминистского направления. Они, с подачи его провозвестников XIX столетия Бахофена, Макленнана и Моргана, в той или иной мере поддерживавших идею матриархата, считают, что первоначально женщины доминировали в общественной жизни, однако потом положение вследствие разных причин коренным образом изменилось в пользу мужчин. Эта же идея поддерживалась и марксизмом, в результате чего порожденные им политические режимы, в первую очередь в России, всегда придавали большое значение решению “женского вопроса”.

Однако этнографические данные, а также этноисторические источники однозначно свидетельствуют о том, что в самых разных культурах существовала (и существует) та или иная степень мужского доминирования. Это относится только к “внешнему пространству”, или пространству “вне дома”, так как во “внутренней жизни”, как правило, доминировала женщина. Правда, здесь скорее следует говорить не о категориях “власти”, а “управления”. Имеется в виду то, что официально господствующее положение занималось мужчиной (мужем), в то время как женщина действовала неформально (исподволь), эффективно направляя, тем не менее, деятельность мужа.

В некоторых культурах социальный контроль, осуществляемый женщинами над поведением мужа, был очень сильным. Это в полной мере относится к русской культуре. В русском фольклоре «женское» и «мужское» пространства составляют вселенскую гармонию: «Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе»; «От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки – домом». Поэтому: «Муж – представитель своей семьи во всех делах с соседями, с миром, с властями. Жена за его спиной не знает никаких хлопот вне дома: «Побереги Бог мужа вдоль и поперек, а я без него ни за порог». Со смертью мужа женщине приходилось выполнять несвойственные ей «внешние полити-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 12-01-00207.

ческие функции», что воспринималось не иначе как «вдовье горе». Дома жена далеко не бесправна, более того, она, по сути, руководит мужем: «У плохой бабы муж на печи лежит, а хорошая сгонит». Но руководство мужем осуществлялось на неформальной основе, как бы исподволь: «Жена мужа не бьет, а под свой нрав ведет» (Желобовский 1892: 2–31).

Принято считать, что у мусульман влияние женщин на поведение мужчин минимально, включая все сферы деятельности. Коран однозначно утверждает власть мужчины в семье: «Мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед другими... Жена не может покинуть мужа, даже если он совершает дурные поступки...» (Сура 24). Однако, собственный полевой материал ставит под сомнение данный постулат. Будучи в экспедиции в Абхазии в 1980 г. мы были приглашены в гости муллою. После застолья я разговорился с его женой, которая была гораздо моложе своего мужа. Разговор зашел о положении женщины. Она сказала примерно следующее: «Да, я не сижу за столом, ничего не могу приказывать мужу по домашнему хозяйству, но я гляну туда, и он сделает, посмотрю сюда, он и то сделает...». Власть женщины в доме также распространялась на детей, а также младших женских родственников (свойственников).

Можно отметить и некоторые «внешнеполитические» функции женщин, зафиксированные в традиционных культурах. Они сводились к поддержанию разного рода отношений (экономических, социальных) между домохозяйствами. Иными словами, жены, взаимодействуя друг с другом, решали некоторые вопросы, которые влияли на отношения в социуме в целом.

Словом, на заре человеческой истории сложился определенный баланс между властно-управленческими функциями, осуществляемыми полами. Если мужчины занимались политикой на уровне социума, то женщины – дома. Эта взаимодополняемость обеспечивала реализацию генетических программ, присущих мужским и женским особям в принципе. Если женщины, как считает Геодакян (1965: 105–113), гарантируют простое воспроизводство вида, то мужчины – его развитие за счет выработки инноваций. В социальной сфере это выражалось в том, что женщины, реализуя властно-управленческие функции дома, тратили свою энергию преимущественно на рождение и первичную социализацию потомства (простое воспроизводство), мужчины же создавали внешние «политические» структуры: воз-

растные классы, мужские союзы, союзы охотников, тайные союзы и т.д. (инновационная деятельность – расширенное воспроизводство).

Мужская активность, таким образом, способствовала становлению политической системы, складывались новые формы властных отношений. Однако, осуществляя свои полномочия во «внешней» сфере, мужчины, тем не менее, черпали ресурсы для этого у женщин. Иными словами, женщины играли важную роль и в тех отношениях власти, которые в первичном социуме складывались между мужчинами «вне дома», т.е. там, где они безраздельно доминировали. Данная статья посвящена, во-первых, выявлению механизмов, посредством которых женщины осуществляли эту роль в раннем социуме, во-вторых, доказательству того, что они же во многом определяют и поведение современных людей.

Брак и право на власть. Материалы по традиционным культурам, а также этноисторические источники свидетельствуют о том, что мужчины обретали высокий статус в социуме только благодаря женщине. Более того, мужчина имел возможность состояться в качестве социального субъекта только посредством женщины.

Так, полноправным членом социума мужчина становился только после заключения брака. Остаться холостяком считалось позорным. Практически везде к ним относились с великим презрением и сожалением. В русском фольклоре «холостой – что бешеный»; «холостой – полчеловека». В иудаизме тот, кто ещё не создал семью, не является в полном смысле человеком (Тюгашев 2006). Холостяки продолжали пребывать в статусе мальчика-юноши.

Данный поведенческий архетип, возникший, вероятно, на заре человеческой истории, обнаруживается и в поведении современников. Это проявляется, например, в преимуществах, которые имеют женатые мужчины при трудоустройстве, особенно в некоторых сферах деятельности. При этом кадровики на предприятиях оценивают холостяков, исходя из поведенческого стереотипа молодежной (юношеской) субкультуры, с ее агрессивностью, отрицанием авторитетов, максимализмом (экстремизмом) и т.д. Поэтому, чтобы сделать карьеру в советское время, мужчине был необходим статус женатого, т.е. социально полноценного по традиционным меркам.

В той или иной мере данного «неписаного закона» придерживаются сегодня представители практически всех культур. В частности, вряд ли мы сможем легко обнаружить холостяка, стоящего во главе государства, да и вообще на вершине государственной иерархии.

Этот принцип сохраняется и в современных монархических режимах, что вполне естественно. Монарх, восходящий на престол, обязан быть социально полноценным субъектом, т.е. иметь жену. Незнание данной обычно-правовой нормы подчас приводит историков к неверным выводам при оценке тех или иных событий прошлого. Приведу пример.

К.Ф. Шацилло, доктор исторических наук, анализируя дневники последнего российского императора Николая II, пишет, что тот являл собой пример исключительной “эмоциональной тупости”. Основанием послужил известный факт, что Николай сочетался браком с Александрой Федоровной сразу после смерти своего отца – императора Александра III, скончавшегося 20 октября 1894 г. в условиях траура по покойному. Шацилло приводит текст из дневника Николая: “22 октября суббота: Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу. Мама, некоторые другие и я находил, что всего лучше сделать ее спокойно, пока еще дорогой Папа под крышей дома...” (Дневники 1991: 10). Шацилло комментирует: “”Дорогой Папа” едва остыв, лежит на первом этаже, любящий сын и мысли не допускает о том, что свадьбу можно отложить... и готов пировать над трупом отца этажом выше”. С точки зрения христианской морали необходимо было бы подождать хотя бы 40 дней, пока душа умершего не удалится на тот свет¹.

Представляется, что сам будущий император и его ближайшие родственники придерживались архетипической модели поведения. Для этой ментальности, сформировавшей в рамках идеологических представлений культа предков, в противовес христианским воззрениям, подобное поведение вполне правомерно. Предполагается, что «Папа» является свидетелем столь радостного события, когда его потомок, обретя социально-полноценный статус, т.е. вступив в брак, наследует его должность

Автор комментария, оценивая поведение Николая, исходит из христианских ценностей. Конечно, Шацилло прав в том, что Николаю как лидеру православной страны с многовековой историей следовало бы исходить отнюдь не из «языческих» ценностей. Тем не менее, данный поведенческий архетип, как видим, прочно удерживается на различных этапах развития общественной системы.

¹ Венчание состоялось 14 ноября 1894 года в Большой церкви Зимнего дворца.

Другой пример – история с восхождением на престол нового короля Марокко Мухаммеда Шестого 30-го июля 1999 года после смерти отца – Хасана Второго. Как сообщал ряд западных СМИ, церемония провозглашения нового короля проходила с некоторой задержкой, поскольку молодой монарх якобы должен был срочно... жениться. Дело в том, что, согласно традиции двора, королем мог стать только женатый престолонаследник. Кстати, столь же экстренно вынужден был оформить брак (опять-таки по слухам) и покойный Хасан перед восхождением на трон в 1961 году.

Марокканские власти официально опровергли подобные слухи, заявив, что они являются «фальсификацией, направленной на подрыв авторитета правящей династии и нового суверена» и что свадьба не могла состояться во время 40-дневного траура (Мухаммед VI: 2005).

Представляется, что на данном примере мы опять сталкиваемся с феноменом культурного плюрализма. Источником “компрометирующих слухов” могло стать только население Марокко, которое удерживает данный поведенческий архетип. С другой стороны, с точки зрения ислама подобное поведение неприемлемо. Иными словами, мы опять сталкиваемся с культурным конфликтом, но здесь реальное поведение отличается, от архетипического: хотя брак короля, видимо, состоялся после его провозглашения, тем не менее, он трактуется народной культурой в прежней системе ценностных координат

Традиционные взгляды на обретение мужчиной зрелости лишь после вступления в брак восходят к архаической социальной организации. Этнографические материалы, обнаруженные антропологами в XIX–XX столетиях, дали основания предполагать, что первичный социум строился на системе так называемых возрастных классов. Сначала такие общества были зафиксированы в Восточной Африке (Калиновская 1976), затем следы присутствия возрастных классов стали находить у народов других регионов мира¹.

Как предполагается, возрастные группы (классы) состояли из индивидов одного биологического возраста. Их было несколько, но главные – это дети, молодежь (неженатая), зрелые мужчины, старей-

¹ Далеко не все исследователи разделяют данную точку зрения, считая, что возрастной принцип, действительно, был определяющим в первобытных общественных структурах, но это не означало, все они когда-то состояли из институализированных возрастных образований (возрастных классов) (Бочаров 2000: 54-55).

шины и старики. Переход из класса в класс проходил одновременно по истечении некоторого времени, в среднем 6-8 лет. Он сопровождался специальными ритуалами («ритуалы перехода»), после чего все члены когорты получали новое имя, знаки отличия, обретали иные права и обязанности (Калиновская 1976). По мере их продвижения по возрастной лестнице права, связанные с принятием управленческих решений, а также статус когорт возрастали, достигая своего пика в степени старейшинства (40-45 лет). Затем снова шли на убыль. Старики, как и дети, вовсе исключались из управления обществом. Например, у *галла* (Восточная Африка) они именовались «немыми», т.е. так же как дети, не имевшие голоса при принятии решений (Бочаров 2000: 53–59). Практически они лишались голоса и в русской культуре (Белов 1984).

Брак и возраст в архаическом обществе. Кросскультурный анализ отчетливо свидетельствует о том, что социальная неполноценность повсеместно маркировалась в категориях возраста (*ребенок – раб*). В старославянском, чешском и словацком языках слово *отрок* также означало *раб*. Этимология слова отрок – неговорящий, бессловесный, не имеющий права говорить, т.е. принимать участие в управлении общественными делами. В частности, в Древней Руси *отроками* назывались не только дети, но и иноплеменные пленные, по сути, рабы. «*Челядь*», как утверждают лингвисты, также восходит к слову *дети*, т.е. люди, не имеющие никаких прав. В договорах Руси с Византией под *челядью* разумелись рабы-пленники. Наконец, и слово *холоп* также восходит к *детству*, холоп – хлопец, т.е. ребенок. Холоп в отличие от челядина – это раб, вышедший из *своих*, т.е. из недр местного общества (Бочаров 2001: 527).

Реконструкция ранних форм социальности дает основания предполагать, что первоначально вступление в брак происходило одновременно у всех представителей мужчин определенного возраста (определенного возрастного класса). В результате данная когорта юношей становилась полноправными мужчинами. Если до этого они участвовали в военной деятельности, осуществляя по приказу старших набеги на соседей, или занимались выпасом скота и другими подсобными работами, то теперь они допускались к принятию управленческих решений.

Пример подобной организации брачного процесса европейцы могли наблюдать еще в XX столетии у зулусов (Африка): «Юноши

собирались в военные краалы по воле короля...они действовали и как армия, и как полиция, и как рабочие команды...сражались в боях с врагами и делали набеги на чужие стада... Девушки как и юноши, также объединялись в возрастные группы или полки, но у девушек это было лишь номинально. Взрослые девушки примерно одинакового возраста, не включенные еще ни в какую группу, получали от короля общее групповое имя... Когда распускали какой-нибудь полк, т.е. позволяли им жениться..., король приказывал старшей женской группе с этого времени носить узел волос на макушке... и разрешал выходить замуж. Без королевского дозволения никто – ни девушки, ни мужчины – не имели права вступать в брак» (Брайант 1953: 128–131).

Повторные браки как «социальное омоложение». По мнению ученых, стройная архаическая система, когда вся когорта юношей одновременно вступала в брак по достижении определенного биологического возраста, начала давать сбой по мере усиления родового принципа в организации социальной структуры традиционного общества. Первостепенную роль начал играть материальный фактор. Теперь не все молодые люди могли вступать «вовремя» в брак, так как это стало зависеть от их биологических отцов, от способности последних заплатить калым. Если патриарх не мог этого сделать, то его сыновья, несмотря на биологический возраст, продолжали «ходить в мальчиках», т.е. не переходили в следующую возрастную степень. Подчас отцы попросту не хотели расставаться со своим привилегированным социальным положением, продолжая эксплуатировать труд своих сыновей. Поэтому, наблюдая за социумами, сохранившими архаическую структуру вплоть до XX столетия, антропологи нередко сталкивались с фактами, когда зрелые в биологическом отношении мужчины продолжали оставаться социальными детьми, т.е. не имели никаких управленческих прав. Например, М. Вильсон, изучая ньякуса в Южной Африке, застала картину, когда старый вождь и его поколение оставались у власти, хотя их срок давно вышел. Они объясняли, что молодежь «еще не созрела», чтобы их сменить, хотя «молодым» было порядка 40 лет. Здесь «сбой» в традиции произошел под влиянием англичан, которые стремились оставить старшее поколение у власти, т.е. вождя с его «двором», представлявшим одно поколение. При этом старики (в биологическом отношении) продолжали вступать в брак с женщинами, предназначенными для их сыновей. Таким образом они «омолаживали» себя социально, так как

именно брак с данной когортой женщин символизировал с точки зрения прежней традиции право на получение высокого статуса, т.е. власти. (подр. Бочаров 1992).

Иными словами, женщины выступали в качестве своего рода «хранительниц» власти, которую мужчины могли заполучить, только вступив с ними в брак. Отражение данного архетипического феномена В.М. Мисюгин обнаружил в фольклоре Древнего Египта, в частности, в мифе об Осирисе и Изиде. Старший «брат» Осирис имеет «сестру» – жену Исиду¹, а у долженствующего сменить его младшего «брата» Сета (представителя нисходящего возрастного класса и легитимного наследника Осириса) есть невеста Нефтида. Но Осирис женится и на ней, чем исключает Сета из права преемственности, и таким образом продлевает свое нахождение у власти. Иными словами, его «время» продлевается повторным браком. Предполагается, что сложившаяся на определенном этапе традиция продлевать нахождение во власти новым браком на молодой женщине вызвала к жизни институт полигинии, что в свою очередь, породило представление о бессмертии богов: «Видимо, в таком же “ключе” было архаическое представление о “бессмертии богов”, как бесчисленное повторение браков, например, бесчетность жен древнегреческого бога Зевса». Иными словами, социальное бессмертие, обретаемое путем заключения все новых и новых браков, стало осмысливаться как бессмертие биологическое (Мисюгин 1998: 120).

Убийство же Сетом Осириса также можно трактовать как отражение архетипического поведения в системе властных отношений, когда предыдущий правитель ритуально убивался. Это фиксировалось во многих африканских традиционных культурах (Бочаров 1992)

Женщина как «хранительница власти». Иными словами, «сестры» изначально – это возрастная группа (класс) женщин, с которыми вступала в брак когорта «братьев». «Сестра-жена», будучи «хранительницей» статуса власти, занимала достаточно высокое положение в социуме. С развитием же социально-политической организации брак на «сестре» продолжает легитимировать право правителя на власть. Этот поведенческий феномен раскрылся в полном виде в ин-

¹ По мнению В.М. Мисюгина термины родства в данном случае указывают не на кровное родство, а на классификационное, идентифицируя брачные группы «братьев» и «сестер»

ституте сестер-соправительниц, в котором «хранительница» власти могла сама также реализовывать властные полномочия. По мнению Л.Е. Куббеля, для случаев соправления характерно следующее: если жена правителя пользуется широкими правами в административной и судебных областях, то этими правами она обладает скорее как *сестра царя* или — после смерти мужа — как мать его восприемников, чем как супруга. (Ксенофонтова 2006).

Институт сестер – соправительниц зафиксирован этнографами у многих народов Африки от юга до севера, от запада до востока (Куббель 1960: 149–151). Он был также зафиксирован в иньском Китае, в древней Спарте, в Индии, в Северной Америке, на островах Микронезии (Ксенофонтова 2006). В этом институте, с одной стороны, сохранялся брак на «сестре», благодаря которому мужчина обретал статус правителя, с другой же, будучи «хранительницей», она и сама могла использовать часть властных полномочий. При этом же она должна была позиционировать себя как мужчина, так как властителем мог быть только мужчина. Яркий пример – древнеегипетская царица Хатшепсут (1525–1503 до н.э.), которая после смерти своего брата-мужа Тутмоса II стала фараоном. Приняв титулатуру фараонов, Хатшепсут стала изображаться в головном уборе хат с уреем, с накладной бородкой. Эти символы “маскулинности” царица часто надевала на официальных церемониях. Подобным же образом вели себя и африканские сестры-соправительницы (Куббель 1960).

Функция женщины как “хранительницы” мужского статуса-власти могла принимать и иные формы. Интересный пример дает этническая группа качин (Бирма), у которых несколько родов одной группы связывались брачными узами с другими родами, входящими в группу, стоящую ниже по своему социальному положению. Взаимный интерес был таков: в обмен на женщин, которых они уступали родам, стоящим ниже по социальному положению и желающим иметь жен более высокого происхождения, высокопоставленные роды получали брачную компенсацию, размер которой напрямую зависел от социального положения отдаваемых ими женщин (Рулан 1999: 107).

Аналогичную роль играла женщина и у Древних римлян: “Если отец единственной дочери умирал, не усыновив никого и не оставив завещания, то древний закон предписывал, чтобы наследником ему был его ближайший родственник, но наследник этот был обязан же-

ниться на его дочери... Она не наследовала сама лично, но через нее передавался культ и наследство” (Фюстель де Куланж 1906: 79–81).

Исчерпывающий материал, основанный на европейской истории, также свидетельствует о том, что любой “правитель со стороны” будь-то: чужак, завоеватель, узурпатор и т.д., “мог сделать свою власть легитимной в глазах членов социума лишь вступив в брак с женщиной с соответствующей родословной” (Грот 2009: 132–194). Классическим примером “хранительницы” является гомеровская Пенелопа, из-за которой отчаянно соревнуются мужчины, стремясь получить ее согласие на брак, сулящий избраннику высокий статус и богатство.

Отголоски данного архетипического пласта фиксируются в поведении современников. Хорошей иллюстрацией может служить брачное поведение большевиков после Октябрьской революции. Уже в 20-х гг. XX столетия новые “начальники” стали бросать своих “работниц” и жениться на представительницах дворянского сословия. Эта практика приняла серьезные размеры. Данная проблема даже была поставлена на обсуждение на одном из партийных форумов ВКП (б): “Можно привести цифровые данные, что товарищи разводятся с работницами и сходятся с бывшими генеральскими женами, с офицерскими женами, с купчихами и с кем угодно” (Партийная этика 1989: 211). Очевидно, что это было вызвано потребностями в новой социальной самоидентификации за счет привлечения традиционных (обычно-правовых) символов статусности. Иными словами, новые правители, как видно, сами ощущали эту потребность, а также стремились таким образом убедить окружение в легитимности своего нового положения в обществе, прибегнув к закодированному в человеческой культуре образу действий, где женщина является главным сигнификатором социально-политического статуса мужчины.

Интересные в связи с этим данные приводит наша коллега-этнограф Э.Панеш в своем исследовании этнических групп Западного Кавказа в СССР. По ее материалам *бжедуги* в советский период фактически монополизировали партийно-государственный аппарат «данного административно-территориального района», занимая в нем все посты. В результате проникновение туда представителей других племенных подразделений практически было невозможным. При этом имела место, по ее словам, имитация кровно-родственных отношений за счет установления своего рода экзогамии, когда муж-

чины, находившиеся у власти, вступали в брак преимущественно с русскими (Панеш 1995: 31). Выбор брачных партнеров диктовался этнической иерархией, существовавшей в Советском Союзе, в которой, как известно, русские выступали в качестве «старшего брата». Естественно, что браки с его «сестрами» укрепляли в сознании представителей окружающих племен, право бжедугов на верховенство.

Налицо и стремление современных «хозяев жизни» легитимировать свой статус браком с женщиной из престижных по прежним меркам социальных сфер: культуры, образования, науки и т.д., а также женщинах с дворянскими корнями, и даже принадлежащих к семьям бывшей партийной и советской номенклатуры.

Сексуальность и власть в архаической ментальности. Выше отмечалось, что появление института полигинии связано с процессом социальной дифференциации, когда возникавшая персональная власть стала легитимировать себя посредством брака с женщинами, предназначенными для следующего поколения. В античной мифологии на этой основе формируется идея бессмертия, которое приписывается богам, имеющим «несметное число жен». Словом, феномен полигинии стал идентифицироваться с сакральным статусом. Неудивительно, поэтому, что повсеместно у архаических лидеров (вождей, монархов) были самые большие гаремы, служившие маркером данного статуса.

Обретение подобным образом доминантной позиции осмысливалось архаическим сознанием в магических представлениях, восходящих к культу плодородия, наличие которого фиксируется этнографами практически повсеместно. Он связан с проявлениями сексуальности, половым актом как креативным космическим началом. В соответствии с этим число жен служило одним из главных маркеров сакральной Силы архаического лидера, посредством которой он обеспечивал природное и социальное плодородие. Для многих традиционных культур характерны фаллические обряды в честь богов плодородия, сопровождавшиеся сексуальными оргиями. На Украине, например, еще в XIX веке в период посева фиксировался обычай ритуального совокупления на полях. Мужские гениталии, особенно член, символизировали силу, могущество, власть, общее одухотворяющее, но необязательно детородное начало. В наскальных изображениях каменного века мужчины более высокого социального ранга наделяются более длинными членами. (Кон 1988).

Словом, наличие у вождя Силы в известном смысле отождествлялось с сексуальным здоровьем, за состоянием которого общество тщательно следило. Нельзя было допустить, чтобы лидер оказался «бессильным». Например, если старейшине, надзирающему в некоторых африканских племенах за гаремом вождя, становилось известно, что вождь стал совсем плох, то его ждала незавидная участь. Он далее не мог оставаться у власти, так как, с точки зрения соплеменников, его недомогания непременно негативно отразились бы на состоянии всего социума. В это верили и сами вожди. Есть сведения о том, что их настигала психогенная смерть, когда они обнаруживали у себя отсутствие Силы.

Поэтому ритуальные действия, в процессе которых лидеры обязаны демонстрировать свое «здоровье», – широко распространенная практика в архаических системах. Из арабских источников известно «о соитии царя русов в присутствии своих “сподвижников”, чем удостоверялась физическая сила царя. Об этом же свидетельствовало и число жен и наложниц царя русов и князя Владимира» (Фроянов 1996: 94–95). Много написано о подобных «подвигах», совершаемых прилюдно, известным африканским вождем Чакой-зулу (Риттер 1968).

Данный ментальный пласт обнаруживается в поведении и современных мужчин. Число «покоренных» женщин служит в мужской среде важным маркером статуса. Т.Б. Щепанская, пишет о данном феномене в субкультуре хиппи. По ее наблюдениям авторитет лидера тусовки, помимо прочего, зависит от числа «покоренных» им женщин: «у каждого “олдового” (*лидера – В.Б.*) обычно множество юных поклонниц». Продвижение по социальной иерархии опять же сопряжено с женщиной, которая выступает в качестве «объекта охоты»: «Тогда продвижение (повышение статуса) от “пионера” до “олдового” может быть описано как приближение (или же облегчение допуска) к “объекту охоты”. “Пионеру” охота запрещена... Он получает... *доступ к герлам, но только достигнув степени “олдовости”*».

По наблюдениям исследовательницы именно результаты «охоты» определяли статус мужчины в сообществе «для одних становится просто обилие сексуальных партнеров; для других – удачный брак; для музыкантов и художников – обретение восторженных почитательниц (и, как следствие, профессиональное самоутверждение). Именно таким путем приобрели первоначальную известность многие художники-авангардисты и музыканты, вышедшие из хипповской среды» (Щепанская 2005: 255–258).

Архетипическое поведение, ориентированное на демонстрацию Силы (сексуального здоровья), широко представлено сегодня в поведении пожилых мужчин. Нередко можно слышать их похвальбы о связях с молодыми женщинами, что, несомненно, мотивировано стремлением повысить свой статус в мужском коллективе. Это особенно заметно в поведении высокостатусных персон – политиков, преуспевающих бизнесменов. Они либо обзаводятся молодыми женами, либо нанимают в специальных агентствах молодую («презентабельную») женщину для участия в разного рода публичных мероприятиях. Она призвана демонстрировать Силу своего партнера, обеспечившую ему «жизненный успех».

Подобное поведение свойственно и пожилым политикам. В государствах Востока, зачастую, такие политики изображаются на портретах мужчинами «в расцвете сил», несмотря на их преклонный возраст. (Это памятно бывшим советским гражданам, именно такими они видели своих вождей на портретах, в реальности же дряхлых стариков). В этих государствах информация о состоянии здоровья верховного правителя всегда жестко табуирована. Молодая женщина же удостоверяет «физическое здоровье» власти. В коммунистической Болгарии 80-х гг. газеты пестрели фотографиями лидера страны Т. Живкова, в то время глубокого старика, вместе со своей молодой женой.

Еще более контрастно подобное поведение было представлено в коммунистическом Китае. По широко распространенной мифологии, у Мао Дзе Дуна существовал своего рода гарем из молодых девиц, сексуальность которых, как утверждается, служила омолаживающим фактором для старого вождя. Данная трактовка, на мой взгляд, имеет самое прямое отношение к упоминавшимся выше древним мифам, увязывавшим многоженство с бессмертием. Кстати, и поведение стареющего генсека КПСС Л. Брежнева, по воспоминаниям очевидцев, нарочито демонстрировавшего свою связь с молодой стюардессой, имеет, на мой взгляд, те же истоки (Бочаров 2006: 360–376).

Данный поведенческий архетип можно фиксировать и в поведении западных политиков. Интересна в этом смысле реакция населения США на известный скандал, связанный с сексуальными похождениями президента Б. Клинтона: «Произошла любопытная вещь: популярность президента в действительности возросла...» (Харрис 2003). Данной факт свидетельствует, с одной стороны, об укорененности в «народном» сознании известных архетипических представлений,

увязывающих сексуальность с Силой, с другой же – об их конфликте с официальным поведенческим кодексом западного политика, истоки которого лежат в христианском аскетизме. Поведение же публичного политика, по определению стремящегося к популярности, ориентировано именно на народное сознание, а поэтому его «девиантное» поведение в этой сфере, с точки зрения норм официальной морали, на самом деле ведет к росту его популярности. В этой же плоскости можно рассматривать и брак президента Франции Н. Саркози и известной модели К. Бруни, который, несомненно, сигнализирует о «покорении» политиком «секс-символа», что привело к росту его популярности, хотя многие СМИ изначально негативно освещали данное событие. В настоящее время активно обсуждается беременность К. Бруни, при этом доминирует мнение, что этот факт будет серьезным аргументом в пользу действующего президента на предстоящих президентских выборах во Франции.

Безбрачие в молодежно-военной культуре и политическая власть. Политическая власть с момента ее зарождения старалась регламентировать брачный процесс, контролируя таким образом социальную динамику своих подданных. Как отмечалось, без дозволения зулусского вождя «никто – ни девушки, ни мужчины – не имели права вступать в брак». Это было важно для раннего политического объединения типа вождества, так как его ядром была дружина, которая состояла из неженатой молодежи. Традиция, предписывающая неженатой молодежи заниматься войной (набегами) еще более древняя, связанная социальной организацией построенной на возрастном принципе. У зулусов юноша пребывал в дружине до 30 лет, что считалось очень долгим сроком, но уволиться он мог только с разрешения верховного вождя и, лишь затем вступить в брак, обретая тем самым статус полноценного члена социума. Словом, регламентация брачного процесса была необходима для поддержания института дружины – центрального для данной стадии политогенеза.

Власть лидера, позволявшая ему устанавливать сроки пребывания в дружине юношества, исходила из новых возможностей, которые тот обрел с появлением вождества. Теперь он брал на себя функции отца семейства, обеспечивая своих воинов брачным калымом, из тех ресурсов, которые захватывались посредством военных экспедиций. Поэтому в дружину шли преимущественно сыновья бедных родителей, не имевших возможности обеспечить ресурсами своих чад.

Таким образом, дружинники были полностью лояльны вождю, так как теперь только от него зависело их социальное будущее, соответственно, они и называли вождя «отцом».

Сами же великие вожди зулусов (Чака, Дингаан и др.), несмотря на свой биологический возраст, оставались холостяками, символизируя таким образом приверженность военно-молодежной традиции. Этим самым они как бы приносили себя в жертву, оставаясь в низком статусе ради интересов общества, хотя и имели большие гаремы. Словом, безбрачием они демонстрировали приверженность своему воинству, служившему теперь главной опорой власти. С другой стороны, гарем свидетельствовал об их Силе, легитимируя в соответствии с известными магическими представлениями, их право на лидерство.

В поведении вождей эпохи тоталитаризма, опиравшихся на армию, также отчетливо фиксируется архетипический поведенческий пласт, символизирующий принадлежность лидера к неженатой молодежи, независимо от его биологического возраста. А. Гитлер, как известно, отвечал на вопросы о своем безбрачии словами: «Моя невеста – Германия». Сталин, став диктатором, предпочел остаться холостяком, подчеркивая свой статус ношением военной формы. Ряд лидеров подобного толка, обретя дикторские полномочия в брачном статусе, резко изменили свое поведение, откровенно демонстрируя молодецкий разгул с множеством женщин (Ататюрк, Тито). Подобное поведение символизировало с одной стороны их «свободу», предназначенную для «свершения великих дел во имя нации», с другой же – их Силу. Муссолини, как известно, не только открыто ее демонстрировал в поведении с женщинами, но и сделал свой день рождения государственной тайной, что гарантировало ему «вечную молодость».

Корреляция безбрачия со статусом воина, а также стремление политической власти регулировать брачный процесс фиксируется в середине XIX века практически во всех европейских странах. Военнослужащие должны были получать разрешение на брак у высшего начальства (военного министерства или даже главы государства). Также запрещалось создавать семьи до достижения определенного возраста; имело место квотирование семейных лиц (с этой целью в каждом полку устанавливалась предельная доля женатых); от вступивших в брак требовалось материальное возмещение (Веремenco 2006).

В России XVIII века запрещалось жениться солдатам и студентам, а также детям дворян, не поступавшим в школы и на государственную

службу. Иными словами, власть препятствовала обретению социальной полноценности по обычно-правовым меркам традиционного общества без достижения соответствующего статуса в государственной иерархии. В XIX в. браки чиновников и военных, социального оплота государства, также контролировались властью. В 1899 г. начала свою работу комиссия под председательством генерал-майора С.И. Бибикова. Итогом ее деятельности, в целом поддержанной Военным советом, стало издание нового закона о браках офицеров, объявленного в приказе по военному ведомству № 102 от 19 марта 1901 года. Повышался статус руководителей, дававших согласие на брак. (Веремеенко 2006).

Насилие над женщиной в рамках военной культуры. В традиционных обществах, в которых война было делом неженатой молодежи, насилие над женщиной расценивалось как проявление молодечества и удалства, что повышало статус насильника в среде сверстников. Причем акции подобного рода, похоже, носили ритуальный характер, увязывались с обрядами инициации. В русской культуре: «Для молодых мужчин участие в них (*подобных акциях* – В.Б.) нередко превращалось как бы в “пропуск” в среду сверстников или в молодежный союз» (Блуд на Руси 1997). Данная поведенческая норма входила в «этический кодекс» войны повсеместно, когда насилию подвергались женщины побежденных. И сегодня многочисленные сведения, поступающие из «горячих точек», говорят о том, что изнасилование женщин поверженных врагов остается одной из составляющих поведенческого «кодекса победителей».

Эти акции, учитывая, что архаическая ментальность жестко увязывала мужчину и женщину в единое целое, символизировали доминирование над побежденными мужчинами. Яркие пример, когда изнасилование выступает в качестве подобного рода маркера, имеется в нашей Древней истории. Иностранец, свидетельствовал: «Ярополк направляется к брату. Когда он входит в ворота, то два варяга умерщвляют его на глазах Владимира, смотрящего на это с некой башни. По свершении этого, Владимир изнасиловал жену брата, родом гречанку» (Контарини 1989: 41). Итак, убив соперника в борьбе за власть, победитель насилует его жену, символизируя тем самым окончательное подчинение и иных «ипостасей конкурента» своей воле.

Подведем итоги. В первичном социуме формируется распределение сфер влияния по гендерному признаку, когда мужчина домини-

рует в социальном пространстве «вне дома», женщина – внутри домохозяйства. Правда, она, скорее, «управляет», чем «властвует», так как в качестве формального доминанта и здесь выступает мужчина. Подобное распределение ролей объясняется психофизиологическими особенностями разнополюх организмов.

Однако, во «внешнем пространстве» власть мужчины детерминирована женщиной. Только брак делает его правоспособным к осуществлению властно-управленческих функций. С разложением первобытной формации лидеры (старшие) начинают «перекрывать» доступ молодежи к женщинам, вступая в повторные браки, вопреки традиции, с теми их представительницами, которые предназначались для молодого поколения. Тем самым, они как бы социально омолаживались, получая таким образом право продолжать исполнять престижные властные полномочия. Здесь коренятся истоки полигинии. По мере нарастания социальной дифференциации, появления специализированных институтов власти, женщины высоких социальных страт становятся «хранительницами власти», брак с которыми только и может обеспечить мужчине доминантный статус.

С возрастом роли войны в общественно-хозяйственной деятельности, в которой задействована преимущественно молодежь, наблюдается обратная тенденция, а именно: безбрачие, символизирующее принадлежность к воинству, начинает определять авторитет полководца. В тоже время власть жестко регламентирует брачную активность своих подчиненных, сосредоточивая в своих руках, в том числе, и необходимые для этого материальные ресурсы.

Социальные причины, определявшие чрезвычайно важную роль женщины для обретения мужчинами власти, осмысливались архаической ментальностью посредством магических представлений, воплощавшихся прежде всего в культе плодородия. Здесь первостепенное значение имел сексуальный аспект брачных отношений, в рамках которых «сексуальное здоровье» мужчины идентифицировалось с наличием сакральной Силы, за счет которой лидер в состоянии обеспечить природное и социальное плодородие, а, значит, гарантировать социуму стабильное существование. В результате, маркером их авторитета стало большое количество жен, а для военных предводителей соответствующие гаремы.

В рамках военной культуры мужчины, соперничая между собой, символизировали свое доминирование насилием над женщинами

поверженных. Данный феномен имеет истоки в обычно-правовой норме, не признававшей женщину (как и детей) полноправным социальным субъектом, а лишь продолжением (ипостасью) мужчины, с которым она ассоциировалась.

Наконец, мы приходим к выводу о том, что сформировавшиеся на заре человеческой истории поведенческие стереотипы продолжают во многом определять поведение людей на всем протяжении истории. Данные «психологические документы» (по выражению Л.С. Выготского) отчетливо фиксируются и у современных акторов, рефлекслируемых, правда, в категориях целе-рациональной ментальности.

ЛИТЕРАТУРА

- Белов В. 1984. Лад. *Избранные произведения*. Т.3. М.
Блуд на Руси. 1997. М.: Колокол-Пресс.
- Бочаров В.В. 1992. *Власть. Традиции. Управление. Попытка этноисторического анализа политических культур современных государств Тропической Африки*. М.: Наука.
- Бочаров В.В. 2000. *Антропология возраста*. СПб.: Изд-во СПбГУ.
- Бочаров В.В. 2001. *Антропология насилия. Антропология насилия*. СПб.: Наука.
- Бочаров В.В. 2006. Россия: Молодость против старости? Антропологический аспект. *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии*. Т.1. *Власть в антропологическом дискурсе*. СПб.: 360–376.
- Бочаров В.В. 2006а. Истоки власти. *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии*. Т.1. *Власть в антропологическом дискурсе*. СПб.: 172–224.
- Брайант А. 1953. *Зулусский народ до прихода европейцев*. М.
- Веременко В.А. 2006. Семья в обход закона. *Военно-исторический журнал*, №3: 55–59.
- Геодакян В.А. 1965. Роль полов в передаче и преобразовании генетической информации. *Проблемы передачи информации*. Т.1. №1: 105–112.
- Гиренко Н.М. 2006. Диалектика пола в структуре первичного социума. *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии*. Т.1. *Власть в антропологическом дискурсе*. СПб.: 377–390.

- Грот Л.П. 2009. Алгебра родства и практика призвания правителя «со стороны» в европейской истории. *Алгебра родства*. Вып.12. СПб.: 132–194.
- Дневники императора Николая II. 1999. М.: Орбита.
- Желобовский А.И. 1892. *Семья по воззрениям русского народа*. Воронеж.
- Калиновская К.П. 1976. *Возрастные группы народов Восточной Африки*. Л.: Наука.
- Кон И.С. 1988. *Введение в сексологию*. М.: Медицина.
- Ксенофонтова Н.А. 2006. Женщина как действующее лицо африканской истории. Взгляд сквозь пространство и время. *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии*. Т.1. *Власть в антропологическом дискурсе*. СПб.: 417–431.
- Куббель Л.Е. 1960. Древнейшее сообщение о соправлении брата и сестры у африканских народов. *Советская этнография*, № 6.
- Мисюгин В.М. 1998. *Становление цивилизаций*. СПб.
- Мухаммед VI // Люди. Peoples. Ru 2005 // http://www.peoples.ru/state/king/morocco/mohammed_VI/.
- Панеш Э. 1995. Традиции в политической культуре народов Северного Кавказа. *Этнические аспекты власти*. СПб.: 13–35.
- Партийная этика: Дискуссии 20-х гг. 1989. М.
- Риттер Э. А. 1968. *Чака Зулу. Возвышение зулусской империи*. М.: Наука.
- Тюгашев У.А. 2006. *Семьеведение*. Новосибирск.
- де Куланж, Фюстель. 1906. *Гражданская община древнего мира*. СПб.
- Фроянов И.Я. 1996. *Рабство и данничество*. СПб.: Изд-во СПбГУ.
- Харрис Р. 2003. *Психология массовых коммуникаций*. СПб.
- Щепанская Т.Б. 2005. Термины родства в группировках хиппи. *Алгебра родства*. Вып.1. СПб.: 247-260.

ТЮРКСКИЕ И УЙГУРСКИЙ КАГАНАТЫ: ДВА ПУТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Великий Тюркский каганат (552–603 гг.) – наиболее масштабное политическое образование тюрков. В период активной фазы экспансии (до конца 570-х гг.) тюрки смогли захватить территории с оседлым населением в Восточном Туркестане, Семиречье, междуречье Амударьи и Сырдарьи, в союзе с согдийцами установить контроль над транзитными торговыми путями, получали дополнительные доходы от торговли шелком и другими товарами. Этим целям отвечало постепенное усложнение институтов власти, введение надплеменных должностных лиц, деление империи на уделы, начало дистанционной эксплуатации ресурсов Китая и т. д. (Гумилев 1967; Кляшторный 2000; 2003; Кляшторный, Савинов 2005; Барфилд 2009; Васютин 2011а и др.). Однако стратегия усложнения каганата натолкнулась на начавшийся дезинтеграцию, обособление двух центров власти в Монголии и Семиречье, последовавшие затем внутренний конфликт между представителями дома Ашина и, наконец, раздел каганата на западную и восточную части.

В целом как для Великого (Первого) Тюркского каганата, так и для его наследников в Монголии – Восточно-тюркского и Второго Тюркского каганатов была характерна энтропия власти, при которой правители третьего-четвертого поколения отказывались от имперско-завоевательной стратегии и основной упор делали на воспроизводство архаичных кланово-племенных традиций управления и поддержание своего авторитета с помощью престижной экономики (Крадин 2000; 2002; Васютин 2005). Тем самым условий для последовательного формирования государственных структур у тюрков не было.

Следует уточнить, что контроль тюрков за городами в Восточном Туркестане, Семиречье, бассейне Зеравшана первоначально не оказывал серьезного влияния на характер институтов власти в Первом Тюркском каганате, не вел к их усложнению, поскольку кочевники чаще всего ограничивались единовременными контрибуциями либо более или менее постоянным сбором дани. Если говорить о Восточно-тюркском и Втором Тюркском каганатах, то по большому счету

мы и не знаем какими были методы управления их представителей над городскими общинами Восточного Туркестана. Источники скорее намекают на политические и династические связи, но практически молчат о тюркской администрации (Бичурин 1950а; 1950б; Liu Mau-tsaï 1958). Вероятно и в этом случае тюрки ограничивались получением дани от городов, что не могло существенно трансформировать власть в каганатах.

Так же известно, что тюрки также осуществляли контроль над северными территориями (Тува, Хакассия, Алтай). Археологические данные позволяют предполагать наличие здесь гарнизонов и военно-административных лиц отвечавших за лояльность местного населения и, возможно, сбор дани (Худяков 1994; 2004). Однако фискально-административная деятельность тюрков в ряде регионов Саяно-Алтая не меняла политическую сущность центральных органов управления Тюркских каганатов.

Сказанное выше не означает, что тюркские кочевые империи не могли идти по пути усложнения. Так, Второй Тюркский каганат в годы правления Капаган-кагана потенциально мог эволюционировать в предгосударственное объединение, но кризис 712–716 гг. не позволил тюркам доминировать в регионах с оседло-городским населением. Изоляционистская политика Бильге-кагана и Кюль-тегина фактически ограничивали зону устойчивой власти тюрков Отюкенской чернью. Очевидно, что имперские структуры в правление Бильге регрессировали, что в дальнейшем приведет к падению каганата (Васютин 2010а).

Таким образом в Тюркских каганатах порог политической сложности, связанный с государством, не был преодолен и эти имперские образования тюрков можно определять как сложные и суперсложные вожества.

Уйгуры, создавшие свою империю практически в тех же территориальных рамках, что и Второй Тюркский каганат, демонстрируют нам другую модель политического развития. Заимствовав многое из политического опыта Тюркских каганатов, они все же пошли по пути усложнения политических институтов. В этой связи особо стоит отметить последствия градостроительства на территории Уйгурского каганата. Показательна трансформация резиденции уйгурских каганов в настоящий степной мегаполис Орду Балык (Карабалгасун или Хар Балгас) с крепостью и окружающими многочисленными поселе-

ниями земледельцев, торговыми местами, садами. Общая площадь всего комплекса превышает 25 км². Одновременно в степной Монголии выросли другие городские центры, такие как Байбалык (Baibalig или Бий булаг Балгас), Чилим-балгас, Тойтен-Толгой, Тайджин-Чуло, Цаган Сумин Балгас, вероятно существовавший город-поселение на месте Каракорума, а в северных владениях уйгуров – целая линия укрепленных городищ (например, Шангорские городища I, II, III, IV, Бажын-Алак, Эльдиг-Кежиг, Пор-Бажын и др.) (Киселев 1957; Пэрлээ 1961; Кызласов 1959; 1979; Данилов, 2004; Цэвээндорж, Баяр, Цэрэндагва, Очирхуяг 2008; Ahrens, Bemann, Klinge, Lehman, Munkhbayar, Oczipka, Piezonka, Schütt 2008; Крадин 2008; 2011; Hüttel, Erdenebat 2009 и др.). Есть также основания считать, что до возведения киданями на берегу р. Толы крепости Кэдунь (городище Хэрмэн дэнж) на этом месте существовал уйгурский город (Крадин, Ивлиев, Очир, Васютин, Эрдэнэболд 2011; Крадин, Ивлиев, Очир, Васютин, Данилов, Никитин, Эрдэнэболд 2011; Васютин 2011б). Показательна полифункциональность городов в центре Уйгурского каганата – административное управление, ремесленно-земледельческая деятельность, торговля, осуществление религиозных культов и церемоний, военные крепости. Это позволяет высказать предположение о существовании в Уйгурском каганате военной и гражданской администрации – что является одним из свидетельств формирования государственности. Рост гражданских и военных чиновников фиксируются и на провинциальном уровне. Одновременно с этим в каганате оформляется сложная по составу элита, включавшая уйгурскую аристократию и служилую знать, согдийское купечество, племенных лидеров, высшее манихейское духовенство (Васютин 2011в). Чтобы однозначно говорить о государственности у уйгуров требуется специальное исследование, в том числе и изучение уйгурских городищ.

Уйгурский каганат завершает виток формирования степной цивилизации Монголии. Наряду с обработкой железа, письменностью, сложной этносоциальной структурой появляются сеть городов с многочисленными администраторами, в долинах Орхона и Толы развивается земледелие с использованием ирригации. Имеются все основания говорить о возникновении в Уйгурском каганате ранней государственности. Венцом данных изменений стало принятие элитой кочевой империи манихейства. Судя по культурным изменениям (например, отказ от установки стел с надписями на поминальных па-

мятников) это была устойчивая (минимум на несколько десятилетий) религиозно-культурная традиция.

Возможность сравнения Тюркских и Уйгурского каганатов по формальным показателям дают критерии сложности разных политий Дж. Мёрдока. Всего Дж. Мёрдоком было выделены 10 признаков: 1) Письменность и записи; 2) Степень оседлости; 3) Земледелие; 4) Урбанизация; 5) Технологическая специализация; 6) Наземный транспорт; 7) Деньги; 8) Плотность населения; 9) Уровень политической интеграции; 10) Социальная стратификация. Каждый признак имел оценочную шкалу от 0 до 4 баллов. Например, такой критерий как “письменность и записи” дифференцировался следующим образом: 0 – письменность, записи, мнемонические средства отсутствуют; 1 – используются мнемонические средства, например фишки; 2 – используются неписьменные записи в форме пиктограмм, кипу, рисунков и др.; 3 – имеется письменность, но без аккумуляции записей или использована письменность чужого народа; 4 – имеется письменность и хотя бы “скромные” записи” “урбанизация”: 0 – население местных общин в среднем менее 100 чел.; 1 – население местных общин в среднем между 100 и 199 чел.; 2 – население местных общин в среднем между 200 и 399 чел.; 3 – население местных общин в среднем между 400 и 999 чел.; 4 – население местных общин в среднем более 1000 чел.; “уровень политической интеграции”: 0 – безгосударственное децентрализованное общество; 1 – безгосударственное общество, состоящее из автономных общин; 2 – один уровень иерархии, как-то полития, объединяющая локальные общины; 3 – два уровня иерархии, например полития, разделенная на районы; 4 – три и более уровня иерархии, например государство, разделенное на области и на районы.

На основе данных критериев Дж. Мёрдок и К. Провост выявили индекс сложности 186 обществ (Murdock, Provost 1972). Данный подход был апробирован и на материалах кочевых империй (Крадин 2004; 2007; Васютин 2010б; Васютин Дашковский 2009). С тем чтобы проследить динамику в развитии анализируемых кочевых обществ, были выбраны несколько хронологических срезов, связанных с важными этапами политической истории Тюркских и Уйгурского каганатов, относительно которых и были проведены расчеты и примерная оценка уровня сложности имперских образований тюрков и уйгуров. Кроме того стоит учесть, что в случае с Тюркскими каганатами речь

идет о степной территории, т. е. о местах размещения собственно кочевников. Если же учитывать, что в состав империй тюрков входили и земли с оседло-городским населением (Восточный Туркестан, Семиречье), то показатели будут более высокими. Но выше мы уже стремились показать, что влияние данных анклавов оседлой жизни мало влияло на жизнь степного сообщества при тюрках. Поэтому для чистоты сравнения мы будем брать показатели, отражающие уровень развития только населения монгольских степей в эпоху Тюркских и Уйгурского каганата.

Таблица № 1

Динамика уровня сложности Первого Тюркского каганата

№№	Важные этапы в политическом развитии Первого Тюркского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мёрдока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	552 гг.	2	0	0	0	3	3	1	1	2	2	14
2.	570-е гг.	3	0	0	0	3	3	1	1	3	2	16

Таблица № 2

Динамика уровня сложности Восточно-тюркского каганата

№№	Важные этапы в политическом развитии Восточно-тюркского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мёрдока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	603 г.	3	0	0	0	3	3	1	1	3	2	16
2.	629 г.	3	0	0	0	3	3	1	0	3	3	16

Таблица № 3

Динамика уровня сложности Второго Тюркского каганата

№№	Важные этапы в политическом развитии Второго Тюркского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мёрдока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Конец 680-х гг.	3	0	0	0	3	3	1	1	2	2	15
2.	После 716 г.	4	0	0	0	3	3	1	1	3	3	18
3.	743–744 гг.	4	0	0	0	3	3	1	1	3	2	17

Таблица № 4

Динамика уровня сложности Уйгурского каганата

№№	Важные этапы в политическом развитии Уйгурского каганата	Баллы в соответствии с критериями Дж. Мёрдока										Всего
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	745 г.	4	0	1	0	3	3	1	1	2	2	17
2.	783 г.	4	3	1	4	4	3	2	1	4	3	29
3.	Конец 830-х гг.	4	3	1	4	4	3	2	1	4	3	29

Полученные результаты достаточно условны, но показывают довольно существенные различия в сложности форм власти у кочевников. Так в уровне сложности Восточно-тюркского и Второго Тюркского каганатов мы не наблюдаем сколько-нибудь существенной динамики, в то время как уйгурская полития демонстрировала постепенное усложнение своей социально-политической организации. Кроме того, проведенное исследование на основе критериев Дж. Мёрдока показывает, что если тюркские кочевые империи в Монголии балансировали в основном на грани кланово-племенной власти (от 14 баллов) и функционирования структур сложного и суперсложного вожеств (17–18 баллов), то у уйгуров фиксируются прогрессивные тенденции развития от сложного вожества (17 баллов) к раннему государству (29 балла).

Таким образом Тюркские каганаты и Уйгурский каганат представляют собой две разные модели политической адаптации кочевников в монгольских степях.

ЛИТЕРАТУРА

- Барфилд Т. 2009. *Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. – 1757 г. н. э.)* / Пер. Д.В. Рухлядева, Б.В. Кузнецова; науч. ред. и автор пред. Д.В. Рухлядева. СПб., 2009 // URL: <http://barfield.narod.ru>.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф). 1950а. *Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена*. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф). 1950б. *Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена*. Т. II. М.; Л.: Изд-во АН СССР.
- Васютин С.А. 2005. Лики власти (к вопросу о природе власти в кочевых империях). *Монгольская империя и кочевой мир*. Отв. ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова. Кн. 2. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН.
- Васютин С.А. 2010а. Внешнеполитические стратегии и организация верховной власти во II Тюркском каганате. *Известия Уральского государственного университета*. Серия 2. Гуманитарные науки. № 3 (79): 49–63.

- Васютин С.А. 2010б. Основные модели организации власти у кочевников Центральной Азии периода раннего средневековья (в свете теории многолинейности). *Восток. Афро-азиатские общества: история и современность*. № 4: 20–34.
- Васютин С.А. 2011а. Антропология верховной власти в кочевых империях (по материалам эпохи Тюркских каганатов). *Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени*. Вып. 72: 306–329.
- Васютин С.А. 2011б. Киданьское городище Хэрмэн дэнж и Тогу-Балык кошо-цайдамских надписей: к вопросу о происхождении и этнокультурной принадлежности города начала VIII в. на р. Толе. *Вестник Бурятского научного центра сибирского отделения Российской Академии наук*. № 4: 63–71.
- Васютин С.А. 2011в. Уйгурский каганат – цивилизационная альтернатива пасторальным империям Центральной Азии I тыс. н. э. *Вестник Томского государственного педагогического университета*. № 11: 28–34.
- Васютин С.А. Дашковский П.К. 2009. *Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования)*: Монография / Науч. ред. Н.Н. Крадин. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та.
- Гумилев Л.Н. 1967. *Древние тюрки*. М.: Наука.
- Данилов 2004 – Данилов С.В. 2004. *Города в кочевых обществах Центральной Азии*. Улан-Удэ, Изд-во БНЦ СО РАН.
- Дробышев Ю.И. 2009. Уйгурский каганат – нетипичная кочевая империя. *Восток (Oriens). Афро-азиатские общества: история и современность*. № 3: 17–26.
- Киселев С.В. 1957. Древние города Монголии. *Советская археология*. № 2: 91–101.
- Кляшторный С.Г. 2000. Первый Тюркский каганат. *История Востока. Т. 2. Восток в средние века*. М.: 60–67.
- Кляшторный С.Г. 2003. *История Центральной Азии и памятники рукописного письма*. СПб.: Филологический факультет СПбГУ.
- Крадин Н.Н. 2000. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция. *Альтернативные пути к цивилизации* / Отв. ред. Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Д.М. Бондаренко и В.А. Лынша. М.: 314–336.

- Крадин Н.Н. 2002. Структура власти в кочевых империях. *Кочевая альтернатива социальной эволюции* / Отв. ред. Н.Н. Крадин и Д.М. Бондаренко. М.: 109–128.
- Крадин Н.Н. 2004. Комплексные общества номадов в кросс-культурной перспективе. *Монгольская империя и кочевой мир* / Отв. ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова. Улан-Удэ: 20–49.
- Крадин Н.Н. 2007. *Кочевники Евразии*. Алматы: Дайк-пресс.
- Крадин Н.Н. 2008. Урбанизационные процессы в кочевых империях монгольских степей. *Монгольская империя и кочевой мир* / Отв. ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова. Кн. 3. Улан-Удэ: 330–346.
- Крадин Н.Н. 2011. Города в средневековых кочевых империях монгольских степей. *Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени*. Вып. 72 (1–2): 330–351.
- Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л., Очир А., Васютин С.А., Эрдэнэболд Л. 2011. Результаты исследования городища Хэрмэндэнж в 2010 г. *Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы международной научной конференции* (Иркутск, 3–7 мая, 2011 г.) / Под общ. ред. А. В. Харинского. Иркутск: 430–440.
- Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л., Очир А., Васютин С.А., Данилов С.В., Никитин Ю.Г., Эрдэнэболд Л. 2011. *Киданьский город Чинтолгай-балгас* / Отв. ред. Н.Н. Крадин. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН.
- Кызласов Л.Р. 1959. Средневековые города Тувы. *Советская археология*. № 3: 66–80.
- Кызласов Л.Р. 1979. *Древняя Тува*. М.: Изд-во МГУ.
- Пэрлээ Х. 1961. *Монгол ард улсын эрт, дундад уеийн хот суурины товчон*. Улаанбаатар.
- Цэвээндорж Д., Баяр Д., Цэрэндагва Я., Очирхуяг Ц. 2008. *Археология Монголии*. Улаанбаатар.
- Худяков Ю.С. 1994. Тюрки и уйгуры в Минусинской котловине. *Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I–II тысячелетиях н. э.* / Ред. коллегия А.И. Мартынов и др. Кемерово: Кузбассвузиздат.
- Худяков Ю.С. 2004. *Древние тюрки на Енисее*. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН.

- Ahrens B., Bemmann J., Klinger R., Lehman F., Munkhbayar L., Oczipka M., Piezonka M., Schütt B. 2008. Geoarchäeology in the Steppe – a new multidisciplinary Project Investigating the Interaction of Man and Environment in the Orkhon Valley. *Археологийн судлал*. Т. (VI) XXVI. Улаанбаатар: 311–327.
- Hüttel H.-G., Erdenebat U. 2009. *Karabalgasun und Karakorum – zwei spätnomadische Stadtsiedlungen im Orchon-Tal*. Ulaanbaator.
- Murdock G., Provost C. 1972. Measurement of Cultural Complexity. *Ethnology*. 12 (4). С. 379–392.
- Liu Mau-tsai. 1958. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Türken (T'u-küe). B. I. Texte. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

КАТАФРАКТАРИИ И САРМАТСКИЙ СОЦИУМ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Появление катафрактарной конницы ознаменовало собой важные изменения в военной сфере древних обществ. Тяжелая конница смогла значительно потеснить пехоту с полей сражений, и изменить ход военной истории. Для кочевников применение катафрактариев позволило более эффективно взаимодействовать с оседлым миром. В настоящее время существует большая литература по сарматским катафрактариям (Блаватский 1954; Десятчиков 1968; Хазанов 1971; Mielczarek 1993; Симоненко 2002, 2009; Туаллагов 2004; Перевалов 1999 и др.).

Вокруг тяжелой конницы сарматов развернулось несколько дискуссий. Предметы обсуждения – комплекс вооружения катафрактариев, проблема сарматской посадки, вопросы тактики, обстоятельства появления этого вида конницы, влияние сарматов на Рим и Боспор и т.п. Так, нет полной ясности и в вопросе, что именно понимать под катафрактариями у кочевников. А.М. Хазанов считает, что для катафрактариев характерны три признака – воинский и конский доспех, длинные копьё и особый тактический прием – атака клинообразным сомкнутым строем. Но существование конского доспеха у кочевников оспаривается. А.В. Симоненко указывает на то, что мало найдено фрагментов панциря и копий. Однако редкие находки доспеха и наконечников копий в археологических комплексах (Нефедкин 2004: 42) еще не свидетельствуют о редкости доспехов в сарматском обществе. Античные авторы и изображения сарматов надежно фиксируют тяжелую конницу у сарматов и аланов (Тацит История. I. 79; Аммиан Марцеллин XXIX. 6. 14. XXXI. 2.17; Иордан Гетика, 50; Валерий Флакк Аргонавтика. VI, 231–233; пантикапейские фрески, рельеф Трифона из Танаиса, изображение всадников на серебряном кубке из косикского клада, колонне Траяна). Встречаются доспехи и в археологических комплексах – зубовско-воздвиженская группа и «Золотое кладбище» на Кубани (Гущина, Засецкая 1989, 1994). В погребении был найден даже конский доспех (Гущина, Засецкая 1989: 73).

Несмотря на пристальное внимание исследователей к проблеме тяжелой конницы, в исследованиях слабо затронут очень важный вопрос – социальные аспекты появления катафрактарной конницы в сарматской среде (под сарматами мы подразумеваем кочевой мир Европы и прилегающих областей Азии сарматского времени). Мы можем выделить следующие вопросы: почему возникла катафрактарная конница, каковы условия возникновения катафрактарной конницы, какова производственная база этого вида войска у номадов, какова социальная организация катафрактариев?

На вопрос о том, почему возникла потребность в катафрактарной коннице, ответ дает А.М. Хазанов – усиление армий оседлых обществ и развитие тяжелой пехоты вынудило номадов искать адекватный ответ. Для военных конфликтов между кочевниками тяжелая конница не так актуальна, как при столкновениями с армиями оседлых обществ. Хотя, конечно, с момента возникновения тяжелой конницы она стала важнейшим фактором боевых столкновений и на территории степной зоны. Для выяснения отношений номадов с оседлыми народами перспективно использовать концепцию экзополитарного (ксенократического) способа производства у номадов. У кочевников нет внутренних ресурсов для развития, и вместе с тем они нуждаются в продукции оседлого общества. Это заставляет их прибегать к военной силе (где у них есть очевидные преимущества) для извлечения у соседей прибавочного продукта. Сохраняя у себя традиционные племенные структуры, вполне эффективные для военной мобилизации, а также относительную однородность общества, номады формируют экономический фундамент своих политических образований вне степи. Таким образом, для оседлого населения номады могут рассматриваться как ксенократическая надстройка над земледельческим базисом. Катафрактарная конница стала очень эффективным орудием кочевников при взаимодействии с оседлыми обществами, позволяя противостоять войскам могучих империй и успешно осуществлять экзоексплуатацию. Аммиан Марцеллин описывает эпизод IV в. н. э. на Дунае, характерный именно тем, что сарматы одолели регулярные части римской армии: «Хитрые сарматы... прорвали боевую линию Паннонского легиона и, разделив силы отряда, вторичным ударом едва не истребили всех» (XXIX, 6, 14). Интересно отметить, что находки доспехов связаны в первую очередь с теми регионами, где кочевники активно взаимодействовали с оседлым ми-

ром: Кубань (зубово-воздвиженская группа и «Золотое кладбище»), Фракия (погр. №2 Рошава Драгана). Собственно на территории степной зоны таких находок практически нет.

Понятно, что появление тяжелой конницы требует привлечения значительного количества ресурсов, которых могло быть недостаточно у кочевников. «Действительно, такого рода конница могла появиться только в армиях развитых государств с централизованной властью и другими общественными механизмами, могущими обеспечить формирование, снабжение, обучение и применение столь специфической боевой единицы» (Симоненко 2009: 249). Можно поспорить с А.В. Симоненко, поскольку экономическим фундаментом для катафрактариев было наличие зависимого населения, а также разного рода взаимодействий с производственными центрами. О подобных отношениях нам говорит Тацит – сообщение об осах и котинах на Среднем Дунае: «Часть податей на них <осов и котинов – Е.В.>, как на иноплеменников, налагают сарматы, часть – квады, а котины, что еще унижительнее, добывают к тому же железо» (Германия, 43). Формирование и обучение же подобного рода войск могла вестись вполне эффективно и в рамках традиционных социальных институтов кочевников. Например, молодежные союзы могли быть той формой, в рамках которой эта подготовка была бы весьма результативной. Впрочем, вопрос о существовании молодежных союзов достаточно спорный.

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в первые века н.э. – это актуальная и интересная проблема. Мы можем говорить об отношениях зависимости между сарматами и нижнедонскими городищами. Нижнедонские городища первых веков н. э. являлись экономической периферией Танаиса, но их политический статус остается неопределенным. С.А. Яценко предположил, что они находились под совместным протекторатом как Боспора, так и сарматов (Яценко С.А. 2009, 297). Что же касается меотов Кубани, то их связи с сарматским миром формировались на протяжении весьма протяженного периода, и тот факт, что из этой контактной зоны происходит самый большой массив находок панцирей, представляется неслучайным.

Происхождение катафрактарной конницы связывают со Средней и Центральной Азией (Хазанов 1971: 75-78; Щукин 1994: 140; Туаллагов 2007). Надо отметить, что многие военные новшества формируются в пограничной зоне, где происходит интенсивное взаимо-

действие между кочевым и оседлым мирами. В Восточной Европе катафрактарии появилась в результате миграций с востока. В I в. н. э. пришли аланы, ездившие в новых седлах с высокими луками и практиковавшие штурмовой удар пикой со скачущего коня (Симоненко 2009: 250). Мнение А.М. Хазанова о том, что в I в. до н. э. – I в. н. э. этот вид конницы распространился у всех сарматов, современные исследователи не поддерживают (Симоненко 2009: 250). У нас нет для таких утверждений источников, в то же время как хорошо известно, что, например, у сарматов на Среднем Дунае в I–II вв. катафрактарыев не было.

Военную организацию сарматов и проблему возникновения и функционирования катафрактарной конницы наиболее подробно рассматривал А.М. Хазанов. Он затронул проблему социальных процессов в сарматском мире (Хазанов 1971: 82-85) и зафиксировал утрату у сарматов черт народа-войска, усиление знати и формирование дружин. Эти дружины были катафрактарным войском, которое усилило своё значение на полях сражений в эпоху Римской империи. Следует обратить внимание на то, что, согласно выводу А.М. Хазанова, катафрактарное войско сопровождала легкая конница, которая играла в бою значительную роль (Хазанов 1971: 88), а, значит, требовалось наличие большого количества легковооружённых всадников, набираемых из числа рядовых соплеменников.

Использование понятий “дружины”, “дружины профессиональных воинов” достаточно распространено в литературе, но, к сожалению, при этом нет анализа этих терминов и их обоснования. С.И. Безуглов написал короткую, но содержательную статью о поздних сарматах Нижнего Дона (Безуглов 1997). Он отметил для позднесарматского времени наличие особой воинской культуры, единой на пространстве от Урала до Дона. Называют эту группу памятников “всаднической”. Как пишет С.И. Безуглов, погребальный инвентарь отражает стандартную воинскую экипировку дружинников-профессионалов: “Стандартизация воинской экипировки на огромной территории, развитая иерархия, хорошо фиксируемая составом погребальных комплексов, предполагают высокую степень единства позднесарматской воинской элиты” (2000: 180–181). Следует сказать, что в статье С.И. Безуглова основное внимание уделено археологическому материалу, а выводы социально-исторического характера скорее продекларированы. Так, не обоснована, строго го-

вора, иерархия позднесарматского общества. И хотя материалы погребений позволяют выявить стандарты вооружения (меч, кинжал, сопутствующий инвентарь) и отклонения от него, соответствующие, очевидно, социальному статусу, но о реконструкции самой иерархии говорить пока ещё не приходится.

Дружины и их роль в политических структурах кочевников – вопрос, еще недостаточно изученный, особенно у древних кочевников. Неисследован характер дружинной организации – состоит она из аристократии и связана с определенными кланами, или же речь идет о формировании профессиональных дружин и служилой знати? Для аланов первых веков нашей эры более предпочтительным выглядит первый вариант, хотя А.М. Хазанов, к примеру, сообщает о «постоянных дружинах профессиональных воинов с их дорогостоящим оружием» (Хазанов 1971: 81). Почему же это не родовая аристократия, не знать? Тацит, упоминая катафрактариев, говорит том, что панцири у них носят «вожди и знать» (Тацит История I. 79). У нас нет доказательств «профессионализации» дружин у сарматов. Война для кочевника – любимое занятие, особенно для знати, да и рядовые кочевники охотно подключались к регулярным военным акциям. Но насколько они при этом отрывались от своих племен и своего главного дела – кочевого скотоводства, мы не знаем. Мы можем предполагать формирование протосословия, специализирующегося на войне, и развитие социальной стратификации. В раннем железном веке на смену ранжированному обществу приходит стратифицированное (Медведев 2002). Выраженная стратификация общества, формирование сословных структур прослеживаются в наличии аристократического стратума. Археологическими маркерами высокого статуса выступают оружие, богатый набор инвентаря, престижные предметы, костюм, территориальные и погребальные отличия этой группы. О тенденциях формирования сословности свидетельствуют пространственная организация погребений (отдельные могильники или участки), военная деятельность определенной группы, ее поголовная вооруженность, стандартизация инвентаря, в первую очередь оружия. Самый яркий пример в отношении катафрактариев – уже упомянутые зубовско-воздвиженская группа и «Золотое кладбище» в Прикубанье (Гушина, Засецкая 1994). Отмечая выделение ярко выраженной военной специфики отдельных групп, мы вместе с тем не можем отрицать связь его с этнополитической (племенной) органи-

зацией: «У кочевников вплоть до Чингис-хана войско формировалось по родоплеменному принципу, и сородичи во главе со своими вождями составляли воинские подразделения. Сарматы, при их уровне социального развития, не должны были быть исключением...» (Симоненко 2009: 249).

Таким образом, следует указать на неопределенность понятия «дружина», используемого в литературе, неисследованность механизмов складывания потестарных отношений у сарматов, а также процессов социальной эволюции в сарматском обществе. Перспективными в этом плане были бы исследования сарматского общества на основании археологических источников. Три сарматских культуры – раннесарматская, среднесарматская, позднесарматская выглядят настолько своеобразно, что за каждой из них мы видим разные общества. По данным погребального обряда создается впечатление о незначительной социально-имущественной дифференциации в раннесарматской культуре, а сменившая ее среднесарматская культура просто потрясает богатством и роскошью элитарных погребальных комплексов, вследствие чего напрашиваются выводы о принципиальном отличии обществ, оставивших эти культуры. Позднесарматскую культуру отличает достаточно однородный (в отличие от элитарных комплексов предшествующего времени) горизонт всаднических погребений, в которых очень выражен военный характер деятельности этой группы. К сожалению, по собственно социальной истории сарматов нет еще ни одного монографического исследования¹, и решение обозначенных проблем – дело будущего. Однако уже сейчас можно сделать некоторые наблюдения. В связи с проблемой сарматских катафрактариюв наиболее интересны всаднические погребения позднесарматской эпохи. Характерными признаками этой группы являются: основные погребения в курганах с северной ориентировкой; преобладание в комплексах мужчин; стандартный комплект вооружения, в который входят длинные мечи без металлического навершия и кинжалы в ножнах ирано-алтайского типа; богатая конская узда.

В среде поздних сарматов практиковался обычай искусственной деформации черепа, который был, видимо, значимым социальным

¹ В какой-то степени этот пробел заполняют работы С.А. Яценко и Ф.Х. Гутнова (Гутнов 2001), но речь идет о создании цельной картины хотя бы для одного региона и систематической работе с самым массовым материалом – погребальными комплексами.

маркером и выполнял престижно-знаковую функцию. Около 70% черепов поздних сарматов Нижнего Поволжья имеют следы деформации (Балабанова 2003: 70). На Нижнем Дону этот показатель – менее 60% черепов. Наличие группы с большим количеством травм (прослеживаемых на 70% мужских костяков) и следами чрезвычайных физических и психо-эмоциональных нагрузок говорит о воинственном образе жизни. Замечательно, что травмы чаще фиксируются на мужских костяках с деформированными черепами. К 30–40 годам, по данным антропологии, у населения позднесарматской культуры формировался комплекс «хронической усталости».

Являлись ли эти представители всаднической группы катафрактариями? У нас нет находок доспехов в погребениях этой группы, очень мало наконечников копий. Но косвенные данные – воинский характер комплексов, ярко выраженный военный образ жизни погребенных и, видимо, высокий социальный статус, позволяют нам выдвинуть такую гипотезу. Особо важным представляется то обстоятельство, что мы имеем дело не с одиночными находками, а целой группой, достаточно однородной в культурном отношении.

Заслуживает внимания конфликт сарматов-ардарагантов и лимигантов на Среднем Дунае в IV в. н. э., который не привлекался для анализа проблемы катафрактариев. Согласно сообщениям античных авторов – Аммиана Марцеллина, Евсевия, Иеронима, в первой половине IV в. н. э. на Среднем Дунае сарматы столкнулись с угрозой готского вторжения. В числе принятых мер было вооружение сарматами-ардарагантами своих сарматов-рабов (лимигантов). После разгрома готов сарматы-рабы (лимиганты) восстали против своих господ – сарматов-свободных (ардарагантов) и, будучи более многочисленными, победили и изгнали их. Изгнанных ардарагантов, которых было триста тысяч человек, император Константин частью расселил по империи, а способных носить оружие принял в войско (Вдовченков 2000). Возникает закономерный вопрос о том, кто такие ардараганты (варианты названия – “ardaragantes, argaragantes, arcragantes, agaracantes, argaracantes”) и лимиганты (“limicantes, eliminates, eliminantes”). Возникали разные версии по поводу происхождения этих названий и корней конфликта. Как следует из описания Аммиана Марцеллина, восставшие рабы были какой-то определенной общностью, подчиненной ардарагантам.

Ряд исследователей считает, что лимиганты – это языги, первые сарматы, проникшие на территорию Среднего Дуная и к IV в. н. э. начавшие оседать на землю. Вслед первой волне языгов пришли роксоланы, которые покорили языгов (это связано с событиями Маркоманнской войны и III в. н. э.). Языги, или сарматы-лимиганты, восстали и прогнали роксоланов-ардарагантов (Harmatta 1970: 57; Ременников 1957: 402; Рикман 1975: 318). Другая точка зрения состоит в том, что ардараганты – это сарматы (языги и недавно пришедшие роксоланы). А лимиганты – это земледельческое население, сохранившее внутреннюю автономию (потомки оседлых племен кельтского и дакийского происхождения, покоренных в I в. н. э. сарматами) (Хазанов 1971: 162). Но считать лимигантов исключительно оседлым племенем нельзя. Аммиан Марцеллин говорит об особой подвижности лимигантов и о том, что они “свободно кочуют по своему обычаю” (XIX, 11, 1). Упоминает Аммиан Марцеллин также конницу лимигантов (XVII, 13, 9). У потомков оседлых племен осов и котингов, находившихся под властью сарматов почти триста лет, своей конницы быть не могло (к IV в. н. э. эти племена, скорее всего, уже были почти полностью ассимилированы). Таким образом, лимиганты – это скорее все-таки сарматское население. Ардараганты, по мнению А.В. Исаенко (Исаенко 1993: 182), это производное от слова “aldar” – “господин, князь”. Согласно трактовке А.В. Исаенко ардараганты – представители господствующей части сарматского общества или господствующее племя (роксоланы?) противостоят лимигантам. Под вооружением ардарагантами лимигантов можно понимать передачу тяжелого вооружения лимигантам, что позволило отразить нашествие готов на Средний Дунай. В данном месте, на наш взгляд, речь идет именно о тяжелом вооружении, доспехах, поскольку легкое вооружение – мечи, луки и т.п. у них уже были (невозможно представить кочевников без этого оружия). Этот эпизод показывает (если наша реконструкция верна), насколько тяжелое вооружение было важным фактором политического господства, притом не только в отношении оседлого населения, но и кочевников.

Название «катафрактарыи» для сарматской конницы, использующей новую тактику, оспаривается С.М. Переваловым. На основании того, что главным оружием у новой конницы было длинное копьё (*контос*), он предлагает называть всадников «контофорами» (1999). В этом наблюдении делается упор только на один тактический аспект

деятельности катафрактарной конницы. Однако без тяжелого всаднического доспеха (конский доспех у кочевников, видимо, широко не применялся) эта тактика была бы невозможна. Контофоры без доспехов стали бы легкой мишенью для лучников, а также были бы не очень эффективны против тяжелой пехоты. Еще важнее другой момент, важный для темы нашей статьи – социальный. Без сомнения, катафрактарная конница смогла быть эффективной только в определенных социальных рамках. Для существования катафрактариев необходимо наличие группы воинов, обладающих необходимыми навыками, должным уровнем подготовки и умеющих действовать единым строем; достаточно обеспеченных – доспех стоил очень дорого; взаимодействующих с большими группами легкой конницы; имеющий большой политический вес. Контос здесь – необходимый элемент вооружения, но тяжелый доспех значимее как элитарный признак.

Поставленные нами проблемы, связанные с изучением социального контекста такого явления, как катафрактарии, еще далеки от своего решения. Перспективы дальнейших исследований видятся в первую очередь в использовании достижений социальной антропологии для определения социального контекста явления, и активном привлечении археологического материала для социальных реконструкций.

ЛИТЕРАТУРА

- Балабанова М.А. 2003. Реконструкция социальной организации поздних сарматов по антропологическим данным. *Нижеволжский археологический вестник*. Вып. 6. Волгоград: 66–88.
- Безуглов С.И. 1997. Воинское позднесарматское погребение близ Азова. *Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону*. Вып. 14. Азов: 133–142.
- Безуглов С.И. 2000. Позднесарматские мечи (по материалам Подонья). *Сарматы и их соседи на Дону: материалы и исследования по археологии Дона*. Вып. I. Ростов-на-Дону: 169–193.
- Блаватский В.Д. 1954. *Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья*. М. Изд. АН СССР.
- Вдовченков Е.В. 2000. К проблеме социальной и этнической истории сарматов на Среднем Дунае в IV в. н. э. *Рубикон*. Вып. 7. Ростов-на-Дону: 20–25.

- Гутнов Ф.Х. 2001. *Ранние аланы. Проблемы этносоциальной истории*. Владикавказ: Ир.
- Гущина И.И., Засецкая И.П. 1989. Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в Прикубанье (I в. до н. э. – начало II в. н. э.). *Археологические исследования на юге Восточной Европы*. М.: 71–141 (Труды Государственного ордена Ленина Исторического музея. Вып. 70).
- Гущина И.И., Засецкая И.П. 1994. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб., «Фарн».
- Десятчиков Ю.М. 1968. Появление катафрактариев на Боспоре. *Сборник докладов на IX и X Всесоюзных студенческих конференциях*. М.: 44–51.
- Исаенко А.В. 1993. Миграции североиранцев в Румынию, на Средний Дунай и в Венгрию. *Кавказ и цивилизации Востока в древности и средневековье*. Владикавказ: 159–202.
- Кожухов С.П. 1999. Закубанские катафрактарии. *Материальная культура Востока*. М.: 159–189.
- Медведев А.П. 2002. Развитие иерархических структур в обществах эпохи бронзы и раннего железного века юга Восточной Европы (опыт диахронного историко-археологического анализа). *Кочевая альтернатива социальной эволюции*. М.: 98–111.
- Нефедкин А.К. 2004. *Под знаменем дракона. Военное дело сарматов II в. до н. э. – V в. н. э.* СПб., М.: Филоматис.
- Перевалов С. М. 1999. Сарматский контос и сарматская посадка. *Российская археология*. № 4: 65–76.
- Ременников А.М. 1957. К истории сарматских племен на Среднем Дунае в IV веке н. э. *Казанский Государственный Педагогический институт. Ученые записки*. Вып. 12: 389–418.
- Рикман Э.А. 1975. *Этническая история населения Поднепровья и прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры*. М.: Наука.
- Симоненко А.В. 2002. Некоторые дискуссионные вопросы современного сарматоведения. *Вестник древней истории*. № 1: 107–122.
- Симоненко А.В. 2009. *Сарматские всадники Северного Причерноморья*. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ.
- Туаллагов А.А. 2004. Катафрактарии и Боспор. *Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников*. Ч. 2. СПб.: 276–285.
- Щукин М.Б. 1994. *На рубеже эр*. М.: Фарн.
- Хазанов А.М. 1971. *Очерки военного дела сарматов*. М. Наука.

- Яценко С.А. 2009. Алания I–II вв. н.э. как кочевая империя // *Монгольская империя и кочевой мир*. Кн. 3 (Отв. ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин, Т.Д. Скрынникова). Улан-Удэ: 281–310.
- Harmatta J. 1970. Studies in the History and Language of Sarmatians: Acta Universitatis de Attila Jozsef nominate. *Acta Antiqua et Archaeologica*. Tomus XIII. Szeged.
- Mielczarek M. 1993. *Cataphracti and Clibanarii. Studies of the Heavy Armoured Cavalry of the Ancient World*. Łódź: Oficyna naukowa MS.

НОРДИЗМ И ОРДИЗМ В СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ

Понятия «ордизм» и «нордизм» сложились не только по созвучию, но и по сопоставимой значимости в евразийской истории. Несмотря на разность в этимологии (первое связано с «ордой», второе – с «северностью»), они передают феноменологически сходные векторы магистральных культур мореходов и коневодов. При множестве отличий эти культуры сближает высокая подвижность, воинственность и колонизационная активность в большом пространстве.

Обычно в интерпретациях миграций древности внимание уделяется экологическим и экономическим характеристикам. Учет этих обстоятельств полезен, но не достаточен в понимании феномена власть над социальным пространством. Свойственный антропологии движения «мотивационизм» обращен внутрь (или исходит изнутри) человека. Климатические сдвиги определенно подталкивали людей к смене мест обитания, но не были непосредственной причиной их превращения во властных кочевников или зависимых земледельцев. Скорее, наоборот, тот, кто имел превосходство в мобильности и технологиях контроля над пространством, обладал преимуществом в маневре и использовании природных перемен.

В древней геополитике Северной Евразии ключевую роль играли магистральные культуры кочевников суши и моря, охватывавшие своим движением большие пространства и связывая локальные культуры в так называемые кочевые империи. В отличие от локальной культуры, основанной на экоадаптации (освоении биоресурсов), магистральная строится на экосоциоадаптации – освоении социокультурных ресурсов локальных культур. Магистральная культура выступает для локальных групп выгодным военно-политическим и торгово-экономическим посредником. Она не просто связывает локальные культуры и использует их ресурсы, но и открывает для локальных культур новые возможности. Со своей стороны, локальная культура прочно крепится к эконише; она устойчива и обладает преимуществом долговременного выживания (Головнев 2009).

Понтийский перекресток

Ростки кочевничества в евразийских (южнорусских) степях видны в чертах коневодства среднестоговской культуры и курганов майкопской культуры IV тыс. до н.э. (см.: Телегин 1973; Черных 2009:209–220). По месту рождения ордизм – южнорусское явление эпохи неолита. С тех пор немирная цепь конных индоевропейских орд от Европы до Китая стала генератором многообразной кочевой культуры, посредником между локальными оседлыми сообществами, магистралью распространения технических новшеств (особенно оружия) и “кузницей вождей”. В бронзовом веке (II тыс. до н. э.) по этой магистрали прокатились боевые колесницы, распространились бронзовые топоры и кинжалы, обряды погребения с конем, петроглифы с изображениями запряженных лошадей повозок. В XII в. до н. э. на смену колесницам пришло всадничество, и по его стремительному распространению в степях Евразии, в Греции, Анатолии, на Кипре, Кавказе видно, насколько евразийский мир был связан конными людьми.

В раннем железном веке евразийская степь была ареной миграций индоевропейских всадников, самые восточные из которых, юэчжи-тохары, кочевали на границе с Китаем. Возможно, юэчжи преподали хуннам первые уроки конных разбоев, вовлекая их в рейды на китайские земледельческие провинции. Со своей стороны, Срединное царство в эпоху Цинь наступлением на Ордос вызвало встречную агрессию кочевников (см.: Крадин 2001). Юэчжийская кочевая воинственность в сочетании с циньско-ханьским культом единения породила феномен хунну, с которых началась эпоха кочевых империй Центральной Азии. Хунно-гуннская экспансия на запад прошла по дорогам, проложенным древними индоевропейцами и, таким образом, не породила ордизм, а продолжила его традицию.

Нордическая мореходная культура коренится в европейском неолите. С бронзового века миграции с европейского Севера достигали Средиземного и Черного морей. Облик североευропейской культуры боевых топоров рубежа III–II тыс. до н. э. не оставляет сомнений в воинственности ее носителей. Возможно, маршруты северных воинов в бронзовом веке проходили от Балтики до Причерноморья – следы ютландской культуры одиночных погребений прослеживаются в донецкой катакомбной культуре. В эпоху раннего металла устойчивой трассой миграций и контактов был “Янтарный путь” – с Балтики по

Висле на Дунай и Балканы — янтарь из ютландских и прибалтийских месторождений II тыс. до н. э. найден в микенских гробницах (Хлевов 2002:31; Лебедев 2005:76–77).

Рим едва ли не с первых дней своего существования испытал давление *superiores barbari* (северных варваров). К III в. до н. э. германцы – бастарны и скиры – продвинулись с Балтийского берега до Дуная. Во II в. до н. э. над Римом нависли кимвры и тевтоны, пересекая военными рейдами пространство от Балтики до Средиземноморья и от Апеннин до Пиренеев. По Страбону (VII, 2, 2), кимвры “совершали походы даже до области Меотиды [Азовского моря]”. И позднее северные варвары столь часто беспокоили Европу, что Скандза (Скандинавия) заслужила звания “фабрики племен” (*officina gentium*) или “утробы народов” (*vagina nationum*). Среди них были и готы, экспансия которых первоначально охватила Балтию, а затем распространилась на юг до Причерноморья и Приазовья. Судя по всему, готы, как и другие воины-скандинавы, не порывали связей с северной родиной, а совершали длительные походы на юг, время от времени возвращаясь назад. Черноморская Готия была долговременной колонией балтийской Готии, плацдармом для ведения военного промысла на юге Европы.

Магистральный облик нордическая морская культура приобрела не в скандинавских фьордах, а на просторах европейских морей и Балто-Понтийского междуморья. Сходным образом коневодческая культура азиатских кочевников стала основой кочевых империй благодаря широкой экспансии. С эпохи бронзы магистральные культуры «море-людей» и «коне-людей» создавали потоки коммуникации и силовые линии в североевразийском пространстве, связывая и соподчиняя локальные культуры в измерениях Север–Юг (нордизм) и Восток–Запад (ордизм).

С рубежа эр Понтийский перекресток напоминал маятник степных и морских кочевий. Магистральные культуры Балто-Понтийского междуморья и Великой степи охватывали пространство Северной Евразии в ритме попеременного господства: скифо-сарматскую горизонталь в III в. н.э. сменила северная вертикаль готов; в IV в. владела горизонталь гуннов; в V в. настал черед вертикали свеев; в VI–VII вв. в евразийских степях развернулась экспансия тюрков; в VIII–IX вв. походами викингов была проложена очередная северная вертикаль, сменившаяся в XIII в. монгольской горизонталью.

Колебание евразийского маятника лишь внешне выглядит равномерным. На самом деле здесь царила не размеренность, а турбулентность от внезапных и стремительных вторжений северян и степняков (в том числе авар, мадьяр, печенегов, половцев, руси). Эти силы не только соперничали, но и поддерживали друг друга – то в союзах, то в конкуренции. Эта конкуренция задавала ритм их обновлению в борьбе за пространство и гонке вооружений.

Норд-русская традиция

Историографический стереотип, опирающийся на версию дунайского (южного) происхождения славян, звание Киева «мати градом русьским» и византийские истоки православия, настраивает на восприятие общего хода становления Руси в направлении с юга на север. Той же цели служит историографический конструкт «Киевская Русь» и упорство антинорманистов. Даже путь «из варяг в греки» некоторые исследователи видят наоборот – «из грек в варяги». По мнению Б. А. Рыбакова, «восточнославянская государственность вызревала на юге, в богатой и плодородной лесостепной полосе Среднего Поднепровья. Темп исторического развития здесь, на юге, был значительно более быстрым, чем на лесном и болотистом севере с его тощими песчаными почвами» (Рыбаков 1982:284, 294).

Однако ряд обстоятельств, в том числе факт относительно позднего включения Киева в общую сеть движения, определенно связывает рождение Руси с севером. Решающим аргументом выступает археологическая хронология, свидетельствующая о том, что исходной точкой пути и главным перекрестком в пространстве будущей Руси с 750-х гг. была Старая Ладога (Альдейгьюборг), а первой восточной магистралью норманнского движения – Балто-Каспийский (Волжский) путь «из варяг в арабы» (начало IX в.) (Жирничников и др. 1986:200–201; Носов 1999:160). Этот путь был двусторонним, но контролировался с севера. Арабский географ Ибн Хаукаль сообщал, что мусульманские купцы не проникали севернее Булгара, тогда как русы углублялись далеко на юг в болгарские, хазарские и арабские земли. Иногда они оставляли свои корабли и двигались с товарами на верблюдах в Багдад, Балх, Мавераннахр к кочевьям токузов и в Китай (Заходер 1962:31–32).

Открытие Днепровского пути случилось лишь во второй половине IX в. Когда русь двинулась с Ладоги на юг, на Горах Киевских суще-

ствовали разрозненные поселения. Рост киевского посада на Подоле начался во второй половине IX в., а традиционные для скандинавов большие курганы и погребения воинов с конем и оружием появились в Киевском некрополе лишь в конце века (Лебедев 2005:549, 561). Как резиденция варягов Киев сложился значительно позже верхнерусских (волховских, верхнеднепровских, верхневолжских) гардов и по возрасту не годится им “в матери”.

За три века движения руси по пути “в греки”, с 750-х по 1050-х гг., варяжские князья постоянно утверждали свою власть походами с севера на юг: (1) Рюрик, прибыв из-за моря, двинулся с севера (Ладуги) на юг (Ильмень); (2) Аскольд и Дир, отпросившись у Рюрика в Царьград, прошли с севера на юг и овладели селением под названием Киев; (3) Олег походом с севера на юг захватил пространство от Ладуги до Киева; (4) Святослав в отрочестве княжил в Новгороде, затем отправился воевать на юг; (5) Владимир походом с севера на юг захватил власть, одолев братьев с помощью варягов; (6) Ярослав с помощью варягов походами с севера на юг трижды захватывал и утверждал свою власть.

Во всех эпизодах Новгород “воссоединялся” с Киевом путем военного захвата, причем все рейды проходили по одному сценарию с участием варяжской дружины. Как видно, на пути “из варяг в греки” власть шла с севера на юг – Новгород ни разу не был завоеван из Киева (если не считать погрома, учиненного во время крещения Добрыней и Путятой). Власть рождалась не там, где хорошо росло просо, а на “тощих песчаных почвах” (по выражению Б.А. Рыбакова). Как подметил С.М. Соловьев, “в борьбе северных князей с южными варяги занимались первыми, печенеги – вторыми, следовательно, первым помогала Европа, вторым – Азия... Печенеги ни разу не дали победы князьям, нанимавшим их” (Соловьев 1988:223).

На этом история сложения Руси завершилась и началась история ее распада, так называемой “феодальной раздробленности”. На Руси сменился вектор движения – оно пошло в противоположную сторону, с юга на север. Его генератором стал Киев, а мотивационно-деятельностной основой – христианство как государственная идеология. Первые образцы этой схемы привезла из Византии Ольга; Владимир с Добрыней доставили их из Киева в Новгород; Ярослав возвел для них храмы св. Софии. Распространению христианства способствовал рост славяно-русских градов, возникших по соседству с варяго-рус-

скими гардами. В отличие от гардов, служивших станциями пути, грады стали очагами оседлости. Свойственные норд-русской традиции вечевые города и “бродячие” князья с дружинами создали сеть конкурирующих автономных центров власти и культуры. “Феодальная раздробленность”, приписываемая не то дурному нраву знати, не то законам всемирно-исторического развития, была следствием остановки пути. Существенную роль в смене мотиваций и остановке движения норманнов сыграло христианство, “осадившее” северных воинов-торговцев и изменившее их отношение к южным землям и народам. Варяги осели, и замер путь “из варяг”; динамичная прежде Русь распалась на статичные локальные княжества.

Единственным очагом северной магистральности осталась Новгородская земля, которая не только сохранила целостность, но и расширила свои пределы за счет военно-торговой колонизации; к XIII в. новгородские владения простирались от Ботнии на западе до Урала на востоке и от Арктики на севере до Верхней Волги на юге. Новгородские ушкуйники унаследовали военно-разбойный стиль викингов, но перенесли его с моря на реку; и в целом северорусская культура принадлежала уже не морским, а речным людям (хотя поморы сохранили морские привязанности норманнов). Расцвет Новгорода и северорусской культуры был обусловлен динамикой нордизма, ярко проявившейся в разбоях ушкуйников, путешествиях купцов и создании сети колоний на пространствах Севера, Урала и Сибири. Позднее норд-русский стиль движения выразился в деятельностной схеме поморов с их вечевым нравом, торгово-промысловой предприимчивостью и тягой к охвату больших пространств.

Орд-русская традиция

Ордизм не чужд южнорусскому пространству, потому что здесь он родился. Унаследованный скифами и сарматами, по-азиатски обновленный хунну, гуннами и тюрками (аварами, хазарами, болгарами), он в течение ряда эпох воздействовал на соседнее праславянское сообщество. Накануне образования Руси славяне Балто-Понтийского междуморья были не просто разделены на даннические области варягов и хазар, но и вписаны в социокультурный контекст Севера и Степи (южные и северные славяне различались по многим культурным и биоантропологическим характеристикам). Этот рубеж дал себя знать и в геополитике монголов XIII в.: хан Батый покорил

лишь Нижнюю Русь — область рек южного стока, некогда принадлежавшую хазарам, тогда как Верхняя Русь, по рекам северного стока, осталась независимой от Орды. Не исключено, что не только северные дебри и болота, но и давняя геополитическая граница сдержала экспансию монголов и обозначила северный предел Улуса Чжучи.

Монголы привнесли на Русь новую магистраль. Подобно викингам на море, они развернули в степи гигантскую социальную сеть, основанную на той же триаде война–дань–торг, только доля торговли в ней была ничтожна в сравнении с военно-данническим промыслом. Монгольская культура больших пространств пересекла всю срединную Евразию, захватив в качестве локальной культуры Нижнюю Русь.

В монгольском пространстве Русь была отдаленной северо-западной окраиной. Для монголов дальние походы мотивировались идеологией господства, удали и добычи (военно-даннического промысла). Их отношение к “промысловым угожьям”, особенно на первых порах, было пробой возможностей и игрой случайностей. События, воспринимаемые современниками как судьбоносные, а историками как эпохальные, в момент их свершения мотивировались личными ханскими амбициями и конкуренцией за власть. Соотношение личных мотивов и “логики истории” в монгольском репертуаре проявилось, например, в прекращении Батыем завоевания Европы ввиду смерти великого хана Угедея в 1241 г. и в аналогичном поведении хана Хулагу в разгар сирийской кампании 1259 г. при получении известия о смерти великого хана Мункэ. Оба хана успешно осваивали новые промысловые угожья (соответственно, Европу и Ближний Восток) до тех пор, пока властный зов Халхи не увлек их искушением первенства в Великом Улусе.

По-своему случайным оказалось и “батыево зависание” в Прикаспии, на пути между Европой и Каракорумом, где хан остановил свою орду из-за смуты и тревожной конъюнктуры в верховной ставке. Батый не пошел дальше на восток и не вернулся на запад. Его Орда задержалась на Волге в ожидании попутного политического ветра. Это затянувшееся “зависание” и сыграло роковую роль в истории восточной Руси, надолго ставшей промысловым угожеством Батыевой Орды.

Военно-даннический промысел предполагал свирепое укрощение строптивых и рачительное (даже бережное) отношение к покорным. С этим связаны монгольские маневры между жестокостью и мило-

стью, а также особый характер колонизации, сочетавшей регулярные (на первых порах ежегодные) набеги, оперативную коммуникацию (в том числе ямскую гоньбу), мастерство сбора дани (баскачество, “откуп”, “выход”), захвата и использования людей (наложниц, заложников, рабов, работников и т.д.). В целом монгольская технология подчинения оказалась настолько эффективной, что на Руси завоеватели быстро превратились из врагов в господ, а их правители обрели статус царей.

Дальнейшая политическая (и связанная с ней экономическая и культурная) судьба покоренной страны зависела от службы хану. Первым в 1243 г. за ярлыком на княжение поехал в Орду владимирский князь Ярослав, после чего “технология ярлыка и ясака” надолго превратилась в алгоритм власти на Руси. Самыми находчивыми и удачливыми в службе Орде оказались московские князья, благодаря чему Москва стала столицей. На стыке монгольской (ордынской) и нижнерусской культур сложилась орд-русская или московская (по названию ее форпоста) культура, основанная на жестком централизме власти и военно-данническом промысле. Москва, как показали исследователи евразийской школы, унаследовала от Орды методы управления (русский лексикон пополнился монголо-тюркскими понятиями “деньги”, “казна”, “таможня”, “ярлык”, “ясак”) и к XVI в. превзошла по социально-политическому потенциалу рассыпавшуюся на части Орду. В целом верно, хотя и не лишено гротеска, замечание кн. Трубецкого: “Московское государство возникло благодаря татарскому игу... “Свержение татарского ига” свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву” (Трубецкой 1995:157).

* * *

В отличие от быстро расцветающих в войне и гибнущих в мире степных кочевых империй, Московское царство укоренилось на нижнерусской локальности, впитав ордынскую магистральность. По устойчивости московская культура не уступала новгородской, а по военно-промысловому потенциалу, при остаточной поддержке Орды, значительно ее превосходила. Исход поединка царя и веча был предрешен, и в течение столетия, с 1471 по 1570 гг., усилиями двух «грозных» Иванов очаг верхнерусской культуры был уничтожен. Дуэль Москвы и Новгорода, трактуемая официальной историогра-

фией как борьба централизма с сепаратизмом, в действительности была эпохальным столкновением двух различных традиций – орд-русской и норд-русской.

В этих традициях разворачивались новгородская в XI в. и московская в XV–XVI вв. колонизации. Интервал в полтысячелетия разделяет первые рейды на/за Урал новгородцев и московских воевод: северорусско-сибирские отношения вдвое старше московско-сибирских: новгородцы путешествовали в Югру и Самоедь уже в XI в. (возможно и раньше), московские рати добрались до Сибири в XV–XVI вв. Северорусское (новгородско-поморское) проникновение за Урал имело торгово-промышленый характер, московское – военно-административный. Экспансия норд-русской культуры выражалась в создании сети коммуникаций и колоний – городков, торжищ, промысловых станов в Балтии, Поморье, на Урале, в Поволжье – малых копий Новгорода с его размахом торговли и своеволием веча. Их зависимость от метрополии была условной (например, двинские бояре и хлыновцы нередко расходились в политических предпочтениях с новгородцами) и, по большей части, основанной на корпоративно-торговых и личных связях. Деятельностная схема орд-русской традиции, немислимая без мощного центра и основанная на административно-налоговом промысле, реализовалась в создании иерархической структуры “малых копий” Москвы, бюрократически централизованном управлении и политически окрашенной христианизации. Можно вести речь и о срастании этих традиций в синтетическую русскую культуру – сдвоенная магистральность русской культуры, вобравшей в себя традиции нордизма и ордизма, а также славянскую локальную адаптивность, стала двигателем мощной экспансии, приведшей к образованию России на просторах Северной Евразии.

ЛИТЕРАТУРА

- Головнёв А. В. 2009. *Антропология движения (древности Северной Евразии)*. Екатеринбург: УрО РАН; «Волот».
- Заходер Б. Н. 1962. *Каспийский свод сведений о Восточной Европе*. Т. 1. М.: Вост. литература.
- Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. 1986. Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольского времени). *Славяне и скандинавы*. М.: Прогресс.

- Крадин Н. Н. 2001. *Империя Хунну*. 2-е изд. М.: Логос.
- Носов Е. Н. 1999. Современные археологические данные по варяжской проблеме на фоне традиций русской историографии. *Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей*. СПб.: ИИМК РАН.
- Рыбаков Б. А. 1982. *Киевская Русь и русские княжества XI–XIII вв.* М.: Наука.
- Сойер П. 2002. *Эпоха викингов*. СПб.: Евразия.
- Соловьев С. М. 1988. *Сочинения. История России с древнейших времен*. Кн. I, тт. 1–2. М.: Мысль.
- Телегін Д. Я. 1973. *Средньостогівська культура епохи міді*. Київ: Наукова думка.
- Трубецкой Н. С. 1995. *История. Культура. Язык*. М.: Прогресс.
- Черных Е. Н. 2009. *Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур*. М.: Рукописные памятники Древней Руси.

ВОЖДЕСТВА И ИХ АНАЛОГИ: К ТИПОЛОГИИ СРЕДНЕСЛОЖНЫХ ОБЩЕСТВ

Альтернативы социальной эволюции и проблема аналогов политантропологических моделей

Бурное развитие знаний о древних обществах требует пересмотра стереотипов и отказа от жестких конструкций. Недавние исследования (см., например, статьи спецвыпуска журнала *Social Evolution & History*, Volume 10, Number 1, March 2011, в частности: Drennan *et al.* 2011; Lozny 2011; Gibson 2011; Claessen 2011; Earle 2011; Grinin, Korotayev 2011; Grinin 2011a; см. также: Крадин 1991, 1995; 2001) в разных аспектах показывают сложности использования концепции вожества при приложении его ко все более многочисленным археологическим и этноисторическим случаям. Однако попытки в связи с этим вовсе отбросить эволюционный подход и теоретические конструкции, включая и концепцию вожества (см.: Pauketat 2007, 2010), по меньшей мере опрометчивы, а фактически могут привести политическую антропологию к хаосу¹.

В связи с этим хотели бы подчеркнуть, что многие проблемы концепта вожества проистекают не из непригодности эволюционной теории, а из устаревших однолинейных подходов к анализу социальной эволюции. Мы считаем, что если подходить к эволюционному процессу как по определению *многолинейному* (но не декларативно, а последовательно, так, чтобы на любом этапе эволюции предполагать наличие альтернатив ведущим типам и линиям и искать эти альтернативы), то многие проблемы принципиально оказываются решаемыми. Поэтому в нашей статье все анализируемые вопросы и в целом предложенная нами концепция аналогов вожеств рассматриваются через призму многолинейности общеэволюционных процессов.

В настоящей статье речь идет прежде всего об анализе процессов и типов социальных систем периода *среднесложных обществ*, то есть эпохи, которая располагается между простыми обществами

¹ Критика подобных подходов, высказываемых, в частности, такими авторами, как Н. Йоффе (Yoffee 1993, 2005) и Д.Снит (Sneath 2007), в статье Крадина (Kradin 2011), избавляет нас от необходимости повторять ее.

примитивных земледельцев-скотоводов (и некоторых высших охотников-собирателей) и сложными обществами (ранними государствами и их аналогами). (О периоде сложных обществ см. подробнее: Grinin 2009, 2011a, см. также: Korotayev *et al.* 2000; Grinin, Korotayev 2009b; Гринин 2011 и др.; Крадин 1991, 1995, 2001; Kradin 2011).

Альтернативы социальной эволюции

Мы уже неоднократно писали о том, что одинаковый уровень социополитической и культурной сложности (который позволяет решать одинаково трудные проблемы, стоящие перед обществами) может быть достигнут: а) в различных социополитических и социокультурных формах; б) разными эволюционными путями (см., например: Крадин, Лынша 1995; Крадин и др. 2000; Коротаев, Крадин, Лынша 2000; Bondarenko, Grinin, Korotayev 2002; Бондаренко, Гринин, Коротаев 2010; Гринин, Коротаев 2009; Grinin, Korotayev 2009a; Гринин 2007a, 2009; Grinin 2009, 2011a). При этом на каждом последующем уровне сложности системной организации можно обнаружить очевидные альтернативы данной эволюционной линии (см., например: Bondarenko, Grinin, Korotayev 2002; Grinin, Korotayev 2009a; Гринин, Коротаев 2009; Grinin 2009, 2011a; Гринин 2007a, 2009).

Наиболее активно нами были исследованы альтернативы, то есть *аналоги раннего государства*, о которых мы много писали (см., например: Grinin 2003, 2004b, 2007a, 2007b, 2009, 2011a; Гринин 2007a, 2007б, 2009, 2010, 2011; Гринин, Коротаев 2009; Grinin, Korotayev 2009a)¹. В отношении исследования догосударственного периода политогенеза мы также убеждены в том, что общий вектор усложнения обществ шел, так сказать, широким эволюционным фронтом и по разным направлениям. Поэтому стадия среднесложных обществ, в которую обычно помещают прежде всего или даже исключительно только вождества², была представлена многими социополитически-

¹ Аналогами ранних государств мы называем негосударственные политии, сравнимые с ранним государством по сложности и реализуемым функциям. К аналогам ранних государств мы относим также многие из сложных вождеств (см. указанную литературу, а также: Grinin 2011a).

² Такой – по сути, однолинейный – подход является одной из важных причин неоправданной идентификации в качестве вождеств многих альтернативных форм социально-политической организации в среднесложных обществах, как справедливо указывает Д.Г. Зданович (1997).

ми типами обществ, в том числе и такими, от которых не осталось достаточных следов (см., например: Гринин 2011; Гринин, Коротаев 2009). В настоящей статье соответственно мы считаем полностью оправданным применение апробированного метода сравнения разных линий социополитической эволюции путем выделения двух моделей политий (одной, считающейся в политической антропологии эволюционно ведущей, и второй, объединяющей все разнообразные альтернативно-аналоговые варианты первой модели). Нам представляется, что такой метод является продуктивным и очень хорошо может быть использован на уровне среднесложных обществ.

Разнообразие форм и размеров догосударственных политических систем

Говоря о догосударственных социально-политических формах, мы имеем в виду только **стадиально (принципиально) догосударственные формы**, то есть образования не выше среднего уровня социально-политической сложности (следовательно, это догосударственные политии, явно уступающие по сложности аналогам ранних государств). Однако важно, что в таких обществах численность и концентрация населения выше (часто заметно выше) тех, при которых общество организовано как совокупность персональных взаимоотношений между лично знающими друг друга людьми. А значит, в них появляются новые формы связей, контроля и лидерства.

Альтернативность социальной эволюции, неодинаковый темп изменения и усложнения различных подсистем обществ, разные комбинации внешних и внутренних факторов и т. д. неизбежно вели к большому разнообразию форм догосударственных обществ и типов связей. Возникали более или менее централизованные вождества, самоуправляемые городские, полисные, храмовые и крупные сельские общины, децентрализованные безвождеские племена, различные акефальные социально-политические системы, крупные коллективы, возглавляемые авторитетными людьми, и другие формы, о которых ниже будет сказано подробнее.

Такое разнообразие форм ставит сложную задачу – найти критерий сравнения обществ. *Мы считаем, что при сравнении политий нужно исходить из двух аспектов: горизонтального (стадиального) и вертикального (эволюционного).* В первом случае разные формы политий определенного размера и сопоставимой сложности не-

обходимо рассматривать как стадияльно равные. Во втором случае мы выделяем среди стадияльно равных более и менее эволюционно перспективные. Так, вождество с точки зрения широты распространения централизованных и персонализированных форм управления в будущем было более эволюционно перспективным, чем, например, акефальное образование. Но, во-первых, для проявления такой перспективности потребовались тысячи лет и несколько генераций типов политий, пока новые принципы не доказали своего превосходства (см. подробнее: Гринин 2011; Гринин, Коротаев 2009; Grinin, Korotayev 2009a, 2011). Во-вторых, в определенных экологических нишах эволюционно латеральные формы оказывались более жизнеспособными, чем эволюционно перспективные. В-третьих, быть эволюционно перспективным вовсе не значит иметь преимущества в конкретной исторической ситуации. Дело часто обстояло как раз наоборот.

Идея вертикального и горизонтального аспектов сравнения обществ будет продуктивна в отношении моделирования перехода к более высокому уровню сложности. Например, образование простых вождеств (по Карнейро [Carneiro 1981, 2010]) происходило вертикальным путем: от простых политий (разного рода независимых общин, автономных деревень) к среднесложным (вождествам). А, скажем, трансформация конфедераций общин в более централизованный тип политии означала переход к новой форме горизонтальным путем: то есть от среднесложных политий нецентрализованного типа к среднесложным же централизованным¹.

Спектр численности населения социополитических систем среднего уровня сложности очень велик: от нескольких сот человек до нескольких десятков тысяч человек. Однако более или менее централизованные или компактные образования типа простых вождеств, небольших гражданско-храмовых общин и т. п. по населению располагаются в более компактном интервале – от нескольких сот человек до нескольких тысяч. В целом мы исходим из оценки Т. Ёрла, что население вождества в пределах централизованной региональной

¹ Анализ вертикальной и горизонтальной модели эволюционной трансформации, правда, уже на уровне перехода к государству, см.: Гринин 2011; Grinin 2009; 2011a. Статья Д. Гибсона (Gibson 2011) также дает примеры такой горизонтальной трансформации от конфедераций вождеств к государству. О соотношении горизонтального и вертикального развития см. также: Shelach 2002: 11–15.

структуры измеряется тысячами человек (Earle 1987; см. также, например: Carneiro 1981; Крадин 2001). Однако известны случаи вождеств с населением и менее одной тысячи человек. Так, население типичного простого тробрианского вождества колебалось в районе 1 тыс. человек (Johnson, Earle 2000: 267–279), соответственно, там были вождества с населением и менее одной тысячи. А вождества Новой Каледонии к середине XIX в. насчитывали от 500 до 2000 человек (Шнирельман 1988: 200). Аналогично дело обстояло на полинезийском острове Футуна, небольшие вождества которого включали от пяти до десяти деревень, а число жителей в деревне колебалось от ста до двухсот (см.: Sahlins 1972 [1958]: 85–87, 188–190). Вождества чероки имели население в среднем порядка 400 человек (Service 1975: 140–144). Но в целом такие вождества, хотя их количество могло быть достаточно велико, имеет смысл рассматривать как минимальные, по терминологии Карнейро (Carneiro 1981), а типичные вождества – это политии с населением, исчисляемым тысячами. В связи с тем, что четкую грань между простыми и сложными вождествами установить не так легко, самый верхний предел для простых вождеств мы определяем в десять тысяч человек, исходя из того, что для такой политии даже достижение такого предела редко возможно¹. Территория также обычно не была слишком большой (см., например: Spencer 2000: 155–156). Конечно, размеры существенно зависят от транспортных возможностей, поэтому у скотоводов-кочевников, имевших довольно низкую плотность населения, но обеспеченных, как правило, верховыми животными, территориальные размеры простых вождеств были несравненно больше, чем у оседлых земледельцев.

Понятие аналогов вождества

Становление вождеств, как правило, означало выход на принципиально новый уровень сложности в плане развития не только политической организации общества, но и всей социальной системы. И это неизбежно ставит данный эволюционный тип среднесложных политий в особое положение. С этой точки зрения возникновение

¹ Для сравнения, например, когда сложное и крупное вождество Поухатан в Вирджинии в XVI в. находилось на пике своего могущества, его население составляло всего 13–22 тыс. человек (Rountree, Turner 1998: 266).

вождеств правомерно рассматривать как ведущий путь развития политогенеза. Однако – подчеркнем – это можно делать только с очень большой долей условности. Условность заключается не только в том, что ни одна форма не развивалась изолированно, а постоянно трансформировалась, в том числе под влиянием других типов обществ. Еще важнее, что большое количество, если не большинство, первичных и много вторичных и третичных ранних государств образовались на базе «городских» (полисных, гражданских, храмовых, гражданско-храмовых, торгово-ремесленных) общин, из которых только часть была вождествами. А в иных случаях ведущей организующей силой выступали другие, отличные от вождей, слои (жрецы, аристократия¹, олигархические группы, лидеры демократического большинства)². И на уровне среднесложных обществ городской путь политогенеза был столь же, если не более, древним, как вождеский (см.: Korotayev *et al.* 2000; Гринин 2009; Гринин, Коротаев 2009: гл. 6; Korotayev, Grinin 2006).

Исходя из сказанного, нам представляется, что все многообразие эволюционных типов среднесложных обществ – с учетом особого эволюционного значения вождеств – имеет смысл разделить по крайней мере на два условных типа: 1) вождества/вождествоподобные политии; 2) аналоги вождеств.

Вождествоподобные политии можно было бы весьма условно определить как иерархически организованные и относительно централизованные общества средней сложности со следующими характеристиками: а) население – в интервале от нескольких сот до нескольких тысяч человек; б) обладают самостоятельностью; в) возглавляются признанным и постоянным вождем/лидером (группой лидеров), который появляется во главе социума в рамках определенных традиций или процедур, способен реально контролировать

¹ Либо имелся какой-то промежуточный вариант. Так, классический «городской» путь государствогенеза имел место, например, в Западной Африке у йоруба (см.: Sellnow 1981: 309–310), но у них глава общины никогда не имел деспотической власти, зато, напротив, аристократия обладала большим влиянием и часто была способна сместить правителя (там же: 309).

² Например, Д. Сандерс и Д. Вебстер (Sanders, Webster 1978: 281) утверждают, что большинство первичных государств возникло из эгалитарных обществ без образования вождеств. Хотя это утверждение и не бесспорно, но все же имеет под собой немалые основания.

важные отношения и потоки ресурсов, имеет организованные вокруг него влиятельные группы поддержки.

Аналоги вожеств можно определить как сходные с вожествоподобными политиями по сложности, размерам и функциям социумы или пространственно организованные корпорации, не обладающие какими-то признаками первых: иерархичностью, уровнем централизации, наличием формального лидера, организованной системой контроля над ресурсами, политической самостоятельностью¹ и др.

Такое разделение на вожества и аналоги:

- подчеркивает, что вожества не являлись ни единственным, ни преобладающим типом среднесложных обществ/политий, но в то же время указывает на его эволюционную важность;
- показывает многообразие эволюционных альтернатив вожествам;
- позволяет классифицировать среднесложную политику, не подходящую под определение вожества, даже если есть затруднения в том, к какому именно типу политий она должна быть отнесена.

Например, Диллон (Dillon 1990: 1) указывает, что хотя исследование нецентрализованных систем имеет долгую традицию, в литературе по данному вопросу нет единого мнения, как необходимо понимать эти системы (если они не подходят к определению вожества, заметим, дискуссионного самого по себе). С точки зрения предложенной идеи некоторые из таких нецентрализованных систем могут трактоваться как аналоги вожества.

Имеет смысл определить, какие функции выполняет вожество. На наш взгляд, главными из них являются:

- а) объединение целого ряда общинных поселений (либо определенного объема разнородного населения) в одну структуру, в рамках которой отношения между поселениями и индивидами существенно более плотные, чем между членами и не членами данной политии/кластера политий;
- б) способность регулировать внутренние отношения в рамках этой единой структуры;
- в) способность выступать как единое целое в отношениях с внешними силами;
- г) способность мобилизовывать население на совместные акции.

¹ Последнее относится к отдельным формам аналогов вожеств, таких как некоторые корпорации и др. (см. ниже).

Важно отметить, что практически все нижеприведенные аналоги вожеств в той или иной, но в целом удовлетворительной мере были способны реализовывать данные функции в рамках объемов населения и территории, характерных для среднесложных обществ. (Интересные сравнения в отношении реализуемых функций между акефальными безвождескими образованиями народности конкомба и централизованными вождествами народности нанумба в Северной Гане приводит П. Скальник [Skalník 2011: 65]).

Некоторые формы аналогов вожества

Очень условно аналоги вожеств можно было бы разделить на **поселенческие** и **корпоративные** типы. При этом поселенческие аналоги в свою очередь можно разделить на **однопоселенческие** и **многопоселенческие**. Последние – в отличие от вожеств – объединены не вертикальными, а горизонтальными связями. Однако для удобства изложения мы рассматриваем в качестве равноправных таксонов все три выделенных типа:

- 1. Однопоселенческие аналоги (полития связана с одним поселением).*
- 2. Многопоселенческие горизонтально объединенные аналоги.*
- 3. Корпоративные аналоги.*

1. Однопоселенческие аналоги

Полисы. В качестве примера рассмотрим греческие полисы как наиболее изученные¹. «Полис – сравнительно небольшая – от нескольких сот до нескольких тысяч человек – община граждан, основное занятие которых – земледелие, база экономики полиса» (Кошеленко 1983: 30; см. также: Яйленко 1983: 155). Легко понять, что такой полис – это стадияльно догосударственное образование, как по числу жителей² и по форме их занятий, так и по уровню социопо-

¹ Среди которых, кстати говоря, мы находим наиболее исследованные примеры однопоселенческих аналогов вожеств. Хотя, чтобы быть точными, отметим, что все же многие полисы имели более сложную структуру, которая содержала в себе центральное поселение и сельскую децентрализованную округу.

² Даже мельчайшее раннее государство имеет нижний предел в несколько тысяч жителей. Но и с таким населением образование раннего государства происходило далеко не всегда, а только в самых удачных случаях. Фактически для образования государств обычно требовались большие объемы (см. подробнее: Grinin, Korotayev 2009a; Grinin 2009, 2011a).

литической сложности. Такого рода небольшие земледельческие полисы встречались в Греции еще и в классический период, но главным образом они имели место в предшествующие периоды, в гомеровский (XI–IX вв. до н. э.) и более поздний архаический (VIII–VII вв. до н. э.). Торговля и ремесло – в отличие от полиса классического периода – в полисах гомеровского и даже архаического периодов были развиты слабо (см.: Полякова 1983)¹. Такая сельскохозяйственная направленность сближает ранние полисы с большинством простых вожеств. В полисе уже в ранний период наблюдается имущественное расслоение граждан (Полякова 1983: 124). Но в то же время можно согласиться, что полис формировался в очень простом обществе, в котором бедные и богатые чувствовали себя членами одного коллектива (см.: Starr 1965: 209). Последнее дает основание говорить о том, что даже ранние полисы обладали значительной социально-политической спецификой, которая позволяет рассматривать их как особый тип политии, а именно – как *гражданскую* общину (Кошеленко 1983: 13; Golubtsova, Kusishin, Shtaerman 1975: 12–17; см. также: Яйленко 1983). Это было связано с особенностями социально-политического устройства, при котором жители полиса ощущали свое единство, принимали участие в управлении и войне. Это определялось также тем, что граждане полиса имели определенные (хотя и не столь четкие, как позже) права и обязанности, причем последние могли определять социальный статус человека. Важно, что сельская округа полиса (если таковая, конечно, была в архаическом полисе, где нередко большинство жителей занимались сельским хозяйством) не являлась подчиненной «городу» периферией, а ее жители имели те же права. Мало того, свободное крестьянство, владеющее наделами на основе развивающейся частной собственности, становилось важным социальным слоем полиса (Андреев 1982). В то же время уже в ранний период очень значительное число полисов образовывалось путем синойкизма (то есть искусственного собирания жителей разных поселений в одно более крупное ради устранения опасности нападения). Это разрывало традиционные (родовые) связи и усиливало именно

¹ Хотя в архаическом полисе уже начинается заметная трансформация от аграрной направленности к аграрно-торгово-ремесленной (см., например: Шишова 1991: 27). В целом многие полисы архаической эпохи уже не являются однозначно средне-сложными обществами, они становятся ближе к ранним государствам (см.: Берве 1997; Фролов 1988: 92, Шишова 1991: 27).

гражданское начало. Хотя этот процесс шел в греческих полициях на протяжении столетий, тем не менее он проявил себя достаточно рано. В частности, реформы Тезея в Афинах (в том числе отмену прежнего родового деления и создание искусственного гражданско-го) относят к IX в. до н. э.

В ранних полисах в целом можно говорить о господстве аристократических родов, даже если над ними и стоял не особенно властный базилевс, который не мог ничего решить без совета старейших, куда входили аристократы (Сергеев 2002: 122; Фролов 1988: 78). О том, что в возникающих греческих полисах господство принадлежало аристократии, мы имеем свидетельства древнегреческих авторов, например Аристотеля (Pol., IV, 10, 10, 1297b). Это во многом объяснялось тем, что аристократия составляла ядро войска – отряды всадников (Greenhalgh 1973). Но поскольку у аристократии не было монополии на военное дело, определенную роль играл и вооруженный демос¹. Эти полисы имели определенные органы, например, советы старейшин, или *буле*, а также народное собрание, хотя и не слишком влиятельное, выборные или наследственные базилеи осуществляли судебные функции (Сергеев 2002: 122; Фролов 1988: 78). Полисы имели также механизмы кооперации и осуществления совместных внутренних дел, а также военных акций, но в то же время важнейшим элементом их жизни была борьба знатных родов между собой (Кошеленко 1987: 45; Андреев 1976: 104 и сл.). Однако такое соперничество в условиях слабости правового начала в гомеровском полисе (Кошеленко 1987: 45) само по себе создавало некоторые формы и прецеденты регулирования полисной жизни, как и везде в варварских обществах, где сдерживающая сила кровной мести и посредничества играла важную роль в сохранении минимально необходимого единства в социуме². В архаическом полисе роль суда увеличилась, и он стал важным орудием господства аристократии.

¹ Тут к месту вспомнить, что Л. Г. Морган (1934) свою теорию военной демократии как необходимой стадии развития варварского общества обосновывал данными по истории именно гомеровской Греции.

² Впрочем, борьба знатных родов существовала и в более развитых полициях, например в городах-государствах, в том числе и в итальянских средневековых и раннего Нового времени республиках и сеньориях. Недаром такие конфликты стали основой сюжета знаменитой пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта».

Протогородские и городские общества. Согласно исследованиям Ю. Березкина (1995а: 67–68; 2000: 263), среднесложные акефальные протогородские поселения (представляющие собой отдельные общества, политии) с численностью до 2–2,5 тыс. человек, судя по археологическим данным, представлены на древнейшем Востоке, во-первых, в неолите Леванта и Сирии (VII – нач. VI тыс. до н. э. – Айн-Газал, Абу-Хурейра) и Анатолии (VI тыс. до н. э. – Чатал-Хююк), а во-вторых, в позднем энеолите, ранней и средней бронзе (IV–III тыс. до н. э.) Южного Туркменистана (Инглылы-депе) и Восточного Ирана (Шахри-Сохте). Население Шахри-Сохте могло достигать 10 тыс. человек.

Городской путь политогенеза, как уже сказано, был одним из ведущих (см. подробнее: Коротаев, Гринин 2009). Типов городов и поселений, похожих на них, было много, как и типов политических режимов в них (о некоторых из них см., например: Sinclair Paul 2002). Нередким был тип города, являющегося квазигородским религиозным или ритуальным центром (таковы были, например, весьма своеобразные «города» *криков* в Джорджии и Алабаме [см.: Стартевант 1978]); были храмовые города, где главную роль играла фактически жреческая корпорация. Но даже если во главе города стоял вождь, князь или царь, большую роль нередко играли другие органы: аристократические советы, институты самоуправления, вроде древнерусского вече, органы военной демократии и т. п. В любом случае такой город был уже не типичным вождеством, поскольку под вождеством, как правило, понимается полития, объединяющая деревни (см., например: Carneiro 1981). Город же даже с небольшой сельской округой имеет в значительной мере другую пространственную структуру, чем такое вождество. Стоит обратить внимание и на разницу в степени хозяйственной специализации¹.

¹ Фактически такое простое вождество очень часто является политией, где основное занятие жителей – сельское хозяйство. Конечно, та или иная специализация занятий нередко и в вождествах, но среди протогородских и городских политий это распространено более существенно. Мало того, в городах концентрация иных, чем сельское хозяйство, видов деятельности обычно более выражена; города чаще всего возникают в результате развития таких несельскохозяйственных видов занятий. У вождеств скорее встречаются укрепленные поселения (крепости), порой сравнимые с городами по численности населения и их военно-политической роли. Но такие поселения в большинстве среднесложных вождеств все же правильнее считать деревнями (см., например, о таких поселениях у маори: Bulmer 2002).

Но были также и полностью самоуправляемые демократические или даже акефальные, то есть не имеющие общих органов управления (Большаков 1989: 44–58; Березкин 1995а; Berezkin 1995; Frantsouzoff 2000) протогородские и городские общины. Достаточно поздним (но зато очень хорошо известным) примером сложной акефальной городской общины является доисламская Мекка (см., например: Большаков 1989: 44–58; Simon 1989; Dostal 1991; Peters 1994: 77–166; Simonsen 2000)¹.

Большие компактные деревни. В таких деревнях могло проживать большое количество жителей (в отдельных случаях – до 11 000 человек как у йакё на юго-востоке Нигерии (Forde 1964; см. также: McIntosh 1999). Такие поселения интегрированы горизонтальными связями: различными ассоциациями, тайными и культовыми обществами. Верховная власть отсутствует, но обладающие высоким статусом члены таких обществ осуществляют религиозную или судебную власть, а также контролируют моральную сторону жизни.

Аристократические анклавы в рамках крупных этнополитических образований (аналогов ранних государств). По нашему мнению, в ряде негосударственных (аналоговых раннему государству) обществах, которые нельзя отнести к сложным вождествам, существовала полунезависимая аристократия, которая, по сути, имела объемы власти, вполне сравнимые с вождями в простых (а иногда и не очень больших сложных) вождествах. Эти аристократы имели значительную автономию в рамках своих владений, право суда и расправы, а главное – самостоятельное войско. Ярким примером являются аристократы Галлии накануне завоевания Цезаря, где знатные галлы имели по несколько сот, а самые знатные – по несколько (до десяти) тысяч клиентов и зависимых людей, из которых они формировали конное войско, заменявшее всеобщее ополчение и тем самым противостоящее основной массе галлов (Цезарь. Галльская война I: 4; Тевено 2002; Бессмертный 1972: 17; см. также: Филип 1961). О клиентеле у галлов задолго до Цезаря писал Полибий, описывающий также её выгоды для высших слоёв (Филип 1961). Могущество знати лишало простой народ политических прав, который, по свидетельству Цезаря, жил на положении рабов, а многие, страдая от долгов и обид, добровольно

¹ Но Мекка скорее относится уже к аналогам ранних государств (см.: Гринин 2011: 159, 252; Grinin 2009; Grinin, Korotayev 2009a).

отдавались в рабство знатым людям (Галльская война VI: 13; см. также: Леру 2000: 125; Филип 1961). Отметим, кстати, что система «патрон – клиент» была весьма распространена в догосударственных и аналоговых государству негосударственных обществах (см., например: Service 1975: 82; Crumley 2002; Grinin 2009; в отношении клиентелы у ирландских кельтов: Филип 1961).

Численность же отдельных племенных галльских союзов и конфедераций была очень большой (Филип 1961). Например, число гелльветов, которые стремились в 58 г. до н. э. переселиться в Западную Галлию, по разным данным составляло от 250 тыс. до 400 тыс. (см., например: Шкунаев 1988: 503; подробнее о галльских политиках как аналогах раннего государства см.: Grinin 2003: 140–141, 2004a: 97–98; Гринин 2011: 258–260).

2. Многопоселенческие аналоги, объединенные горизонтальной связью

Системы акефальных общин. Возможными аналогами вождеств можно считать неиерархические системы акефальных общин с выраженной автономией малосемейных домохозяйств, такие как традиционная социально-политическая система апатани Северо-Восточной Индии. Их язык принадлежал к сино-тибетской языковой семье. Согласно некоторым данным, первый контакт с европейцами состоялся в 1897 г., когда британские служащие находились в долине в течение двух дней. Апатани были исследованы К. Фюрер-Хаймендорфом (Führer-Haimendorf 1962) в 1940-х гг., то есть до того, как индийская администрация установила над ними определенный контроль. Апатани в качестве примера децентрализованной альтернативы вождествам были проанализированы Ю. Е. Березкиным (1995а, 1995б, 2000 и др.). Они живут в долине на высоте 1,5 км над уровнем моря. Каждая из семи деревень является самостоятельной единицей, но деревни располагаются близко друг от друга и фактически представляют собой интегрированное горизонтальными связями сообщество. Вопросами правопорядка и урегулирования конфликтов занимались неформальные советы уважаемых мужчин (глав домохозяйств, стариков и молодежи), причем действующие раздельно. Апатани предпочитают избегать конфликтов. Важно, что у них существовал институт частной собственности на землю, которая принадлежала домохозяйствам. При этом жители имели право

приобретать землю в любой деревне, никаких ограничений на куплю-продажу земли не имелось. Другими формами горизонтальных связей помимо экономических были массовые календарные церемонии, а также престижные потлачевидные мероприятия с раздачей подарков (*лусуду*). *Лусуду* был также способом ограничения накопления и социального расслоения. При этом у апатани имелось два несовпадающих способа социальной стратификации: а) их родовые группы делились на аристократические и «плебейские», последние находились в ритуальной зависимости от первых, но обладали теми же экономическими правами; б) существовала также параллельная стратификация по имущественному признаку. Такой параллелизм, вероятно, блокировал развитие в сторону иерархизации общества. Тем не менее у апатани была развита эксплуатация, включая такие формы зависимости, как рабство, приживальчество, кабала, а также наемный труд. Общая численность населения апатани достигала в 1961 г. 11 тыс. человек и 2520 домохозяйств.

Интересный пример существования подобных деревенских общин без центральной управляющей структуры, особенно удивительный для Америки, где вождества насчитывались в большом количестве (см.: Carneiro 1981), – общества пуэбло в северной части территории современного штата Нью-Мексико (см.: Creamer 2001). При этом даже в рамках отдельных общин политические лидеры, если они имелись, не обладали значительной властью, они не были облеченными властью вождями, чьи приказы заставляли бы людей немедленно повиноваться (*Ibid.*). Деревни пуэбло достаточно близко располагались друг к другу. Их общее население к моменту встречи с испанцами могло насчитывать от 20 000 до 60 000 человек, проживавших в нескольких десятках (от 30 до 65) поселений. Единство всего региона поддерживалось, по мнению Кримера, религией, включая деятельность тайных обществ, и ритуальными действиями; статус участника последних был очень высок. Религия и ритуалы, как считает Кример, являются ключевым для понимания механизмов развития социокультурной сложности в северной части бассейна Рио-Гранде. Сами поселения были достаточно большие, некоторые могли насчитывать более 1000 жителей. В отличие от апатани эти автономные поселения нередко воевали между собой (что могло дополнительно влиять на концентрацию численности жителей в поселениях), существовал культ войны и соответственно имелись воен-

ные лидеры (Creamer 2001: 55). Война также способствовала росту сложности, поскольку между некоторыми поселениями возникали союзы, которые могли формировать более или менее сплоченные группы или кластеры деревень (Creamer 2001: 56).

Исследователь африканских социально-политических систем Хортон (Horton 1971) указывает на наличие во многих регионах Африки *акефальных дисперсных территориальных обществ*. Они представляют собой территориально оформленные образования, состоящие из локальных конфедераций линиджей смешанного происхождения, результатом чего является разнонаправленная миграция в этом районе. Верховная власть отсутствовала, но конфедерация в политико-ритуальном плане была объединена культовыми организациями (см. также: McIntoch 1999)¹.

Аристократические акефальные системы могут быть проиллюстрированы на примере общества народа *и (носу)* в высокогорном районе Ляньшань китайской провинции Сычуань. В этом обществе существовало четыре сословия, из которых одно, собственно *и (носу)* – «черные», – в противоположность подчиненным («белым») было высшим, благородным, а потому не участвовало в производительном труде. Остальные три сословия находились в разной степени зависимости – от полукрепостной до рабской. Сколько-нибудь сложной политической структуры при этом не образовалось (Итс, Яковлев 1967; Куббель 1988а: 241–242). Описанная выше специфическая социально-политическая структура начала складываться еще с VII–IX вв. н. э. в связи с тем, что скотоводческие племена подчинили себе земледельцев (Итс, Яковлев 1967: 79).

В данном обществе было весьма распространено рабство. При этом носу часто делали набеги и захватывали ханьцев, обращая их в рабов. Высшее сословие составляло всего несколько процентов от общего населения (Там же: 82). Мужчины-аристократы с раннего возраста готовили себя к ратному делу. «Надменность, презрение к другим сословиям и национальностям, воинственность составляли наиболее яркие черты душевного склада *носу*, сложившиеся под

¹ Более крупные объединения такого типа, включающие десятки деревень с общим населением в десятки тысяч человек, такие как политии *игбо* (McIntosh 1999: 9), можно рассматривать как аналоги раннего государства (см.: Grinin 2004b, 2011a).

влиянием социальных и исторических обстоятельств. Женщины из сословия *носу* в основном вели праздный образ жизни. Они лишь в какой-то мере присматривали за домашними рабами» (Там же: 84).

Общее население ляншанских *и* в начале XIX в. насчитывало около 10 тыс. человек. Но в 1838 г. оно составляло уже 40–50 тыс. До этого момента данные политики еще можно рассматривать как аналоги простых вожеств (с учетом не слишком сильной интеграции поселений). В последующий период вплоть до середины 1950-х гг. население продолжало расти, достигнув 630 тыс. человек, из которых 50–60 тыс. составляли неассимилированные рабы-ханьцы (Итс, Яковлев 1967: 79–80). Таким образом, с 1830-х гг. общество *носу* превратилось уже в аналог раннего государства (см. подробнее: Гринин 2011: 283–284).

Федерации и конфедерации общин. Аналогами вожеств могут выступать федерации и конфедерации небольших общин, в том числе у горцев (см., например: Агларов 1988; Korotayev 1995; Коротаев 2006; Гринин 2011; Grinin 2007b, 2011a, 2011b) или кочевников¹. В отличие от предшествующего типа федерации и конфедерации имеют бóльшую степень единства, а иногда даже какие-то формальные институты (типа надобщинного совета и т. п.). На эволюционно более высоком уровне развития (сложные общества) это хорошо изучено в племенных конфедерациях североамериканских индейцев криков (Стартевант 1978), гуронов (Логинов 1988: 233; Тишков 1988: 148), ирокезов (Фентон 1978) и др. (см. о таких конфедерациях индейцев также: Гринин 2011; Grinin 2011a; Drennan *et al.* 2011).

Несимметричные линиджные системы. Даже системы симметричных в размерах, возможностях и отношениях линиджей, которые описывались в «Африканских политических системах» (Fortes, Evans-Prichard 1987 [1940]), у таких народов, как логоли (Wagner 1987 [1940]), талленси (Fortes 1987 [1940]), нуэры (Evans-Prichard 1956, 1987 [1940]; Эванс-Причард 1985), в определенном плане можно трактовать как неполные аналоги среднесложных вожеств, поскольку они реализовывали целый ряд аналогичных вожеству функций.

¹ В иных условиях более крупные федерации горских обществ можно рассматривать как аналоги уже ранних государств (см. подробнее: Гринин 2011; Grinin 2003, 2004b, 2007b, 2011a).

Однако важно, что существовали и другие разнообразные формы и принципы объединения линиджей, в том числе асимметричных (подробнее о них см.: Grinin, Korotayev 2011). Представляется, что существует большой спектр вариаций таких линиджных систем между близкими по типу к вождествам и полностью симметричными системами, и немалая часть их может быть определена как аналоги вождеств. Системы различных объединений линиджей (в том числе объединенных не территориально, а иными типами связей: символическими, псевдородственными и т. п.) во главе с ведущими линиджами у мбунду в Анголе в период формирования там государств хорошо описал Миллер (1984).

Племена. Понятие племени (это признают многие исследователи) очень нечетко и многозначно, так как племенем могут называть и небольшую группу в десять-двадцать человек, и крупные негосударственные народы в сотни тысяч и миллионы человек (см. об этом, например: Fried 1967, 1975; Vansina 1999; Claessen 2011; Khoury, Kostiner 1990; Tapper 1983, 1990; Malinowski 1947: 252–261; Бромлей 1982; Шнирельман 1982; Гиренко 1991; Куббель 1988б; Ольдерогге 1977; Следзевский 1991; Тишков 1990; п'Битек 1979: 27–32; Helm 1967; Grinin 2007b, 2011a: 143–144; Korotayev 2000a, 2000b; Коротаев 2006: 18, 114–120; Grinin, Korotayev 2009a, 2009b; Гринин, Коротаев 2009). И это создает сильное противоречие между имплицитно предполагаемым смыслом и накопившимся в науке материалом.

Наш подход в рамках темы статьи заключается в том, что далеко не все, но по крайней мере *некоторые* формы племен (если говорить о племени в политическом смысле) можно рассматривать как аналог вождества. При этом представляется, что не только вторичное племя, но племя в раннеаграрных среднесложных обществах вполне может рассматриваться как аналог вождества¹ (учитывая, что и те и другие существенно эволюционировали). В рамках настоящей статьи отсутствует возможность остановиться на проблеме сравнения вождества и племени как аналога вождества (о племени как аналоге вождества см. подробнее: Grinin, Korotayev 2011; см. также: Коротаев 2000; Korotayev 2000a, 2000b; Grinin 2011b). Но заметим, что во

¹ А в ряде случаев крупные и прочные группы (союзы) племен можно уже рассматривать как аналоги ранних государств (примеры см.: Grinin 2007a, 2007b, 2011a: 254–256).

многих случаях точнее говорить не о племенах, а о “племенеподобных” полициях (см., например: Creamer 2001: 55)¹.

3. Корпоративные аналоги

Браун (Brown 1951), Кэббери (Kabbery 1957) и Хортон (Horton 1971) установили, что линиджи отнюдь не были единственным структурным принципом объединения базовых единиц среднесложных социально-политических систем. При этом они подчеркивали, что в создании таких политических структур важную роль играли разнообразные горизонтальные связи, которые создаются с помощью определенных институтов, таких как возрастные классы или ритуальные действия, а также с помощью особых корпораций: тайных обществ, культовых групп и “ранговых обществ” (title societies) (см. также: McIntosh 1999: 9; Vansina 1999). Действительно, нередко очень прочные виды горизонтальных связей способны играть исключительную роль в институционализации отношений между отдельными общинами, внутри племени и между родственными племенами.

В рамках предмета нашей статьи мы полагаем, что некоторые из указанных типов корпораций (организаций) сами могут быть рассмотрены как корпоративные аналоги вожеств. Следует учитывать, что они формируют не просто горизонтальные, но и или вертикально-горизонтальные связи.

Тайные союзы и общества. Тайные союзы и общества особенно хорошо описаны для Меланезии и Тропической Африки, но этнографически зафиксированы также в Микронезии и у индейцев Северной Америки (см., например, о роли таких обществ в Северной Мексике у пуббло: Creamer 2001: 55–57), а мифологические реконструкции дают основания предполагать, что они имели место также у индоариев и других народов Старого Света. В некоторых регионах, как уже сказано, они были распространенным механизмом установления ме-

¹ Племя (но не любое, а только такое, которое можно рассматривать как аналог вожества) может быть определено как социополитическая сегментарная система с населением в тысячи или десятки тысяч человек с общим этнокультурным ядром, самоназванием и самосознанием, собственной постоянной или временной территорий (с учетом, конечно, отсутствия оседлости у многих племен) и политической организацией, позволяющей поддерживать устойчивый внутренний порядок и самоорганизацию для достижения военных и иных целей (см. подробнее: Grinin, Korotayev 2011).

жобщественных связей. Они служили для повышения статуса, престижа, власти и обогащения своих членов, для реализации их возможностей и амбиций. Число таких тайных обществ было велико, только капитан Ф. Батт-Томпсон описал в Западной Африке 150 таких союзов (Butt-Thompson 1970 [1919]). Десятки союзов насчитывались на разных группах островов Меланезии, многие из них представляют общества, которые претендуют на монополию определенных видов колдовства, а число видов последнего весьма велико (Токарев 1990: 308–311). Существовали и своего рода профессиональные тайные союзы: воинов, колдунов, лекарей, танцевально-спортивные и др. (см.: Новожилова 2000: 110). Ф. Батт-Томпсон (Butt-Thompson 1970 [1919]) делил аборигенные союзы Западной Африки на: 1) мистикорелигиозные; 2) демократические и патриотические; 3) “извращенно-преступные”. (О роли тайных союзов, в частности союза охотников, в политогенезе у мбунду см.: Миллер 1984.)

Хотя типы тайных обществ разнообразны, многие принципы их образования и функционирования весьма похожи (Новожилова 2000: 110–111; Куббель 1988а: 238–241; см. также: Белков 1993: 94–97). Очень важно, что эти принципы выступали полной противоположностью племенным принципам, поскольку в целом тайным союзам свойствен акцент на разрыв с родовой структурой (см.: Новожилова 2000: 110; Андреев 1998: 45; Куббель 1988а: 240–241). Тайный союз комплектовался не по родственным, а по профессиональным, территориальным, имущественным и иным критериям; возникали и новые принципы социальной стратификации, так как различия между членами возникали в соответствии с рангом, должностью, имущественным состоянием или взносом, заслугами и т. п. Для вступления в союз нужны были поручители, довольно существенный взнос, внутри союза порой царил строгая дисциплина, иногда имелся особый язык.

Подобно вождеству, тайные союзы имели сложную иерархическую структуру с несколькими ступенями подчинения младших членов старшим, и в этом отношении некоторые из таких тайных обществ, на наш взгляд, по четкости организации, жесткости иерархических принципов существенно превосходили многие вождества. Некоторые тайные союзы представляли собой зачатки будущего аппарата управления и репрессий; бывали союзы, которые выполняли роль полиции. Но их роль была велика и в плане формирования

вообще институтов будущей государственной власти (см.: Токарев 1990: 307; Куббель 1988а: 241; Гринин 2011: 276–277).

Тайные союзы довольно успешно выполняли функции, характерные для вождеств: объединение в одну систему групп людей и индивидов, находящихся на одной территории, но принадлежащих к разным системам родственной организации и к разным общинам (то есть следующие функции: быть надобщинной, надродовой организацией); осуществление посредничества, суда, карательной функции. Так некоторые тайные общества могли выступать в роли силы, предотвращающей вражду между крупными корпорациями¹; реди-стрибутивную функцию; функцию нормотворчества (так, например, табуан – глава союза дук-дук на о. Новая Британия – мог табуировать плантации и плодовые деревья членов союза за определенную плату [см.: Токарев 1990]).

Организованные группы сборного типа. В качестве аналога вождества можно рассматривать и организовавшиеся группы (иногда образовывавшие даже квазиплемена) из различного рода отщепенцев, авантюристов, вольнолюбцев или преступников, не признающих официальной власти, любителей легкой наживы и тому подобных людей. Нередко такие имеющие вооружение сообщества создавались в противовес крепнущей официальной власти нового государства. «Эта выделившаяся часть населения, не признающая законов, вследствие свободы от всякого стеснения законом и установления каких-либо отношений к своему племени, а также и уважения, какое питают к нему самые смелые и наиболее неимущие из соседних племен, часто приобретает большую силу», – писал Ратцель (1902, т. 1: 445).

Касты и квазикасты. В результате завоеваний, межобщинной и иной специализации и других причин в ряде случаев возникали кастовые или квазикастовые системы (см., например: Куббель 1988а: 241). Касты и квазикасты существовали не только в ранних государствах (таких как Индия или средневековая Аравия), но и в догосударственных и парадогосударственных обществах Индонезии, Океании,

¹ В частности, так было в некоторых районах Нигерии с конца XVII в., когда тайное общество Эгбо координировало торговую и иную деятельность крупных объединений – торговых домов, стремясь сгладить остроту соперничества между ними. Монополией Эгбо было решение торговых споров и взимание долгов (см.: Новожилова 1999: 37).

Восточной и Северо-Восточной Африки, Сахары, Южной Нигерии [Кобищанов 1978: 254–260; 1982: 145–149; см. также: Quigley 1999: 114–169; 2002: 146, 153]). Касты выполняли многие из функций вождеств: объединения членов, живущих территориально разрозненно, нормотворчества, суда и посредничества, редистрибуции, в них также существовали некоторые иерархические институты вплоть до верховной власти и т. п.

Возрастные классы (группы) представляют собой важный механизм интеграции в ряде среднесложных и сложных обществ (о сложных системах возрастных классов см.: Калиновская 1976; ван Геннеп 2002; о роли такой возрастной системы у некоторых племен нага в горной Северо-Восточной Индии см., например: Маретина 1995: 83). Известны случаи, когда совмещались принципы тайных союзов и возрастных классов в тайных обществах (например, у сиу, у некоторых алгонкинских племен [Токарев 1990: 313]). В некоторых случаях возрастные группы могли выступать как достаточно сплоченная корпорация. В частности, это относилось к молодежи в отдельных обществах, где она трансформировалась в вооруженную силу во главе с предводителями, а при союзе со знахарями и колдунами становилась и вовсе грозной силой (многочисленные примеры в обществах Восточной Африки см.: Бочаров 1995). В таком аспекте возрастные классы можно рассматривать как *неполные аналоги вождеств*.

* * *

Таким образом, на уровне среднесложных обществ наблюдается большое разнообразие социально-политических типов и форм. В определенном – «горизонтальном» – аспекте мы можем рассматривать их как стадияльно равные. Но в ином – «вертикальном» – измерении среди них можно выделить более и менее эволюционно перспективные. Такие были и среди вождеств, и среди аналогов вождеств (в частности, в виде полисов и протогородов). Подводя итоги, мы надеемся, что предложенная нами концепция аналогов вождества хотя бы в какой-то мере позволит продвинуться по пути теоретического анализа многообразия типов среднесложных обществ, среди которых тип вождества неизбежно будет занимать одно из главных мест.

ЛИТЕРАТУРА

- Агларов, М. А. 1988. *Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – начале XIX в.* М.: Наука.
- Андреев, И. Л. 1998. Тайные общества как альтернативный государству механизм властного регулирования традиционных отношений в странах Тропической Африки. *Африка: общества, культуры, языки. Материалы выездной сессии Научного совета. Санкт-Петербург, 6–8 мая 1996* / Ред. И. В. Следзевский, Д. М. Бондаренко, с. 38–53. М.: Ин-т Африки РАН.
- Андреев, Ю. В. 1976. *Раннегреческий полис. Гомеровский период.* Л.: Наука.
- Андреев, Ю. В. 1982. К проблеме гомеровского землевладения. *Социальная структура и организация античного общества*, с. 10–31. Л.: ЛГУ.
- Белков, П. Л. 1993. Социальная стратификация и средства управления в доклассовом и предклассовом обществе. *Ранние формы социальной стратификации. Генезис, историческая динамика, постстарно-политические функции* / Ред. В. А. Попов, с. 71–97. М.: Вост. лит-ра.
- Берве, Г. 1997. *Тираны Греции* / пер. с нем. Ростов н/Д.: Феникс.
- Березкин, Ю. Е. 1995а. Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности* / Ред. В. А. Попов, с. 62–78. М.: Восточная литература.
- Березкин, Ю. Е. 1995б. Модели среднemasштабного общества: Америка и древнейший Ближний Восток. *Альтернативные пути к ранней государственности* / Ред. Н. Н. Крадин, В. А. Лынша, с. 94–104. Владивосток: Дальнаука.
- Березкин, Ю. Е. 2000. Еще раз о горизонтальных и вертикальных связях в структуре среднemasштабных обществ. *Альтернативные пути к цивилизации* / Ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Д. М. Бондаренко, В. А. Лынша, с. 259–264. М.: Логос.
- Бессмертный, Ю. Л. 1972. Возникновение Франции. *История Франции: в 3 т.* / Ред. А. З. Манфред Т. 1, с. 9–68. М.: Наука.
- Большаков, О. Г. 1989. *История Халифата. 1: Ислам в Аравии*, с. 570–633. М.: Наука.

- Бондаренко, Д. М., Гринин, Л. Е., Коротаев, А. В. 2010. Социальная эволюция: альтернативы и варианты (к постановке проблемы). *Эволюция: проблемы и дискуссии* / Ред. Л. Е. Гринин, А. В. Марков, А. В. Коротаев, с. 120–159. М.: Издательство ЛКИ.
- Бочаров, В. В. 1995. Ранние формы политической организации в структуре колониального общества [на африканском материале]. *Ранние формы политической организации* / Ред. В. А. Попов. М.: Наука.
- Бромлей, Ю. В. (ред.) 1982. *Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе*. М.: Наука.
- ван Геннеп, А. 2002 [1909]. *Обряды перехода* / пер. с фр. М.: Вост. лит-ра.
- Гиренко, Н. М. 1991. *Социология племени*. Л.: Наука.
- Гринин, Л. Е. 2007а. *Государство и исторический процесс. Эпоха формирования государства: Общий контекст социальной эволюции при формировании государства*. М.: КомКнига.
- Гринин, Л. Е. 2007б. Зависимость между размерами общества и эволюционным типом политики. *История и математика: Анализ и моделирование социально-исторических процессов* / Ред. А. В. Коротаев, С. Ю. Марков, Л. Е. Гринин, с. 263–303. М.: КомКнига.
- Гринин, Л. Е. 2009. *Государство и исторический процесс. Политический срез исторического процесса*. 2-е изд. М.: КомКнига.
- Гринин, Л. Е. 2010. *Государство и исторический процесс: От раннего государства к зрелому*. 2-е изд. М.: ЛИБРОКОМ.
- Гринин, Л. Е. 2011. *Государство и исторический процесс: Эпоха формирования государства: Общий контекст социальной эволюции при образовании государства*. Изд. 2-е. М.: ЛКИ.
- Гринин, Л. Е., Коротаев, А. В. 2009. *Социальная макроэволюция. Генезис и трансформация Мир-системы*. М.: КомКнига.
- Зданович, Д. Г. 1997. *Синташтинское общество: социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы*. Челябинск: Челябинский государственный университет.
- Итс, Р. Ф., Яковлев, А. Г. 1967. К вопросу о социально-экономическом строе ляншанской группы народности. *Община и социальная организация у народов Восточной и Юго-Восточной Азии* / Ред. Р. Ф. Итс, с. 64–106. Л.: Наука.
- Калиновская, К. П. 1976. *Возрастные группы народов Восточной Африки. Структура и функции*. М.: Наука.

- Кобищанов, Ю. М. 1978. Системы общинного типа. *Община в Африке: проблемы типологии* / Ред. С. А. Токарев, Ю. М. Кобищанов, с. 133–260. М.: Наука.
- Кобищанов, Ю. М. 1982. *Мелконатуральное производство в общинно-кастовых системах Африки*. М.: Наука.
- Коротаев, А. В. 2000. Племя как форма социально-политической организации сложных непервобытных обществ (в основном по материалам Северо-Восточного Йемена). *Альтернативные пути к цивилизации* / Ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Д. М. Бондаренко, В. А. Лынша, с. 265–291. М.: Логос.
- Коротаев, А. В. 2006. *Социальная история Йемена, X в. до н. э. – XX в. н. э. Вождества и племена страны Хашид и Бакил*. М.: КомКнига.
- Коротаев, А. В., Гринин, Л. Е. 2009. Политическое развитие Мир-Системы и урбанизация: сравнительный количественный анализ. *История и Математика: Эволюционная историческая макродинамика* / Ред. С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев (ред.), с. 119–188. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
- Коротаев, А. В., Крадин, Н. Н., Лынша, В. А. 2000. Альтернативы социальной эволюции (вводные замечания). *Альтернативные пути к цивилизации* / Ред. Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Д. М. Бондаренко, В. А. Лынша, с. 24–83. М.: Логос.
- Кошеленко, Г. А. 1983. Введение. Древнегреческий полис. *Античная Греция. Проблемы развития полиса*. Т. 1. *Становление и развитие полиса* / Ред. Е. С. Голубцова, с. 9–36. М.: Наука.
- Кошеленко, Г. А. 1987. О некоторых проблемах становления и развития государственности в Древней Греции. *От доклассовых обществ к раннеклассовым* / Ред. Б. А. Рыбаков, с. 38–73. М.: Наука.
- Крадин, Н. Н. 1991. Политогенез. *Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития* / Отв. ред. А. В. Коротаев, В. В. Чубаров, с. 261–295. М.: Институт истории СССР АН СССР.
- Крадин, Н. Н. 1995. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности* / Ред. В. А. Попов, с. 11–61. М.: Восточная литература.
- Крадин, Н. Н. 2001. *Политическая антропология*. М.: Науч.-издат. центр «Ладомир».

- Крадин, Н. Н., Лынша, В. А. (ред.) 1995. *Альтернативные пути к ранней государственности. Международный симпозиум*. Владивосток: Дальнаука.
- Крадин, Н. Н., Коротаяев, А. В., Бондаренко, Д. М., Лынша, В. А. (ред.) 2000. *Альтернативные пути к цивилизации*. М.: Логос.
- Куббель, Л. Е. 1988а. Возникновение частной собственности, классов и государства. *Народы мира* / Ред. Ю. В. Бромлей, с. 140–269. М.: Советская энциклопедия.
- Куббель, Л. Е. 1988б. *Очерки потестарно-политической этнографии*. М.: Наука.
- Леру, Ф. 2000. *Друиды* / пер. с фр. СПб.: Евразия.
- Логинов, А. В. 1988. Крики. *Народы мира* / Ред. Ю. В. Бромлей, с. 233. М.: Советская энциклопедия.
- Маретина, С. А. 1995. К проблеме универсальности вождеств: о природе вождей у нага [Индия]. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности* / Ред. В. А. Попов, с. 79–103. М.: Наука.
- Миллер, Дж. 1984. *Короли и сородичи. Ранние государства мбунду в Анголе* / пер. с англ. М.: Наука.
- Морган, Л. Г. 1934. *Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации* / пер. с англ. Л.: Изд-во ин-та народов Севера.
- Новожилова, Е. М. 1999. Тайные союзы в старом Калабаре как институт консолидации городского сообщества. *Африка: общества, культуры, языки (традиционный и современный город в Африке). Материалы выездной сессии научного совета, состоявшейся в Санкт-Петербурге 5–7 мая 1998 г.* (с. 33–37). М.: Ин-т Африки.
- Новожилова, Е. М. 2000. *Традиционные тайные общества Юго-Восточной Нигерии (Потестарные аспекты функционирования)*. М.
- Ольдерогге, Д. А. 1977. Проблемы этнической истории Африки. *Этническая история Африки* / Ред. Д. А. Ольдерогге. М.: Наука.
- п'Битек, О. 1979. *Африканские традиционные религии* / пер. с англ. М.: Наука; Главная ред. вост. лит-ры.
- Полякова, Г. Ф. 1983. От микенских дворцов к полису. *Античная Греция. Проблемы развития полиса*. Т. 1. *Становление и развитие полиса* / Ред. Е. С. Голубцова, с. 89–127. М.: Наука.
- Ратцель, Ф. 1902. *Народоведение*: в 2 т. СПб.: Просвещение.
- Сергеев, В. С. 2002. *История Древней Греции*. СПб.: Полигон.

- Следзевский, И. В. 1991. Проблема интерпретации племени в африканском обществе и формационная теория. *Племя и государство* (Материалы выездной сессии Научного совета, состоявшейся в Ленинграде 5–6 мая 1991 г.) / Ред. Ю. М. Ильин, В. А. Попов, И. В. Следзевский, с. 21–35. М.: Институт Африки АН СССР.
- Стартевант, У. К. 1978. Из криков в семинолы. *Североамериканские индейцы* / Ред. Ю. П. Аверкиева, с. 66–108. М.: Прогресс
- Тевено, Э. 2002. *История галлов* / пер. с фр. М.: Весь мир.
- Тишков, В. А. 1988. Гуроны. *Народы мира* / Ред. Ю. В. Бромлей, с. 148. М.: Советская энциклопедия.
- Тишков, В. А. 1990. Социальное и национальное в историко-антропологической перспективе. *Вопросы философии* 12: 3–15.
- Токарев, С. А. 1990. *Ранние формы религии*. М.: Изд-во полит. лит-ры.
- Фентон, У. Н. 1978. Ирокезы в истории. *Североамериканские индейцы* / Ред. Ю. П. Аверкиева, с. 109–156. М.: Прогресс.
- Филип, Я. 1961. *Кельтская цивилизация и ее наследие* / пер. с чешск. Прага.
- Фролов, Э. Д. 1988. *Рождение греческого полиса*. Л.: ЛГУ.
- Шкунаев, С. В. 1988. Кельты в Западной Европе в V– I вв. до н. э. *История Европы*. Т. 1. *Древняя Европа* / Отв. ред. Е. С. Голубцова, с. 492–503. М.: Наука.
- Шишова, И. А. 1991. *Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции*. Л.: Наука.
- Шнирельман, В. А. 1982. Проблема доклассового и раннеклассового этноса в зарубежной этнографии. *Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе* / Ред. Ю. В. Бромлей, с. 207–252. М.: Наука.
- Шнирельман, В. А. 1988. Канаки. *Народы мира* / Ред. Ю. В. Бромлей, с. 200. М.: Советская энциклопедия.
- Эванс-Причард, Э. Э. 1985. *Нуэры* / пер. с англ. М.: Наука.
- Яйленко, В. П. 1983. Архаическая Греция. *Античная Греция. Проблемы развития полиса*. Т. 1. *Становление и развитие полиса* / Ред. Е. С. Голубцова, с. 128–193. М.: Наука.
- Berezkin, Yu. E. 1995. Alternative Models of Middle Range Society. 'Individualistic' Asia vs. 'Collectivistic' America? (eds.), *Alternative Pathways to Early State* / Ed. by N. N. Kradin, V. A. Lynsha, pp. 75–83. Vladivostok: Dal'nauka.

- Bondarenko, D. M., Grinin, L. E., Korotayev, A. V. 2002. Alternative Pathways of Social Evolution. *Social Evolution & History* 1: 54–79.
- Brown, P. 1951. Patterns of Authority in Africa. *Africa* 21: 262–278.
- Bulmer, S. 2002. City Without a State? Urbanisation in Pre-European Taamaki-makau-rau (Auckland, New Zealand) *The Development of Urbanism from a Global Perspective* / Ed. by P. J. J. Sinclair. Uppsala: Uppsala Universitet. P. 143–162.
- Butt-Thompson, F.W. 1970 [1919]. *West African Secret Societies*. Westport, Connecticut.
- Carneiro, R. L. 1981. The Chiefdom: Precursor of the State. In Jones, G. D., Kautz, R. R. (eds.), *The Transition to Statehood in the New World* (pp. 37–79). Cambridge, UK – New York: Cambridge University Press.
- Carneiro, R. L. 2010. Pauketat's Chiefdoms and Other Archaeological Delusions: A Challenge to Social Evolution. *Social Evolution & History* 9(1): 135–166.
- Claessen, H. J. M. 2011. On Chiefs and Chiefdoms. *Social Evolution & History* 10(1): 5–26.
- Claessen, H. J. M., Skalník, P. (eds.) 1981. *The Study of the State*. The Hague: Mouton.
- Creamer, W. 2001. The Origins of Centralization: Changing Features of Local and Regional Control during the Rio Grande Classic Period, ad 1325–1540. In Haas, J. (ed.) *From Leaders to Rulers* (pp. 37–58). New York: KluwerAcademic / Plenum Publishers.
- Crumley, C. L. 2002. Alternative Forms of Societal Order. In Scarborough, V. L., Valdez, F., Dunning N. Jr., (eds.), *Heterarchy, Political Economy, and the Ancient Maya: The Three Rivers Region of the East-Central Yucatan Peninsula*. Tempe, AZ: University of Arizona Press.
- Dillon, R. 1990. *Ranking and Resistance*. Stanford: Stanford University Press.
- Dostal, W. 1991. Mecca before the Time of the Prophet – Attempt of an Anthropological Interpretation. *Der Islam* 68: 193–231.
- Drennan, R. D., Hanks, B. H., Peterson, C. E. 2011. The Comparative Study of Chiefly Communities in the Eurasian Steppe Region. *Social Evolution & History* 10(1): 149–186.
- Earle, T. K. 1987. Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective. *Annual Review of Anthropology* 16: 279–308.

- Earle, T. K. 2011. Chiefs, Chieftaincies, Chiefdoms, and Chiefly Confederacies: Power in the Evolution of Political Systems. *Social Evolution & History* 10(1): 27–54.
- Evans-Prichard, E. E. 1956. *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People*. Oxford: Clarendon Press.
- Evans-Prichard, E. E. 1987 [1940]. The Nuer of the Southern Sudan. In Fortes, M., Evans-Pritchard, E. E. (eds.), *African Political Systems* (pp. 272–296). London and New York: International African Institute.
- Forde, D. 1964. *Yakö Studies*. London: Oxford University Press.
- Fortes, M. 1987 [1940]. The Political System of the Tallensi of the Northern Territories of the Gold Coast. In Fortes, M., Evans-Pritchard, E. E. (eds.), *African Political Systems* (pp. 239–271). London – New York: International African Institute.
- Fortes, M., Evans-Pritchard, E. E. 1987 [1940] (eds.). *African Political Systems*. London – New York: International African Institute.
- Frantsouzoff, S. A. 2000. The Society of Raybun. In Kradin, N. N., Korotayev, A. V., Bondarenko, D. M., de Munck, V., Wason, P. K. (eds.), *Alternatives of Social Evolution* (pp. 258–265). Vladivostok: FEB RAS.
- Fried, M. H. 1967. *The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology*. New York, NY: Random House.
- Fried, M. H. 1975. *The Notion of Tribe*. Menlo Park: Cummings Publishing Company.
- Führer-Haimendorf, Ch. Von. 1962. *The Apa Tanis and Their Neighbours*. London: Routledge & Paul – New York, NY: The Free Press of Glencoe.
- Gibson, D. B. 2011. Chiefdom Confederacies and State Origins. *Social Evolution and History* 10(1): 215–233.
- Golubtsova, E. S., Kusishin, E. I., Shtaerman, E. M. 1975. *Types of Community in the Ancient World*. San Francisco: International Congress of Historical Sciences.
- Greenhalgh, P. A. L. 1973. *Early Greek Warfare. Horsemen and Chariots in the Homeric and Archaic Ages*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Grinin, L. E. 2003. The Early State and Its Analogues. *Social Evolution & History* 2(1): 131–176.

- Grinin, L. E. 2004a. Democracy and Early State. *Social Evolution & History* 3(2): 93–149.
- Grinin, L. E. 2004b. The Early State and Its Analogues: A Comparative Analysis. In Grinin, L. E., Carneiro, R. L., Bondarenko, D. M., Korotayev, A. V. (eds.), *The Early State, Its Alternatives and Analogues* (pp. 88–136). Volgograd: Uchitel.
- Grinin, L. E. 2007a. Alternativity of State Formation Process: The Early State vs. State Analogues. *Third International Conference 'Hierarchy and Power in the History of Civilizations'* (June 18–21, 2004, Moscow). In Bondarenko, D. M., Nemirovskiy, A. A. (eds.), *Selected Papers I. Alternativity in Cultural History: Heterarchy and Homoarchy as Evolutionary Trajectories* (pp. 167–183). Moscow: Center for Civilizational and Regional Studies of the Russian Academy of Sciences.
- Grinin, L. E. 2007b. The Early State Analogues. In Kulpin, E. S. (ed.), *Socionatural History: Selected Lectures of I–XVI Schools 'Human Being and Nature: Problems of Socionatural History'* (1992–2007) (pp. 77–105). Moscow: KomKniga/URSS.
- Grinin, L. E. 2009. The Pathways of Politogenesis and Models of the Early State Formation. *Social Evolution & History* 8(1): 92–132.
- Grinin, L. E. 2011a. Complex Chiefdom: Precursor of the State or Its Analogue? *Social Evolution & History*. Special Issue. *Chiefdoms: Theories, Problems, and Comparisons* 10(1): 234–275.
- Grinin, L. E. 2011b. *The Evolution of Statehood. From Early State to Global Society*. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
- Grinin, L. E., Korotayev, A. V. 2009a. The Epoch of the Initial Politogenesis. *Social Evolution & History* 8(1): 52–91.
- Grinin, L. E., Korotayev, A. V. 2009b. Social Macroevolution: Growth of the World System Integrity and a System of Phase Transitions. *World Futures* 65(7): 477–506.
- Grinin, L. E., Korotayev, A. V. 2011. Chiefdoms and Their Analogues: Alternatives of Social Evolution at the Societal Level of Medium Cultural Complexity. *Social Evolution & History*. Special Issue. *Chiefdoms: Theories, Problems, and Comparisons*. 10(1): 276–335.
- Helm, J. (ed.) 1967. *Essays on the Problem of Tribe*. Seattle – London: American Ethnological Society.
- Horton, R. 1971. Stateless Societies in the History of Africa. In Ajayi, J. F. A., Crowder, M. (eds.), *History of West Africa*. Vol. I (pp. 78–119). London: Longman.

- Johnson, A. W., Earle, T. K. 2000. *The Evolution of Human Societies: from Foraging Group to Agrarian State*. 2nd ed. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Kabbery, P. 1957. Primitive States. *British Journal of Sociology* 8: 224–234.
- Khoury, P. S., Kostiner, J. 1990. Introduction. In Khoury, P. S., Kostiner, J. (eds.), *Tribes and State Formation in the Middle East* (pp. 1–22). Berkeley, CA: University of California Press.
- Korotayev, A. V. 1995. Mountains and Democracy: An Introduction. In Kradin, N. N., Lynsha, V. A. (eds.), *Alternative Pathways to Early State* (pp. 60–74). Vladivostok: Dal'nauka.
- Korotayev, A. V. 2000a. The Chieftdom: Precursor of the Tribe? (Some Trends of the Evolution of the Political Systems of the North-East Yemen in the 1st and 2nd Millennia A.D.). In Kradin N. N., Korotayev A. V., Bondarenko D. M., de Munck V., Wason P. K. (eds.), *Alternatives of Social Evolution* (pp. 242–257). Vladivostok: FEB RAS.
- Korotayev, A. V. 2000b. North-East Yemen (1st and 2nd Millennia A.D.). In Bondarenko, D. M., Korotayev, A. V. (eds.), *Civilizational Models of Politogenesis* (pp. 191–227). Moscow: IAF RAN.
- Korotayev, A. V., Grinin, L. E. 2006. Urbanization and Political Development of the World System: A Comparative Quantitative Analysis. In Turchin P., Grinin L. E., de Munck, V. C., Korotayev, A. V. (eds.), *History & Mathematics: Historical Dynamics and Development of Complex Societies* (pp. 115–153). Moscow: KomKniga.
- Korotayev, A. V., Kradin, N. N., de Munck, V., Lynsha, V. A. 2000. Alternatives of Social Evolution: introductory notes. In Kradin, N. N., et al. (eds.), *Alternatives of Social Evolution* (pp. 12–51). Vladivostok: FEB RAS.
- Kradin, N. N. 2011. Heterarchy and Hierarchy among Ancient Mongolian Nomads. *Social Evolution & History* 10(1): 187–214.
- Kradin, N. N., Korotayev, A. V., Bondarenko, D. M., Munck, V. de, Wason, P. K. 2000. (Eds.). *Alternatives of Social Evolution*. Vladivostok: FEB RAS.
- Lozny, L. 2011. The Emergence of Multi-agent Polities of the Northern Central European Plains in the Early Middle Ages, 600–900 CE. *Social Evolution & Hisotry* 10(1): 122–148.
- Malinowski, B. 1947. *Freedom and Civilization*. London: George Allen.
- McIntosh, S. K. 1999. Pathways to Complexity: An African Perspective. In McIntosh, S. K. (ed.), *Beyond Chiefdoms: Pathways to Complexity in Africa* (pp. 1–30). Cambridge: Cambridge University Press.

- Pauketat, T. R. 2007. *Chiefdoms and Other Archaeological Delusions*. New York – Walnut Canyon – California: AltaMira Press.
- Pauketat, T. R. 2010. Carneiro's Long Tirade. *Social Evolution & History* 9(1): 165–171.
- Peters, F. E. 1994. *Muhammad and the Origins of Islam*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Quigley, D. 1999. *The Interpretation of Caste*. New Delhi: Oxford University Press.
- Quigley, D. 2002. Is a Theory of Caste still Possible? *Social Evolution & History* 1(1): 140–170.
- Rountree, H. C., Turner, E. R. 1998. The Evolution of the Powhatan Paramount Chiefdom in Virginia. In Redmond, E. M. (ed.), *Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas* (pp. 265–296). Gainesville: Florida: University Press of Florida.
- Sahlins, M. D. 1972 [1958]. *Social Stratification in Polynesia*. Seattle, WA: University of Washington Press.
- Sanders, W. T., Webster, D. 1978. Unilinealism, Multilinealism, and the Evolution of Complex Societies. In Redman, Ch., Berman M. J., Curtin E., Langhorn, W., Jr, Versaggi, N., Wanser, J. (eds.), *Social Archaeology: Beyond Subsistence and Dating* (pp. 249–302). New York: Academic Press.
- Sellnow, I. 1981. Ways of State Formation in Africa: A demonstration of typical possibilities. In Claessen, H. J. M., Skalnik, P. (eds.), *The Study of the State* (pp. 303–316). The Hague: Mouton.
- Service, E. R. 1975. *Origins of the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution*. New York, NY: Norton.
- Shelach, G. 2002. *Leadership Strategies, Economic Activity, and Interregional Interaction. Social Complexity in Northeast China*. New York – Boston – Dordrecht – London – Moscow: Kluwer Academic Publishers.
- Simon, R. 1989. *Meccan Trade and Islam. Problems of Origin and Structure*. Budapest: Akademiai Kiado.
- Simonsen, J. B. 2000. Mecca and Medina. Arab City-States or Arab Caravan-Cities? In Hansen, M. H. (ed.), *A Comparative Study of Thirty City-State Cultures* (pp. 241–250). Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag.
- Sinclair Paul, J. J. (ed.) 2002. *The Development of Urbanism from a Global Perspective*. Uppsala: Uppsala Universitet.

- Skalník P. 2011. Chiefdom at war with Chiefless People while the State Looks on. *Social Evolution & History*. Special Issue. *Chiefdoms: Theories, Problems, and Comparisons*. 10(1): 55–121.
- Sneath, D. 2007. *The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, & Misrepresentations of Nomadic Inner Asia*. New York: Columbia University Press.
- Spencer, C. S. 2000. The Political Economy of Pristine State Formation. In Kradin, N. N., Korotayev, A. V., Bondarenko, D. M., de Munck, V., Wason, P. K. (eds.), *Alternatives of Social Evolution* (pp. 154–165). Vladivostok: Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences.
- Starr, Ch. 1965. *History of Ancient World*. New York.
- Tapper, R. 1983. Introduction. In Tapper, R. *Conflict of Tribe and State in Iran and Afghanistan* (pp. 1–82). London: Croom Helm.
- Tapper, R. 1990. Anthropologists, Historians, and Tribespeople on Tribe and State Formation in the Middle East. In Khoury, P. S., Kostiner, J. (eds.), *Tribes and State Formation in the Middle East* (pp. 48–73). Berkeley: University of California Press.
- Vansina, J. 1999. *Pathways of Political Development in Equatorial Africa and Neo-evolutionary Theory*. In McIntosh 1999a: 166–172.
- Wagner, G. 1987 [1940]. The Political Organization of the Bantu of Kavirondo. In Fortes, Evans-Pritchard 1987 [1940]: 197–238.
- Yoffee, N. 1993. Too Many Chiefs? (Or, Safe Texts for the ‘90s). In Yoffee, N., Sherratt, A. (eds.) *Archaeological Theory: Who Sets the Agenda?* (pp. 60–78). Cambridge: Cambridge University Press.
- Yoffee, N. 2005. *Myth of the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations*. Cambridge: Cambridge University Press.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭЛИТЫ В КОЧЕВЫХ ОБЩЕСТВАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В нomaдологии устоявшейся является методологическая позиция, согласно которой характер общественной организации кочевников отражается в масштабах и особенностях погребально-поминальной обрядности. Для изучения социальной дифференциации по профессиональному или имущественному признаку, данная методология, несомненно, является наиболее подходящей. Именно такой подход реализуется в большинстве отечественных и зарубежных исследований в области социальной археологии (см обзор: Васютин, Дашковский 2009). В рамках обозначенной парадигмы ученые предлагают целый спектр признаков элитного погребального обряда: монументальность и сложность надмогильных и внутримогильных конструкций; сопроводительные человеческие жертвоприношения; большое количество захоронений жертвенных животных; повышенное количество инвентаря, в котором отмечен вещевой комплекс «элиты», включающий в себя престижные вещи (оружие, упряжь), предметы роскоши, импортные и золотые изделия; космологическая система организации сакрального пространства из кругов и квадратов; особенная сложность и продолжительность погребального ритуала и др. (Галанина 1994: 77; Кузьмин 1994: 127; Кукушкин 2004: 276; Килуновская 1994: 109; Миняев 2009: 116; Тишкин 2005: 50; Дашковский 2005; Серегин 2009 и др.).

Выявленные исследователями различные показатели отражают статус погребённого, но лишь в определенной, иногда весьма ограниченной, форме. В большинстве своём они характеризуют сам погребальный памятник как археологический объект, являющийся элитным в сравнении с другими сооружениями. Это обстоятельство накладывает априорную ограниченность на археологические источники. Для разрешения сложившейся ситуации необходимо использовать комплексный подход в изучении кочевой элиты, основанный на изучении как археологических, так и письменных источников. При

этом особое внимание необходимо уделять анализу системы организации исследуемого общества, так как деление на элиту – массу не является имманентно социальной системе. Возникновение элиты характеризуется особым этапом развития социальных отношений, таких как формирование корпоративных связей, культуры, стиля жизни и другими особенностями.

Отличительной чертой элиты является закрепление за ней уникальных характеристик, проявляющихся в процессе сакрализации. У кочевых народов Центральной Азии уже в раннескифский период формируется комплекс представлений о сакрализации правителя (Дашковский 2005а), важным элементом которого является организация и отправление погребального культа. Следует заметить, что монументальные культовые и погребальные сооружения особым образом структурируют священное пространство, которое символизирует божественный, иррациональный статус земной власти. Фокусируя ландшафт «на себя», воплощая максимальную сакральность социума, монументальные погребальные памятники должны представлять в опредмеченной форме политический контроль и права на власть (Крадин 1993: 440 – 441).

У кочевых народов центральноазиатского региона наиболее масштабными по своим внешним признакам являются курганы Аржан-I (диаметр 120 м, высота 4 м) и Аржан-II (диаметр 80 м) в Туве (Грязнов 1980; Чугунов, Парцингер, Наглер 2002). Элитные курганы Иссык и Чилекта (Казахстан) представлены несколько меньшими размерами насыпи соответственно 60 и 66 м, но высотой до 6 м. (Акишев 1978; Черников 1965). Среди памятников пазырыкской культуры Алтая наиболее масштабные объекты достигали 68 м и высоту более 4 м (Туэктинский курган) (Руденко 1960). Основная масса элитных сооружений пазырыкской культуры имела диаметр 30-45 м и высоту 2 и более метров (Пазырыкские курганы, Кутургунтас, Берельский курган, Катандинский курган и др.).

Кроме монументальности погребальных сооружений, к числу маркирующих элементов элитной группы у кочевников в скифскую эпоху можно отнести сопроводительные захоронения лошадей. Такая традиция фиксируется с раннескифского времени, правда не во всех культурах центрально-азиатского региона. В наиболее полном виде эта особенность представлена у «аржанцев» Тувы, «бийкенцев», «майэмирцев», «пазырыкцев» Алтая. При этом, например, у

«пазырыкцев» сопроводительные захоронения лошадей (от одной до трех особей животного) обнаружены чуть более, чем в 37% погребений (Тишкин, Дашковский 2003: 144). Во всех элитных курганах пазырыкской культуры количество лошадей варьирует от 6 до 22 особей животных.

С хунно-сяньбийского периода источники фиксируют особую сакральную титулатуру правителей. Так, хуннуский шаньюй в официальных документах именовался «Небом и Землёй рождённый, Солнцем и Луной поставленный Великий шаньюй хунну» (Бичурин 1950: 58; Сыма Цянь 2002: 333, 336), по средством чего постулировалась идея его божественного происхождения (Дашковский 2008). В эпоху тюркских каганатов происходит активное развитие религиозно-идеологический комплекс легитимации власти. В социополитической системе древних тюрков Центральной Азии важное место занимает государственная идеология, сформированная на основе культа Тенгри (Жумаганбетов 2003), отправлением которого являлось прерогативой высших должностных лиц каганата (Бичурин 1950: 279; Маоцай 2003: 23; Дашковский 2009). Кроме того, такая идеология включала в себя общественные идеалы, такие как «избранный Небом каган» и «вечный эль народов тюрков» (Кляшторный 2003: 243). Важно отметить, что культовая практика, являясь наиболее адекватным способом интеграции традиционного общества, в данном случае выступала основой политической власти в кочевых империях. Это связано с тем, что участие военно-политической элиты в отправлении государственных культов означала если не покорность гегемону-кагану, то, во всяком случае, политическую лояльность к нему.

Для тюрков Центральной Азии в период формирования каганатов и сложения государственной идеологии идея священного происхождения власти представляет собой один из главных конструктов социо-культурного пространства (Васютин 2004: 99; Дашковский 2007). Наиболее показательными здесь являются орхонские тексты, которым, как и другим произведениям средневековой письменности, в немалой степени была свойственна политическая тенденциозность, определяемая, прежде всего общим социальным идеалом элиты тюркского племенного союза (Кляшторный 2003: 243). Кроме того, одной из форм сакрализации правителя в мировоззрении тюрков является титулатура кагана, определяющая его как «богоподобного, Небом поставленного (или угодного Небу) тюркского мудрого ... ка-

126

гана» (Малов 1959: 20). В официальных документах каган именуется себя как «рождённый Небом великий Тукюе, мудрейший и святейший в поднебесной Сын Неба Или Гюйлу-ше» (Бичурин 1950: 237). Обожествление правящего рода так же постулируется по средством формирования генеалогического мифа, в котором его происхождение непосредственно связано с деятельностью сакральных сил. У тюрков генеалогическая легенда связана с повествованием о чудесном рождении рода Ашина, которая находит реальное выражение в почитании родовой пещеры предков и волка, «в воспоминание своего происхождения» (Бичурин 1950: 221).

Следует обратить внимание на то, что на материалах археологических памятников тюрков, комплекс признаков элитных погребений, во многом нивелируется. Прежде всего, в этот период отсутствуют сложные по своей конструкции погребальные сооружения, характерные для скифской и хунно-сяньбийской эпох, а погребальный обряд в большей части унифицируется. Внешние параметры насыпей курганов в среднем варьируются от 6 до 10,5 метров. В эпоху раннего средневековья имущественная дифференциация номадов становится менее выраженной в таких элементах погребального обряда, как конструктивные особенности погребального сооружения. В тоже время, следует подчеркнуть, что импорт окончательно перестаёт быть отличительным признаком элитной группы, попадая в достаточно широкое пользование (Кубарев 2005: 31). При этом комплекс вооружения и снаряжения лошади выступают как основной показатель социального ранга умершего (Горбунов 2003; 2006; Горбунова 2010; Серегин 2009). Определённую статусную роль в погребальной практике тюрков так же имели сопроводительные захоронения лошадей, количество которых является непосредственным социальным маркером умершего, хотя и менее ярко выраженным, чем, например, в скифский период. Так, в кургане №11 могильника Балык-Соок-I было захоронено 4 лошади (Кубарев 2005: 92), что в месте с многочисленным комплексом вооружения свидетельствует о знатности погребенного лица. Отдельной проблемой остается выявление погребений каганов и их ближайшего окружения, поскольку в хорошо известных мемориальных комплексах в Монголии достоверных признаков погребений правителей номадов пока не выявлено, хотя их целенаправленное изучение, как показали современные исследования (Баяр 2004), представляется весьма перспективным.

В монгольской империи сакрализация правителя приобретает более разработанную систему взаимоотношений хана и Неба. Основой иррационального статуса хагана является идея его божественного происхождения, общая для большинства кочевых народов Центральной Азии. Возникает представление о «харизме» правителя, посредством которой осуществляется вся его деятельность, а так же разрабатывается система взаимоотношений между Небом, как источником созидательной силы, и ханом, как проводником этой силы в общество и мир в целом. Однако наиболее ярко идея божественного происхождения власти средневековых монголов отразилась в процессе сакрализации Чингисхана и всего рода Чингизидов, проявившейся по средством установления каменных стел, храмов, принесением жертв, а так же почитанием личных вещей Тэмучина (Викторова 1997: 24; Скрынникова 1997; Крадин, Скрынникова 2006; и др.). Необходимо отметить и определенную специфику погребальной обрядности элиты монголов до исламизации Золотой Орды, которая достаточно хорошо отражена в письменных источниках и практически никак не представлена в археологическом материале в Центральной Азии. Важнейшей такой особенностью элитных монгольских захоронений на начальном этапе являлась их тайное совершение в определенных священных местах (Бартольд 1966; Федоров-Давыдов 1966: 157; Дробышев 2005; 2010; Мэнэс 1992). Из этого логично вытекает положение, что погребальный объект, во всяком случае в его масштабности и конструктивной сложности, как и у тюркских племен, перестает быть ведущим показателем социального статуса и имущественного положения. Однако это не означает, что характер сопроводительного инвентаря теряет свою социальную информативность, поскольку письменные источники сообщают о его помещении в захоронение (Путешествия в восточные страны 1993: 28-29). К тому же, у монголов, как и у других номадов центрально-азиатского региона, до принятия ислама господствовало представление о тождестве профанного и загробного миров, что и обуславливало необходимость снабдить умершего всем необходимым в последний путь. Ситуация в мировоззренческом и социальном отношении начинает меняться по мере укрепления позиций ислама в Золотой орде, что в конечном итоге привело к провозглашению ханом Узбеком в 1312 г. этой религии в качестве государственной (Васильев 2007). Новой конфессии потребовался значительный период для своего закрепления среди населе-

ния Золотой орды, особенно кочевого, более склонного к традиционной системе верований. Однако смена идеологической парадигмы постепенно стала приводить к изменению погребальной обрядности. В результате этого существенно сокращается, а порой и совсем отсутствует в погребениях, погребальный инвентарь, сопроводительные захоронения лошадей (или их части, чучела) и др. В тоже время, следуя мусульманской традиции в честь золотоордынской элиты, исповедывающей ислам, начинают воздвигать нового типа погребальные сооружения — мавзолеи, которые не зависимо от их размеров отличались монументальностью и высокой степенью художественного исполнения, являлись порой подлинными шедеврами архитектуры и искусства. Таким образом, смена мировоззрения, базировавшегося на господствующей религии, в очередной раз повлияла на отражение социальных отношений в погребально-поминальной обрядности.

Одним из весьма важных вопросов элитологии является оценка роли элиты в развитии, как отдельного общества, так и всего исторического процесса в целом. Определяя элиту как «ключевой элемент, структурирующий социальное пространство» (Васильева 2005: 75), исследователи признают исключительную необходимость её функционирования для стабильного развития общества. Правитель кочевого общества, являясь лидером политической элиты, в то же время не сосредотачивал в своих руках всю полноту власти. Как отмечает Н.Н. Крадин, правители кочевых империй являлись верховными военачальниками и обладали монополией на представление степной мультиполитии во внешнеполитических связях с другими странами и народами, в то время как во внутренних делах большинство политических решений принималось племенными вождями (Крадин 2002: 73). Власть политического лидера в кочевом мире держится до тех пор, пока различные внутренние партии и социальные группы видят в ней определённую выгоду. Важное место в кочевых обществах занимала родовая аристократия, которая далеко не всегда поддерживала кагана (хана и т.п.). Ее противовесом в данном случае могла выступать преданная правителю группа, состоящая из административного аппарата ставки и дружины, так как проявлять единовластие шаньюй, каган или хан могли лишь тогда, когда обладали достаточной военной силой (Давыдова 1975: 142).

Элита в социо-культурном пространстве формирует особенную культуру, материалы которой характеризуют данную социальную

группу. Наиболее выразительными источниками в этом случае являются «царские» погребально-поминальные памятники Сибири и Центральной Азии. Традиция сооружения монументальных комплексов в этих регионах фиксируется со скифо-сакского времени по наиболее выдающимся курганам Алтая (Пазырык, Башада, Туэкта, Кутургунтас, Бугры и др.) (Кирюшин, Степанова, Тишкин 2003: 8), Казахстана (Иссык, Чиликта) (Акишев 1978; Черников 1965), Тувы (Аржан I, II) (Грязнов 1980; Ğugunov, Parzingen, Nagler 2003; и др.), Хакассии (Салбык) (Кузьмин 1994) и др. В хуннское время продолжается традиция сооружения погребальных памятников элиты. Однако при сравнении с предыдущим периодом, они отличаются меньшими внешними параметрами, но сложностью внутримогильной конструкции. Примером тому служат погребения элиты хунну в горах Ноин-Улы (Руденко 1962; Полосьмак, Богданов, Цэвэндорж, Эрдэнэ-Очир 2008), в Ильмовой пади (Коновалов 1976) и пади Царам (Миняев 2009). Обилие импортных предметов, роскошь погребального обряда в полной мере отражают величие хуннских шаньюев в период расцвета империи. В тоже время, необходимо учитывать, что с хунно-сяньбийского периода отдельные категории импортных предметов получают распространение не только среди элиты, но и у других социальных групп номадов, что обусловлено тесным взаимодействием в разных формах кочевой империи и земледельческого Китая (Филиппова 2005).

В период тюркских каганатов, мемориальные комплексы, посвящённые высшим должностным лицам государства, такие как Хушо-Цайдам-I, Хушо-Цайдам-II, Мухарский, Огнинский, Их-Хушот, превращаются в культовые центры с большим набором семантических элементов, достаточно полно отражающих мировоззрение кочевников (Войтов 1996: 60–61). В монументальных сооружениях, сотнях балбалов, стелах и скульптурах проявлялись посмертные формы сакрализации каганов, переносившие престиж власти на их преемников (Васютин 2004: 99). Кроме того, известны и элитные погребальные комплексы тюрков (Балык-Соок) на Алтае (Кубарев 2005), хотя по масштабности и монументальности они значительно уступают памятникам предшествующих периодов. Вероятно, такая ситуация связана с двумя факторами. Во-первых, идет формирование новых особенностей властных институтов и социальных отношений у номадов (Васютин, Дашковский 2009). Во-вторых, усиливается тенденция к

130

сложению синкретичных религиозно-мифологических систем, вызванных деятельностью миссионеров и особенностями религиозной политики правителей (Дашковский 2011). В условиях усложнения социально-политических и религиозных процессов на второй план отходит стремление продемонстрировать свою социальную значимость через масштабность и сложность погребальных комплексов. Однако это не означает, что погребальный обряд перестает быть источником социальной информации. В данном случае речь идет о смене мировоззренческих позиций в кочевых обществах в эпоху средневековья, как в отношении признаков выражения статусности умерших предков, так и в отношении его поддержания в профаном мире.

Таким образом, представленные теоретические принципы и исторические данные свидетельствуют о существовании в кочевых обществах такого института как элита. При этом следует обратить внимание на определенную специфику изучения данного явления у кочевников. Важная особенность касается методологии исследования, которое с одной стороны, предполагает возможность использовать “теорию элит” при изучении кочевых обществ. С другой стороны, обнаруживается определенная сложность применения таких концепций, на что уже обращали внимание авторы (Дашковский, Мейкшан 2010). Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что теории элит в большинстве случаев разрабатывались и апробировались либо на материалах по современным социумам либо древних земледельческих обществ. Указанная обстоятельство обуславливает необходимость изучения кочевой элиты учитывать специфику всего многообразия факторов, обуславливающих особенности исторического развития кочевничества.

В методическом аспекте изучение данного явления должно включать определенную систему характеристик, которые возможно проследить как в археологических, так и в письменных источниках. При этом, для эпохи поздней древности археологические материалы будут основным источником информации по данной проблеме, поскольку сведения письменных памятников либо отрывочны либо совсем отсутствуют. Несколько иная ситуация будет складываться при изучении кочевых обществ раннего средневековья. Погребальный обряд вследствие усложнения религиозно-мифологической системы и трансформаций в социально-политической организации будет уже не так информативен в социальном аспекте, как в отношении пред-

шествующих периодов. В этой ситуации на первый план выдвигается изучение письменных источников, которые позволят на основе анализа конкретных событий проследить механизмы функционирования элитных групп.

ЛИТЕРАТУРА

- Акишев К.А. 1978. *Курган Иссык: Искусство саков Казахстана*. М.: Наука.
- Бартольд В.В. 1966. К вопросу о погребальных обрядах турков и монголов. В.В. Бартольд. *Сочинения*. Т. IV. М.: 377-396.
- Баяр Д. 2004. Новые археологические раскопки на памятнике Бильгэ кагана *Археология, этнография и антропология Евразии*. – №4: 73-84.
- Бичурин Н.Я. 1950. *Собрание сведений о народах обитавших в Средней Азии в древние времена*. Т.1. М.-Л.: Изд-во АН СССР.
- Васильев Д.В. 2007. *Ислам в Золотой Орде: историко-археологическое исследование*. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет».
- Васильева Л.Н. 2005. Теория элит (синергетический подход). *Общественные науки и современность*. №4: 75 – 85.
- Васютин С.А. 2004. Архаические элементы политической культуры в тюркских каганатах. *Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии*. Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та: 95–99.
- Васютин С.А., Дашковский П.К. 2009. *Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования)*. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та.
- Викторова Л.Л. 1997. Процесс сакрализации реального феномена в культуре монгольских кочевников. *Сакральное в культуре*. СПб.: 23 – 24.
- Войтов В.Е. 1996. *Древнетюркский пантеон и модель мироздания в культово-поминальных памятниках Монголии VI – VIII вв.* М.: Изд-во ГИМ.
- Галанина Л.К. 1994. О критериях выделения «царских» курганов раннескифской эпохи. *Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху*. СПб: 76 – 81.

- Горбунов В.В. 2003. *Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. I. Оборонительное вооружение (доспех)*. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та.
- Горбунов В.В. 2006. *Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. II. Наступательное вооружение (оружие)*. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та.
- Горбунова Т.Г. 2010. *Реконструкция конского снаряжения средневековых кочевников Алтая: методика и некоторые результаты*. Барнаул: Азбука.
- Грязнов М.П. 1980. *Аржан. Царский курган раннескифского времени*. Л.: Наука.
- Давыдова А.В. 1975. Об общественном строе хунну. *Первобытная археология Сибири*. Л.: Наука: 141–145.
- Дашковский П.К. 2005. Формирование элиты кочевников горного Алтая в скифскую эпоху. *Социогенез в Северной Азии*. Отв. ред. А.В. Харинский. Иркутск: 239–245.
- Дашковский П.К. 2007. Сакрализация правителей кочевых обществ Южной Сибири и Центральной Азии в древности и средневековье. *Известия АГУ. Сер: История*. № 4: 46–52.
- Дашковский П. К. 2008. Религиозный аспект политической культуры и служители культа у кочевников Центральной Азии в хуннуско-сяньбийско-жужанский период. *Известия АлтГУ. Серия история*. №4 (2): 36–45.
- Дашковский П.К. 2009. Служители культов у тюрок Центральной Азии в эпоху средневековья. *Известия АлтГУ. Серия История, политология*. №4-1: 46–52.
- Дашковский П.К. 2011. *Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования)*. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та.
- Дашковский П.К., Мейкшан И.А. 2010. Изучение элиты кочевых народов Центральной Азии поздней древности и раннего средневековья: теоретический и исторический аспекты. *Культура как система в историческом контексте: опыт западносибирских археолого-этнографических совещаний: материалы XV Международная Западно-Сибирской археолого-этнографической конференции*. Отв. ред. Л.А. Чиндина. Томск: 149–153.
- Дашковский П.К., Мейкшан И.А. 2011. Динамика признаков элиты и формирование религиозно-идеологического комплекса власти у кочевых народов Центральной Азии: к постановке проблемы.

Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Материалы международной конференции. Отв. ред. А.В. Харинский. Иркутск: 316-326.

Дробышев Ю.И. 2005. Похоронно-поминальная обрядность средневековых монголов и ее мировоззренческие основы. *Этнографическое обозрение.* №1: 119-140.

Дробышев Ю.И. 2010. Эволюция похоронной обрядности «золотого рода» Чингис-хана. *Культ предков, вождей, правителей в погребальном обряде. Тезисы докладов.* М.: Институт археологии РАН.

Жумаганбетов Т.С. 2003. *Проблемы формирования и развития древнетюркской системы государственности и права VI–XII вв.* Алматы: Жеті Жарғы.

Зуев Ю.А. 2002. *Ранние тюрки: очерк истории и идеологии.* Алмата: Дайк-пресс.

Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. *Скифская эпоха Горного Алтая. Ч.II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры.* Барнаул: Изд-во Алт. ун-та.

Кляшторный С.Г. 2003. *История Центральной Азии и памятники рунического письма.* СПб.: Изд-во ФФ СПбГУ.

Коновалов П.Б. 1976. *Хунну в Забайкалье.* Улан-Удэ: Наука.

Крадин Н.Н. 1993. Структура власти в государственных образованиях кочевников. *Феномен восточного деспотизма. Структура управления и власти.* М.: 192 – 209.

Крадин Н.Н. 2002. Престижная экономика и структура власти в кочевых империях. *VIII Международный конгресс монголоведов (Улан-Батор, 5 – 12 августа 2002 г.): доклады российской делегации.* М.: 72–78.

Крадин Н.Н., Скрынникова Т. Д. 2006. *Империя Чингис-хана.* М.: Восточная литература.

Кубарев Г.В. 2005. *Культура древних тюрков Алтая (по материалам погребальных памятников).* Новосибирск: Изд-во ИАиЭ СО РАН.

Кузьмин Н.Ю. 1994. Курганы элиты тагарского общества. *Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху.* СПб.: 127 139.

Кубарев Г.В., Кубарев В.Д. 2003. Погребение знатного тюрка из Балык-Соока (Центральный Алтай). *Археология, этнография и антропология Евразии.* №4: 64–82.

- Кукушкин И.А. 2004. Семантика массовых захоронений лошадей в царских курганах ранних кочевников. *Комплексные исследования древних и традиционных обществ Евразии*. Барнаул: 276–283.
- Кулиновская М.Е. 1994. Золотые изделия скифского времени из Тувы. *Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху*. СПб: 106–111.
- Лю Маоцай. 2002. *Сведения о древних тюрках в средневековых китайских источниках*. М.
- Малов С.Е. 1951. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. М.–Л.: АН СССР.
- Тюркские народы Восточной Сибири. 2008. М.: Наука.
- Миняев С.С. 2009. Элитный комплекс сюннуских захоронений в пади Царам (Забайкалье). *Археология, этнография и антропология Евразии*. №2: 49–58.
- Мэнэс Г. 1992. Символика солнца в системе погребального обряда монгольских племен. *Археологические памятники средневековья в Бурятии и Монголии*. Новосибирск: Наука.
- Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н. 2008. Изучение погребального сооружения кургана №20 в Ноин-Уле (Монголия). *Археология, этнография и антропология Евразии*. №2: 77–87.
- Путешествия в восточные страны Платона Карпини и Гильома де Рубрука*. 1993. М.: Гылым.
- Руденко С.И. 1960. *Культура населения Центрального Алтая в скифское время*. М.–Л.: Наука.
- Руденко С.И. 1962. *Культура хуннов и ноинулинские курганы*. М.–Л.: Изд-во АН СССР.
- Серегни Н.Н. 2009. Проблемы изучения элиты общества тюркской культуры Саяно-Алтая. *Актуальные вопросы истории Сибири. Седьмые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина*. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та.
- Скрынникова Т.Д. 1997. *Харизма и власть в эпоху Чингисхана*. М.: Восточная литература.
- Сыма Цянь. 2002. *Исторические записки* / пер. Р.В.Вяткина Т. 8. М.: Наука.
- Тишкин А.А., Дашковский П.К. 2003. *Социальная структура и система мировоззрения населения Алтая скифской эпохи*. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та.

- Тишкин А.А. 2005. Элита в древних и средневековых обществах скотоводов Евразии: перспективы изучения данного явления на основе археологического материала. *Монгольская Империя и кочевой мир*. Кн. 2. Улан-Удэ.: 43–56.
- Черников С.С. 1965. *Загадка Золотого кургана*. М.: Наука.
- Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. 2002. Элитное погребение эпохи ранних кочевников в Туве (предварительная публикация полевых исследований российско-германской экспедиции 2001 года). *Археология, этнография и антропология Евразии*, №2 (10): 110 – 124.
- Федоров-Давыдов Г.А. 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов: Археологические памятники. М.: Изд-во Моск. ун-та
- Филиппова И.В. 2005. Культурные контакты населения Западного Забайкалья, Южной, Западной Сибири и Северной Монголии с ханьским Китаем в скифское и гунно-сарматское время (по археологическим источникам). Автореферат на соискание ученой степени к.и.н. Новосибирск.
- Ѓugunov K., Parzingen H., Nagler A. 2003. Der Skythishe Fürstengrabhugel von Aržan 2 in Tuva. Vorbericht der russisch-deutschen Ausgrabungen 2000-2002. *Eurasia Antiqua*. Berlin. Band 9: 113-162.

ИСЛАМСКИЙ НЕ-ФАКТОР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

В последние десятилетия советского развития ислам на Северном Кавказе считался традиционным пережитком. За вычетом советской атеистической риторики, по сути это было верно. Об исламе как источнике морального обновления заговорили лишь в момент кризиса перестройки, т.е. с конца 1989 г. Тогда это еще звучало нарочитым и не вполне серьезным экспериментом. Слишком откровенной была связь с наплывом в формирующееся пространство публичной политики преимущественно провинциальных и менее статусных интеллигентов из местных национальных групп, искавших себе риторику мобилизации, при помощи которой они надеялись повторить путь наверх столичных высокостатусных демократов. Со своей стороны, часть национальной номенклатуры и нововозникавших предпринимателей, в том числе «силовых» (т.е. бандитов)¹, в запутанных условиях распада структур власти инвестировали в альтернативную престижную символику, особенно традиционную религиозную. Это, по трезвому размышлению, редко давало ощутимый политический эффект, хотя, вероятно помогало совладать с экзистенциальными страхами тех крутых лет. Какие-то более серьезные процессы низового оживления традиционной религиозности происходили в Дагестане с его сильнейшей исламской традицией, однако и там они пока не были особенно заметны. Еще даже в первые месяцы Чеченской войны объявление джихада России выглядело скорее ритуальной формой обязательного участия духовенства в патриотическом единении.

Но затем дело принимает серьезнейший оборот, причем переломный момент четко датируется серединой 1997 г. Это было связано с хаосом второй чеченской независимости, распадом администрации президента Масхадова и обращением в радикальный исламизм буквально одной, но исключительной личности – дотоле относительно светского Шамиля Басаева. «Ваххабитский» джихад радикальных

¹ Вадим Волков, *Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ*. Москва: ГУ ВШЭ, 2005.

исламистов Северного Кавказа был подавлен лишь после девяти страшных лет. Победа российских федералов, так долго казавшаяся недостижимой, в конечном счете оказалась сопряжена со смертью все того же Басаева в июле 2006 г. Военная динамика конфликта и личные амбиции/недостатки Басаева по всей видимости играли основную роль в подъеме и падении так называемого «исламского фактора» на Северном Кавказе. Тем не менее за эти годы в политической риторике, массовом сознании и особенно в экспертном сообществе закрепились мощные, хотя достаточно смутные стереотипы насчет ислама и мусульман. Вкратце, они сводятся к некоей особой «пассионарности» и исконной воинственности этой религии, проявившейся как в долгой Кавказской войне времен имама Шамиля, так и в затяжной террористической саге Шамиля Басаева. Российскому государству и обществу в обоих случаях оказалось трудно понять, с чем они столкнулись на Северном Кавказе. Что ж, давайте поговорим об этом всерьез, при помощи средств современной социологической науки.

Данные историко-социологические заметки не имеют теоретической амбиции обосновать некие общеприменимые абстрактные положения. Равно не будет здесь и обобщения эмпирических данных. Это задача для будущих полевых исследований, если, конечно, позволят политические и организационные условия. Тем более не идет речи о прогнозировании трендов. Без добротной эмпирической базы и проверяемой теоретической модели было бы легковесно, если не безответственно пугать либо обнадеживать читателей сценариями будущего. Задача иная – вкратце и без излишне наукообразного жаргона прояснить некоторые организационные и идеологические особенности исламской религии, восходящие к обстоятельствам ее возникновения в Аравии времен Мухаммеда, и затем соотнести эти особенности ислама с эскизным наброском эволюции этнических обществ Северного Кавказа. В итоге, надеюсь, должно стать понятнее, почему ислам не следует воспринимать неким единоподчиненным и внутренне целостным «фактором» современной политики, о чем столько рассуждалось в последние годы. Все на самом деле куда интереснее и менее однозначно, хотя оттого, конечно, и не проще. Так что у данных заметок все-таки есть своя амбиция – по крайней мере озадачить читателя или даже прояснить кое-что существенное.

Геополитическая теория возникновения ислама

Традиционное сравнительное религиоведение, основанное на углубленном знании и сопоставлении священных текстов, вполне убедительно и детально показало генетическое сходство ислама с более ранними по происхождению христианством и иудаизмом. В самом деле, общее сразу заметно в трех «аврамических» традициях (т.е. почитающих Авраама первопредком). Текстологический анализ, однако, останавливается перед объяснением особенностей ислама и тем более самого факта его потрясающего исторического успеха. В поздней Античности и Средневековье возникало немало пророческих движений, но абсолютное большинство так и не двинулось далее стадии оппозиционной «ереси». Ислам же, восторжествовав в 630 г. новой эры в Мекке, уже к 711 г. охватил пространство от долины Инда до Испании и вскоре от Занзибара до Дербента.

Раннее исламское воинство не пользовалось при этом никакими особыми новшествами в вооружении и тактике. Их главное преимущество, судя по всему, было именно морально–идеологического порядка. Невероятные победы против численно превосходящих противников следовали одна за другой. Возникшее практически из ниоткуда религиозное воинство арабов разгромило разом обе сверхдержавы своего мира — и Восточно–римскую империю (Византию, едва отстоявшую в тот раз свою столицу Константинополь), и Сасанидский Иран. Такое не могло не вызывать громадного эмоционального подъема и веры в помощь самого Бога.

Тут возникает соблазн углубиться в мир текстов и смыслов, что на самом деле возвращает нас к пределам объяснительных возможностей традиционного религиоведения. Как ни парадоксально, путь вперед к пониманию относительной силы тех или иных идей лежит через возрождение материалистических подходов. Однако речь идет не о возвращении к вульгарному материализму классовых интересов, которые сами, при внимательном рассмотрении, неизменно оказываются политически сконструированными идеологами (где, кроме лозунгов, можно увидеть единодушное проявление воли пролетариата, как, впрочем, и буржуазии или феодалов, в остальное время склонных к рыночной конкуренции или княжеским усобицам?) Современные материалистические подходы восходят более к Веберу, нежели Марксу. Основное внимание обращается на социальную инфраструктуру идей, т.е. их письменно–дискурсивные практики,

материальные ресурсы, коллективные носители, воплощенные в сетях поддержки (будь то церкви, интеллектуальные салоны, университетская система, газетно-книжные рынки, подпольные кружки или политические партии), а также способность идей и их носителей предложить практический и притом эмоционально вдохновляющий организационный ответ на социальные противоречия. Примерно так определяет свой «организационный материализм» британский исторический социолог Майкл Манн, автор монументального исследования истории власти начиная с древнейших времен¹. Не менее важно попытаться понять идеологии и идейные движения не сами по себе, а непременно в позиционном соотношении с прочими силами, взаимодействующими в общем контексте своей исторической эпохи. Рэндалл Коллинз называет это «геополитикой идей»². Посмотрим, как этот теоретический подход работает в объяснении раннего исламского халифата. Основой нам послужат работы российских востоковедов О. Г. Большакова, а также А. В. Коротаева и его многочисленных соавторов, на данном направлении сегодня представляющие передний край мировой науки³.

Первейшая особенность ислама сразу становится очевидной при взгляде на историческую карту. В отличие от прочих мировых религий, будь то конфуцианство, буддизм, или христианство, ислам возник не в центрах древних империй, а непосредственно за их внешними стенами, на ближней полупериферии. Подсистема оазисов и пустынь Аравии, примыкавшая к юго-восточному флангу Римско-эллинистического мира, в геополитическом смысле была аналогична подсистеме лесов и морских побережий северозападной Европы. В обоих регионах природный ландшафт и расстояние от баз снабжения не

¹ Michael Mann, *The Sources of Social Power*, Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

² Randall Collins, *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. Stanford: Stanford University Press, 1998. Также см. Рэндалл Коллинз, *Социология философии: глобальная теория интеллектуального изменения*. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.

³ Большаков О.Г., *История халифата*, в 3 томах. Москва: Восточная литература, 1989, 1993, 1998; Korotaev, Andrei, Vladimir Klimenko, and Dmitry Proussakov. «Origins of Islam: Political-Anthropological an Environmental Context.» *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 52.3-4 (1999): 243-276; Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б., *Возникновение ислама: социально-экологический и политико-антропологический аспект*. Москва: ОГИ, 2007.

позволяли римским легионам установить постоянное господство. В то же самое время, местные общества имели достаточно сельскохозяйственных ресурсов для поддержания довольно значительной массы населения и сложных политических образований – всевозможных конфедераций племен и царств-сателлитов в римской орбите. В этом Аравия, где Набатейское или Сабейское царства насчитывали многовековую историю и обладали собственными письменностями, несомненно превосходила тогдашнюю варварскую Европу.

Древнеаравийские царства, однако, исчезают практически одновременно где-то в середине VI в. общ. э., за одно-два поколения до Мухаммеда. Как предполагают сегодня ученые, виною было резкое изменение климата и серия катастрофических землетрясений, которые подорвали орошаемое земледелие в оазисах, вызвали голод и эпидемии, и вынудили людей забросить города. Нет письменных свидетельств той природно-демографической катастрофы, потому что первой погибла городская культура. Писать стало не за чем и некому. Однако в доисламских аравийских преданиях и в самом Коране находится немало отзвуков природных бедствий, воспринимавшихся как гнев божий, и социальных потрясений крайней степени, когда голодные и отчаявшиеся люди буквально хватали друг друга за горло. В итоге наступает очередной период экологическосоциальной смуты и «темных» (т.е. бесписьменных) веков, каких сегодня исследователи обнаруживают немало в самых разных обществах¹. Аравия, однако, вышла из той смуты самым нетривиальным путем – прежняя периферия сделалась центром новой мировой религии.

Распад централизованных властных структур, которыми прежде выступали древние аравийские царства, привел к анархии и, следовательно, возникновению сугубо местных коллизий. Мекка, родной город Мухаммеда, сохраняла в своих пределах относительный мир благодаря статусу старинного ритуального и паломнического центра, сложившемуся задолго до ислама вокруг святилища небесного камня (вероятно, метеорита) Каабы. Относительная безопасность Мекки в сочетании с ее расположением на караванных путях способствовали торговле. Однако торговые прибыли оказались монополизированы

¹ Джаред Даймонд, *Коллапс*. Москва: АСТ, 2008; Нефедов С.А. *Война и общество. Факторный анализ исторического процесса*. Москва: Университетская библиотека Александра Погорельского, 2008.

предводителями старших мекканских кланов, которых мы бы сегодня назвали олигархами. Такое неравенство возможностей вызывало недовольство массы младших и менее влиятельных предпринимателей, среди которых был и молодой Мухаммед. Вероятно отсюда идет столь ярко выраженное в исламе требование социальной справедливости уже в этой, а не в потусторонней жизни.

Иная коллизия существовала тогда в Медине, куда Мухаммед был вынужден бежать со своими первыми последователями в 622 г. (этот вынужденный уход из Мекки, или хиджра, считается первым годом исламского летоисчисления). Как и во многих других местностях Аравии времен вооруженной анархии и хронической кровной мести, в Медине основная масса незащищенного населения была вынуждена искать покровительства разного уровня военных вождей, которых сегодня называли бы полевыми командирами. По геополитической логике длительных конфликтов, мелкие клановые отряды постепенно поглощались более крупными или более удачливыми формированиями, пока в Медине не осталось две враждующие коалиции примерно равной силы. Возникла патовая ситуация. Измотанные затяжной усобицей мединцы приняли в качестве арбитра и миротворца Мухаммеда с его небольшим, но идейно воодушевленным и крепко спаянным отрядом последователей.

Идеологическое послание, которое нес Мухаммед, обладало тремя главными источниками силы. Это был прежде всего универсальный Закон, преодолевающий племенную раздробленность и несвязность отдельных обычаев (адатов) – и притом не деспотический закон мирских царей, позорно павших в недавней катастрофе. Шариатское право, исходящее из фундаментального принципа единобожия и равенства всех уверовавших, представляло собой практически в чистом виде тот принцип, который социолог Майкл Манн называет «нормативным умиротворением»¹.

Во-вторых, исламский шариат, в отличие от прежних племенных адатов, отличался рациональной простотой, логической последовательностью и функциональностью. По сути это всеобъемлющая конституция, включающая в себя помимо канонических политикорелигиозных постулатов также разделы уголовного, семейного и коммерческого права. В юридическом измерении ислам идет значи-

¹ Michael Mann, *Op. cit.*, pp. 344–48.

тельно дальше других мировых религий именно потому, что формировался в ответ на хаос межплеменной розни, а не внутри империй с их уже заданными в той или иной форме политическими структурами и гражданскими кодексами. Показателен контраст между религиозной инфраструктурой христианства и ислама. Православие и католицизм с их многочисленными священническими рангами, территориальным делением на диоцезы и епархии сохранили отпечаток административной иерархии позднеримской империи. В исламе же основные организационные функции принадлежат толкователям права (улема) и судьям-кадиям, которые избираются в силу их знания закона и личного благочестия. Более централизованная организация возникает у суннитов и особенно шиитов лишь много веков спустя, когда эти соперничающие фракции ислама превратились в официальные религии соответственно Османской империи и сефевидского Ирана.

Наконец, ислам возникает как новая «книжная» религия негосударственных обществ, стремящихся встать вровень с имперскими цивилизациями. Вот почему арабы времен Мухаммеда в конечном итоге (а колебаний было немало) так и не стали ни христианами, ни зороастрийцами, ни иудеями (подобно элите другого кочевого народа, хазар). Выбор был очевидно обусловлен логикой геополитических альянсов. На Ближнем Востоке ко временам Мухаммеда уже несколько веков шло противоборство двух сверхдержав: православной Византии и зороастрийского Ирана. Принять ту или другую веру означало стать младшим союзником одной империи и, автоматически, врагом другой. Ислам же, первоначально мыслившийся как собственная религия арабов, занял позицию третьей силы.

Многие прочие черты ислама также находят объяснение в геополитике, стремлении преодолеть внутреннюю клановую анархию и создании исключительно высокой степени солидарности внутри быстро растущей общины. Исламские ритуалы и доктрина подчеркнута просты. Однако предписание пятикратной молитвы в течение дня и ежегодного поста в месяц рамадан задают четкий дисциплинирующий ритм жизни верующего и регулярные ритуальные поводы для подтверждения чувства вселенской сопричастности. Даже совершая молитву в одиночестве, всякий мусульманин призван осознать, что одновременно с ним и в том же направлении на Мекку молятся миллионы единоверцев.

Запрет на употребление спиртного не был абсолютным в первые годы проповеди Мухаммеда, но затем становится все более жестким как мера военного времени и, более широко, средство религиозной самодисциплины. То же самое относится к неравенству гендерных ролей. Это едва ли удивительно в воинском сообществе, где все источники социальной власти оказались в руках мужчин. Требование ношения женщинами скромной одежды толковалось как предотвращение соблазна соперничества среди мужчин, но также и установление демонстративного равенства среди самих женщин.

Показательно жестокие наказания за правонарушения и побитие камнями за прелюбодеяние, что в течение веков неизменно возмущало (хотя иногда и восхищало) немусульманских комментаторов, относятся к тому же комплексу дисциплинарных мер воинской демократии. Не вступая в обычную бесплодную полемику, заметим лишь, что Пророк очевидно стремился в столь крайних случаях избежать назначения профессиональных палачей, что напоминало бы практику деспотических царств. Современные либеральные представления затеяют, насколько жестока бывает демократия к отступникам, угрожающим единству сообщества. (Вспомните хотя бы римские децимации, когда казнили каждого десятого среди провинившихся легионеров.) В казни же камнями, подобно публичным сожжениям еретиков или сталинским чисткам, обязывались участвовать все члены общины. Это крайней степени эмоциональности дюркгеймовский ритуал отторжения чуждых элементов и, одновременно, очерчивания круга общности своих.

И наконец, джихад. В принципе, это допускающее многие толкования слово означает «усилие» или, еще точнее, «преодоление». Покончить с курением – тоже джихад. Однако в основном применении, конечно, это война с неверными. Мухаммед начинал с небольшой вооруженной группы воодушевленных последователей, которые после замирения и обращения в новую веру прежде расколотой надвое Медины с новыми силами одолели сопротивление корыстных клановых олигархов в родной Мекке. Затем первые мусульмане стремительно пронеслись по всей Аравии, встречая все более восторженный прием как растущая с каждой победой невиданная, но при этом своя, арабская сила, несущая избавление от распрей и высокую эгалитарную этику. Наверное не будет слишком большой натяжкой сравнить продвижение воинства Пророка с маршем мировой революции.

Продвижение исламской армии создавало в ее тылу освобожденные зоны, где население приняло новую веру. На этих территориях, в исламских «владениях мира», категорически запрещались вооруженный произвол и воинские практики захвата добычи, скота и пленников. В то же время агрессия воинской массы не подавлялась полностью, а направлялся вовне, на «владения войны», лежащие за фронтом противостояния с внешними противниками. Совершать туда походы и набеги почиталось делом славным и богоугодным. В награду религиозные рейдеры-гази (откуда производится *газават*, более специфический синоним джихада) после уплаты благотворительных взносов могли оставлять себе военную добычу. Тем самым Мухаммед нашел способ политико-символического подтверждения новой религии наряду с экспортом демографически избыточной массы наиболее задиристых молодых удальцов, не находивших себе применения внутри исламских территорий. Это хорошо известная в различных исторических ситуациях стратегия понижения демографического давления за счет других обществ, когда ожидания новых поколений начинали превосходить собственные хозяйственные ресурсы. Таковы были походы Александра Македонского, викингов, крестоносцев, наполеоновских армий, расселение русского казачества, европейская колонизация Америк. Воинство же раннего ислама сыскало столь невероятный успех, поскольку им противостояли с виду грозные империи Византии и Ирана, но к тому моменту истощенные своей бесплодной геополитической конфронтацией и, как сегодня предполагают ученые, тем же климато-демографическим кризисом, что поразил Аравию за поколение до Мухаммеда.

Подведем предварительный итог. Ислам, повторим, возникает не внутри империй, а на их внешнем порубежье. Проповедь Мухаммеда давала цельный ответ на анархию, поразившую многочисленные самостоятельные племена и кланы. В самой основе ислама заложены практики правового регулирования подобных конфликтов и создания соответствующей политической надстройки, способной престижно и эмоционально интенсивно объединить клановое общество. При этом резко повышалась степень военной координации, но также и мирной вовлеченности в караванную торговлю (не забывайте, что сам Мухаммед изначально был купцом). Другим источником силы ислама стало выдвижение письменной высокоразвитой идеологии, доказавшей свою способность организовать как повседневную жизнь

верующих, так и их коллективное противостояние империям. Хотя впоследствии ислам овладевает крупными городскими центрами и столицами империй, во многом он остается универсальной религией народов пустынь, степей и гор – обширных географических зон с подвижным, кланово-сегментированным и традиционно вооруженным населением. Подобные земли всегда были малопопулярны контролю государственных властей.

Горы, ружья и демократия

Северный Кавказ очень долго, вплоть до XVI–XVIII вв., оставался дальней периферией исламского мира (как и ранее византийского христианства). Конечно, был древний город-крепость Дербент, однако это не часть Северного Кавказа, а скорее форпост восточного Закавказья и персидской цивилизации. Отдельные памятники мировых религий, сохранившиеся на Северном Кавказе, и указания письменных источников создают картину довольно бесплодных миссионерских усилий, долгое время не находивших почвы в местных обществах¹. Периодически отдельные вожди и князья принимали в зависимости от своих внешнеполитических союзов то какую-то форму христианства (кочевническое несторианство или греческое православие), то ислам². Большинство же населения по-прежнему практиковало местные семейные, воинские и природно-мистические ритуалы, отголоски которых сохраняются по наши дни, особенно в Абхазии.

Дело очевидно в той же геополитике. С одной стороны регион отделен практически непроходимой стеной гор от древних земледельческих центров Передней Азии. С другой стороны раскинулась великая Степь, по которой со времен скифов прокатывались мощные волны кочевых завоевателей. Горные леса и ущелья давали убежище множеству автохтонных народов Северного Кавказа, однако горы могли прокормить лишь численно малое население. В горах всегда остро не хватало не только пригодной к обработке земли и зимних пастбищ, но и таких важнейших для жизнеобеспечения продуктов,

¹ Anna Zelkina, *In Quest for God and Freedom: the Sufi Response to the Russian Advance in the North Caucasus*. London: Hurst & Co., 2000.

² Michael Khodarkovsky, *Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500 – 1800*. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

как соль. Доступ к плодородным предгорьям и торговым путям веками оставался основной дилеммой малых горских народов.

После распада Золотой Орды в предгорьях Северного Кавказа надолго возник геополитический вакуум, чреватый хронической небезопасностью. Лишь отчасти вакуум смогли заполнить княжеские конные дружины дагестанских кумыков на восточном фланге, ногайских и крымских татар в Прикубанье, и кабардинских черкесов в центральной части Северного Кавказа. Власть этих княжеских конников была весьма сродни рэкету, т.е. типичному для анархических хозяйственных систем навязыванию охранной платы за защиту в первую очередь от себя самих и от аналогичных воинских группировок¹. Кумыкские, кабардинские и татарские аристократы того периода превращали свою вооруженную силу в даннический доход, регулярно наезжая «погостить» в подвластные селения, разбирая тяжбы и взимая штрафы, обеспечивая проводку торговых караванов, либо попросту захватывая скот и пленников ради выкупа или экспортной перепродажи в рабство.

Технической основой власти элитных конников служило обладание исключительно дорогим вооружением и чистокровными скакунами. Кольчуга, шлем, щит, сабля, лук и стрелы, плюс боевой конь со сбруей в сумме были эквивалентны нескольким сотням голов скота, зато и превращали всадника в высоко подвижную ударно-броневую единицу. Перелом в балансе сил между элитными конниками и простыми общинниками наступил с проникновением в XVII–XVIII вв. на Северный Кавказ огнестрельного оружия. Вскоре местные умельцы научились сами изготавливать ружья и пистолеты весьма приличного качества и умеренной цены – всего несколько голов скота². Меткая пуля простолюдина теперь сводила на нет вековое преимущество благородной кольчуги и сабли. Подобно «великому уравнителю» системы Кольта на американском пограничье, массовое распространение огнестрельного оружия на Северном Кавказе способствовало демократической революции в отношениях власти, однако отнюдь не миру.

¹ Классической теоретической формулировкой является монография Чарльза Тилли, *Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990 гг. н.э.* Москва: Университетская библиотека Александра Погорельского, 2008. В применении к постсоветскому рэкету, см. также Вадим Волков, *Силовое предпринимательство.* Москва: ГУ ВШЭ, 2005.

² Аствацатурян Э. Г., *Оружие народов Кавказа.* Нальчик: Эль-Фа, 1995.

Возникшая на Кавказе в XVIII в. анархическая ситуация воспроизвела основные черты кризиса, поразившего Аравию ко временам Мухаммеда: рушились военные и регулирующие монополии княжеской власти; демографический рост превысил ограниченные пределы экологической емкости горных ущелий и началось стихийное переселение вниз, на беспокойные равнины, что порождало новые волны конфликтов; излишние для традиционного сельского хозяйства молодые удалыцы искали себе славы и престижного обогащения в набегах и стычках с соперниками; народ жаждал порядка и моральной ясности; наконец, к XVIII в. окончательно ослабели кочевники, истощились до предела традиционные имперские соперники Иран и Турция, и пока лишь на горизонте появилась новая Российская империя. Обретшие в себе уверенность горские общинники на сходах племен и селений торжественно клялись стоять до конца друг за друга и считать собственных князей даже не врагами, а бродячими псами, которым вовсе не полагается оказывать гостеприимства. Политическое развитие региона, казалось, пошло вспять. Вместо какого-никакого «горского» феодализма возникал на первый взгляд чуть ли не первобытно-общинный строй, заново становились актуальны родоплеменные идентичности. Дагестанский ученый М.А. Агларов еще в советские времена достаточно осторожно высказывал мысль о сопоставимости социальной эволюции горских общин с древнегреческими полисами.¹

Первая реакция на подобное предположение обычно граничит с искренним возмущением перед святотатством – где Афины времен Фидия и Перикла, а где аул с какими-то абреками?! Стоит, однако, напомнить, что Афины были громадным исключением. Абсолютное большинство греческих полисов на самом деле оставались укрепленными деревнями. Впрочем, в истории не бывает полных параллелей. Речь идет лишь о более или менее близких аналогиях в пределах семейства исторических случаев самовозникновения республиканских институтов. При такой постановке проблемы мы выходим в самом деле на куда более широкие и потенциально крайне интересные исторические аналогии: Финикия, Спарта и Рим; кельтские племена и скандинавские викинги; средневековые городские коммуны Евро-

¹ Агларов М.А., *Сельская община в Нагорном Дагестане, XVIII – начало XIX вв.* Москва: Наука, 1988.

пы, торговые Новгород и армянский Ани; но также польская шляхта, швейцарские кантоны, самоуправляемые племена курдов, пуштунов, берберов, арабов или народности нагорий Бирмы и Таиланда. Такое сравнительно-историческое исследование остается делом будущего. Здесь нам достаточно отметить, что все перечисленные случаи самозарождения демократий так или иначе связаны с охранной кооперацией. Вместо выплаты дани царю или князю, навязавшему общине свое вооруженное покровительство, общинники совместно создают (иногда коллективно нанимают) собственное ополчение.¹ Оборона, оказавшаяся эффективной, имеет тенденцию переходить в наступление. Отстоявшие свою жизнь и собственность земледельцы легко поддаются соблазну развить успех и стать профессиональными агрессорами: наемниками (древние греки, швейцарцы, албанцы, курды); империалистами (македонцы, затем римляне и, уже совсем в иную эпоху, американцы); либо пиратствующими рейдерами, как викинги, казаки времен Стеньки Разина или исламские воины-гази.

Очень большую роль в том, какую форму примет возникающая воинская демократия, играют доступные ей прецеденты и относительная сила геополитического окружения. Скажем, древние греки и римляне восприняли и затем значительно превзошли финикийско-карфагенские модели вооруженной торговли, алфавитной письменности, денежного обращения. Аравийский пророк Мухаммед принес своему народу идеологическую модель, избирательно заимствовавшую и весьма изобретательно усилившую регулирующие и экспансионистские практики соседних империй. Пример раннего ислама в свою очередь помог структурировать и перенаправить вовне анархию, возникшую на Северном Кавказе в результате вооруженного противостояния общинников и княжеских аристократий. Это и был имамат Шамиля.

История периода Кавказской войны хорошо изучена и плохо понята. Это было отнюдь не просто сопротивлением имперскому завоеванию, а эпохой быстрых и глубоких социальных изменений, собственно и создавших тот Кавказ, который мы знаем сегодня. Задумайтесь, сколько всего, что сегодня считается самым типичным и традиционным для Кавказа, на самом деле не существовало до тех пор. Еще в

¹ Вадим Волков «Республика как тип охранного контракта», *Неприкосновенный запас*, N 5 (55) 2007.

первой половине XVIII в. черкесы не носили черкески с ружейными зарядами-газырями и не махали легкими шашками, сменяющими более тяжелые сабли с распространением ружей; лезгины едва ли танцевали лезгинку (и уж точно не под гармошку); горцы, впоследствии названные осетинами, еще не отделились от будущих ингушей; чеченцы не были мусульманами и не слыли сорвиголовами; абхазы не делали аджики и грузины не кушали лобио – поскольку на Кавказе только начинали появляться завезенные испанцами из Нового Света стручковой перец и фасоль, а также помидоры, тыква, картошка, индюшки и, для многих областей Кавказа, главная кормилица–кукуруза (как для людей, так и для домашних животных), что наверняка способствовало значительному росту народонаселения. Было бы не менее интересно установить, как и когда именно на Кавказе распространяются столь символически важные и взаимодополняющие роли лихого джигита и церемониально-речистого тамады. Прообразом такого чуткого к исторической изменчивости исследования служит недавняя монография Владимира Бобровникова, блестяще исследовавшего эволюцию еще одного типично кавказского персонажа – абрека¹.

Имамат Шамиля приходится на завершающую кульминационную фазу столетия культурно–хозяйственных новшеств, социальных подвижек и политических потрясений. На таком историческом фоне история имамата должна была быть полна внутренней напряженности и противоречий. Их плохо улавливают внешние источники, создававшиеся в основном русскими офицерами, в то время как внутренние для горцев героические повествования представляют все эти коллизии столкновениями легендарных личностей. Горский простолудин Шамиль нашел в исламе не только мистическое вдохновение, но также организационную платформу и детальную программу действий. Каким образом и насколько ему удалось реализовать эту программу остается предметом для будущих исторических исследований. Здесь же в порядке гипотезы заметим, что именно четверть века деятельности имама Шамиля, как ни парадоксально, в конечном итоге позволили включить нагорный Дагестан в состав Российской империи. Создание исламской государственности подготовило со-

¹ Бобровников В.О., *Мусульмане Северного Кавказа:обычай, право, насилие*. М., : Восточная литература, 2002.

циальную почву, централизованную организацию и авторитетные кадры. С самим Шамилем и его последователями уже могли искать некоего компромисса российские колониальные власти.

Если эта гипотеза верна, то она также помогает нам понять трагедию выселения черкесских народов после 1864 г. Причины не только в относительной близости Черного моря и турецком влиянии (хотя это были критически важные факторы), но вероятно и в отсутствии централизующего дисциплинарного опыта имамата. В отличие от Дагестана, среди политически сегментированного «вольного» (т.е. непременно вооруженного) черкесского населения Причерноморской полосы царское командование попросту не находило достаточно авторитетных посредников, которых можно было бы привлечь к сотрудничеству в структурах косвенного «военно-народного» управления. Это направляло генералитет к бескомпромиссной военной стратегии установления контроля над северозападной частью Кавказа, тем более, что после Крымской войны были получены значительные подкрепления и новые виды стрелкового оружия, поставленные тем же американским промышленником Сэмом Кольтом¹. Неодолимое на сей раз продвижение русских войск и относительная близость Турции вызвали апокалиптический исход большинства черкесских народов из родных местностей в пределы единой Османской империи. Таким образом завоевание Северного Кавказа на западном фланге обернулось коренным изменением этнической карты региона.

Кризис нашей эпохи

Советская военно-индустриальная модернизация принесла на Кавказ на первый взгляд необратимые изменения социально-экономических структур. Из 1950-х и все еще из 1980-х гг. прошлое региона выглядело безвозвратно минувшим. Тем большим шоком оказались разрушительная депрессия и конфликты 1990-х гг. Казалось, из каких-то глубоко сокрытых слоев архаичного сознания вдруг возродились персонажи, практики и коллизии все той же Кавказкой войны.

Отчасти, то была иллюзия, порожденная переоценкой степени изменений советского периода. Новая жизнь, насаждавшаяся в течение

¹ Joseph Bradley, *Guns for the Tsar: American Technology and the Small Arms Industry in Nineteenth-Century Russia*. DeKalb: Northrn Illinois University Press, 1990.

жизни всего двух-трех поколений, не могла быть совершенно новой, особенно в сельских местностях Кавказа, куда импульсы советской модернизации проникали лишь опосредованно. Прежние социальные практики продолжали структурировать семейный и общинный быт. Иначе и не могло быть, поскольку в случае полного отказа от традиций и авторитетных представлений терялась управляемость местными обществами. В непубличном дискурсе это признавалось советскими властями на местах, хотя в годы наиболее активного сталинизма, когда сами местные власти подвергались репрессиям, возникали чудовищные провалы. В новой форме колхозов нередко сохранялось сельское самоуправление и традиции инвестирования в общинную инфраструктуру (дороги и мосты, колодцы и водопроводы, школы и народные кружки самодеятельности, кладбища и порою даже мечети). Позднее, уже в брежневские времена, власти выработали терпимое (и неизбежно коррумпированное) отношение к таким хозяйственным практикам, как сезонные трудовые миграции («шабашничество») и мелкотоварное производство фруктов и овощей, особенно развившееся в благоприятных климатических местностях вроде Адыгеи и Абхазии.

Тем не менее, советская общественная трансформация не была иллюзией. Она воплотилась прежде всего в городах с их новой материальной средой обитания, социальными практиками труда, потребления и досуга, принципиально новыми статусными различиями и жизненными стратегиями. Именно городская сторона советской модернизации, напрямую связанная с государственными ресурсами, подвергнется наибольшему разрушению с распадом государственного социализма.

Советский модернизационный рывок, произведенный централизованным политико-бюрократическим усилием, привел к уничтожению всех без исключения прежних классов и возникновению новой трехклассовой иерархии: номенклатуры, пролетариата и субпролетариата. Где здесь, спросите, интеллигенция или крестьянство? Но классы определяются не родом деятельности, а положением в распределении власти и доходов. Советская интеллигенция дипломированных специалистов (инженеров, врачей, преподавателей и ученых, а также военных офицеров) жила на зарплату и работала в крупных учреждениях под контролем всевозможных бюрократических начальников. Это классические признаки пролетариата – с той лишь

важнейшей разницей, что советский пролетариат, по крайней мере его более образованные слои, таковым считать себя отказывался и потому, в отсутствие политического пространства, наращивал культурный и статусно-символический потенциал. Так возникает новая массовая интеллигенция. Эта тенденция символического классового сопротивления бюрократическому контролю достигает пика в советском «шестидесятничестве» и затем в перестроечном энтузиазме, которые в этнических республиках принимают национальную форму.

Номенклатура в принципе есть высший персонал бюрократии, но бюрократии суверенной, не подчиненной интересам капиталистических или каких-либо иных господствующих классов. Номенклатура одновременно и властвующая элита, и, шире, господствующий класс, и само государство. Но именно потому, что номенклатура и есть суверенное государство, внутри нее возникают фракции охранителей-консерваторов и более либеральных модернизаторов, соперничающие по поводу государственных приоритетов и идеологических представлений. Как и во множестве предреволюционных ситуаций, изученных на материалах других стран, различие в идейных установках элит перерастает в открытые конфликты в моменты кризиса государственных финансов. Тогда противоборствующие фракции обретают и рекрутируют последователей среди подчиненных классов, которые с ослаблением прежних механизмов контроля и решения внутриэлитных противоречий начинают все смелее выдвигать собственные требования. Это и было главным механизмом возникновения в СССР перестройки.

Дальнейший ход событий определялся тем, какие ресурсы могли привлечь на свою сторону противоборствующие силы. Вот тут основную роль начинали играть всевозможные местные особенности. Едва ли национальные интеллигенции Алма-Аты, Баку, Нальчика и Грозного были менее интеллигентны, нежели их собратья по классу в Киеве, Казани или Вильносе. Благодаря советской централизации достаточно изоморфны были и номенклатуры. Истоки расхождения постсоветских траекторий очевидно следует искать в том, что остается за вычетом советской властной инфраструктуры и населявших ее классов. Громадную разницу совершенно очевидно создают наличие или отсутствие опыта досоветской государственной независимости и культурно-географическая близость к другой, желанной властной инфраструктуре, как в случае с решающим воздействием государств

Евросоюза на бывшие соцстраны региона, который теперь начинают называть Центральной Европой. Но нас здесь интересует другой регион.

Огромную разницу играет то, какие социальные группы в данном обществе в момент острого кризиса могли мобилизовать противоборствующие политические элиты и контрэлиты. Конкретно речь тут идет об относительной доле третьего класса – субпролетариата. Строго говоря это даже не класс, а широкая остаточная категория населения, которое уже раскрестьянилось, но не стало структурированным городским пролетариатом. В других странах и эпохах их называли маргиналами, люмпенами, «улицей», посадскими. Термин субпролетариат предпочтительнее, поскольку он указывает на сочетание в структуре доходов домохозяйства зарплата от работы по найму с ресурсами подсобного хозяйства, кустарных промыслов, мелкой торговли, частного извоза, «шабашки» и прочих видов деятельности, которые государство считает неформальными, если не криминальными. Эпизодически доходы субпролетарских семей могут быть весьма велики, чему наглядно свидетельствуют частные кирпичные особняки (зачастую недостроенные) и престижные автомашины-иномарки (зачастую с сомнительными документами) среди малообустроенных пригородов и поселков Северного Кавказа.

Субпролетариат крайне разнороден и нестабилен, отчего не только особенно труден для обобщений, но и сам по себе принципиально не способен действовать как единый класс. Субпролетарское «простонародье» вступает в политику как правило в качестве митинговой поддержки национальных движений. В этом случае недостатки социального статуса оборачиваются преимуществом. Недавнее сельское прошлое, низкий образовательный уровень и соответствующие бытовые практики делают субпролетариев более этничными и нередко более религиозными в сравнении с устоявшимися горожанами. Сюда же относятся типичные гендерные ориентации и навыки молодых субпролетариев, для которых более доступен и оттого привлекателен мужской силовой образ спортсмена-единоборца (борца, боксера) либо просто «джигита», современных условиях с узнаваемыми повадками прибалтненного хулигана.

Добавьте к этому и негородскую демографическую стратегию субпролетарских семей, в которых обычно сочетается несколько поколений, включая немало детей и подростков. Ситуацию хорошо

иллюстрирует социологическое исследование времен перестройки. При очень низком уровне официальной зарплаты в совхозном секторе Чечено-Ингушетии (в среднем порядка 80 советских рублей в месяц) значительное число мужчин (от 20 до 40 тыс. человек) ежегодно уходило на заработки за пределы республики, в основном на стройки Сибири и Казахстана. Свыше двух третей женщин было занято исключительно в домашнем хозяйстве. Более же всего впечатляет демографический разрыв между городом и селом. Если в Грозном, в том числе среди городских чеченок и ингушек, на женщину в детородном возрасте приходилось менее двух детей (как и повсюду в крупных советских городах), то в негородских поселениях рождаемость оставалась высокой, порядка четырех-пяти детей¹. В итоге субпролетарские пригороды и поселки оказываются способны выставить в политику значительную массу активных и культурно более «этнических» бойцов.

Бедствия Северного Кавказа постсоветского периода отнюдь не исключительны. Это часть, пожалуй, самой главной глобальной дилеммы нашей эпохи. Как афористично подметил великий историк современности Эрик Хобсбаум: «Для 80 процентов человечества Средневековье внезапно окончилось в 1950-е годы»². Впрочем, даже Хобсбаум здесь слишком осторожен. На самом деле окончательно завершилось не Средневековье, а куда более длительная историческая эпоха, восходящая истоками к Неолитической революции. В течение нескольких тысячелетий абсолютное большинство человечества обитало в деревнях и самостоятельно воспроизводило все основные условия своей жизнедеятельности – продовольствие в первую очередь, но также и прочно укорененные в семье и общине социальные практики воспитания и передачи навыков новым поколениям, контроля девиантности, ритуальной организации своего досуга и духовной жизни. Не стоит романтизировать сельский уклад жизни. Он был подчинен авторитарной патриархии глав семейств и никогда не был легким и бесконфликтным, регулярно обрушиваясь из-за достиже-

¹ Гужин Г.С. и Чугунова Н.В., *Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы*. Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1988.

² Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991*. New York: Vintage Books, 1994, p. 288. (Эта книга сегодня переведена почти на тридцать языков, в том числе на русский – Эрик Хобсбаум, *Эпоха крайностей*. Москва: Издательство «Независимая газета», 2004.)

ния экологических пределов перенаселения, эпидемий, войн и прочих исторических бедствий. Однако сельский уклад обладал высокой предсказуемостью, заданной обычаями, и способностью самовосстанавливаться усилиями малых традиционных групп. Доиндустриальные общества различных типов существовали вполне отдельно от властвующих элит и государств, которые взимали дань, но редко вмешивались в хозяйственную организацию, предоставляя крестьянству расти, как траве.

Все это рушится с приходом современного транспорта и электричества, доступом к новым рынкам, промышленно произведенным товарам, современному образованию и внешним для села видам занятости (включая вербовку на индустриальные стройки и, конечно, военный призыв). Подвоз продовольствия извне благодаря рынкам, государственным усилиям либо гуманитарной помощи в периоды голода снимает стародавний жестокий ограничитель демографического роста. Плюс к тому даже самая базовая санитария и медицина резко понижают традиционно высокую смертность, особенно среди рожениц и детей. Это приводит к демографическому взрыву, который начался два-три столетия назад на Западе, затем охватил остальные страны Европы, включая Россию, и уже во второй половине XX в. становится подлинно глобальным.

Как показывает исторический опыт Запада и, ближе к нам, России, демографический рост со временем стабилизируется и даже идет вспять. Однако между понижением исторически высокой смертности и соответствующим понижением рождаемости проходит несколько поколений. И это очень беспокойные времена, полные массовых миграций, бунтов, войн, эсхатологических религиозных, националистических либо классово-революционных движений. Полезно иногда вспомнить, что происходило в сегодня такой «остывшей» к конфликтам Европе между 1789 и 1945 гг. и еще в 1968 г. Весь мир сегодня находится где-то посреди сопоставимого исторического перехода, хотя аналогия далеко не полная. Западная Европа, заметим, в свое время сделалась господствующим центром современной мир-системы и так получила возможность решать многие проблемы за счет колониальной экспансии. Сегодня миру едва ли грозит завоевание богатого и демографически стареющего Севера более бедным и перенаселенным Югом (сценарий тотальной войны цивилизаций, к счастью, относится к разряду идеологического алармизма, который

перестает выглядеть пугающе при серьезном разборе организационно-политических условий подобной гипотезы). Представляется не только более желательной, но и более вероятной некая общемировая «разрядка напряженности» или даже более институционализированная социально-экономическая демократизация¹. Основания для долгосрочного оптимизма дает не столько вера в распространение либеральных ценностей, сколько уже вполне обозначившиеся тенденции к геополитической децентрализации и выравнивания экономических уровней различных регионов мира. Когда конфликты становятся слишком затяжными и бесперспективными, политики всех сторон склонны уходить от идеологической чистоты и заключать пускай циничные компромиссы².

Однако, в среднесрочном плане нам предстоит довольно смутные времена – смутные, поскольку приемлемые и реалистичные политические варианты едва ли просматриваются. Историко-демографический переход стран Запада проходил в условиях мощной индустриализации и военных мобилизаций. Это оттягивало значительные людские ресурсы, но при этом также давало простому «человеку с ружьем» и работнику у станка изрядную коллективную силу, с которой вынуждены были считаться господствующие элиты. Это и было основными причинами демократизации Запада в последние полтора-два столетия³. Вероятно, трехтактная динамика урбанизации – индустриального конфликта – демократизации сегодня возникает либо вскоре должна возникнуть в быстро развивающемся Китае. Пусть в менее явном виде, то же самое происходило позднее и в Советском Союзе, достигнув кульминации в брежневском варианте субсидируемого общества потребления и перестройке, которая, увы, не смогла закрепиться из-за распада самого объекта демократизации, т.е. государства. В результате Северный Кавказ даже более, нежели большинство регионов бывшего СССР, демонстрирует после 1991 г. скорее обратную динамику деиндустриализации, де-демократизации и деурбанизации, что означает вовсе не возрождение деревень, а раз-

¹ Джованни Арриги, *Адам Смит в Пекине. К политической экономии современности*. Москва: ИНОП, 2009.

² Randall Collins, “Secularization: Religious and Political” Paper presented to the 20th anniversary ASSR conference on mobility, Jan. 2007.

³ Чарльз Тилли, *Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990 гг. н. э.* Москва: Университетская библиотека Александра Погорельского, 2009.

мывание современной городской среды и регресс к субпролетарским практикам. Норберт Элиас, основоположник изучения процессов, формирующих цивилизованные манеры и навыки, достаточно трезво предполагал и возможность обратного процесса – децивилизации¹. Регрессивные тенденции будут продолжаться до тех пор, пока некий рыночный ли, плановый или гибридный механизм не породит новую индустриальную волну и не возродит городскую структуру занятости с соответствующими социальными ролями и практиками.

Краткое заключение

Мне бы хотелось избежать каких-либо окончательных заключений. Задачей данных заметок было хотя бы пунктирно наметить подходы к прояснению трех ключевых вопросов, которые лишь косвенно, если вообще фигурируют в текущих дебатах об исламском возрождении/угрозе и Северном Кавказе. Это вопрос организационных и идеологических особенностей исламской религии, восходящих ко временам ее возникновения; вопрос исторического прошлого Северного Кавказа и социальной динамики сопротивления горцев; и вопрос о месте Северного Кавказа в постсоветском и мировом переходном кризисе. Надеюсь, доводы были изложены достаточно ясно, пускай и по необходимости сжато, и подтолкнут читателя к более плодотворным и трезвым размышлениям.

Позволю лишь сфокусировать внимание на заключительном тезисе. Ислам не выступает ни неким самостоятельно направленным и целостным фактором, ни тем более причиной нынешнего состояния дел на Северном Кавказе. Ислам к середине 1990-х гг. оказался последним традиционным символическим ресурсом для этнических обществ региона после провалившихся идеологических проектов советского социализма, западнического либерализма и местного национализма. Но и тогда ислам не стал целостным проектом, а как минимум несколькими нередко соперничающими проектами.

Для большинства старых и новых постсоветских верующих ислам стал личной и семейной формой нормативно-этической и самодисциплинирующей обороны перед лицом распада прежней советской модели общества и связанных с ней ожиданий. В этой функции ис-

¹ Норберт Элиас, *О процессе цивилизации*. В двух томах. М – СПб: Университетская книга, 2001.

лам мало чем отличался от бытового ритуального возрождения христианства¹. Ровно также, как их русские собратья по классу, бывшие номенклатурные чиновники и нувориши стали инвестировать часть сверхдоходов в строительство религиозных зданий и показательные публичные ритуалы, что с их стороны было заурядным и, как всегда, не слишком эффективным «пиаром». Остается вопросом, будут ли со временем обжиты новехонькие мечети, выстроенные по турецким «евростандартам». Тем не менее, исламские традиции несомненно оказались значительно более живыми и эмоционально активными. Это скорее результат более непосредственной связи народов Северного Кавказа со своим деревенским прошлым, нежели имманентных черт ислама.

Действительно особую роль сыграли юридические и воинские особенности ислама в политическом проекте фундаментализма. Этому способствовало сочетание как минимум трех обстоятельств: постсоветская анархия в ее нормативно-этических и силовых (криминальных как и, увы, военных) проявлениях, ответ на которую давал изначальный ислам; достаточно близкая историческая память об эпических временах Кавказской войны и имамата Шамиля; наконец, восстановившиеся каналы взаимодействия со странами Ближнего Востока, где Северный Кавказ был воспринят как зона возможной идеологической, геополитической и (особенно для Турции) коммерческой экспансии. Представления об эффективности зарубежных подрывных центров несомненно крайне завышены и, подобно всем теориям заговора, плохо переносят поверку логикой и фактами. Роль зарубежного влияния все-таки была значительной, хотя и не напрямую, а более опосредованно, через трансляцию идеологических и организационных образцов, которые воспринимались и воспроизводились на Северном Кавказе местными активистами преимущественно из ищущей статуса и смысла жизни молодежи. В этой динамике исламского влияния удивительно напоминает динамику западного идеологического влияния, причем не только либерального. Конечно, российские власти после серии «цветных» революций более обеспокоили права человека, гендер, экология и другие темы, финансируемые западными фондами. Но ведь когда сами чиновники

¹ Каарияйнен, Киммо и Фурман Д.Е. (ред.). *Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской России*. СПб: Летний сад, 2000.

ради показного престижа усваивают жаргон школ бизнеса, а силовики облачаются в спецназовскую форму из голливудских боевиков – это ведь тоже статусные стратегии подражания престижным образцам и социально–психологического конструирования себя.

Исламский фундаменталистский проект, как становится очевидно сегодня, по прошествии более десятилетия, заведомо не мог представлять той надежды или опасности, которую ему приписывали. Да, во времена имама Шамиля унаследованная от Пророка матрица преодоления внутренней анархии в клановом обществе и борьбы с империями иноверцев могла быть применена практически буквально. Но ислам не может организовать современное общество сам по себе, без достаточно эффективной современной государственности (в чем и состоит секрет успеха Ирана или Турции, но не Афганистана и Чечни). Вопрос для Северного Кавказа и остального мира сегодня – откуда взять эффективное и социально ответственное государство, способное организовать социальное воспроизводство и создавать такие общественные блага, как безопасность улиц, строительство дорог, оплату труда учителей и врачей, и не в последний черед, рыночная контрактная дисциплина и честность. Вполне можно допустить, что воссоздание общества будет иметь религиозную нормативную составляющую. Но надежды на моральное возрождение останутся, как водится, утопией без экономической и административной составляющей. Даже такая необычно практичная религия, как ислам, не располагает инфраструктурным потенциалом необходимого размаха. Потребуется скорее всего сопряжение нескольких известных нам источников социальной координации – рынков, государства, религиозных и моральных сообществ, политических движений. Каким образом? Это и есть главный вопрос.

Подобно большинству военно-идеологических движений современности, джихад Шамиля Басаева пользовался очень ограниченной и как правило вынужденной поддержкой меньшинства северокавказского населения¹. Этот джихад стал возможен лишь в условиях полураспада государственности. Он был принципиально обречен на поражение, поскольку не мог выдвинуть сколь-нибудь реалистичной программы реконструкции современного общества, в то время как

¹ Stathys Kalyvas, *The Logic of Violence in Civil War*. NY: Cambridge University Press, 2006.

по крайней мере силовые и финансовые компоненты российской власти стали быстро восстанавливаться в начале 2000-х годов. Еще летом 2008 г. возрождение российской государственности выглядело уверенно восходящим трендом. Капиталистический кризис, буквально как пожар охвативший мир осенью 2008 г., грозит теперь совершенно обратными тенденциями. Хотя возобновление повстанчества видится маловероятным, поскольку басаевская кампания трагически привела к уничтожению его социальных баз и дискредитации ультра-террористической стратегии, куда труднее предсказать, каковы окажутся последствия новой экономической депрессии. Мы вступили в период, когда пали уже последние глобальные идеологические утопии – исламский фундаментализм с одной стороны и западнический неолиберализм с другой. Впрочем, едва ли возможен в условиях глубокого кризиса мировых финансов и сырьевых рынков также и проект более местного размаха – силовое державное возрождение путинского периода. Способна ли нынешняя российская власть идеологически и чисто административно перейти к решительно кейнсианской, если не просто социалистической оборонительной политике в условиях мирового капиталистического кризиса остается, по меньшей мере, большим вопросом. Увы, куда проще прогнозировать экономический спад и усобицы среди загнанных в свои углы экономических, центральных и региональных элит.

Более предсказуемы лишь неидеологические стратегии выживания. На микроуровне семей, это станет продолжением уже пережитого в начале 1990-х годов. Здесь северокавказские общества имеют некоторое «преимущество отсталости», если несколько расширить применимость классического термина Александра Гершенкрона. Именно в силу гораздо большей в сравнении с прочими регионами России сохранности патриархальных социальных структур внутри семей, народы Северного Кавказа обладают большим (но насколько большим?) запасом прочности в плане социальной психологии и микроэкономики домохозяйства. Нагляднейшее тому подтверждение – продолжительность жизни, которая в Ингушетии или Дагестане, статистически беднейших и опаснейших регионах России, тем не менее удивительным образом превышает федеральный уровень. Ислам на этом бытовом уровне несомненно сохранит значительный стабилизационный потенциал и, следовательно, идеологическое влияние.

ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ: РАЗЪЯСНЕНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И НОВАЯ ФОРМУЛИРОВКА

В 1963 г. в своей книге *Социальная Антропология*, Поль Боханнан писал: «мы знаем, что мы не можем ответить на вопросы относительно ‘происхождения’ государства, поскольку фактическая информация похоронена глубоко в незарегистрированном прошлом» (Bohannan 1963:271). Сегодня, несмотря на то, что прошло полвека, ни Боханнан, ни кто-либо другой не стал бы повторять эти слова.

* * *

Появление государства было событием такой важности в истории человечества, что оно надолго завладело вниманием историков, а также социологов. Существовало, по крайней мере, два контрастных взгляда на это событие. Некоторые наблюдатели рассматривали возникновение государства как индивидуальное явление, которое могло вызываться только особым стечением обстоятельств. Социолог XIX века Лестер Ф. Уорд, например, был убежден, что создание государства было настолько знаменательным, что оно должно было быть «результатом экстраординарного упражнения мыслительной способности.» На самом деле, это было настолько необычное учреждение, что он настойчиво утверждал, что «оно (государство) должно было быть порождением одного мозга или нескольких сговорившихся умов» (Ward 1883:224).

Близким к этой точке зрения — хотя и не таким экстремальным — является мнение, что возникновение государства, не будучи, вероятно, уникальным событием, было, тем не менее, очень редким. Оно требовало (это аргументируется) необычного — даже случайного — набора обстоятельств, чтобы привести к результату. С этим мнением связано предположение, что независимо от того, сколько самостоятельных случаев образования могло иметь место, каждый из них существенно отличался от остальных. Поэтому, чтобы объяснить происхождение какого-либо конкретного государства, необходимо знать точный набор обстоятельств, связанных с ним. Очевидно, что, если

придерживаться этой точки зрения, никакой общей теории образования государства сформулировать нельзя. Если была исследована дюжина случаев образования государств, то могла быть придумана дюжина различных теорий их возникновения.

Конечно, существует также совсем иная точка зрения на проблему. Можно придерживаться на позиции, согласно которой все государства, независимо от того, насколько они могут оказаться несопоставимыми в деталях, имели, по крайней мере, определенные общие основные элементы. Каждое из них возникало в результате комбинированного действия одной и той же небольшой группы факторов. Роль каждого фактора необязательно должна быть одной и той же в каждом случае, но их совместное действие было достаточным, чтобы привести к государству, где бы они ни возникло. Это точка зрения, которая принята в этой работе. Она соответствует принципу *экономи*, цель которого, как и в любой области науки, заключается в том, чтобы объяснить наибольшее количество случаев явления с использованием минимального количества факторов.

Очевидно, желательно на этом этапе обсудить *мультикаузальность* в том смысле, как она применяется к проблеме образования государства. Существует определенный класс теоретиков, которые, видимо, рассматривают противоречивым обнаружение высокой степени закономерности в возникновении государства. Тем, кто придерживается такой точки зрения, более комфортно с расхождениями и многообразием, чем с регулярностью. Они спешат принять идею *мультикаузальности*, полагая, что она обеспечивает существование сложной сети причин; до некоторой степени они чувствуют, что она более достоверно отражает реальность. Но погодите! Термин «мультикаузальность» можно понимать двумя очень разными способами.

Одна интерпретация термина заключается в том, что, хотя разные факторы могут вовлекаться в реализацию данного явления — возникновения государства в нашем случае — эти причины могут формировать тесно связанную *композицию* нескольких причин, действующих совместно как *одно целое*. В этом смысле теория, которая признает мультикаузальность, может все еще рассматриваться *унитарной*; один и тот же набор обстоятельств, действующих совместно, обеспечивает один и тот же эффект. В частности, в применении к образованию государства это означает, что единая смесь элементов,

действующих совместно, достаточна, чтобы объяснить каждый случай образования государства.

Первая интерпретация мультикаузальности, позвольте мне повторить, утверждает, что в *каждом случае* образования государства работал *отличный* набор факторов. Каждое государство, которое возникло — в Египте, в Китае, в Андах или где-либо еще — обладало своим собственным уникальным набором определяющих факторов. Нельзя рассчитывать на то, что единственная теория может объяснить более одного или двух примеров.

Таким образом, здесь существуют два противоположных класса теории, и очевидно, что они являются конкурентами. Оба этих класса не могут быть истинными. В настоящее время, несмотря на то, что они были представлены здесь, как полярные противоположности, чтобы выдвинуть на первый план их различия, оба этих класса теорий в действительности не являются абсолютно обособленными и различными. Между ними существуют точки соприкосновения. Тем не менее, они представляют собой резко противоположные точки зрения на проблему. Точка зрения, принятая в этой работе, основывается на мнении, что в процессе формирования государства была отмечена высокая степень регулярности. Другая точка зрения предполагает противоположное, всеобъемлющее многообразие объяснений практически *нерешенной задачи*. Поэтому необходимо возвратиться к научной задаче определения, в случае любого явления, максимальной степени закономерности.

Я должен подчеркнуть, что унитарная теория образования государства не должна быть антагонистической или несовместимой по отношению к мультикаузальности, если она правильно понята. В остальной части этой работы я буду доказывать не то, что единственный фактор может объяснить каждый случай образования государства, а то, что совместное действие одного и того же набора из четырех или пяти факторов, объединенных в унитарной теории, могут легко сделать это.

Конечно, даже если унитарная теория способна объяснить все случаи образования государства, все еще остается вопрос, какого государства? Поскольку было предложено несколько унитарных теорий, ясно, что сам по себе факт *унитарности* не делает теорию правильной. Каждая теория должна быть проверена с использовани-

ем фактов истории и доисторической эпохи, прежде чем одна из них может быть признана самой успешной.

С другой стороны, возможно отнести все теории образования государства – унитарные или разновариантные — к двум основным категориям. В более ранней работе, написанной почти сорок лет назад, я подразделил такие теории на *волюнтаристские* и *насильственные* (*coercive*, т.е. конфликтные – прим. ред.) (Carneiro 1970:733–734). Теории первого типа гласят, что государства создавались мирными средствами путем согласованных усилий отдельных лиц, действующих в своих собственных интересах, но без применения силы. Сторонники таких теорий рассматривают автономные деревни — основные структурные элементы любой более крупной политики — добровольно передавшие свои суверенитеты более высокой политической власти, создавая, таким образом, структуры, которые, в конечном счете, превратились в государство. Взаимные выгоды, извлекаемые каждой деревней из такого объединения, более чем компенсируют утрату независимости.

Насильственные теории, с другой стороны, гласят, что только благодаря прямому использованию силы — в первую очередь, боевых действий — преодолевались локальные автономии и деревни спланивались в более крупную единицу с общей политической структурой. Только таким путем (такие теории существуют) могли возникнуть *вождества*, а затем *государства*. Рассмотрим примеры каждого из этих двух типов теории.

Недавно, голландский этнолог Хенри Классен высказал волюнтаристское мнение, аналогичное, в известной мере, мнению, предложенному некоторое время ранее Лестером Уордом. Обе точки зрения подобны в отношении идеи о том, какова главная причина возникновения государства. Для того, чтобы государство возникло, – говорит Классен, «должна существовать идеология, которая объясняет и обосновывает иерархическую административную организацию и социально-политическое неравенство. «Почему была необходима эта идеология? Потому что «существование ...такой идеологии позволяет малоимущим понимать и принимать свое скромное положение» в обществе. Классен утверждает, что без принятия этой идеологии государственность не могла быть достигнута. Более того (он добавляет), что если такая идеология не присутствует с самого начала, или если она не появляется вскоре после этого, «образование государства

становится трудным или даже абсолютно невозможным» (Claessen 2004:79).

Классен был не единственным, кто считал, что государства возникли в результате упражнений прозорливого ума и без военных действий. Возьмем, например, Яна Вансину, этноисторика который долго изучал аборигенные королевства Африки южнее Сахары. Вансина является последовательным сторонником точки зрения, согласно которой «королевства Тропической Африки были продуктами идеологии в большей степени, чем любой другой силы ...» Более того, он утверждает, что они «действительно были сначала построены в уме ...» (цит. по: Bondarenko 2006:11).

Имея в виду культуры чавин (в Андах) ие ольмеков (равнинная Мексика), Ричард Шедел и Дэвид Робинсон, два специалиста в археологии Нового Света, отметили, что «появление мультиобщинных 'гегемоний' [то есть, сложных вождеств]... во втором тысячелетии до н.э. было, по всей вероятности, обусловлено добровольным участием в коллективной системе взглядов ...» (Schaedel and Robinson 2004:262–263)

По всей вероятности, самой известной волюнтаристской теорией образования государства является, тем не менее, «гидравлическая гипотеза», предложенная Карлом Витфогелем. Несмотря на то, что Витфогель не считал, что государство было спонтанным созданием человеческого разума (в отличие от Лестера Уорда), он предполагал, что оно возникало добровольным, не силовым способом. Согласно Витфогелю, первые государства возникли в аридных районах мира, когда поселения мирных земледельцев, имеющие построенные ирригационные системы с целью повышения урожайности полей, осознали для себя преимущества отказа от своих отдельных суверенитетов и слияния их мелкомасштабных оросительных систем в более крупную, строго регулируемую сеть. Комплекс учреждений, необходимых для управления такой системой, формировал, по Витфогелю, ядро, вокруг которого, в конечном счете, возникал политический аппарат государства (Wittfogel 1957:18)

Один из вариантов подобных волюнтаристских теорий образования государства рассматривает первые наддеревенские (*supra-village*) политические объединения как *теократии*. Такие политии возникали — согласно теории — когда специальный доступ к сверхъестественной силе, заявляемый священнослужителями общества, обе-

спечивал им средства управления большим количеством верующих, приводящим, в конечном счете, к их политической интеграции. Согласно этой точке зрения, в основе возникновения первых вождеств и государств лежит моральное воздействие священнослужителей, подкрепляемое боязнью простого народа быть подвергнутым сверхъестественным санкциям, которые могли быть навлечены, а не актом открытой военной силы.

Ранее я ссылался на точки зрения Шедела и Робинсона (Schaedel and Robinson), что политики чавин и ольмеков были «по всей вероятности, созданы благодаря добровольному участию в коллективной системе убеждений ...» Что система убеждений, которую они предложили, была «разработана со временем группами жрецов в нескольких храмовых общинах» (Schaedel and Robinson 2004:263).

Хотя Мортон Фрид признавал важность военных действий в момент возникновения государства, он не был расположен приписывать войне какую-либо конструктивную роль в политическом развитии перед этой стадией. В частности, он считал, что военные действия играли незначительную роль или вообще не играли никакой роли в возникновении вождеств. Он также считал, что служители культа формировали ядро, вокруг которого возникал политический механизм мульти-деревенских политий. Говоря о политических лидерах зарождающихся вождеств, Фрид отметил, что эти «фигуры, по преимуществу, мало приносят в их жреческие роли в плане [политической] власти. Зато, кажется, более правильным полагать, что такая малая власть, которую они контролируют, должна, видимо, объясняться их ритуальным статусом ...» (Fried 1967:141).

Брюс Триггер, с другой стороны, рассматривал возникновение мульти-деревенских политий, как что-то вроде промежуточного звена между чистым волюнтаризмом и чистым принуждением. Он полагал, что критический момент в формировании государства наступал, когда простой народ соглашался идти под начало небольшого круга лиц, но только благодаря принуждению, порождаемому страхом перед сверхъестественными силами. Поэтому он писал, что «в современном эквиваленте теории социального контракта, которой в последние годы придерживались американские антропологи, идеи рациональности и свободно даваемого согласия были заменены идеями, которые определяют религиозный страх, как главную причину, по которой эксплуатируемое большинство было вначале подготовле-

но к тому, чтобы поддерживать социальную систему, основанную на политическом и экономическом неравенстве» (Trigger 1993:81). Согласно Триггеру, после этого религия действительно играла важную роль в возникновении государства. Но это была религия с зубами, религия с явно силовым преимуществом.

В «Теории происхождения государства», в которой я предложил дихотомию между волюнтаристскими и насильственными теориями, я утверждал, что первые не справились с задачей объяснения возникновения государства. Я утверждал, что ни одна политическая единица, независимо от ее размера, не отказывалась когда-либо добровольно от своего суверенитета. Только применение насилия или угрозы его могли заставить ее сделать это. Таким образом, теория насилия потребовалась, чтобы объяснить, как возникла первая генерация государств.

В обход утверждения такого мнения я предложил насильственную теорию с конкретным механизмом, который мог бы с течением времени привести к формированию государства, вместе с рядом фаз, посредством которых эта трансформация осуществлялась. Теория, которую я предложил, описывала, как независимые деревни первоначально формировали вожества и как некоторые из этих вожеств развивались затем в государства (Carneiro 1970). Эта теория стала известной как *теория ограничения (circumscription)*, так как она указывала на ключевую роль, играемую жестким внешним ограничением, приводящим к перенаселению, которое, в свою очередь, влекло за собой периодические военные действия, достигающие кульминационной точки в некоторых районах при формировании государства.

С момента создания теория ограничения приобрела определенную степень употребительности, попав в ряд учебников по антропологии (например, Kottak 1974:203–204; Harris 1975:379–380; Miller and Weitz 1979:256; Wenke 1999:357–360; Haviland, Prins, Walrath, and McBride 2005:312; Ember, Ember, and Peregrine 2005:194). Теория также нашла сторонников среди нескольких признанных теоретиков. Марвин Харрис (Marvin Harris 1979:102), например, ссылаясь на эту теорию, писал:

«Существует очень хорошее совпадение между этой моделью образования древнего государства и условиями, которые существовали в регионах, которые, согласно археологическим свидетельствам, были по всей вероятности центрами форми-

рования древних государств. Египет, Месопотамия, северная Индия, бассейн Желтой реки, центральная, высокогорная область Мексики... и перуанские реки и высокогорья Анд четко [внешне] очерчены»

Лестно, конечно, иметь теорию, которая получила значительную степень признания. Тем не менее, в течение некоторого времени мне казалось, что некоторые аспекты теории нуждались в разъяснении, ограничении и конкретизации. Однако, в течение ряда лет я не предпринимал каких-либо шагов в этом направлении. Стимулом, который, в конце концов, заставил меня сделать это, была работа, представленная на заседании по ольмекам северной Мексики, состоявшемся на конференции Международного Конгресса Американистов, проходящей в Севилье в 2006 г. В этой работе антрополог Кристофер Пул обсуждал теорию ограничения и то, как она влияла на политическую эволюцию среди ольмеков. Наблюдения Пула относительно теории навели меня на некоторые размышления (Pool 2006). Я также выступил на этом заседании с работой, в которой я заново сформулировал теорию ограничения почти в таких же терминах, как в 1970 г., только слегка модифицировав ее, чтобы приспособить ее к случаю ольмеков. Однако работа Пула заставила меня критически переоценить теорию и рассмотреть способы ее более полной и систематической переформулировки.

Я хотел бы начать свою переоценку теории с формулировки образования государства вообще. Позвольте мне повторить, что, в отличие от некоторых теоретиков, я придерживаюсь мнения, согласно которому, несмотря на некоторые отличия между разными примерами образования государства, ни один из них никоим образом не является единственно возможным. Образование любого государства не должно считаться аномальным или необычным в каком-либо фундаментальном смысле. Основываясь на развитии каждого архаического государства, должно быть возможно установить универсальный набор факторов. В предположении, что это правильно, возможно идентифицировать эти общие элементы, исследовать их взаимодействия и объединить данные компоненты в единую основную теорию, которая могла бы объяснить каждый известный случай образования государства.

Безусловно, могут понадобиться незначительные модификации в основной теории, чтобы учесть специфические черты в формировании некоторых государств. Но не должно потребоваться ничего дру-

гого кроме этого. Можно привести следующую аналогию: незначительные модификации, которые необходимо сделать в общей теории, можно было бы сравнить с заменой крышки распределителя системы зажигания в автомобильном двигателе с целью регулировки подачи тока на разные свечи зажигания, но при этом функции двигателя остаются, по существу, неизменными.

При разработке этой базовой теории мы должны ответить на следующие вопросы: *во-первых*, каков несократимый минимум существенных признаков, которые составляют ядро любой успешной теории? И, *во-вторых*, какие вспомогательные элементы необходимо ввести в теорию в определенных точках, чтобы объяснить какой-либо случай, не объясняемый полностью общей теорией?

Таким образом, мы должны начинать с идентификации существенных и универсальных черт образования государства. А чтобы сделать это, нам необходимо сделать шаг назад, демонтировав оригинальную теорию, предложенную в 1970 году, и подвергнув тщательной проверке ее различные аспекты.

Очевидно, что название, под которым обычно известна теория — *теория ограничения* — в определенной степени вводит в заблуждение. И действительно, термин несколько неправильный. Безусловно, природное ограничение характеризует базовое условие, в наибольшей степени способствующее возникновению государства. Точнее говоря, это свойство подчеркивает состояние, которое наиболее энергично *ускоряет* процесс. Но *ускорить* процесс не то же самое, что *инициировать* его. И благодаря случаям, подобным случаям ольмеков и майя, где сложные вождества, если не полностью развитые государства, возникли в *отсутствие* чего-либо типа жесткого природного ограничения, мы вынуждены заключать, что жесткое географическое ограничение, хотя и в значительной степени способствующее образованию государства, не является абсолютно необходимым для него.

Приняв этот факт, я, тем не менее, подчеркнул бы, что там, где природное ограничение существовало, оно *обеспечивало* невероятный стимул для формирования государства. Государства, и вождества до них, возникали и развивались *намного быстрее* в окружении такого типа, чем в неограниченных районах. Действительно, первые в мире государства—без исключения — возникали в областях, отмеченных природным ограничением. Уже это характеризует теорию ограничения с лучшей стороны.

Необходимо сказать несколько больше, чем было отмечено в 1970 г., относительно того, как естественные ограничения способствовали образованию государства. Роль, которую они играли, можно лучше всего продемонстрировать с помощью аналогии — *кастрюли-скороварки*. Можно кипятить воду в открытом сосуде, но вода будет кипеть *быстрее*, если она полностью заключена в пределах стенок резервуара, и, таким образом, предотвращается утечка возрастающего давления пара. То, что происходит в зоне природного ограничения, в достаточной мере, подобно тому, что происходит в кастрюле-скороварке.

Когда численность населения растет в регионе, жестко окаймленном такими физическими барьерами, как горы, пустыни и океаны, сброс давления, оказываемого этим растущим населением, предотвращается выпуском населения в окружающие районы. Первоначальный эффект этого повышенного давления заключается в увеличении частоты и интенсивности военных действий, так как деревни конкурировали за все более и более дефицитную землю. Окончательный результат этих военных действий заключался в решительном изменении политической структуры огороженного населения. Наиболее заметным среди них была утрата политической независимости вовлекаемыми деревнями и их вхождение в *наддеревенские политии*.

Эти новоиспеченные политии—вначале, не большие, чем минимальные вождества—обладали большими возможностями успешно конкурировать в практически непрерывных военных действиях, порождаемых растущим популяционным давлением. В сущности, возникновение даже одного вождества стимулировало образование других, так как больший размер и сила вождества могли обеспечить ему определенное преимущество в борьбе с теми общинами, которые оставались независимыми деревнями. К тому же естественный отбор мог существенно способствовать начальному возникновению вождеств и их последующему распространению.

В общих чертах, действующий процесс можно суммировать следующим образом. Популяционное давление на деревни в перегруженном регионе заставляло их давить друг на друга с большей силой, чем могло быть в случае неограниченной области. В результате, ряд шагов, которые приводили к формированию наддеревенских политий – первых вождеств, а затем государств – происходили здесь быстрее и достигали кульминации быстрее, чем это могло быть в том случае, когда ограничение отсутствовало.

Тогда, если стягивающий эффект физического окружения, хотя и ускоряющий образование вожества и государства, не был абсолютно необходимым для этого, что было необходимо? Здесь я возвращаюсь к предположению, с которого я начал, а именно, что *принуждение* – военные действия, по существу – лежит в самом сердце процесса. Существовало одно обстоятельство, которое могло привести к преодолению автономии деревни и созданию наддеревенских политий.

Военные действия являются горячим – движущей силой – которая приводит в действие политическую эволюцию. Она осуществляет это посредством разрушения старых мелкомасштабных структур, позволяя построение более крупных, более инклюзивных и более сложных политических единиц. Это больше не гипотеза, а установленный факт. Он подтверждается огромным количеством фактических данных из истории и этнографии. На самом деле, я должен найти один пример исторически или этнографически известного вожества или государства, возникшего без военных действий, играющих существенную роль на определенной стадии процесса.

В основе этого утверждения лежит упрямый факт, согласно которому независимые политические единицы, будь они маленькими деревушками или гигантскими империями, никогда добровольно не отказываются от своего суверенитета. Их необходимо принудить сделать это. Разумеется, надо признать, что, хотя преодоление политической автономии обычно достигалось военными средствами, зарегистрированы случаи, в которых большое и сильное государство, конфликтующее с меньшим и более слабым государством, считало *тактику запугивания* достаточной для достижения своих экспансионистских целей. Яркий пример этому (уже цитировавшийся в моей более ранней статье) – могущественная империя инков. Согласно испанскому летописцу Гарсиласо де ла Вега, «это была явно выраженная политика инков по расширению их империи испробовать тактику убеждения, прежде чем применять силу оружия» (цитируется в работе Carneiro 1970:738, п. 22). И в присутствии могучей армии инков, готовой к нанесению удара, соседнее мелкое государство обычно считало «убеждение» вполне достаточным, чтобы уступить требованиям инков. Как правило, капитуляция этого типа влекла за собой утрату политической автономии и включение в расширяющуюся империю инков. Тем не менее, за исключением таких случаев, откры-

тые военные действия и прямой захват были обычными средствами политической экспансии, не только для инков, но и в других местах.

Отправная точка нашего анализа образования государства возвращает нас ко времени, когда (исключая орошение участков, оставшихся с доземледельческих времен) человеческие общества были организованы почти полностью, как автономные деревни. В определенных частях Северной Америки существовали более крупные племенные сообщества, но они, как правило, были сезонными и недолговечными. Более того, поскольку вождество и государства являются, по определению, *долговременными* мульти-деревенскими (multi-village) группировками с общей политической структурой, племена не представляли собой значительного структурного прогресса в сравнении с автономными деревнями.

В течение неучтенных тысячелетий истории человечества большинство поселений упорно оставались автономными. Поэтому было необходимо преодолеть эту упрямо сохраняемую автономию, прежде чем мог быть сделан следующий большой шаг в политической эволюции. Когда наконец-таки этот шаг был успешно выполнен, деревни, которые некогда были неизменно автономными, стали теперь подъединицами нарождающихся более крупных политий — *простых* вожеств. Следующий же шаг в развитии политической организации предполагал объединение этих простых вожеств в более крупные субъекты — сложные вожества. Или, как я предпочитаю называть их, *составные (compound)* вожества. Следующим большим шагом после этого было, конечно, возникновение государства.

Несмотря на то, что сегодня вождество рассматривается, как промежуточный этап между независимыми деревнями и государством, так было не всегда. Действительно, в течение большей части XX в. единственный неопределенный и слабовыраженный пробел существовал в незнании промежуточной фазы между двумя вышеуказанными политическими формами. Маловероятно, что введение новой эволюционной стадии для заполнения этого пробела, которая кажется очевидной и необходимой для нас сегодня, могло занять место устоявшегося антиэволюционизма, который превалировал в антропологии более пятидесяти лет.

Вождество, как особая и важная политическая категория, формально не было введено в антропологию до 1955 г. В том году была опубликована статья Калерво Оберга «Типы социальной структуры

среди равнинных племен Южной и Центральной Америки», в которой вождеству была отведена весьма важная роль. Однако то, что Оберг описывал только как структурный *тип*, Эльман Сервис правильно идентифицировал, несколькими годами позднее (1962), как эволюционную *стадию*.

Здесь было бы вполне уместно отметить, что Аристотель, интересовавшийся политической организацией греческих городов-государств, тем не менее, не рассматривал категорию вождества, как непосредственного предшественника города-государства. Таким образом, он не наводил мосты через брешь между автономными деревнями и государством, написав, что в развитии человеческого общества, «окончательным обществом, сформировавшимся [непосредственно] из нескольких деревень, является государство» (Aristotle 1981:59). Очевидно, что, как эволюционная стадия, вождество настолько выходило за пределы понимания в Древней Греции времен Аристотеля, что не осталось четких следов его.

Как я утверждал неоднократно здесь и в других местах, успех в войне был основным — в действительности, единственным — путем, который вел от автономных деревень к вождеству. Тем не менее, все еще существуют те, кто сомневается, что военные действия были непременным элементом в процессе. Это скептицизм, впрочем, вряд ли мог сохраняться ввиду накопленных фактов. Уже на уровне автономной деревни, непосредственно перед тем, как на горизонте возникало вождество, война была повальным увлечением среди первобытных обществ по всему миру. И не только эндемичным (*endemic*), но практически непрерывным и всеохватывающим. Рассмотрим, например, Амазонию и Новую Гвинею перед установлением мира, регионы, где вождества большей частью отсутствовали. Среди них трудно найти хотя бы одну деревню, в истории которой военные действия не играли бы существенную роль.

Сейчас, для подтверждения правильности теории ограничения, нет необходимости устанавливать, *почему*, на этом уровне, война была так широко распространена. Мы должны только принять *факт*, что это было. Таким образом, мы можем достоверно установить, что даже до возникновения вождеств военные действия *уже* присутствовали в отношениях между деревнями. Это был механизм, готовый и ждущий, который должен был вести от автономных деревень к следующему уровню политической организации.

Вопрос, который мы должны поставить сейчас, звучит следующим образом: как война способствовала тому, что автономные деревни объединялись в крупные политические единицы? Почему в определенный момент истории эти более крупные образования стали результатом тех нескончаемых конфликтов? Почему этот прямой результат войны, а не просто «бей и беги», как это было всегда до этого?

Некоторые критики теории ограничения настаивают на том, что, хотя военные действия имели место на этой стадии, они не были тем, что активизировало возникновение древних вожеств и государств. Ян Вансина, как мы видели, заявил, что государства Черной Африки (Африка к югу от Сахары), были, прежде всего, *идеями в сознании*, а не продуктом прямых военных завоеваний. Однако, строго говоря, эта точка зрения непосредственно оспаривается наблюдениями Элеоноры Львовой, которая, как и Вансина, является специалистом по туземным политиям в Черной Африке (Африка к югу от Сахары). Говоря о таких Конголезских царствах, как Балуба, Балунда и Бакуба, она отмечает, что «первые правители этих государств, упоминаемые в устных преданиях ... были военачальниками. Государства Луба, Лунда и Куба были основаны на территориальных завоеваниях ...» (L'vova 2004:288).

Здесь не место отстаивать дальше точку зрения. Доказательств в пользу роли военных действий на каждом уровне политического развития несметное количество. Поэтому я буду продолжать, исходя из предположения, что военные действия представляют собой *образцовый* механизм, который позволял возникновение вожества и его преемника, государства.

Тем не менее, я должен сообщить здесь об изменении своего мнения о том, как военные действия приводили к образованию первых вожеств. Моя более ранняя точка зрения заключалась в том, что вожества возникали в результате прямого и последовательного завоевания одной деревни за другой самой сильной из них. И, действительно, некоторые вожества возникли таким образом. Хотя в последнее время я стал сомневаться в том, что это был тот путь, которым возникло большинство вожеств. Сегодня я склонен считать, что хотя военные действия являются причастным механизмом, они создают свой эффект несколько отличным способом.

Я бы хотел сейчас сконцентрироваться на действиях *ситуативного* (*ad hoc*) военного лидера деревни, который, действуя в качестве

руководителя альянса, неоднократно и успешно возглавлял военные действия группы деревень против их врагов. Более того, настолько важной была роль этого специального военного лидера в объединении и руководстве воинами союза многих деревень — союза, который, в конечном счете, воплотился в вождество — что он заслуживает специального названия. И название, которым я предлагаю удостоить его, это *пендрагон*. Этот термин происходит от названия, даваемого временному военачальнику средневековых валлийцев. Он известен тем, кто знаком с артуровской легендой, как прозвище отца короля Артура, Утёр Пендрагон.

Сценарий, который, по моему мнению, с наибольшей вероятностью привел к возникновению вождеств, следующий. Из этнографических отчетов хорошо известно, что *ситуативный* военный лидер только что описанного типа обычно обладал почти неограниченной властью над воинами союзнических деревень, которыми он командовал. И его мандат включал самое значительное из всех прав, право распоряжаться жизнью и смертью. Однако такие большие права, как эти, обычно сохранялись только в течение военного времени. Как только боевые действия заканчивались, они истекали, и военачальник фактически лишался их всех.

Однако — и здесь я предлагаю новую последовательность событий — когда военные действия продолжались, становясь все более частыми и интенсивными, объединенные деревни стремились оставаться в военном положении большую часть времени. Таким образом, военачальник — *пендрагон* — имел неоднократные возможности не только осуществлять свои военные полномочия, но и, в равной степени, усиливать и цементировать их. И — что важнее всего — сохранять их *после* того, как враждебные действия прекращались. Поддерживаемый тесным кругом доблестных воинов, которые, после постоянной службы под его командованием и извлечения выгоды от этой службы, становились лично преданными ему, временный военный лидер был в состоянии со временем стать *постоянным* вождем — как в политическом, так и в военном отношении — деревень, во главе которых он вел успешные военные действия. Преданные воины могли позволить ему преодолеть любое сопротивление, которое могло иметь место в отношении сохранения и расширения его неограниченных полномочий после окончания военных действий.

Таким образом, *пендрагон* стал первым *верховным вождем* общества деревень, которые сейчас были постоянно подчинены ему, стали первыми вождествами. С течением времени и после установления нового политического механизма, некогда *ситуативный* военный лидер, который, благодаря своей военной власти и силе характера, назначил себя верховным вождем *de facto*, признавался верховным вождем *de jure*. И если его легитимность, как вождя, не признавалась полностью вначале, эта почать, по всей вероятности, предоставлялась его прямому наследнику, вероятнее всего, его сыну. (Более полную трактовку этой предложенной последовательности событий см. в работе Carneiro [1998].)

Здесь необходимо сделать одну оговорку. Если лицо, которое неоднократно и успешно руководило военными действиями объединенных деревень, не было фактически назначенным военачальником, а было формальным вождем деревни, возвысившимся во время войны до положения военачальника союза деревень с его расширенными соответственно полномочиями, описанный выше сценарий вполне мог бы иметь место.

Предложенная последовательность событий не является просто предположением. Она было исторически документирована в разных группах, среди которых нынешняя северная Венесуэла и Гайана, общины которых в XVI веке практически постоянно были в состоянии войны (Carneiro 1998). Просто, чтобы стать постоянным вождем деревни в этом регионе, человек должен выдержать ряд испытаний, настолько серьезных, чтобы их можно было называть ордалиями. Например, чтобы доказать свою экстраординарную силу духа, кандидат на место вождя деревни подвергался таким испытаниям, как выпивание калабаса, наполненного соком кайенского перца, беспощадное битье плетью, подвергание «поджариванию» путем подвешивания в гамаке на несколько часов над слабым огнем, или нахождение в гамаке с десятками жалящих муравьев, ползающих по нему.

При всем этом он должен был продемонстрировать почти сверхчеловеческий стоицизм и отвагу, не дергаясь и не выказывая никаких признаков боли. Только после прохождения таких испытаний он мог бы считаться в достаточной степени наделенным необходимой выносливостью, чтобы стать вождем и быть способным вести своих воинов в бой (см. Schomburgk 1923, II:344; Gumilla 1963:337–340; Whitehead 1988:60–63). Ясно, что такой человек был готов расши-

рять свои политические горизонты за пределы своей собственной деревни.

Что касается самих военных действий, то с самого начала обычные стимулы для ведения войны между автономными деревнями были практически такими же, как стимулы, лежащие в основе войн, ведущихся аборигенами Новой Гвинеи и Амазонии в недавнем прошлом. Это были войны, связанные с известными преступлениями типа убийств, обвинений в колдовстве, похищений женщин и т.п. – мотивами, которые, несомненно, уходят корнями в палеолит. Войны этого типа часто вовлекали временные альянсы, как среди яномама сегодня. Как правило, в войнах, ведущихся этими альянсами, воины каждой деревни возглавлялись вождем их деревни, а не вождем, выбранным специально для командования объединенными силами нескольких деревень.

Однако в определенный момент эволюции войны с популяционным давлением, действующим, как особенно эффективный пусковой импульс, произошло решительное изменение типов причин, которые вызывали войну. Теперь она начиналась не только по причинам, указанным выше, но также за экологические преимущества и экономические выгоды. Точнее говоря, война стала *переориентированной* на завладение пахотными землями, которые, с ростом населения, становились все более дефицитными. Ранняя стадия этого типа военных действий имела место в высокогорных районах Новой Гвинеи, где племена маэ энга (Meggitt 1977:14) согнали поверженного неприятеля с его земли и присвоил ее. Однако, в то время потерпевшие поражение на поле битвы и часто вынужденные спасаться бегством, неудачники в таких конфликтах еще не включались в политику победителей. Такое развитие событий произошло только на более поздней стадии, когда давление большого количества людей на землю выросло еще больше.

Возможно, самая распространенная критика теории ограничения заключается в том, что нельзя сказать, что в определенных местах, где возникали вождества, существовало популяционное давление – центральный элемент теории. Однако это возражение спорно. В первую очередь, критики, которые высказывают его, часто не знают, что начальная форма популяционного давления может присутствовать, но в такой малозаметной форме, что не поддается обнаружению.

В частности, это было справедливо среди общин, практикующих огневое земледелие.

Лица, занимающиеся подсечно-огневым земледелием, должны обычно оставлять под паром заброшенный участок земли в течение примерно 20 лет, прежде чем его можно рекультивировать. Однако, если спрос на пахотные земли достаточно насущный, заброшенный участок не может больше оставаться под паром так долго. Может оказаться необходимым начать его расчистку и посадку снова только, скажем, через 12–15 лет. В таких условиях практика *распахивания кустарников* могла заменить традиционную и предпочтительную форму *распахивания лесов*. И как только этот шаг был сделан, можно сказать, что существует слабая форма популяционного давления, даже если она с трудом распознается сторонним наблюдателем.

Таким образом, сторонний наблюдатель, гуляющий по территории деревни, которая достигла этой стадии, мог бы случайно столкнуться с тем фактом, что большая часть земель деревни была все еще под десной растительностью определенной формы. А на основании этого он мог заключить — ошибочно — что не существовало признаков популяционного давления. С этого времени деревня была вынуждена делать то, что она не делала бы в иных обстоятельствах — то есть, сокращать обычный цикл расчистки и посадки — который уже подвергался воздействию роста численности населения. Затем ненавязчивым образом, популяционное давление действительно начинало заявлять о себе.

На этой ранней стадии деревня уже могла начать приобретать то, что рассматривалось, как необходимое количество возделываемой земли, обратившись к войне. Это, как мы видели, есть точно то, что делали племена маэ энга. На этой стадии война может казаться членам деревни неизбежным и, бесспорно, быстрейшим способом умножить их убывающий источник земли.

Вытеснение противника с его земли и завладение ею, но без принятия самого противника в свою политику, очевидно, продолжалось, по крайней мере, на более ранних стадиях войн на уровне вожеств. По крайней мере, это все еще практиковалось среди многих вожеств юго-восточных Соединенных Штатов. Согласно этноисторику Чарльзу Хадсону, «Натчез и миссисипские народы были, в общем, сторонниками экспансии», но «целью этой экспансии было приобретение новой земли, а не покорение и включение в свой состав своих врагов ...» (Hudson 1994:240).

Чтобы резюмировать, популяционное давление, даже если оно вначале очень слабое, может обеспечить первый стимул для общины захватить земли соседей силой оружия. И когда деревни росли в размерах и в численности населения, посягая, таким образом, на территории друг друга, повышенное давление на землю могло стать даже еще более побуждающей причиной прибегнуть к оружию.

Однако следует отметить, что война за захват земли могла начаться даже до того, как популяционное давление начинало заявлять о себе. Общества, владеющие достаточной площадью земель, пригодных для возделывания, могут, тем не менее, конкурировать за особенно плодородную почву. В моей статье 1970 г. я заметил, что аборигены, живущие вдоль реки Амазонки, сражались за *варцеа* (*várzea*) — богатые аллювиальные почвы, обнаруженные вдоль берегов этой великой реки. Через несколько лет, когда я узнал больше об ольмеках Мексики, стало ясно, что в районе Сан Лоренцо, на территории ольмеков, наносы, содержащие почвы очень высокого качества, граничили с рекой Коатцакоалкос, почти так же, как это было вдоль реки Амазонки. По существу, эти плодородные земли были настолько дефицитны, что жители этого региона вскоре начали конкурировать за них. Майкл Коэ, археолог, специализирующийся в изучении ольмеков, назвал ольмеков Сан Лоренцо «подарком реки» и утверждал, что эти наносные почвы были настолько желанными, что, на определенной стадии, они стали главной причиной войн (Сое 1981:15).

По-видимому, в регионах, не имеющих природного ограничения, но одаренных чрезвычайно плодородными почвами, люди уже могут прибегать к оружию для завладения лучшими землями. И мы могли бы ожидать, что такая война могла бы, со временем, привести к формированию вожеств и государств.

Более того, как также отметил Коэ, между деревнями ольмеков могла существовать конкуренция за ресурсы, *отличные* от наносных почв. Месторождения обсидиана, нефрита или некоторых других ценных ископаемых могли порождать конфликты, когда люди стремились получить их. И поскольку эта конкуренция приводила к покорению одних групп другими, конечный эффект мог быть почти таким же, как если бы боевые действия вызывались популяционным прессом. Тогда войну за какой-либо ценный ресурс можно было с достаточным основанием ввести в теорию, в дополнение к дефициту земли, пригодной для возделывания, приводящему к завоевательным военным действиям и их политическим последствиям.

Уже в 1970 г. я ввел *концентрацию ресурсов*, как один из вспомогательных факторов, способных спровоцировать боевые операции, которые приводили к территориальным завоеваниям. Однако, в тот период времени я не придавал этому ресурсу того значения, которого, как я понимаю сейчас, он заслуживает. Не будучи полностью осведомленным о важности этого фактора, я не обратил внимания на то, что большинство ограниченных территорий, где возникли самые ранние древние государства, были *также* регионами концентрации ресурсов. Большие районы рыбного промысла у побережья Перу, например, создали условия для поселения больших групп людей вдоль этого побережья и возникновения здесь вождеств, по-видимому, до появления земледелия и, определенно, до того, как окончательно установилось сельскохозяйственное производство.

Другим примером совместного появления этих двух факторов — естественного ограничения и концентрации ресурсов — является древний Египет. И, действительно, Египет был, согласно известным словам Геродота, «подарком Нила», реки, чьи изобильные воды уже в доаграрные времена привлекали большие массы людей на ее берега. И египтологи не обратили внимания на изобилие водных ресурсов, которые река обеспечивала своим самым первым обитателям. «Рыба была в изобилии и в Ниле, и одном естественном озере Египта [Миур], расположенном в местности, называемой фаум ...» свидетельствует один источник (Brier and Hobbs 1999:102), тогда как другой источник сообщает нам, что «миграция птиц на тростниковые берега фаум зимой все еще представляет собой волнующее событие, но в древности изобилие озерных птиц и рыбы ... было и вовсе невероятным» (Aldred 1987: 50). Увеличивая население и, в конечном счете, вызвав демографическое давление, *оба* фактора—концентрация ресурсов и природное ограничение — внесли, каждый своим собственным образом, вклад в возникновение объединенного египетского государства.

Однако следует подчеркнуть, что даже без природного ограничения концентрация ресурсов может обеспечить условия, приводящие к развитию сложных обществ с соответствующей политической структурой. Африканский континент, к югу от Египта, предоставляет несколько примеров этого.

В Западной Африке, древнее королевство Гана освоило среднее течение Нигера, реки, настолько богатой водными ресурсами, что даже сегодня государство экспортирует тысячи тонн рыбы на Берег

Слоновой Кости (Hopkins 1973:246). В XVI веке, покоренные народы типа соркава и бозо, живущие вдоль Нигера, «платили свои налоги правителям Сонгайской империи исключительно сушеной рыбой» (Hopkins 1973:43). Канем, еще одно раннее Западно-Африканское государство, располагалось рядом с озером Чад, о котором говорится, что «рыба изобилует в его водах» (*Encyclopaedia Britannica*, 11th ed., Vol. 5, 1910:787). И, если это справедливо сегодня, после того как озеро существенно сократилось в размере, то насколько это было верно несколько веков назад, когда древние (ранние) народы впервые начали собирательство на его берегах.

Аналогично, в Восточной Африке, Межозерье, регион, располагающийся между такими озерами, как Виктория, Альберт и Кьога, дал толчок к образованию нескольких туземных государств, таких, как Буганда, Буньоро, и Анкол (Fallers 1965:23). Конечно, все эти государства возникли относительно недавно, но очевидно, что все они были основаны на более ранней экономике, базой которой были водные ресурсы, обеспечиваемые этими озерами. Действительно, существование значительных концентраций людей в этом регионе было, несомненно, многолетним, согласно мнению ведущего историка Африки, «В ... [этой] стране озер и рек жили преуспевающие рыбацкие общины каменного века» (Shillington 1995:13).

Однако следует отметить, что мы сталкиваемся с разительным контрастом, когда движемся *на восток* от межозерного региона к открытым лугопастбищным угодьям Кении и Танзании, региону, где не были обнаружены ни концентрация ресурсов, ни естественное ограничение. В отличие от межозерной зоны, туземные вожества и государства здесь никогда не возникали, общины в этом регионе не поднимались выше уровня племени.

Сейчас можно даже допустить, что в определенных обстоятельствах – даже хотя и необычных – концентрация ресурсов может фактически *превзойти* природное ограничение в порождении вожеств и государств. Я говорю «превзойти» в том смысле, что она действует *быстрее* и, таким образом, *быстрее* оказывает свое действие.

Позвольте мне представить возможный пример этого события. Если вожества и, возможно, даже государства действительно возникли в регионе ольмеков в южной Мексике *прежде*, чем в долине Оахака, дальше к западу, регионе природного ограничения. Это развитие можно приписать исключительно высокой концентрации во-

дных пищевых ресурсов в регионе ольмеков. Однако такие ресурсы определенно отсутствовали в долине Оахака. По всей видимости, концентрация диких пищевых ресурсов, вкушаемых ольмеками, привела к начальному накоплению населения с последующим (как мы видели) соперничеством за ее наилучшие части. Результатом, очевидно, была захватническая война со всеми ее хорошо знакомыми политическими последствиями.

Момент, который необходимо подчеркнуть здесь, заключается в том, что это развитие, по всей видимости, произошло *раньше* в регионе ольмеков, чем в Оахака. Даже если в своей кульминационной точке политики ольмеков были не выше, чем сложные вождества, их развитие показывает, тем не менее, то, что концентрация ресурса может привести к возникновению политики даже, если не сопровождается природным ограничением.

Дополнительные примеры вождеств (если не государств), возникших, главным образом, в условиях концентрации ресурса, связаны с крупными реками, такими, как Амазонка (Омагуа и Тапажос), Миссисипи (Кахокиа) и Красная река (Хонгха) в северном Вьетнаме.

Однако следует отметить, что концентрация ресурса, действующая в одиночку, хотя и позволяющая возникновение крупных и сложных обществ, обычно делает это более *медленно*. Чтобы показать, почему это так, необходимо сказать несколько больше относительно того, как действует концентрация ресурса, чтобы привести к высокой плотности населения. Она делает это, способствуя *социальному* ограничению — концепция, близкая к *географическому* ограничению, впервые предложенная Наполеоном Шаньоном (Chagnon 1968:251). Не нужно много времени, чтобы увидеть применимость этой концепции к определенным примерам политической эволюции и включать ее в теорию.

Объединение деревень, когда они увеличиваются в размерах и размножаются по количеству в неограниченной области, оказывает такой же эффект, как и в области природного ограничения. Однако существуют также и существенные различия. Для обеспечения сильного ограничения закрытого населения без физически очерченного периметра просто потребуется больше времени для того, чтобы население полностью заполнило зону. Но, когда население достигает этой точки, это приводит к тому, что можно рассматривать, как *социальное ограничение*. В случае современных, так плотно упакованных насе-

ленных пунктов, существуют препятствия для легкого перемещения людей. Эффект по большей части такой же, как в случае наличия физических барьеров. Однако существует важное отличие. В случае социального ограничения степень давления на уплотненное население обычно *менее высокая*, чем в случае физического ограничения, позволяя существование определенной величины «утечки».

Другими словами, немногие деревни, которые подверглись наиболее сильному сжатию, особенно, если они располагаются вблизи периферии области, могли проложить себе путь через узкие проходы между сопредельными деревнями. В результате этого частичного уменьшения давления, воздействующего на деревни, оставшиеся в перегруженной зоне, утечка может действовать так, чтобы снизить частоту случаев военных действий и, следовательно, задержать наступление обычных политических последствий таких сражений. Вождества и государства могут, в конечном счете, возникнуть в таком регионе, но это займет больше времени. Западную Европу, Конго и Петен в Мексике и Гватемале можно отнести к регионам, в которых государства возникли с течением времени, но значительно позднее, чем в регионах с отчетливо выраженным природным ограничением, таких, как Египет и Месопотамия.

По сути, как уже отмечалось, *оба* фактора — концентрация ресурса и природное ограничение — обычно обнаруживаются вместе. И они работали в тандеме, причем каждый вносил вклад в конечный результат своим собственным путем. Они делали это посредством создания и повышения популяционного давления, которое является ключом к разработке теории. Концентрация ресурсов привлекала людей в регион и, посредством обеспечения условий для роста населения, в конечном счете приводила деревни к посягательству на суверенитет друг друга.

Однако в случае, когда концентрация ресурса действовала в одиночку, всегда существовала возможность того, что некоторая часть растущего населения могла покинуть район, лишенный физических границ. Несмотря на это, природное ограничение, блокируя какие-либо простые средства эвакуации для изолированного населения, препятствовало снятию этого давления. Таким образом, последовательность событий, приводящая к военным действиям и, в конечном счете, к завоеванию, происходила быстрее. И в случае, когда *оба* фактора действовали совместно, политическая эволюция существенно ускорялась.

Позвольте мне отвлечься на время и обратить внимание на то, что природное ограничение не является вопросом «все или ничего». Существуют разные *степени* его. И даже кажущиеся относительно незначительными изменяющиеся степени ограничения могут приводить к заметному различию в политическом развитии. Для примера сравним Египет и Месопотамию. Нил – единственная река, которая продельывает резкий и узкий разрез через Египетскую пустыню. Естественное ограничение здесь достигало своего максимума. Месопотамия, с другой стороны, представляла собой нечто противоположное. Две спаренные реки, Тигр и Евфрат, текущие примерно параллельными курсами, с их небольшими притоками, часто взаимно переплетающимися, создали более широкую полосу, более широкую пойму. Кроме того, Сирийская пустыня, через которую протекали реки, формировала менее четко определенные и менее четко очерченные границы, чем Египетская пустыня вокруг Нила.

Физико-географическое различие между двумя регионами было отражено в истории их соответствующего политического развития. Хотя вождества в Месопотамии возникли раньше, чем в Египте, политическое объединение в долине Нила предшествовало объединению в районе Тигра-Евфрата. Кроме того, некогда достигнутое, оно было более стабильным, королевство Египет оставалось объединенным намного дольше, чем Вавилония. Поэтому кажется разумным предположить, что более резкое, чем в регионе Тигр-Евфрат, ограничение в долине было существенным фактором в объяснении их различающихся политических историй.

Также необходимо помнить о том, что физические свойства естественного ограничения, которые первоначально могут создавать барьеры для поселений, могут, со временем, перестать быть ими. Популяционное давление может стать настолько большим, что приведет к изобретению технологии, способной преодолеть или трансформировать эти барьеры. Например, крутые склоны некоторых частей Анд, которые одно время были препятствием для сельского хозяйства и, таким образом, для возникновения поселений, перестали быть таковыми после внедрения террасирования склонов и ирригации. И в самом деле, эти технологии сделали склоны Анд не только пригодными для жилья, но и высоко продуктивными.

Также заслуживает внимания еще одна проблема, касающаяся степеней природного ограничения. Некоторые критики утверждали,

что выбор земель *варцеа* (*várzea*), простирающихся вдоль реки Амазонка, должен рассматриваться, как ограниченные на флангах terra firme (территория незатопляемых влажных тропических лесов) по обеим сторонам. Однако, я хотел бы поспорить с такой характеристикой. Поскольку внутренние леса, ограничивающие с обеих сторон земли *варцеа*, можно легко вырубить и засеять и можно получить довольно хорошие урожаи, они далеки от формирования непродуктивного ограничивающего элемента. То, что мы имеем здесь, не представляет собой ничего похожего на ножеподобное ограничение, обеспечиваемое Египетской пустыней. Бесспорно, земли *варцеа* более продуктивны, чем окружающие внутренние земли. Тем не менее, я предпочитаю рассматривать это как пример *экологического градиента*, а не природного ограничения.

В заключение, позвольте мне заявить, что введение таких вспомогательных факторов, как концентрация ресурсов и социальное ограничение, и признание их большей роли в политической эволюции, чем я первоначально приписывал им, не *выхолащивает* теорию. Действительно, учет большего количества элементов, которые, действуя совместно с естественным ограничением, играли большую роль в возникновении государства, фактически *усиливает* теорию. Сейчас теория способна более полно объяснить более широкий диапазон случаев образования вождеств и государств. Хотя *сущность* теории остается той же самой. Ее можно заключить в следующем утверждении:

Повышенная частота завоевательных войн, главным образом, вследствие роста популяционного давления, приводила к формированию последовательно более крупных политических единиц, начиная с автономных деревень, за которыми следовали вождества, с кульминацией процесса в определенных регионах, завершающегося возникновением государства.

Несмотря на изменения, внесенные в этой статье, суть теории все еще та, которая была ранее. Независимо от того, какие недостатки могут оставаться в теории, необходимо не *отказываться* от нее, а только *дополнить*. Возможно, она должна быть *переименована*, если можно найти термин, который лучше бы охватывал круг причинных факторов, которые совместно приводили к образованию государства. И даже хотя, до этого момента, теория показала себя достаточно успешной, если бы был обнаружен какой-либо ранее непризнанный элемент, который способствовал повышению частоты войн со всем их каскадом

последствий, несомненно, новый фактор мог бы быть легко вставлен в рамки теории. И действительно, его добавление в теорию приветствовалось бы, как усиливающее ее объяснительную силу.

ЛИТЕРАТУРА

- Aldred, C. 1987. *The Egyptians*. London: Thames and Hudson.
- Aristotle. 1981. *The Politics*. Translated from the Greek by T. A. Sinclair. Harmondsworth, UK: Penguin Books.
- Bohannan, P.A. 1963. *Social Anthropology*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bondarenko, D.M. 2006. *Homoarchy; A Principle of Culture's Organization*. Moscow: URSS.
- Brier, B., and Hobbs H. 1999. *Daily Life of the Ancient Egyptians*. Westport, Conn: Greenwood, Press.
- Carneiro, R. L. 1970. A Theory of the Origin of the State. *Science* 169: 733-738.
- Carneiro, R. L. 1998. What Happened at the Flashpoint? Conjectures on Chiefdom Formation at the Very Moment of Conception. In *Chiefdoms and Chieftaincy in the Americas*, ed. by Elsa M. Redmond, pp. 18-42. Gainesville, Fla: University Press of Florida.
- Carneiro, R. L. 2003. *Evolutionism in Cultural Anthropology; A Critical History*. Boulder, Colo: Westview Press.
- Chagnon, N.A. 1968. The Culture-Ecology of Shifting (Pioneering) Cultivation Among the Yanomamö Indians. In: *Proceedings of the VIII International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences*. Tokyo and Kyoto, Vol. 3. pp. 249-255.
- Claessen, H.J. M. 2004. Was the State Inevitable? In *The Early State, Its Alternatives and Analogues*, ed. by Leonid E. Grinin, et al., pp. 72-87. Volgograd: 'Uchitel' Publishing 'House.
- Coe, M.D. 1981. Gift of the River: Ecology of the San Lorenzo Olmec. In *The Olmec & Their Neighbors*, ed. by Elizabeth P. Benson, pp. 15-19. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collections.
- Ember, M., Ember C.R., and Peregrine P.N. 2004. *Anthropology*. 11th edition. Upper Saddle River, N.J.: Peterson Prentice Hall.
- Fallers, L.A. 1965. *Bantu Bureaucracy; A Century of Political Evolution Among the Basoga of Uganda*. Chicago: University of Chicago Press.

- Fried, M.H. 1967. *The Evolution of Political Society*. New York: Random House.
- Gumilla, P. J. 1963. *El Orinoco Ilustrado y Defendido* (1745). Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, No. 68. Italgráfica C.A.: Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela.
- Harris, M. 1975. *Culture, People, Nature: An Introduction to General Anthropology*. New York: Thomas Y. Crowell.
- Harris, M. 1979. *Cultural Materialism: The Struggle for a Science Of Culture*. New York: Random House.
- Haviland, W.A., Prins. H. N., Walrath, D., and McBride, B. 2005. *Anthropology: The Human Challenge*. 11th ed. Belmont, Cal.: Thomson Learning,
- Heizer, R. F. 1960. Agriculture and the Theocratic State in Lowland Southeastern Mexico. *American Antiquity* 26: 215-222.
- Hopkins, A. G. 1973. *An Economic History of West Africa*. London: Longmans.
- Hudson, Ch.M. 1994. *The Hernando DeSoto Expedition, 1539-1543. The Forgotten Centuries: Indians and Europeans In the American South 1521-1704*. Athens: University of Georgia Press.
- Kottak, C. 1974. *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. New York: Random House.
- L'vova, E.S. 2004. Formation and Development of States in the Congo Basin. In *The Early State, Its Alternatives and Analogues*, ed. by Leonid E. Grinin, et al., pp. 288-297. Volgograd: 'Uchitel' Publishing House.
- Meggitt, M. 1977. *Blood Is Their Argument*. Palo Alto, Cal.: Mayfield Publishing Company.
- Miller, E.S., and Weitz, Ch.A. 1979. *Introduction to Anthropology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- Oberg, K. 1955. Types of Social Structure Among the Lowland Tribes of South and Central America. *American Anthropologist* 57: 472-487.
- Pool, C.A. 2006. Una Vista Desde el Oeste: Tres Zapotes y el Paisaje Político Olmeca. Paper presented at the 52nd International Congress of Americanists, Seville, Spain (In press).
- Schaedel, R.P., and Robinson, D.G. The Pristine Myth of the Pristine State. In *The Early State, Its Alternatives and Analogues*, ed. by Leonid E. Grinin, et al., pp. 262-277. 'Volgograd: Uchitel' Publishing House.

- Schomburgk, R. 1923. *Travels in British Guiana during the Years 1840-1844*. Translated and edited by W. E. Roth. 2 Vols. Georgetown: British Guiana Daily Chronicle Office.
- Service, E.R. 1962. *Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective*. New York: Random House.
- Shillington, K. 1995. *History of Africa*. Revised edition. New York: St. Martin's Press.
- Trigger, B. 1993. The State-Church Reconsidered. In *Configurations of Power*, ed. by John S. Henderson and Patricia J. Netherly, pp. 74-111. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Vansina, J. 1992. Kings in Tropical Africa. In *Kings of Africa; Art and Authority in Central Africa*. Ed. by Erma Beumers and Hans-Joachim Koloss, pp. 19-26. Foundation Kings of Africa, Maastricht.
- Ward, L. F. 1883. *Dynamic Sociology*. Vol. 2. New York: D. Appleton and Company.
- Wenke, R.J. 1999. *Patterns in Prehistory*. 4th edition. New York: Oxford University Press.
- Whitehead, N.L. 1988. *Lords of the Tiger Spirit: A History of the Caribs in Colonial Venezuela and Guyana, 1498-1820*. Dordrecht: Foris Publications.
- Wittfogel, K. 1957. *Oriental Despotism*. New Haven: Yale University Press.

ТЕОРИЯ РАННЕГО ГОСУДАРСТВА СЕГОДНЯ

1. Государство: общие соображения

Ученые уже давно исследовали государство (современный обзор см.: Kradin 2009). Среди них философы, историки, социологи и антропологи. Мы можем обратиться к Конфуцию и Лао-Цзы или греческим философам Платону и Аристотелю (van der Vliet 2005), а если мы хотим остаться ближе к нашему времени, есть итальянский политолог Макиавелли, который в XVI столетии написал *Il Principe* (Государь), или британский философ Гоббс, который в XVII веке обосновал существование монархии в своем *Левиафане*. Во Франции Руссо написал в 1762 свое эссе *Du contrat social* (Общественный договор). Интересен тот факт, что, хотя их точки зрения имеют право на существование, их работы имеют много общего в том, что их данные были чрезвычайно ограничены. Они теоретизировали, главным образом, от самосконструированного прошлого до желанного будущего или пытались объяснить только наполовину известные явления с использованием данных, которые полностью недостаточны для этой цели (Claessen and Skalnik 1978: 6). Более того, эти философы обычно рассматривали государство, как либо хорошее, либо плохое – точки зрения, которые глубоко окрашивали их взгляды. Перед началом эмпирических анализов происхождения, характера и раннего развития государства необходимо обратиться к не слишком удаленному прошлому. Первое всестороннее обсуждение государства и его происхождения было выполнено Фридрихом Энгельсом, который опирался в своей работе на исторические и антропологические данные. В 1884 году он опубликовал *Происхождение семьи, частной собственности и государства*, где он, с одной стороны, резюмировал *Древнее общество* Моргана (Morgan 1877), а, с другой, добавил дополнительную информацию, основанную, главным образом, на работах Маркса. Здесь Энгельс отстаивал взгляд, согласно которому государство появилось, когда возникла необходимость защищать развивающуюся частную собственность. Этот взгляд был, главным образом, результатом концентрации Энгельса на том, что он представлял себе, как оптимум, *т. е.*, развитие Древней Греции и Древне-

го Рима. Он также упомянул немцев, ирокезов и этнологические примеры со всего мира (Claessen and Skalnik 1978: 6–7). Однако, в своей более ранней работе *Анти-Дюринг* (1877/78) он обсудил еще один возможный путь, которым могли развиваться классовое общество и государство. Здесь он предположил медленное превращение «функциональной» власти в «эксплуататорскую» власть. Под этим он подразумевал, что лидер, который управляет делами своего общества, постепенно занимает более прочное положение, и с течением времени, люди становятся полностью зависимыми от его руководства. Из-за этого его положение постепенно изменяется от положения слуги общества к положению его главы. По мнению Энгельса, сущностью государства в обоих случаях было подавление низшего класса высшим классом. Эти две группы или социальных класса неизбежно были антагонистическими. По мнению Энгельса, это противоречие было неразрешимым, и, таким образом, должен был существовать развитый государственный аппарат, чтобы поддерживать определенную форму мира и гарантировать длительное верховенство доминирующего класса. Это была сила, несомненно стоящая над обществом, но фактически служащая интересам высшего класса – этот аппарат был государством (Engels 1964 [1884]; Claessen and Skalnik 1978: 8). Ясно, что в глазах Энгельса государство было не “хорошим”, но неизбежным.

То, в какой степени Энгельс представляет правильное объяснение происхождения государства и то, в какой степени применимы предложенные механизмы, открыто для обсуждения. Одно из его наблюдений, несомненно, справедливо: государство есть не всегда и не везде. Государство возникло в определенный момент времени – или фактически в несколько моментов времени и в разных местах. Кроме того, Энгельс предсказал, что всякий раз, когда условия, которые приводили к возникновению государства, исчезали, государство также будет исчезать, точка зрения, которая находит подтверждение в недавней работе Питера Клооса (Kloos 1995).

Кажется разумным предположить, что государство – где бы и когда бы оно ни возникло – не входило в историю в своей уже полностью развитой форме. Кажется более вероятным, что, с течением времени, из менее развитых социально-политических форм, таких, как вождества или общества бигменов, постепенно возникали более сложные формы государства, некоторые из которых можно рассматривать, как

начальные или **ранние государства**, которые являются социально-политическими образованиями, и, хотя несомненно обладают рядом характеристик государства, все еще не могут квалифицироваться, как достигшие полного развития или **зрелые государства**.

Сформулированное в самых простых терминах государство можно рассматривать как **особый тип организации**, а именно социально-политическую организацию. Это принципиальное утверждение. Государство, как продукт социальных отношений, не должно овеществляться, персонифицироваться или сакрализоваться.

«Это есть совокупность отдельных социальных существ, связанных сложной системой отношений. В этой организации различные индивиды исполняют различные роли, а некоторые обладают особой властью или полномочиями» (Radcliffe-Brown 1940: xiii).

Недавно Дональд Курц (Kurtz 2006), придерживающийся этой точки зрения, отверг точку зрения “антропоморфизированного государства” (“anthropomorphized state”) и подчеркнул тот факт, что государство – это люди, которые делают и думают и имеют интересы. Исходя из этих утверждений, мы не можем сказать “государство думает” или “государство хочет”, или “это в интересах государства” и т.д. Эти люди – лидеры – которые думают, хотят или имеют интересы. Иногда лидеры действуют, как они считают, в интересах народа; иногда они действуют, как они воображают, по воле их бога, а иногда они действуют, грубо или осмотрительно, только в своих собственных интересах. Но обычно они оправдывают свою деятельность громогласными заявлениями, что они действуют в “интересах” государства.

Однако государство – это абстракция, манера говорить, вид условного обозначения, указывающего на сложное явление. Поскольку государство представляет собой определенный тип организации, включающей три составные части: *много народу, определенную ограниченную территорию и особый тип правительства*. Однако эта правильная, хотя, возможно, слишком широкая, характеристика, чтобы быть полезной, поскольку она применяется к любой политике, включая негосударственные общества. Поэтому, чтобы быть полезными, три компонента должны быть конкретизированы.

Что касается *количества людей*, трудно указать минимальное количество людей, необходимое для того, чтобы сделать возможным существование государства. На основании расчетных количеств лю-

дей в некоторых малых ранних государствах на Таити в Полинезии в восемнадцатом веке можно предположить, что требуется около 5000 человек, чтобы сделать возможной государственную организацию. Очевидно, что такая численность населения требуется, чтобы набрать необходимое количество правительственных служащих, специалистов и обслуживающего персонала, позволяющее функционировать централизованному правительству и иметь в распоряжении достаточное количество людей для производства продуктов питания и товаров, позволяющих высшей группе жить в роскоши (Claessen 1978, 1988b; 2000: 158). Однако следует подчеркнуть, что существует много негосударственных обществ с большей численностью населения, чем многие малые государства (в Индонезии: Slamet-Velsink 1995; в Центральной Африке: Vansina 1991). К этому следует добавить, что недавнее исследование показало, что количество жителей на км² земли, пригодной для ведения сельского хозяйства (при аналогичных технологических условиях) накладывает ограничения на рост населения (Claessen and van Bakel 2006, Таблица на стр. 254).

Концепция *территории* неопределенна в равной степени. В большинстве случаев управление конкретной территорией тесно связано с управлением людьми, живущими на ней, а не с количеством квадратных километров (сравни Tymowski 2005). Поэтому к компоненту территории необходимо добавить то, что он означает управление людьми, проживающими на этой территории.

Наиболее важный для идентификации компонент – это полития, так как государство представляет собой тип *управления (правления)*. Даже поверхностное рассмотрение взглядов ряда ученых убедительно показывает, что тип правительства (управления) является ключевой характеристикой государства; количество людей и размер территории не являются решающими – хотя, само собой разумеется, государство не может существовать без людей или территории. Компонент правительства (управления) можно анализировать по двум различным аспектам: *власть* и *административное управление*.

Власть (Power) представляет собой, в принципе, способность решительно влиять на поведенческие альтернативы кого-то другого (Weber 1964 [1922]; см. также Kurtz 2006 о власти). Эта цель может быть достигнута различными путями: моральным воздействием, угрозами, физической силой, контролем источников средств к существованию или созданием у другого человека ощущения, что жела-

ния или законы центральной власти соответствуют его собственным правилам и ценностям. Власть, таким образом, представляет собой широкую концепцию, колеблющуюся между крайними противоположностями: *применение силы* и *консенсус*. Естественно, что правительство будет стараться достичь как можно большего консенсуса, так как работа с людьми, согласными с принимаемыми мерами, намного легче и эффективнее, чем заставлять и контролировать людей, которые выступают против издаваемых правил. Неэффективность и неудовлетворительные результаты рабского труда или подневольного труда делают это достаточно ясным. Когда люди соглашаются с существующим разделением властей и, таким образом, с законами и правилами, издаваемыми правителями, правительство считается *легитимным* – счастливая ситуация, которая в реальных условиях никогда не достигается в полной мере. Всегда будут существовать индивиды или группы с отличными идеологиями или интересами, которые не могут – или не будут – принимать правила и нормы правительства и, следовательно, должны быть заставлены делать так. Их можно называть с приставкой «анти».

Административное управление представляет собой управление делами государства, и эта задача возлагается на исполнительный аппарат правительства. Такой аппарат может ограничиваться немногими функционерами, но может также принимать форму абсолютной бюрократии в смысле Вебера (Weber 1964; ср. Bondarenko 2005, 2006). Административный аппарат обычно принимает форму иерархии должностных лиц, высших чиновников, которые концентрируются в правительственном центре. В идеале аппарат служит целям лиц, принимающих решения (примеры таких аппаратов см. в Claessen 1987).

Что нам дают эти данные относительно характера государства? В первую очередь, государство представляет собой социально-политическую организацию, которая монополизировала контроль над властью. Эта власть материализуется в центральном правителе. Организация занимает территорию, а в ее центре живут власть имущие; это – **централизованная** политическая организация. Лидер, или, в более широком смысле, правительство в политическом центре, издает законы и правила и обладает легитимным правом проводить эти законы в жизнь путем использования и полномочий, и силы или угрозы силы. Центральный правитель также несет обязан-

194

ность предотвращать распад; он должен сохранять государство неделимым. Будет ясно, что обе обязанности представляют идеальную ситуацию; в реальных условиях правитель никогда не преуспевает в полном обеспечении закона и порядка, и никто не в состоянии всегда сохранять целостность государства.

В качестве предварительного определения можно сказать, что: **государство**, таким образом, представляет собой организацию для регулирования социальных (общественных) отношений в обществе, которое разделяется, по меньшей мере, на два социальных класса, правители и управляемых.

2. Концепция раннего государства

Здесь, очевидно, место для проведения отличий *раннего государства* от более **развитых** типов государства, *зрелого государства, капиталистического государства, современного государства*. Тот факт, что многие ученые испытывают значительные трудности при проведении, с одной стороны, разделительной линии между негосударством и ранним государством, и, с другой стороны, границы между ранним государством и зрелым государством, является обычно следствием непонимания ими того, что такие трансформации не были внезапными механическими трансформациями, но, напротив, часто представляли собой чрезвычайно продолжительные, трудные процессы. Хорошая иллюстрация такого процесса приводится Фредриком Бартом в его отчете по многократным переключениям к государственной организации и обратно к вождествам в долине Сват в Пакистане (Barth 1985). Дополнительная трудность состоит в том, что некоторые общественные формы продолжают свое существование в течение долгого времени после того, как негосударственная форма (вождество, общество бигменов и т.п.) стала ранним государством или раннее государство стало зрелым государством. В ранних государствах в давние времена можно найти влиятельные локальные сообщества, кланы и роды, и общинную землю. В зрелом государстве могущественные титулованные семьи могут удерживать в течение значительного периода времени политические или ритуальные функции. Социально-политические формы между негосударственными обществами и зрелыми государствами называются **ранними государствами**.

При построении типов, категорий, периодов и т.п., мы должны помнить, что они наши конструкции. Любое содержание, заклады-

ваемое в конкретные категории, вытекает из теоретических основ, а не из данных. Оригинальные критерии, используемые для классификации, являются аналитическим инструментарием, который связан с конкретными теоретическими точками зрения и научными предположениями, и не характерны для исследуемых явлений. Таким образом, ранние государства являются нашими построениями и нашими точками зрения (Claessen and van de Velde 1987: 3).

Только на основе тщательного **сравнительного исследования** можно идентифицировать такие социо-политические формы и идентифицировать их характеристики – или, вернее сказать: построить эти формы с разумной степенью достоверности. Я пришел к этому заключению, когда, давным давно, я готовил мою диссертацию на степень PhD, которую я представил в Амстердамском университете в 1970 году под названием *Короли и Народы*. В этой работе я исследовал политическую организацию пяти княжеств (сейчас называемых ранними государствами): Таити и Тонга в Полинезии, Дагомея и Буганда в Африке и государство Инков. После представления первых детальных описаний пяти ранних государств я сравнил их политическую организацию по не менее, чем 241 аспекту, классифицированных по трем ключевым темам, правитель, аристократия и простой люд. Все аспекты, которым либо положительная (присутствует), либо отрицательная (отсутствует) оценка могла даваться четыре или более раз, были обозначены, как «общие». Не менее 158 аспектов политической организации могли квалифицироваться как таковые. Эти общие аспекты были выявлены, главным образом, в таких категориях, как «функции правителя», «родственники правителя», «двор и придворные», «положение региональных администраторов», «положение местных администраторов», «стратификация населения», «обязательные службы» и «ритуальные и церемониальные обязанности». Категории с низкими баллами «общих аспектов» включали: «правила наследования для правителя», «положение наследников престола», «положение военачальников, «налоговая система», «права простого народа». Большой разброс был также обнаружен в таких аспектах, как: «сакральные аспекты правителя», «инаугурация правителя», «женщины вокруг правителя» и «положение министров».

Тот факт, что было выявлено много подобий в таких аспектах, как функции и обязанности правителей, функции и положения региональных и местных администраторов, внутренняя стратификация на-

селения и принудительные службы, означал, что основные аспекты политической структуры были аналогичны во всех случаях. Существенное отличие было обнаружено в категориях, где, очевидно, был возможен широкий диапазон изменений без ущерба политической структуре.

Выводы труда *Короли и Народы* сформировали отправную точку для намного большего исследования ранних государств, опубликованного в 1978 году в книге *Раннее Государство*, которую я редактировал с Петром Скальником из Чехословакии. В этом томе мы свели вместе двадцать один конкретный случай ранних государств, каждый из которых написан специалистом в своей области. После четырех вводных глав, в которых были представлены различные аспекты исследования государства и раннего государства и сформулирован ряд гипотез, следовали описательные главы.

При компоновке сравнительных глав мы вскоре поняли, что, в сравнении с *Королями и Народами*, мы должны существенно уменьшить количество сравнений, так как, если бы мы следовали более раннему подходу, мы должны были бы справиться с более, чем 20 000 элементами, что было бы слишком много для обработки. Поэтому мы сократили количество категорий до 20, что ограничило количество элементов примерно до 166. Для каждого из этих элементов мы проверили каждый из 21 случая. Это дало примерно 3500 показаний (индикаторов). Среди категорий, которые мы выделили, были «территория», «урбанизация», «средства к существованию», «социальная стратификация», «идеологическая основа: сакральность (sacrality) и ритуал», «правила и законы», «милосердный владыка», «неравенство», «низшие слои общества», «типы функционеров» и т.д. Следуя точкам зрения более раннего отчета, мы также показали Структурные Характеристики. Чтобы квалифицироваться, как таковая, элемент должен быть представлен, по крайней мере, в шестнадцати случаях и отсутствовать не более, чем в двух, тогда как в остальных трех случаях он подпадал под заголовок «нет данных». Не менее, чем 51 из 162 элементов квалифицировались, как «структурные», что составляло примерно одну треть. Получение оценки 16 или более достоверных идентификаций в выборке из 21 случая показывает высокую вероятность уместности (о статистической уместности (относимости) Раннего Государства: Bondarenko and Korotayev 2003). Здесь следует отметить, что Леонид Гринин в последней статье установил, что в

его подходе, использующем различные определения, ни Таити, ни Гавайи должны рассматриваться не как ранние государства, а малые аналоги раннего государства (2009: 109).

После тщательного рассмотрения наших результатов мы выполнили классификацию ранних государств. Первую категорию, простейшую форму, мы назвали *зачаточным ранним государством*. Позднее мы поняли, что термин «начальное раннее государство» мог бы быть лучше, но тогда было слишком поздно менять его. Далее мы выделили *типичное раннее государство*, а самую развитую форму мы назвали *переходным ранним государством* (Claessen and Skalnik 1978: 640–641). (Социальная Эволюция и История) *Social Evolution & History* / March 2010 12

Здесь были представлены такие ранние государства, как Анкор, Египет, Франция, Гавайи, Инки, Куба, Скифы, Таити, Вольта и Йоруба. В третьей части тома мы представили сравнения и заключения. Мы смогли установить, что раннее государство не было связано с определенным периодом или регионом. К старейшим ранним государствам относятся Древний Египет и Древний Китай, а более современные Африканские случаи включают Кубу и государства на Вольте.

В качестве характеристик зачаточного раннего государства мы выбрали следующие признаки:

- торговля и рынки имели только ограниченное значение;
- наследование должностей было преимущественно потомственным;
- частное владение землей было в порядке исключения, тогда как общинная собственность была доминирующей;
- только функционеры получали вознаграждения (часто натурой);
- судебная система не имела кодификации законов и наказаний;
- налоги состояли, большей частью, из обязательных подарков и эпизодической работы на государство.

Раннее государство считалось типичным, если:

- торговля и рынки были развиты на надлокальном уровне;
- наследственность, как принцип передачи должности, было уравновешено назначением на должности;
- частное владение землей было все еще ограничено, тогда как постепенно государственная собственность становится важной чертой;

- кроме функционеров, получающих вознаграждение, были обнаружены функционеры, получающие жалование;
- положено начало кодификации законов и наказаний;
- взыскивались регулярные налоги, частично натурой и частично услугами, а крупные работы, организуемые государственными функционерами, часто выполнялись с помощью подневольного труда.

Переходным считалось раннее государство, в котором:

- торговля и рынки имели важное значение;
- назначение функционеров было преобладающим;
- частная собственность на землю приобретала все большее значение;
- получающие жалование функционеры составляли большинство, а государственный аппарат постепенно становился относительно независимой политической силой;
- кодификация законов и наказаний была закончена; официальные судьи уполномочивались осуществлять правосудие;
- налогообложение развилось в хорошо определенную систему.

Из нашего исследования становится ясно, что ранние государства, несмотря на их часто рудиментарную административную организацию, часто были довольно стабильными организациями. Многие из них существовали в течение сотен лет. Как им удалось достичь этого? Слишком просто искать объяснение в терминах власти и принуждения. Принуждение и подавление не самые эффективные способы управлять населением – как уже было отмечено выше. Естественно, что существуют исключения. Наглядный пример этому – раннее Суданское государство Борну. Его исследователь Рональд Коэн (Cohen 1991) описывает в ужасных деталях суровое обращение и беспощадную эксплуатацию населения представителями правящего класса. Формы принуждения и неравенства найдены повсеместно, как полагает Брюс Триггер (Trigger 1985). Но все же такие признаки не были доминирующими характеристиками обществ в обществах ранних государств. В большинстве случаев между правителем и подданными доминируют согласие и единодушие: точка зрения, выдвигаемая на передний план Морисом Годелье (Godelier 1978). Это связано с тем фактом, что правитель в этих случаях считается **легитимным**.

Концепция легитимности была введена в общественные науки Максом Вебером (Weber 1964: 24ff.), который установил, что она была основана на доверии народа. Если правитель действовал в со-

ответствии с доверием своего народа, он действовал легитимным образом. Эта формулировка больше не рассматривается обоснованной (Beetham 1991: 11). Хотя совместное использование норм и ценностей правителями и подданными является необходимым условием, юридическая сила приобретения и осуществления власти также должна быть установлена: правильным ли и законным путем достиг ее правитель? Необходимо также найти какие-либо свидетельства согласия, вытекающие из действий, выражающих его (ibid.: 12ff.).

Еще один способ достижения легитимности отстаивается Дональдом Курцем (Kurtz 1984), который устанавливает, что пока правительство преуспевает в выполнении – экономических – потребностей подданных, и поддержку правил и норм, издаваемых правительством. Это довольно прагматичный способ определения легитимности, но он обладает преимуществом выражения того, что народ вообще думает о правительственной системе: правительство имеет обязательства перед своими подданными. Оно основано на понятии *реципрокации*: мы, народ, платим и работаем на вас, а вы – правитель, правительство – должны заботиться о нас. Оба подхода согласуются друг с другом. Понятие взаимности относится к нормам и ценностям общества. Когда правитель оправдывает ожидания, он будет считаться законным сюзереном. Существуют несколько обязанностей, которые правитель должен выполнять в этой связи. Среди них: защита, щедрость и сверхъестественная помощь. Правитель должен защищать свой народ от его врагов; он является самым важным военачальником. Это мнение имеет силу, даже если, как в некоторых африканских случаях, правитель остается дома, когда начинаются реальные боевые действия. Это делается с тем, чтобы предотвратить подвергание рискам войны его священной особы. В этом случае армию возглавляет заместитель (Claessen 1981, 1986). Помимо его военной деятельности правитель это тот, кто олицетворяет закон и порядок, а также таким образом он защищает – или пытается защитить – свой народ, в данном случае, от преступников, злоумышленников и эксплуатации.

Что касается щедрости, правитель идеологически является дарителем, щедрым властелином. Между правителем и его народом должна существовать взаимность. Обычно его щедрость основывается на определенной форме редистрибуции. Это означает, что центр сначала собирает товары, а затем распределяет их. Однако, поскольку большая часть товаров потребляется в центре, только ограниченная

часть их может быть перераспределена. Но считается, что любой дар от такой высокопоставленной личности, даже пустяковый, является драгоценным; его дары часто обладают скорее символической, а не реальной ценностью. В то же время, взаимные обязательства правителя должны приниматься всерьез. На Маркизских островах и острове Пасхи, где правитель не смог оправдать ожидания по обеспечению изобилия и благополучия, спустя некоторое время это явилось причиной своего рода революции, во время которой правитель был низложен (van Bakel 1989; Claessen and van Bakel 2006: 239, 248). Схожие события в период Древнего царства Египета (Morris 2006: 60), связываются с экологическими катастрофами, такими, как затянувшаяся засуха, которая явилась причиной голода и волнений и заката династии. Таким образом, сакральный монарх не мог больше выполнять свои обязательства перед своим народом и потерял свой трон. Рене Хагештейн (Hagesteijn 1987) рассказывает, как сакральные короли Ангкора, которые не могли больше финансировать свои обязательства перед буддистскими храмами, утратили свою легитимность и, следовательно, свое положение.

В обоих царских обязательствах, упоминаемых выше, защита и щедрость, можно обнаружить четкие ссылки на сверхъестественные аспекты. Правитель считается сакральной персоной, величественной персоной. Действительно, основной характеристикой суверена в ранних государствах является его сакральный статус (Claessen 1970, 1978, 1986). Это не означает, что он является богом на земле, как все еще считают некоторые. В подавляющем большинстве случаев сакральный царь считается сошедшим с Небес, что “демонстрируется” длинными и запутанными генеалогиями (Claessen 1970, 1978, 1986). Поэтому он является, главным образом, посредником между богами и людьми. Это означает, что среди других обязательств, он должен гарантировать плодovitость женщин скота и земли, и существует широкое разнообразие ритуалов, чтобы добиться этой цели. На Тати правитель, *ari'i rahi*, предлагает первые плоды богам. В восемнадцатом столетии он предложил с этой целью богу Оро даже человеческие жертвоприношения. Острова Тонга знавали праздник *inasi*, во время которого представители всех общин вручали первые плоды *tui tonga*, который представлял их по ритуалу его священным предкам. В Западно-Африканской Дагомее правитель заботится о ежегодных подношениях первых фруктов, а в Восточно-Африканской Буганде

kabaka регулярно «консультуруется» своими священными предками, как способствовать плодородию в его стране. Чтобы гарантировать хороший урожай, *sapa inca* по обряду каждый год пашет поле. Правители ранних государств майя регулярно предлагали свою собственную кровь богам и, ослабленные потерей крови, они формулировали таинственные предсказания относительно благополучия своих народов. Чтобы усилить эти подношения, супруга царя иногда участвовала во взятии крови своего мужа и добавляла свою кровь к его. Китайские императоры ежегодно молились и приносили животных в жертву в Храме Неба, чтобы обеспечить хороший урожай.

Когда правитель раннего государства переходил в одну из монотеистических религий – Христианство или Ислам – его сакральное положение создает проблему, поскольку он не может быть потомком (наследником) богов и, в то же время, придерживаться такой религии. Эта проблема возникла, например, когда в средневековой Франции династия Каролингов сменила династию Меровингов, которые обладали традиционной сакральной легитимностью. Каролинги пытались компенсировать потерю святости в вычурных церковных ритуалах, кульминация которых наступала при миропомазании и коронации, демонстрируя, что они имели поддержку от Церкви – и, следовательно, от Бога. Таким образом, в рамках христианства, Каролинги мобилизовали максимально возможную сверхъестественную поддержку для своих притязаний на легитимность (Claessen 1985).

Суммируя наши результаты, мы можем сейчас определить раннее государство, как *трехуровневую (национальный, региональный, локальный уровень) централизованную социально-политическую организацию для регулирования общественных отношений в сложном, стратифицированном обществе, разделенном, по крайней мере, на два основных слоя или социальных класса – правителей и подданных – отношения которых характеризуются политическим господством первых и обязательством платить налоги вторых, узаконенными общей идеологией, в которой взаимность является основным принципом (Claessen and Skalnik 1978: 640, слегка адаптировано).*

Следует отметить, что термин «общая идеология» в определении означает не то, что верхний и нижний слой разделяли одну и ту же идеологию, а только то, что существовало существенное перекрытие двух идеологий, чтобы сделать возможным взаимопонимание. Что касается «реципрокации», будет очевидно, что это соотношение

было асимметричным. Простонародье вносило средства товарами и услугами, а правитель оплачивал защитой, законом, порядком, плодородием и иногда подарками; обмен товарами во Благо.

3. Возникновение государства

При обсуждении возникновения государств мы будем, очевидно, говорить о появлении определенного типа социально-политической организации, которую можно назвать ранним государством, так как все более развитые формы государства были приемниками более ранних государств. Поэтому в этом разделе мы будем концентрироваться на развитии ранних государств – а так как ранние государства не были подкидышами без родителей, будет необходимо уделить некоторое внимание социально-политическим формациям, которые предшествовали им.

Ранние государства структурно отличаются от таких политических форм, как вождества или системы бигменов. Поскольку они отличаются по структуре от более ранних (или других) форм, мы можем рассматривать трансформацию от одной формы к другой как эволюционную. **Эволюция** определяется здесь, как *процесс структурного изменения* (Claessen 2000: 4). Обычное добавление “развитие в направлении к возрастающей сложности” было оставлено в стороне в этом определении, поскольку существовало много структурных изменений, не приводящих к большей сложности; например, общество остается на том же общем уровне сложности, но каждая из ее подгрупп развивает отличную политическую структуру, ситуация, описанная Жаном-Клодом Мюллером в его анализе четырех Западно-Африканских примеров (Muller 1985). Это наблюдение справедливо также для стран, где, в результате выборов, доминирующей становится еще одна партия. Будут происходить большие изменения в таком обществе, но его общая социальная и технологическая структура будет оставаться такой же. Это определение также позволяет включать под заголовком эволюции циклические процессы, такие, как те, что имели место в средневековой Франции, где несколько королевских династий следовали друг за другом, каждый раз создавая новый период расцвета после периода упадка. Упадок и распад существуют в эволюции так же часто, как подъем и расцвет (Claessen 2000: 63–72). Этот подход отражает оригинальное наблюдение Дарвина, что эволюция не имеет специального направления; не суще-

стует вопросов относительно какой-то завершенности (Darwin 1995 [1872]: 98; Claessen 2000: 13, 63ff.). Когда мы говорим о “структурном изменении”? Структурные изменения – это такие изменения, которые влияют – с течением времени – на все или большинство аспектов культуры (структуры или общества). Это объясняет, почему эволюционные изменения часто медленные, а временами практически незаметны. Только после прохождения более длительного периода времени можно установить, что, например, определенное общество больше не относится к уровню вождества, но достигло уровня раннего государства.

Это приводит нас к вопросу, как произошли такие эволюционные изменения? Как они инициировались? Каковы условия, при которых начинаются такие процессы? В этой связи я напоминаю некоторые выводы *Раннего государства*. Сравнительный анализ двадцати одного случая показал, «что развитие в государство во всех случаях инициировалось определенным действием или событием, которое происходило задолго до него и не было *направлено специально* на эту цель. Другая очевидная характеристика развития до статуса государства состоит в том, что оно всегда обнаруживает нечто похожее на эффект снежного кома: как только он приходит в движение, он растет все быстрее и быстрее. Это является следствием *взаимного усиления* во всех изучаемых процессах развития между явлениями и их эффектами. Таким образом, мы можем говорить о *положительной обратной связи*» (Claessen and Skalnik 1978: 624 – курсив в оригинале).

Само собой разумеется, что, когда взаимного усиления не происходит – случай *отрицательной обратной связи* – развитие к государственности не будет происходить.

В *Раннем Государстве* мы установили также (1978: 625), что в развитии ранних государств критическую роль играло ограниченное число факторов. В фактическом историческом процессе порядок, в котором эти факторы играли свою роль, изменялся, между тем не все факторы обязательно существовали всегда. Эти факторы включали:

- Рост населения и популяционное давление;
- Войну, угрозу войны или завоевания, набеги;
- Прогресс в производстве и стимулирование избытка;
- Идеологию и легитимацию;
- Влияние уже существующих государств.

К ним можно добавить в качестве условий:

- Наличие социальной стратификации;
- Наличие определенной территории.

Чтобы получить представление о способе, которым факторы могут влиять друг на друга, я опишу некоторые возможные развития, вызываемые фактором «рост населения». В нашем исследовании было выяснено, что для того, чтобы сделать государственную организацию возможной, требовалось минимум пять тысяч человек. Количество людей довольно динамичная цифра, и рост населения, когда люди живут вместе, делает необходимыми дополнительные административные меры. Более крупные группы людей требуют более сложных типов правительства, как было продемонстрировано Грегори Джонсом (Johnson 1982), который также указал на тот факт, что наличие больших объемов информации требует лидеров, которые могут с ними справиться (1978). Если такой, более развитый тип правительства и более компетентные типы лидеров не появляются, группа будет распадаться на ряд отдельных единиц, и каждая будет управляться лидерами более простого типа. Рост населения может привести к популяционному давлению, которое может стимулировать набеги для добычи пищи или для того, чтобы заставить платить дань некоторую группу населения, живущего за пределами территории, чтобы компенсировать дефицит продуктов внутри территории, как это было, например, с ацтеками. Это обычно включает войну или угрозу войны, которая, в свою очередь, стимулирует появление более сильных лидеров и организацию более высокого уровня и т.п. В качестве альтернативы, это может стимулировать производство, которое (как в случае средневековой Франции) может, в конечном итоге, приводить к изобилию, которое позволяет развитие сложного государственного аппарата, который, в свою очередь, будет стимулировать повышенное производство.

Одной из самых влиятельных теорий возникновения государства является теория ограничения Роберта Карнейро (Carneiro 1970). Растущее число людей приводит к борьбе (войне) за существование, а побежденные группы ставятся перед выбором принятия порабощения (и эксплуатации) или ухода в пустыню. Организация, которая развивается победителями, чтобы держать в повиновении побежденные группы, он называет государством. Хотя наблюдаются случаи, в которых теория Карнейро работает, этот подход не объясняет обра-

зование государства во всех случаях (подробное обсуждение теории Карнейро см в Claessen 2006: 219ff.; комментарии в работе Roscoe and Graber 1988).

Было сформулировано немало теорий, имеющих целью объяснение происхождения государства. Ссылка на взгляды Фридриха Энгельса была уже дана выше. Немецкий социолог Франц Оппенгеймер (Oppenheimer) предложил несколькими годами позже Энгельса, в 1909 году, теорию завоеваний, которая также утверждала, что государство было инструментом подавления, в этом случае пасторальные народы подчиняли земледельческие общества. Само собой разумеется, что эта теория не может рассматриваться, как общее объяснение происхождения государства. То же самое справедливо в отношении ирригационной теории К. Виттфогеля (Wittfogel 1957), которая связывает образование государства с развитием (крупных) ирригационных сооружений (см. Claessen 1973). Недавно Леонид Гринин представил детальный анализ происхождения более сложных социально-политических формаций (2009).

Только когда ряд регламентированных условий существует в одно и то же время и в одном и том же обществе и когда происходит определенный пусковой инцидент или инциденты, может иметь место эволюция раннего государства – при условии, что обнаруживается положительная обратная связь между этими условиями. Условия можно суммировать следующим образом:

- достаточное число людей, чтобы сформировать сложное, стратифицированное общество;
- контроль над конкретной территорией;
- система производства, обеспечивающая достаточный излишек продуктов, чтобы содержать необходимых специалистов и привилегированную группу;
- идеология, которая объясняет и обосновывает иерархическую правительственную организацию и социально-политическое неравенство;
- определенная причина или влияние, которое запускает развитие.

Остается ответить на один вопрос: почему раннее государство развилось только несколько тысяч лет назад? Уже Энгельс (Engels 1884) указал на относительно короткий период времени, в течение которого существовали государства. По необходимости, ответ на этот вопрос должен быть гипотетическим. По всей вероятности, решающую

роль сыграли фундаментальные климатические изменения, которые произошли около 10 000 лет назад. Климат на земле стал значительно теплее, повысилось количество осадков. В таких условиях могло иметь место нечто вроде Неолитической революции. В нескольких местах на земле постепенно развивалось сельское хозяйство, и это привело к отличному образу жизни. Люди стали оседлыми, группы увеличивались в размерах, были созданы многочисленные изобретения. Эти условия для жизни были абсолютно новыми. Перед этим климатическим изменением большие части земли были покрыты льдом. Небольшие группы людей жили охотой и собирательством и вели бродячий образ жизни, который мешал им держать много товаров, строить дома, жить до старости и т.д. Можно предположить, что при более благоприятных условиях в Голоцене в конце концов более крупные группы людей начинали жить в деревнях, в постоянных жилищах и практиковать сельское хозяйство. С этого момента могли развиваться более крупные политические структуры. Бигмены, вожди, царьки, раз и навсегда появившиеся на этой стадии, больше никогда не исчезали (Cook 2003; Diamond 1998; Fagan 1998).

4. На пути к развитому государству

В книге *Раннее государство* концепция зрелого государства еще не упоминалась. Мы ввели ее несколькими годами позже в работе *Динамика раннего государства* (Claessen and van de Velde 1987: 4, 5; Bargatzky 1987: 30–32). В работе *Раннее государство* (Claessen and Skalnik 1978) мы концентрировались только на ранних государствах и выделили в нем три модели, а именно *зачаточный*, *типичный* и *переходный* типы раннего государства. Очевидно, что самыми вероятными кандидатами на эволюцию в зрелые государства являются переходные государства. Из двадцати одного случая только шесть рассматривались нами, как переходные, а именно, ранний Китай (политии Инь и Чжоу), позднесредневековая Франция, Ацтеки, Джимма, Куба и империя Маурьев. Но нет ничего удивительного в том, что несколько ранних государств в нашей выборке могли рассматриваться как переходные. Комбинация всех необходимых факторов в одно и то же время и в положительной обратной связи действительно является – по словам Патриции Шифферд (Shifferd 1987) – наименее вероятным результатом эволюционного процесса. В более поздних публикациях показано, что несколько других ранних государств мог-

ли быть добавлены в список переходных государств, таких, как Западноафриканские Ашанти и Дагомея и Центральноафриканское государство Конго XVII в. (и, определенно, было много других).

Мы считаем государство *зрелым*, когда присутствовали следующие характеристики: правовой тип легитимации правителя, управленческий, бюрократический тип административной организации, назначенные, штатные чиновники (получающие жалованье), рыночная экономика, использование денег, возникновение антагонистических классов, регулярная система налогообложения, постоянные полицейские силы, существование кодексов законов и наказаний и официальные судьи (Claessen 2005: 152).

Недавно Леонид Гринин (Grinin 2008) предложил отличный подход к концепции развитого (зрелого) государства. По его мнению, эта категория была слишком широкой, так как она включала современные капиталистические государства в диапазоне от Великобритании до России, а также ряд докапиталистических государств, таких как Франция Капетингов, Римская империя, Византия и Англия Тюдоров. Чтобы указать разницу, он предложил в дальнейшем называть современные капиталистические государства **зрелыми государствами (mature states)**, а другую группу, докапиталистические государства, **развитыми государствами (developed states)**. Это разделение представляет собой большое усовершенствование нашей классификации, и я следую этому разделению в оставшейся части анализа.

Из переходных случаев, упомянутых выше, только немногие достигли уровня развитого государства. Государства ацтеков были завоеваны испанцами, ведомыми Фернандом Кортесом в 1521 году. Государство Ашанти дважды потерпело поражение от англичан (в 1874 и 1896 гг.) и, в конечном итоге, было завоевано и превратилось в колонию в 1900 году. Дагомея потерпела поражение от Франции во время ее колониальной экспансии в 1894 г. и была покорена в 1898 году. Джимма и Куба были колонизированы в девятнадцатом столетии европейскими державами (Италия, Бельгия). Империя Маурьев пришла в упадок и, в конечном счете, исчезла из-за внутренних слабостей, и та же судьба выпала на долю Конго. Мы никогда не узнаем, до какой степени могли развиваться эти государства на пути к развитым государствам; в частности, Ацтеки, Ашанти и Дагомея прошли уже довольно далеко по этому пути.

Таким образом, из нашей выборки только Китай и средневековая Франция достигли уровня развитого государства. Конечно, они были не единственными политиями, которые достигли этого уровня. Можно вспомнить Англию XV в., герцогство Бургундию, Японию *сёгуннов*, империю Аббасидов, Римскую империю и многие другие. Однако они не были включены в наш проект. Я приведу здесь в качестве примера трудного пути к развитому государству очень укороченный обзор переменчивой истории средневековой Франции.

Государство Франция начало свой путь в пятнадцатом столетии н.э., после распада Римской Империи, когда некий Хлодвиг был избран лидером группы вторгшихся германских племен, известных как франки. Хлодвиг безжалостно завоевал большие части нынешней Франции и создал из этих регионов начальное раннее государство. Его преемники, известные как Меровинги, правили до середины VIII века внутренне раздробленным королевством, каждая часть которого управлялась отдельной ветвью королевской семьи. Это был беспокойный период, в течение которого члены одной ветви неоднократно пытались убить членов других ветвей. В ходе VIII столетия династия Меровингов прекратила свое существование и была заменена Каролингами, которые должны были восстановить государство из руин, оставленных их предшественниками. Правители из этой династии действовали намного лучше и значительно улучшили политическую организацию. Карл Великий, самый известный из Каролингов, серьезно расширил свое царство и добавил к нему большие части Германии. Утверждают, что он правил территорией от реки Эбро (в Испании) до реки Эльба (в Германии). Административный аппарат был увеличен, стали обычными письменные законы и приказы (*capitularia*), а пары епископ и граф (*missi dominici*) посылались царем проверять, что происходило в его государстве. Его разорительная политика могла оплачиваться только до тех пор, пока регулярно завоевывались новые земли, поскольку Франция очень бедной тогда. Когда, при его наследнике, Людовике Благочестивом, завоевания прекратились, возникли проблемы. Сыновья Людовика вели жестокие войны за наследство, и, в конечном счете, царство было разделено на три части. Примерно через столетие династия Каролингов вымерла, и в западной части Франции на первый план выдвинулась новая династия Капетингов. Они получили в наследство практически обанкротившуюся политику. Их политическая база состояла,

ным образом, из столицы, Парижа, и его окрестностей и титула “(король”. Упорно и умело они начали восстановление того, что некогда было крупным государством. Чтобы сделать это, им потребовалось время с 987 по 1200 гг. Однако они добились убедительного успеха. При Филипе II, который правил с 1180 до 1223 гг., это государство достигло уровня переходного государства и вскоре стало развитым государством. Все требования были выполнены: существовали большой аппарат назначаемых и получающих жалование чиновников, процветающая рыночная экономика, система налогообложения, которая приносила большой доход, кодифицированная судебная система, преобладали профессиональные судьи, а монархия основывалась на новых легализованных идеях (феодализм). При его наследниках Франция продолжала оставаться развитым государством, даже когда военная фортуна временами была довольна противоречивой (Claessen 1985), и, в конечном итоге, превратилась в зрелое государство.

Этот обзор показывает, что путь к развитому государству не всегда был прямым. Существовали как поражения, так и периоды расцвета. В конце концов, однако, уровень организации был настолько прочным, что ни поражения, ни злоключения не могли разрушить государство.

5. И многие другие?

До сих пор все внимание в этой статье уделялось ранним государствам. Существует один аспект эволюции политических систем, который должен быть выделен в большей степени, а именно, тот факт, что из бесчисленных вожеств лишь немногие стали ранними государствами и что из многих ранних государств лишь несколько развились до зрелого государства. Тогда возникает вопрос: что произошло с политиями, которые не стали ранними государствами? Ответ очевиден: до тех пор, пока они не были побеждены и подчинены, они продолжали оставаться вожествами или политиями, возглавляемые бигменами или предводителями, или чем-то еще. Подавляющее большинство индейских племен в Северной Америке оставались племенами, так же, как многие племена в Южной Америке, Африке, Южной и Юго-восточной Азии, Индонезии, Меланезии, Полинезии и т.п. Естественно, до зловещего момента, когда они были подчинены или колонизированы.

Особая проблема в исследовании более сложных социально-политических организаций создается греческими *полисами*, городами-государствами. Можно считать *полис* ранним государством или нет? Ответ на этот вопрос непростой. В первую очередь, сильно изменяются различия в размерах и численности людей. Но немногие из греческих политий считали своих обитателей тысячами; другие были намного меньше. Во-вторых, их политическая организация достаточно сильно отличалась от организации ранних государств, хотя бы просто из-за их демократической структуры. Не было – за исключением Спарты – царей, хотя, возможно, так называемые тираны могли квалифицироваться, как таковые. Однако эти правители обычно правили недолго. Эдвард ван дер Флит уделил много внимания этим проблемам, но так и не внес ясности в них (van der Vliet 1987, 2005, 2008a, 2008b). Спустя несколько лет возник серьезный интерес к политиям этого типа. Было показано, что во многих случаях их социально-политическая организация была так же сложна, как в некоторых из ранних государств. Единственным отсутствующим свойством была иерархия; поскольку не была обнаружена идеология, объясняющая и обосновывающая принцип стратифицирования. Для таких политий Кэрл Крэмли был введен термин **гетерархия**, базирующийся на организации кельтских вождей (Arnold and Gibson 1995; ср. Bondarenko 2006). Иногда предлагались более поздние концепции, такие, как **аналоги** или **альтернативы ранних государств**. Особенно благосклонное внимание эти концепции нашли среди российских антропологов и историков – как следует, например, из книги *Раннее государство, его альтернативы и аналоги* под редакцией Леонида Гринина и других (2004), в которой ряд статей на эти темы собран вместе (см. также Kradin et al. 2000; Grinin 2009; Grinin and Korotayev 2009). По их мнению, эволюция на пути к государству является лишь одним из многих возможных процессов; было создано много политий, политическая организация которых так же сложна, как и политическая организация ранних государств, но это не государства – и они правы. Между небом и землей существует много больше, чем грезится в нашей философии. Однако здесь я должен закончить эту статью. Анализ различных эволюционных траекторий мог бы увести слишком далеко от начальной темы.

ЛИТЕРАТУРА

- Arnold, B., and Gibson, D. B. 1995. *Celtic Chieftdom, Celtic State: The Evolution of Complex Social Systems in Prehistoric Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bargatzky, Th. 1987. Upward Evolution, Suprasystem Dominance, and the Mature State. In Claessen and van de Velde (eds.) 1987: 24–38.
- Barth, F. 1985. *The Last Wali of Swat (Pakistan)*. Oslo: Norwegian University Press.
- Beetham, D. 1991. *The Legitimation of Power*. London: Macmillan.
- Bondarenko, D. M. 2005. A Homoarchic Alternative to the Homoarchic State: Benin Kingdom of the 13th – 19th Centuries. *Social Evolution and History* 4(2): 18–89.
- Bondarenko, D. M. 2006. *Homoarchy. A Principle of Culture's Organization*. Moscow: KomKniga.
- Bondarenko, D. M., and Korotayev, A. V. 2003. 'Early State' in Cross-Cultural Perspective: A Statistical Re-analysis of Henri J. M. Claessen's Database. *Cross-Cultural Research* 37: 105–132.
- Burley, D. V. 1998. Tongan Archaeology and the Tongan Past, 2850–150 B.P. *Journal of World Prehistory* 12: 337–392.
- Carneiro, R. L. 1970. A Theory of the Origin of the State. *Science* 169: 733–738.
- Claessen, H. J. M. 1970. *Van Vorsten en Volken (Of Princes and Peoples)*. Ph. D. The-sis. University of Amsterdam.
- Claessen, H. J. M. 1973. Despotism and Irrigation. *Bijdragen tot de Taal-, Land – en Volkenkunde* 129: 70–85.
- Claessen, H. J. M. 1978. The Early State: A Structural Approach. In Claessen and Skal-nik (eds.) 1978: 533–596.
- Claessen, H. J. M. 1981. Specific Features of the African Early State. In Claessen, H. J. M., and Skalnik, P. (eds.), *The Study of the State* (pp. 59–86). The Hague: Mouton.
- Claessen, H. J. M. 1985. From the Franks to France. In Claessen, van de Velde and Smith (eds.) 1985: 196–218.
- Claessen, H. J. M. 1986. Kingship in the Early State. *Bijdragen tot de Taal-, Land – en Volkenkunde* 142: 113–127.
- Claessen, H. J. M. 1987. Kings, Chiefs and Officials. The Political Organizations of Da-homey and Buganda Compared. *Journal of Legal Pluralism and Unoffi-cial Law* 25–26: 203–241.

- Claessen, H. J. M. 1988a. Tongan Traditions. On Model Building and Historical Evidence. *Bijdragen tot de Taal-, Land – en Volkenkunde* 144: 433–444.
- Claessen, H. J. M. 1988b. Leiders en lagen op Tahiti. In Claessen, H. J. M. (ed.), *Tussen vorst en Volk* (pp. 79–94). Leiden: Instituut voor Culturele Antropologie. ICA Publ. 81.
- Claessen, H. J. M. 1996. Ideology and the Formation of Early States: Data from Polynesia. In Claessen and Oosten (eds.) 1996: 339–358.
- Claessen, H. J. M. 2000. *Structural Change. Evolution and Evolutionism in Cultural Anthropology*. Leiden: CNWS Publications.
- Claessen, H. J. M. 2002. Was the State Inevitable? *Social Evolution and History* 1(1): 101–117.
- Claessen, H. J. M. 2003. Aspects of Law and Order in Early State Societies. In Feldbrugge, F. J. M. (ed.), *The Law's Beginnings* (pp. 161–179). Leiden: Brill/Nijhoff.
- Claessen, H. J. M. 2005. Early State Intricacies. *Social Evolution and History* 4(2): 151–158.
- Claessen, H. J. M. 2006. War and State Formation. What Is the Connection? In Otto, T., Thrane, H., and Vandkilde, H. (eds.), *Warfare and Society. Archaeological and Social Anthropological Perspectives* (pp. 217–226). Aarhus: Aarhus University Press.
- Claessen, H. J. M., and Oosten, J. G. (eds.) 1996. *Ideology and the Formation of Early States*. Leiden: Brill.
- Claessen, H. J. M., and Skalnik, P. (eds.) 1978. *The Early State*. The Hague: Mouton.
- Claessen, H. J. M., and van Bakel, M. A. 2006. Theme and Variations. The Development of Differences in Polynesian Socio-Political Organizations. *Bijdragen tot de Taal-, Land – en Volkenkunde* 162: 218–268.
- Claessen, H. J. M., and van de Velde, P. (eds.) 1987. *Early State Dynamics*. Leiden: Brill.
- Claessen, H. J. M., van de Velde, P., and Smith, M. E. (eds.) 1985. *Development and Decline*. South Hadley: Bergin and Garvey.
- Clarke, D. L. 1968. *Analytical Archaeology*. London: Methuen.
- Cohen, R. 1981. Evolution, Fission, and the Early State. In Claessen, H. J. M., and Skalnik, P. (eds.), *The Study of the State* (pp. 87–116). The Hague: Mouton.

- Cohen, R. 1991. Paradise Regained. Myth and Reality in the Political Economy of the Early State. In Claessen, H. J. M., and van de Velde, P. (eds.), *Early State Economics* (pp. 109–130). New Brunswick, N.J.: Transaction.
- Conrad, G. W., and Demarest, A. A. 1984. *Religion and Empire; The Dynamics of Aztec and Inca Expansionism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook, M. 2003. *A Brief History of the Human Race*. New York: Norton.
- Darwin, Ch. 1995 [1872]. *The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*. Facsimile edition of the sixth edition. London: Studio Editions.
- Dawson, C. 1966. *Mission to Asia. Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries*. New York: Harper Torchbooks.
- de Hartog, L. 1985. *Europese reizigers naar de Grote Khan. De reizen van de franciscaner monniken en de familie Polo naar de opvolgers van Djenghis Khan, 1245–1368*. Baarn: Hollandia.
- Diamond, J. 1998. *Guns, Germs and Steel; A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years*. London: Vintage.
- Drennan, R. D. 1984. Long-Distance Transport Costs in Pre-Hispanic Mesoamerica. *American Anthropologist* 86: 105–112.
- Engels, F. 1960 [1877/78]. *Herrn Eugen Duhrings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Duhring)*. Berlin: Dietz.
- Engels, F. 1964 [1884]. *Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats*. Berlin: Dietz.
- Fagan, B. M. 1998. *People of the Earth; An Introduction to World Prehistory*. 9th ed. New York: Longman.
- Fried, M. H. 1967. *The Evolution of Political Society*. New York: Random House.
- Friedman, J. 1979. *System, Structure and Contradictions. The Evolution of the 'Asiatic' Social Formations*. Copenhagen: National Museum of Denmark.
- Godelier, M. 1978. Infrastructure, Societies and History. *Current Anthropology* 19: 763–771.
- Grinin, L. E. 2004. The Early State and its Analogues: A Comparative Analysis. In Grinin, Carneiro, Bondarenko, Kradin and Korotayev (eds.) 2004: 88–136.

- Grinin, L. E. 2008. Early State, Developed State, Mature State: The Statehood Evolutionary Sequence. In Claessen, H. J. M., Hagesteijn, R., and van de Velde, P. (guest eds.), *Social Evolution and History* 7(1): 67–81.
- Grinin, L. E. 2009. The Pathways of Politogenesis and Models of the Early State Formation. In Skalnik, P. (guest ed.), *Social Evolution and History* 8(1): 92–132.
- Grinin, L., Carneiro, R. L., Bondarenko, D. M., Kradin, N. N., and Korotayev, A. V. (eds.) 2004. *The Early State, Its Alternatives and Analogues*. Volgograd: Uchitel Publishing House.
- Grinin, L. E., and Korotayev, A. V. 2009. The Epoch of the Initial Politogenesis. In Skalnik, P. (guest ed.), *Social Evolution and History* 8(1): 52–91.
- Haas, J. 1995. The Roads to Statehood. In Kradin, N. N., and Lynsha, V. A. (eds.), *Alternative Pathways to Early State* (pp. 16–19). Vladivostok: Dal'nauka.
- Hagesteijn, R. R. 1987. The Angkor State: Rise, Fall and in between. In Claessen and van de Velde (eds.) 1987: 154–169.
- Hagesteijn, R. R. 1989. *Circles of Kings; Political Dynamics in Early Continental Southeast Asia*. Dordrecht: Foris [Verhandelingen van het KITLV 138].
- Hagesteijn, R. R. 1996. Lack of Limits: Cultural Aspects of State Formation in Early Continental Southeast Asia. In Claessen and Oosten (eds.) 1996: 187–204.
- Hicks, F. 1986. Prehispanic Background of Colonial Political and Economic Organization in Central Mexico. In Spores, R. (ed.), *Supplement to the Handbook of Middle American Indians*. Vol. 4 (pp. 35–54). Austin: University of Texas Press.
- Johnson, G. A. 1978. Information Sources and the Development of Decision Making Organizations. In Redman, C. (ed.), *Social Archaeology: Beyond Subsistence and Dating* (pp. 87–112). New York: Academic Press.
- Johnson, G. A. 1982. Organizational Structure and Scalar Stress. In Renfrew, C. et al. (eds.), *Theory and Explanation in Archaeology* (pp. 389–421). New York: Academic Press.
- Kennedy, P. 1989. *The Rise and Fall of the Great Powers*. New York: Random House [Vintage Books].

- Kirch, P. V., and Green, R. C. 2001. *Hawaiki. Ancestral Polynesia; An Essay in Historical Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kloos, P. 1995. Consequences of Globalization and Localization. In van Ba-kel, M. A., and Oosten, J. G. (eds.), *The Dynamics of the Early State Paradigm* (pp. 117–131). Utrecht: ISOR.
- Kopytoff, I. 1999. Permutations in Patrimonialism and Populism: The Aghem Chiefdoms of Western Cameroon. In Keech-McIntosh, S. (ed.), *Beyond Chiefdoms: Pathways to Complexity in Africa* (pp. 88–96). Cambridge: Cambridge University Press.
- Kottak, C. Ph. 1972. Ecological Variables in the Origin and Evolution of the African States. *Comparative Studies in Society and History* 14: 351–380.
1980. *The Past in the Present. History, Ecology and Cultural Variation in Highland Madagascar*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kradin, N. N. 2009. State Origins in Anthropological Thought. In Skalnik, P. (guest ed.). *Social Evolution and History* 8(1): 25–51.
- Kradin, N. N., Korotayev, A. V., Bondarenko, D. M., de Munck, V., and Wason, P. K. (eds.) 2000. *Alternatives of Social Evolution*. Vladivostok: Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences.
- Kurtz, D. V. 1984. Strategies of Legitimation and the Aztec State. *Ethnology* 22: 301–314.
- Kurtz, D. V. 2004. The Evolution of Politics and the Transition from Political Status to Political Office. *Social Evolution and History* 3(2): 150–175.
2006. Political Power and Government: Negating the Anthropomorphized State. *Social Evolution and History* 5(2): 91–111.
- Leach, E. 1954. *Political Systems of Highland Burma*. London: Athlone.
- Malinowski, B. 1926. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Meijer, F. 2005. *Macht zonder Grenzen; Rome en zijn Imperium*. Amsterdam: Athenaeum / Polak en Van Gennep.
- Miller, J. 1976. *Kings and Kinsmen. Early Mbundu States in Angola*. Oxford: Clarendon.
- Morris, E. 2006. ‘Lo Nobles Lament, the Poor Rejoice’: State Formation in the Wake of Social Flux. In Schwartz, G. M., and Nichols, J. J. (eds.), *After Collapse; The Regeneration of Complex Societies* (pp. 58–71). Tucson: University of Arizona Press.
- Muller, J.-C. 1980. *Le roi, bouc émissaire; Pouvoir et ritual chez les Rukuba du Nigeria Central*. Quebec: Fleury.

- Muller, J.-C. 1981. Divine Kingship in Chiefdoms and States: A Single Ideological Model. In Claessen, H. J. M., and Skalnik, P. (eds.), *The Study of the State* (pp. 239–250). The Hague: Mouton.
- Muller, J.-C. 1985. Political Systems as Transformations. In Claessen, van de Velde and Smith (eds.) 1985: 62–81.
- Muller, J.-C. 1999. Du don et du rite comme *fondeurs* des chefferies. *Cahiers d'études africaines* 39(2): 387–408.
- Oppenheimer, F. 1909. *Der Staat*. Frankfurt am Main: Mohr.
- Patterson, Th. C. 1991. *The Inca Empire. The Formation and Disintegration of a Pre-capitalistic State*. New York: Berg.
- Pels, P. 2004. *Het uitzonderen van Afrika. Inaugural Lecture*. Leiden: Leiden University.
- Polo, M. 1958. *The Travels of Marco Polo*. Introduction by John Masefield. London: Dent [Everyman's Library 306].
- Radcliffe-Brown, A. R. 1940. Preface. In Fortes, M., and Evans-Pritchard, E. E. (eds.), *Afri-can Political Systems* (pp. ix–xxiii). London: Oxford University Press.
- Ray, B. 1991. *Myth, Ritual and Kingship in Buganda*. New York: Oxford University Press.
- Roebroeks, W. 2000. *Food for Thought. Inaugural Lecture*. Leiden: Leiden University.
- Roebroeks, W. 2004. Voedsel en de menselijke niche: *la Grande Bouffe*. Honorary Address. Leiden: Leiden University.
- Roscoe, P., and Graber, R. B. (eds.) 1988. Circumscription and the Evolution of Society. Special issue of *American Behavioral Scientist* 31(4): 405–415.
- Shifferd, P. A. 1987. Aztecs and Africans: Political Processes in Twenty-Two Early States. In Claessen and van de Velde (eds.) 1987: 39–53.
- Simonse, S. 1992. *Kings of Disaster. Dualism, Centralism and the Scapegoat King in Southeastern Sudan*. Leiden: Brill.
- Slamet-Velsink, I. 1995. *Emerging Hierarchies. Processes of Stratification and Early State Formation in the Indonesian Archipelago*. Leiden: KITLV Press.
- Tainter, J. A. 1988. *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Trigger, B. G. 1985. Generalized Coercion and Inequality: The Basis of State Power in the Early Civilizations. In Claessen, van de Velde, and Smith (eds.) 1985: 46–61.

- Tymowski, M. 1987. The Early State and after in Pre-Colonial West Sudan. In Claessen and van de Velde (eds.) 1987: 54–69.
- Tymowski, M. 2004. Treasury Systems, Types of Territory Control, Reciprocity and Exploitation, Limits in an African Pre-Colonial State. The Case of Songhay in the Late 15th – 16th Century. *Hemispheres* 19: 165–180.
- Tymowski, M. 2005. Le territoire et les frontieres du Songhai a la fin du 15e et au 16e siecle. In *Des frontieres en Afrique du 12e au 20e siecle* (pp. 213–237). Paris: UNESCO.
- van Bakel, M. A. 1989. *Samen leven in gebondenheid en vrijheid; Evolutie en ontwikkeling in Polynesië*. Ph. D. Thesis. Leiden.
- van Binsbergen, W. 1979. *Religious Change in Zambia. Exploratory Studies*. Ph. D. Thesis. Amsterdam.
- van der Vliet, E. 1987. Tyranny and Democracy. The Evolution of Politics in Ancient Greece. In Claessen and van de Velde (eds.) 1987: 39–53.
- van der Vliet, E. 2005. Polis. The Problem of Statehood. *Social Evolution and History* 4(2): 120–150.
- van der Vliet, E. 2008a. The Early State, the Polis and State Formation. In Claessen, H. J. M., Hagesteijn, R., and van de Velde, P. (guest eds.), *Social Evolution and History* 7(1): 197–221.
- van der Vliet, E. 2008b. Sparta: Vroege staat of burgerstaat? *Lampas. Tijdschrift voor classici* 41: 98–114.
- Vansina, J. 1991. *Sur les sentiers du passe en foret; Les cheminements de la tradition politique ancienne de l'Afrique equatoriale*. Louvain-la-Neuve: Universite Catholique de Louvain.
- Weber, M. 1964 [1922]. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Koln: Kippenheuer und Witsch.
- Wittfogel, K. A. 1957. *Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power*. New Haven: Yale University Press.
- Zuiderwijk, A. 1998. *Farming Gently, Farming Fast*. Leiden: Centre of Environmental Science.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Слову антропология чудовищно не повезло в научной литературе. Если набрать его в поисковике на elibrary.ru то получится порядка двух сотен различных словосочетаний от вполне академических – экономическая, юридическая или гендерная антропология до не очень поддающихся здравому смыслу синтаксических конструкций вроде гуманитарной, постчеловеческой, киберпространственной или стоматологической антропологии. В таких условиях непосвященному человеку трудно разобраться, где находится правильный выбор. За последние двадцать лет появилось немало попыток самостоятельного «открытия» социальной и политической антропологии как совершенно новой отрасли знания. Авторы подобных сочинений стучатся в открытую дверь. Между тем, антропология как наука сложилась еще в XIX в., первая кафедра социальной антропологии была создана при Ливерпульском университете еще в 1908 г.

Отпочкование политической антропологии от основного ствола социальной (культурной) антропологии произошло еще до Второй Мировой войны, а в настоящее время она представляет важную дисциплину, которая занимается изучением власти и институтов политического контроля традиционных и посттрадиционных обществ народов мира историческими и этнографическими методами. В нашей стране эта дисциплина разрабатывалась в основном в рамках отечественной этнографии (этнологии), но после того, как она стала преподаваться студентам политологам она вышла за рамки изучения первобытных культур и развивающихся стран.

Антропологический взгляд на политику может показаться несколько экзотичным для исследователей современных обществ. Как пишет один из скептиков: “Политическая антропология сегодня не имеет больших перспектив, поскольку в ней слишком много антропологии и слишком мало политики” (Доган 1999: 132). Впрочем, если было иначе, тогда бы антропология перестала существовать как самостоятельная наука. Интересы политантропологов сосредоточены в основном вокруг двух основных направлений: во-первых, это ис-

следование институтов власти в первобытности и в процессе возникновения государственности; во-вторых, это тематика трансформации традиционных политических институтов в процессе политической модернизации и транзитных процессов современности. В этой статье дается представление о той проблематике, которая разрабатывается современными исследователями в связи с актуальными проблемами нашего времени.

Поскольку политантропологи занимались в основном изучением неевропейских цивилизаций и культур, традиционно сложилось определять предмет изучения данной дисциплины как совокупность институтов контроля и власти в доиндустриальных обществах, структура данных институтов и их сравнительная типология, анализ причин и факторов преобразования одних форм в другие, проблема адаптации, инкорпорации и трансформации традиционных механизмов контроля в современных политических институтах.

В настоящее время политическая антропология это весьма популярная часть современной антропологической науки, имеющая развитую историографическую традицию, сложившиеся академические интересы, научные школы (Balandier 1967; Cohen 1969; Claessen 1974; Abélès 1990; Vincent 1990; Lewellen 1992; Gledhill 1994; Абелес 1998; Ривьер 1999; Rivière 2000 etc.). В западной политантропологии существуют три наиболее влиятельные направления: англо-американский *функционализм*, французский *структурализм* и американский *неоэволюционизм*. Российская политическая антропология развивалась под определенным влиянием западных научных направлений. Однако у нее есть свои достижения и перспективы для развития (Куббель 1979; 1988; Бочаров 1992; 1998; 2001; 2007; Крадин 1997; 2011; Тишков 2001; 2001a; 2003 и др.).

Основателями политической антропологии считаются представители британского функционализма. В 1940 г. в Великобритании были опубликованы три важные книги, в которых систематизировался опыт изучения политических систем и институтов власти архаических обществ Африки. Это знаменитый сборник «Африканские политические системы» под редакцией М. Фортеса и Э. Эванса-Причарда (Fortes, Evans-Pritchard 1940), а также две книги самого Эванса-Причарда – «Политическая организация ануаков Англо-Египетского Судана» и «Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов» (русский

перевод 1985 г.). Именно с этого времени принято теперь отсчитывать официальное «рождение» политической антропологии.

В последующие десятилетия британскими антропологами (а также исследователями других стран, находившимися под влиянием данной школы) было выполнено большое количество исследований, посвященных изучению политики, власти, идеологии в колониальных и постколониальных обществах Африки, Азии, Океании, Латинской Америки (Э. Геллнер, М. Глакмэн, Л. Мэйр, Э. Лич, А. Саутхолл, М. Смит, Л. Фоллерс и др.).

Определенное влияние британский структурный функционализм оказал на американских антропологов и политологов, которые, работая на стыке между науками, занимаются изучением политических процессов и механизмов власти в посттрадиционных и индустриальных обществах (Д. Истон, А. Коэн, М. Шварц, В. Тернер, А. Тьюден и др.). Эта группа исследователей сделала важный шаг от изучения структур к исследованию процессов. Для этих целей разрабатывается теория «политического поля» – среды, в которой разворачиваются динамичные политические процессы. Исследователи данного направления объединены в США в рамках ассоциации политической и юридической антропологии. Они имеют свой официальный журнал – PoLAR: Political and Legal Anthropology Review.

Французская политическая антропология развивалась под большим влиянием структурализма, восходящего к сочинениям К. Леви-Стросса. Наиболее важным вкладом французской структурной марксистской школы (М. Годелье, П. Бонт, Ж.-П. Дигар, К. Мейесу, Ш. Парэн, Ж. Сюре-Каналь, Ж. Шено и др.) следует считать возрождение в 1950–1960-х гг. дискуссии об азиатском способе производства, разработку марксистской теории способов производства (семейный, линиджный, номадный, азиатский, африканский и пр.), изучение отношений неравенства и формирования политических институтов в Африке.

Из наиболее известных работ по политической антропологии во Франции следует выделить книги М.Абелеса о политических церемониалах и институтах власти в современном западном обществе (Abélès, Jeudy 1997; Abélès 2001; 2006), работы антропологов африканистов, специализирующихся в области изучения политической культуры колониальных и постколониальных обществ (Ж.-Ф.Байяр, Ж.Макэ, Ж.Ломбар, К.Ривьер и др.).

Особое место занимают труды антрополога и социолога Ж. Баландье и среди них книга «*Политическая антропология*» (Balandier 1967). Это первый в политантропологии труд – специально посвященный данной дисциплине. В нем подробно рассматриваются предмет и задачи политической антропологии, дается историографический очерк, рассматриваются различные стороны организации первобытных и архаических обществ. Много внимания уделено сегментарной организации и системам родства, половозрастной структуре и религии, различным теориям происхождения государства. Важное место в этой книге уделено проблеме модернизации традиционных обществ. В 2001 г. эта работа была переведена на русский язык.

Ключевым вопросом для политической антропологии второй половины XX века было выяснение того, как и вследствие каких факторов одни формы политической организации преобразовывались в другие. Так, функционалисты не пошли дальше очевидной классификации обществ на акефальные (безгосударственные) и «государственные» (т.е. иерархические) (Fortes, Evans-Pritchard 1940: 5–7). Л. Мэйр в книге «Первобытное правительство» выделила три уровня управления: отсутствие власти, но с институтом посредников между кланами; наличие авторитетных лидеров вроде вождя в леопардовой шкуре у нуэров; система возрастных классов (Mair 1977). Ж. Баландье писал, что доколониальная Африка демонстрирует значительно разнообразие типов архаической власти. В самом низу бродячие группы охотников-собирателей. В «родовых» обществах, статус и другие отношения опосредуются системой родственных связей. В наиболее развитых из них появляются возрастные группы и классы, домашнее рабство. Рангом выше «вождества» (фр. chefferie). На верху эволюционной пирамиды общества с государственным устройством. Но и они существенно различаются по масштабам сложности, по различным традициям верховной власти – «сакральное» царство у шиллуков, теократическое государство в исламизированных странах (у тукулеров и фульбе), «африканский деспотизм» с бюрократией в Восточной Африке и др. (Balandier 1967).

Однако наиболее существенные результаты в классификации политических форм были достигнуты в рамках американского неоэволюционизма. Неоэволюционизм возник в середине 1950-х гг. К этому времени антропология осознала необходимость выйти за пределы локальных эмпирических исследований и приступить к синтетическим

обобщениям накопленного материала. В отличие от классического эволюционизма XIX века неэволюционизм представлял гораздо более мощную и в то же самое время более гибкую и более динамичную теоретическую парадигму. В работах неэволюционистов (Р. Адамс, Т. Эрл, Р. Карнейро, Р. Коэн, Р. Нэррол, М. Салинз, Э. Сервис, М. Фрид, М. Харрис и др.) большое внимание уделено типологии политического лидерства, престижной экономике, эволюции вождества, различным теориям происхождения государства. Американский неэволюционизм оказал влияние на развитие американской социологии (Т. Парсонс С. Эйзенштадт; Г. и Ж. Ленски), стимулировал развитие данного направления в Европе (Х. Классен), оказал определенное влияние на неомарксистскую культурную антропологию на Западе (П. Андерсон, М. Годелье и др.), а также на ряд советских и современных российских специалистов в области политогенеза.

Наиболее популярная схема была создана американским антропологом Э. Сервисом. Первой формой объединения людей, по его мнению, были *локальные группы* охотников и собирателей. Они имели эгалитарную общественную структуру, аморфное руководство наиболее авторитетных лиц. С переходом к производящему хозяйству (земледелию и животноводству) возникают *общины* и *племена*, появляются институт межобщинного лидерства, возможно, ранние формы системы возрастных классов (дети, подростки, юноши, мужчины, старики). Следующая стадия – *вождество* (англ. *chiefdom*). В вождестве возникает социальная стратификация, отстранение масс от процесса принятия решений. Позиции правителей вождеств основываются на контроле ресурсов и перераспределении прибавочного продукта. С вызреванием *государства* центральная власть получает монополию на узаконенное применение силы. На этой стадии появляются письменность, цивилизация, города (Service 1962/1971; 1975).

Эта схема впоследствии неоднократно уточнялась и дополнялась (см., например: Johnson, Earle 1987). Из нее, в частности, после нескольких дискуссий было исключено племя как обязательный этап эволюции. В некоторых работах исследователи предпочитают разделять уже сформировавшееся «индустриальное» государство (государство-нацию) и государство доиндустриальной эпохи. Часто для обозначения последних обществ вводят термины «архаическое» го-

сударство, «раннее» государство и т.д. Разработка теории *раннего государства* велась под руководством голландского политантрополога Х.Дж.М. Классена. В состав участников проекта входили ученые из различных стран Европы и Америки, и в том числе из бывшего Советского Союза (Claessen, Skalnik 1978; 1981; Claessen, van de Velde 1987; 1991; Claessen, Oosten 1996 и др.).

Между М. Фридом и Э. Сервисом развернулась дискуссия о сущности государства (Fried 1967; Service 1975). Первый полагал, что государство появляется как результат урегулирования *конфликтов* в стратифицированном обществе. Второй отстаивал точку зрения, что становление государственности явилось следствием необходимости *интеграции* – потребностей реорганизации организации управления обществом вследствие его усложнения. Обе точки зрения имеют своих приверженцев и в настоящее время.

Вместе в тем и конфликт и интеграция могут быть прослежены во всех основных моделях политогенеза. С этой точки зрения более актуальной стала проблема – какие причины вели к происхождению государственности. Особенный резонанс, в этой связи, вызвала «ограничительная» (*circumscription*) теория (другое ее название – теория “стесненности”) Р. Карнейро. Согласно Карнейро рост численность населения приводил к увеличению конкуренции за ресурсы, а затем к интенсивным военным столкновениям, в результате которых более сильные группы создавали стратификацию и государство (Carneiro 1970). Более поздние сравнительно-исторические исследования показали, что не существует единой обязательной причины возникновения государства. На процессы политогенеза оказывали влияние самые разнообразные внутренние и внешние факторы: совершенствование технологии, рост народонаселения, сокращение ресурсов, усложнение общества, война, внешнее влияние, торговля на большие расстояния, идеология и т.д. Роль этих переменных также была различной для первичных (*pristine*) государств (т.е. возникших независимо) и для вторичных (*secondary*), которые сформировались под влиянием уже сложившихся архаических цивилизаций.

С начала 1990-х годов и особенно в новом столетии однолинейные теории происхождения государства стали подвергаться критике (Yoffee 2005; Pauketat 2007). Это привело к распространению билинейных и многолинейных теорий. Исследователи выделили две стратегии, которые могут быть выделены в разных типах общества.

Первая (*иерархическая* или *сетевая*) основана на вертикали власти и централизации. Для нее характерно концентрация богатства у элиты, наличие сетей зависимости и патронажа, отражение социальной дифференциации в погребальной обрядности, контроль элиты над торговлей предметами престижного потребления, развитие ремесла для потребностей верхов, наличие культов вождей, их предков, отражение статусов и иерархии в идеологической системе и архитектуре. Для второй (*гетерархической* или *корпоративной*) стратегии характерно большее распределение богатства и власти, более умеренное накопление, сегментарная социальная организация, экономические усилия общества на решение коллективных целей (производство пищи, строительство фортификации, храмов и др.), универсализирующая космология, религиозные культы и обряды. Архитектура подчеркивает стандартизированный образ жизни.

Данный подход примерно в одно время, но на разных исторических материалах и в разной терминологии разрабатывали исследователи разных стран (в том числе и России): М. Агларов (Кавказ), Ю.Е. Березкин (Передний Восток и Средняя Азия), А.В. Коротаев (горцы), К. Крэм-ли (железный век Западной Европы), Г. Фэйнман и С. Ковалевски (Мезоамерика) и др. (Березкин 1995; Коротаев 1995; Crumley 1995; 2001; Blanton et al. 1996; Бондаренко, Коротаев 1999; Берент 2000; Ковалевски 2000; Feinman 2001; Бондаренко 2006; Гринин 2007 и многие др.).

В отечественной литературе политантропологическая проблематика разрабатывалась востоковедами в рамках дискуссии об “азиатском способе производства”. В ходе дискуссии была выдвинута концепция о преобладании в докапиталистических обществах “личностных” социальных связей, в отличие от индустриальных обществ, где господствуют “вещные” отношения (М.А. Виткин, А.Я. Гуревич, В.В. Крылов, Л.А. Седов, М.А. Чешков и др.). Впоследствии она была развита в трудах А.Я. Гуревича о западноевропейском средневековье (1970; 1972). Значительное место в сочинениях Гуревича уделено проблеме генезиса феодализма, структуре власти в средневековом обществе. В этих работах прослеживается влияние работ М. Мосса по теории дарообмена и французской исторической антропологии (школа Анналов, в особенности М. Блок). Под влиянием Гуревича в современной российской медиевистике сформировалась целая научная школа, существующая и в наши дни, которая специализируется

на проблемах политической антропологии феодализма (например, практически весь альманах “Одиссей” за 1995 г., посвящен политической антропологии феодализма).

Параллельно с данной дискуссией в советской этнографии обсуждались вопросы типологии форм лидерства в первобытных и традиционных обществах, проблемы генезиса государства, трансформации колониальных и постколониальных обществ Азии и Африки (Д.А. Ольдерогге, О.С. Томановская, Ю.М. Кобищанов, Н.Б. Кочакова, И.В. Следзевский, А.С. Балезин, А.М. Хазанов, А.И. Першиц, В.А. Попов, Г.С. Киселев, В.В. Бочаров и др.).

Особенно много для выделения политической антропологии в особую этнографическую субдисциплину в нашей стране было сделано африканистом Л.Е. Куббелем (1979). Поскольку в марксистской теории политика может существовать только в классовом обществе, то для обозначения отношений властвования в первобытном обществе термин “политическая этнография” (в СССР антропологов называли этнографами) был неприемлем. По этой причине доисторическую политику было решено называть “потестарными отношениями” (от лат. *potestas* – власть). В 1988 г. Куббель опубликовал первую в отечественной науке книгу на данную тему “*Очерки потестарно-политической этнографии*». В этой работе подробно разбирается предмет данной дисциплины, политическая культура первобытных, раннегосударственных и колониальных обществ, большое внимание уделено изучению идеологических механизмов властвования.

В наши дни термин политическая антропология прочно вошел в лексикон отечественных ученых. Данная дисциплина была включена в стандарты первого образовательного поколения для преподавания политологам, в ряде вузов ее стали осваивать будущие профессиональные социоантропологи. Будущие историки изучают эти же проблемы в программе курсов «история первобытного общества», «история древнего мира», «этнография», «история стран Азии и Африки» и др.

Сообщество политантропологов России на настоящий момент скорее децентрализовано, нежели консолидировано. В общем, это, скорее, общая тенденция для научного сообщества страны. Однако по причине сравнительной малочисленности, исследователи, работающие в этом направлении хорошо знакомы друг с другом и значительная часть мероприятий проводится с участием большинства

заинтересованных лиц. У политантропологов России есть несколько площадок для совместных встреч и обсуждения актуальных проблем. В первую очередь это конгрессы политологов и антропологов (этнологов) России, которые проводятся с четкой периодичностью раз в несколько лет. Нельзя сказать, что на всех из них, но на большинстве из съездов, были проведены специальные секционные заседания, которые касались тех или иных проблем политической антропологии. Последнее из них, это съезд антропологов и этнологов России (июль 2011 г.), где в программу была включена секция по политической антропологии (рук. В.В.Бочаров).

Однако самым главным и фактически форумом политантропологов не только России, но и большей части мира, является конференция «Иерархия и власть в истории цивилизаций» (Москва, 2000; Санкт-Петербург 2002; Москва 2004, 2006. 2009). Главным организатором конференции выступают Институт Африки РАН и РГГУ. Обычно в конференциях участвуют около 150–200 человек, из них примерно половина иностранные ученые. Рабочий язык большинства секций – английский. Нередко на конференцию приезжают корифеи западной науки. Рамки тематики, организуемых секций, часто выходят за границы политической антропологии. Часто диалоги ученых ведутся уже в русле антропологического, исторического или политологического дискурса.

Только на последней конференции, состоявшейся летом 2009 г., было проведено 28 секций, на которых присутствовали российские ученые из всех регионов страны, а также ученые более чем из 30 зарубежных стран. Общее количество участников более 200 чел. Вот названия некоторых из проведенных секций: Агрессия и контроль власти в традиционных и индустриальных обществах”, “В борьбе против иерархии и власти: сообщества, сопротивление и репрессии”, “Деспотизм в истории цивилизаций”, “Материальный ландшафт власти: гендер, политическая идентичность и сложность в археологическом контексте”, “Формы социальной стратификации и институты власти в вождествах и государственных образованиях Южной Америки и Мезоамерики”, “Традиционные идентичности в современных обществах и политических процессах на Кавказе”.

За эти годы у российских политантропологов появился свой международный журнал. Им стал журнал “Social evolution & history”, издаваемый с 2002 г. (гл. ред. Д.М. Бондаренко, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев). На страницах журнала регулярно обсуждаются

различные актуальные проблемы теории макроисторических процессов, социальной эволюции и политической антропологии. Только за последние годы опубликованы специальные выпуски посвященные теории раннего государства (2008, № 1), антропологии государства (2009, № 1), социальной эволюции (2009, № 2), происхождению государства в Европе (2010, № 2), теории вождества (2011, № 1) и др. В его работе принимают участие ведущие специалисты России и зарубежных стран.

В рамках РАПН в 2004 г. был создан исследовательский комитет по политической антропологии. В его работе участвовали фактически все из вышеперечисленных исследователей. В фокусе интересов ученых этой группы были заявлены такие проблемы как: культурные и социобиологические основания властвования и политических отношений; сравнительная типология политических систем в пространственно-исторической динамике; патронажные, клиентные, кастовые, клановые отношения в политике; трайбализм, черты традиционализма в современной политической практике; антропологический анализ политических процессов в российских регионах и др.

Несмотря на свою популярность и наличие достаточно большого количества научных работ, как отечественных авторов, так и переведенных с других языков, включая учебные пособия, в образовательном процессе политическая антропология выступает в роли “падчерицы”. Только в первом стандарте по политологии эта дисциплина была включена в перечень обязательных дисциплин. Ни в одном из последующих стандартов ее нет. Еще хуже в стандартах по социальной антропологии. Там имеется ряд, мягко говоря, весьма странных предметов (одно название “антропогеография” чего стоит), а политантропологии даже не предполагается. По этой причине курс политической антропологии читают в основном в дисциплинах выбора либо неофициально на свой страх и риск. Давно и успешно он читается в Санкт-Петербургском университете, Российском государственном гуманитарном университете, университетах Владивостока и ряде других вузов страны. Есть федеральный учебник, выдержавший четыре издания (Крадин 2011), двухтомная хрестоматия (Бочаров 2007). Назрела необходимость изменить сложившуюся несправедливую ситуацию и вернуть политическую антропологию в число обязательных преподаваемых дисциплин.

В соответствии с кругом исследовательских интересов политантропологов имеет смысл говорить о двух направлениях развития данной дисциплины в России. Основные интересы представителей первого направления концентрируются вокруг социобиологии власти (Бутовская 2002; 2004; Дольник 1994), типологии ранних форм лидерства (Артемова 2004; 2009), многолинейной эволюции сложных обществ и происхождения государства (Коротаев, Чубаров 1991; Березкин 1994; 1995; Бондаренко 1995; 2001; Коротаев 1995; 1997; 1998; Крадин, Лынша 1995; Попов 1995; 1997; Крадин и др. 2000; Крадин 2002; Гринин и др. 2006; Гринин 2007 и др.), структуры традиционной власти (Скрынникова 1997; Андреева Коротаев 2005; Бондаренко 2005; Попов 1996; Бочаров 2007; Крадин 2011 и др.).

Может показаться, что в этой области вряд ли могут быть сделаны какие-либо серьезные открытия. Однако это не так. Приведу только один пример. В январе нынешнего года Президент России Д.А. Медведев объявил 2012 г. “годом российской истории”. В определенной степени связан с двумя важными историческими юбилеями – 200-летием Отечественной войны 1812 г. и 1150-летием российской государственности.

Касательно второй даты, как известно, проблема генезиса государственности на Руси рассматривалась в течение длительного времени, главным образом, в контексте теории феодального общества. Спорным был только один момент – время перехода к стадии феодализма. Ситуация изменилась после создания в середине 1960-х гг. концепции “дофеодального общества” А.И. Неусыхина (1968). Неусыхин интуитивно имел ввиду в своих исследованиях более сложную предгосударственную форму общества, чем пресловутая “военная демократия”. Фактически он писал о вожествах, не будучи знакомым с этой теорией.

Это открытие способствовало появлению ряда новых подходов в исторической науке и формированию концепции “городов-государств” И.Я. Фроянова и его школы (Фроянов 1980; Дворниченко 1995; Кривошеев 1999). В этой связи важно отметить, что именно использование Фрояновым сравнительных этнографических данных, в немалой степени позволило вывести обсуждение проблематики генезиса Древней Руси на принципиально новый уровень. Правда, в соответствии с однолинейной традицией Фроянов рассматривал период “городов-государств” как дофеодальную стадию.

Впоследствии концепции “вожества” и “раннего государства” все-таки проникли из политической антропологии в отечественную

славистику (Павленко 1989; Мельникова 1995; Дворниченко 2006; Горский 2011). Совершенно очевидно, что многие так называемые “племенные княжения”, по сути, являлись “сложными вождествами”. Наконец, огромную эвристическую ценность для изучения Древней Руси имеют многолинейные интерпретации исторического процесса. Важно посмотреть на процессы политогенеза на Руси не с точки зрения однолинейной трансформации от вождеств к государственности, в под углом противопоставления *иерархической* и *гетерархической* стратегий.

Гетерархическое общество (или *корпоративная* стратегия) отличается большим распределением богатства между разными социальными группами, что характерно для городов-государств Древней Руси. Власть в городах Руси была распределена между несколькими политическими силами – князя, бояре, городская элита. Отсутствуют пышные гробницы и захоронения элиты, резко отделяющие их от простых масс. Наличие земледельческих ритуалов плодородия, культы разных богов (Перуна, Велеса, Рода) показывают коллективный характер идеологии, свидетельствуют об отсутствии персонального прославления.

Известно, что гетерархическая структура была характерна для общества викингов (Kristiansen 2007). Бытование данной системы у скандинавов было обусловлено распределением ресурсов на большой территории и трудностью их централизованного контроля. Участие в военных походах являлось важным фактором повышения статуса для молодежи, получения и перераспределения престижных товаров для элиты. Немаловажную роль имел контроль над торговыми путями. Все это не могло не оказать влияния на процессы формирования на Руси комплексных обществ, которые по своей природе были не столько “дофеодальными”, сколько гетерархическими.

Второе важное в современной политической антропологии направление связано с изучением посттрадиционной власти и ее идеологии (Бочаров 1992; 1995), патронажно-клиентными отношениями (Афанасьев 1997), изучением современных политических процессов антропологическими методами (Бочаров 2007; Щепанская 2007), этнокультурным факторам авторитаризма, этническими конфликтами в различных регионах России и других странах СНГ (Тишков 2000; 2001a; 2003 и др.).

Для антрополога главным методом сбора материала является так называемое “включенное наблюдение”, когда ученый поселяется

среди изучаемой группы (народа, племени, общины) и в течение длительного времени фиксирует все стороны жизни исследуемой культуры. В принципе любая группа или субкультура может быть изучена подобным образом. Правящая элита – это классическая субкультура со своими нормами поведения, языком, ритуалами. К ней, как к любой другой группе, применимы классические этнографические методы – наблюдение, беседа и опрос, включенное наблюдение. Блестящим примером включенного наблюдения являются труды Дж. Везерфорда об американском конгрессе (Weatherford 1981), М. Восленского о советской номенклатуре (1991), М. Абелеса о французском национальном собрании (Abélès 2001), Р. Аронова о политических институтах в Израиле (Aronoff 2006). Один из наиболее удачных опытов применения к российской политике последнего времени – попытка описания внутренней жизни различных политических партий в нашей стране (Щепанская 2007).

Много внимания политантропологи уделяют рассмотрению современных политических ритуалов. Различные массовые мероприятия являются по сути театральными представлениями для демонстрации носителями власти своей таинственной сакральности, способствуют повышению статуса главных персонажей этих спектаклей, а также развивают легитимность господствующей власти. Легитимность закрепляется на территории посредством периодической реактивации церемониала и значимых для нации символов (гимна, флага и др.). Участие людей в массовых церемониях создает иллюзию эмоциональной сопричастности принимаемым политическим решениям, способствует консолидации и коллективному одобрению существующего режима или тех, кто его персонифицирует (Абелес 1998; Rivière 2000).

Начиная со второй половины 1990-х гг. началось изучение клановых связей на постсоветском пространстве, как в структуре среднеазиатских государств (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), так и в ряде многонациональных субъектов РФ. Пионерской работой на эту тему была яркая обличительная статья рано ушедшего из жизни казахстанского антрополога Н.Э. Масанова (1996). Впоследствии данная тема была развита в книгах Ш.Х. Кадырова, со знанием дела описавшего трансформацию политических институтов в Туркмении (2003; 2004), а также в книгах и статьях других авторов (Амеркулов 2000; Джунушалиев, Плоских 2000; Крадин

2000; Санглибаев 2007; Ламажаа 2010; Kradin 2010 и др.). Параллельно тема привлекла внимание западных исследователей, которые подготовили ряд фундаментальных монографий по этой проблематике (Collins 2006; Schatz 2004).

Наличие большого количества схожих черт между политической системой современных обществ Африки, Азии и Латинской Америки привело ряд исследователей к мысли о необходимости вспомнить концепцию «вождества» – иерархическую форму организации власти без наличия аппарата принуждения (Skalnik 2004; Derlugian, Earle 2010). При этом опыт политантропологических исследований показывает, что результаты прямого внедрения в неевропейские общества западных либерально-демократических институтов приводят к противоположным результатам (Бочаров 1992).

Многопартийная система, парламентаризм, разделение различных ветвей власти и т.п. – все это нередко вызывает обратные результаты, весьма нежелательные с точки зрения задач демократизации. С этой точки зрения становится понятно, почему большинство стран СНГ прошли схожий путь политической трансформации. События в них развивались по однотипному сценарию: роспуск законодательных органов, принятие новых конституций, расширяющих полномочия президента, “мягкий” террор в отношении оппозиции и независимых средств массовой информации (Крадин 2000; 2011).

Подобный откат характерен для многих обществ, совершающих быстрый транзит от традиционных обществ к демократическим. В результате формируются пост-традиционные структуры, которая интерпретируются в рамках теории *неопатримониализма*. Этот термин был введен Г.Ротом (Roth 1968) по аналогии с веберовской концепцией *патримониализма*. Неопатримониализм возникает как альтернатива демократическому транзиту. При неопатримониальном режиме контроль за государственными ресурсами находится у небольшой группы политической элиты. Она перераспределяет доступ к ресурсам на основе принципов личной преданности, клановой или земляческой принадлежности. Инициатива политической динамики обычно принадлежит только верхним эшелонам власти. Потенциальных оппонентов изгоняют с арены политического процесса. Изменения в системе власти обычно минимизированы, обратная связь с обществом отсутствует. Неопатримониальные режимы широко распространены в Азии, Африке, Латинской Америке (Eisenstadt 1973; 232

Le Vine 1980; Medard 1982; Zabludovsky 1989; Bratton, Van de Walle 1994; Erdmann, Engel 2007 etc.). Значительный интерес представляет использование этой теории для осмысления политических процессов на постсоветском пространстве (Фисун 2006; 2007; 2007а; 2010).

Наконец, самая свежая тенденции нынешнего времени – формирование такого направления как “антропология революций”. Изначально оно было связано с исследованием феномена структурно-демографических циклов (Турчин 2007; Нефедов 2008), а затем на основе этой методологии арабских революций с антропологической точки зрения (см., например: Коротаев, Зинькина 2011; см. также множество публикаций на сайте cliodynamics.ru). Однако декабрьские события в нашей стране также привлекли внимание многих антропологов (Алексеевский 2012; Громов 2012; Мороз 2012; Соколова, Головина, Семирханова 2012).

Подводя итоги, следует отметить, что современная политическая антропология не заикливается на классической академической проблематике, связанной с изучением первобытных или раннегосударственных структур. Начиная с 1960-х, годов политантропологи активно участвовали в осмыслении проблем модернизации посттрадиционных обществ. За последние десятилетия предметные горизонты дисциплины оказались расширенными до современных обществ. Это дает основания определить ее как антропологическую дисциплину, изучающую политическое поведение, политические и властные институты в антропологической сфере этнографическими методами. Можно также быть уверенным, что политическая антропология по-прежнему остается актуальной и будет востребованной в современном мире.

ЛИТЕРАТУРА

- Абелес М. 1998. Политическая антропология: новые задачи, новые цели. *Международный журнал социальных наук*, Т. VI, № 20: 27-44.
- Алексеевский М. 2012. Кто все эти люди (с плакатами)? *Антропологический Форум* 16 (online): 50-68.
- Амрекулов Н. 2000. Жузы в социально-политической жизни Казахстана. *Центральная Азия и Кавказ*. № 3 (9).
- Андреева Л.А., Коротаев А.В. (отв. ред.). *Сакрализация власти в истории цивилизаций*. Ч. II. М.: ЦЦРИ РАН, 2005.

- Артемова О.Ю. 2004. *Охотники/собиратели и теория первобытности*. М.: ИАЭ РАН.
- Артемова О.Ю. 2009. *Колено Исава: Охотники, собиратели, рыболовы (опыт изучения альтернативных социальных систем)*. М.: Смысл.
- Афанасьев М.Н. 1997. *Клиенелизм и российская государственность*. М.: Московский общественный научный фонд.
- Баландье Ж. 2001. *Политическая антропология*. М.: Научный мир.
- Березкин Ю.Е. 1994. Апатани и древнейший Восток: альтернативная модель сложного общества. *Кунсткамера. Этнографические тетради*, № 4: 5-19.
- Березкин Ю.Е. 1995. Вождества и акефальные сложные общества: данные археологии и этнографические параллели. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности*. Отв. ред. В.А.Попов. М.: 165-187.
- Берент М. 2000. Безгосударственный полис. Раннее государство и древнегреческое общество. *Альтернативные пути к цивилизации*. Отв. ред. Н.Н.Крадин, А.В.Коротаев, Д.М.Бондаренко, В.А.Лынша. М.: Логос: 235-258.
- Бондаренко Д.М. 1995. *Бенин накануне первых контактов с европейцами: Человек. Общество. Власть*. М.
- Бондаренко Д.М. 2001. *Доимперский Бенин. Формирование и эволюция системы социально-политических институтов*. М.
- Бондаренко Д.М. 2005 (отв. ред.). *Сакрализация власти в истории цивилизаций*. Ч. I. М.: ЦЦРИ РАН.
- Бондаренко Д.М., Коротаев А.В. 1999. Политогенез, “гомологические ряды” и нелинейные модели социальной эволюции (К кросс-культурному тестированию некоторых политантропологических гипотез). *Общественные науки и современность*, № 5: 128-138.
- Бочаров В.В. 1992. *Власть. Традиции. Управление (попытка этноисторического анализа политических культур современных государств Тропической Африки)*. М.: Наука.
- Бочаров В.В. 1995 (отв. ред.). *Этнические аспекты власти*. СПб.
- Бочаров В.В. 1998. Политическая антропология и общественная практика. *Журнал социологии и социальной антропологии*, № 2: 134-148.
- Бочаров В.В. 2001. Политическая антропология. *Журнал социологии и социальной антропологии*, Т. IV, № 4: 37-67.

- Бочаров В.В. 2007 (отв. ред.). *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. Т. 1. Власть в антропологическом дискурсе. Т. 2. Политическая культура и политические процессы.* СПб.: Изд-во СПбГУ.
- Бутовская М.Л. 2002. Биосоциальные предпосылки социально-политической альтернативности. *Цивилизационные модели политогенеза.* Отв. ред. Д.М. Бондаренко, А.В.Коротаев. М.: 35-57.
- Бутовская М.Л. 2004. *Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека).* М.: Научный мир.
- Восленский М.С. 1991. *Номенклатура.* М.: Советская Россия.
- Горский А.А. 2011. К вопросу об уровне развития восточнославянского общества накануне образования государства Русь. *Восточная Европа в древности и средневековье: Ранние государства Европы и Азии: проблема политогенеза. XXIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т.Пашуто.* М.: 61-66.
- Гринин Л.Е. 2007. *Государство и исторический процесс.* Ч. 1-3. М.: Комкнига.
- Гринин Л.Е., Бондаренко Д.М., Крадин Н.Н., Коротаев А.В. 2006 (отв. ред.). *Раннее государство, его альтернативы и аналоги.* Волгоград: Учитель.
- Громов Д. 2012. «Мы не оппозиция, а народ»: новые черты уличного политического акционизма. *Антропологический Форум 16* (online): 31-49.
- Гуревич А.Я. 1970. *Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе.* М.: Высшая школа.
- Гуревич А.Я. 1972. *Категории средневековой культуры.* М.: Искусство.
- Дворниченко А.Ю. 1995. К проблеме восточнославянского политогенеза. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности.* Отв. ред. В.А.Попов. М.: 294-318.
- Дворниченко А.Ю. 2006. О восточнославянском политогенезе в VI-X вв. *Rossica Antiqua 2006. Исследования и материалы.* СПб.: 184-195.
- Джунушалиев Д., Плоских В. Трайбализм и проблемы развития Кыргызстана. *Центральная Азия и Кавказ.* 2000. №3.
- Доган М. Политическая наука и другие социальные науки. *Политическая наука: новые направления.* Отв. ред. Р.Гудин и Х.-Д.Клингеманн. М.: 113-146.

- Дольник В. 1994. Естественная история власти. *Знание-сила*, №№ 10: 12-21, 11: 36-45.
- Кадыров Ш.Х. 2003. «Нация» племен. *Этнические истоки, трансформация и перспективы государственности в Туркменистане*. М., ЦЦРИ РАН, Институт Африки РАН.
- Кадыров Ш.Х. 2004. *Трайбализм в Туркменистане. Становление и эволюция этнополитической организации у туркмен*: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М.
- Ковалевски С. 2000. Циклические трансформации в Северо-Американской доистории. *Альтернативные пути к цивилизации*. Отв. ред. Н.Н.Крадин, А.В.Коротаев и др. М.: 171-185.
- Коротаев А.В. 1995. Горы и демократия. *Восток*, № 3: 18-26 (перепечатано в сб.: *Альтернативные пути к ранней государственности*. Владивосток, 1995).
- Коротаев А.В. 1997. *Факторы социальной эволюции*. М.
- Коротаев А.В. 1998. *Вождества и племена страны Хашид и Бакил: общие тенденции и факторы эволюции социально-политических систем Северо-Восточного Йемена (X в. до н.э. – XX в. н.э.)*. М.: ИВ РАН.
- Коротаев А. В.; Зинькина Ю. В. 2011. Египетская революция 2011 года: социодемографический анализ. *Историческая психология и социология истории*, № 2.
- Коротаев А.В., Чубаров В.В. 1991 (отв. ред.). *Архаическое общество: Узловые проблемы социологии развития*. Вып. 1-2. М.
- Крадин Н.Н. 1997. Предмет и задачи политической антропологии. *Политические исследования*, № 5: 146-156.
- Крадин Н.Н. 2000. Элементы традиционной власти в постсоветской политической культуре: антропологический подход. *Образы власти в политической культуре России*. Отв. ред Е.Б. Шестопап. М.: 51-73.
- Крадин Н.Н. 2002. *Империя Хунну*. 2-е изд. М.: Логос/
- Крадин Н.Н. 2011. *Политическая антропология*. 4-е изд. М.: Логос.
- Крадин Н.Н., Коротаев А.В., Бондаренко Д.М., Лынша В.А. 2000 (отв. ред.). *Альтернативные пути к цивилизации*. М.: Логос.
- Крадин Н.Н., Лынша В.А. 1995 (отв. ред.). *Альтернативные пути к ранней государственности*. Владивосток: Дальнаука.
- Кривошеев Ю.В. 1999. *Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв.* СПб.: Изд-во СПбГУ.

- Куббель Л.Е. 1979. Потестарная и политическая этнография. *Исследования по общей этнографии*. Отв. ред. Ю.В.Бромлей. М.: 241-277.
- Куббель Л.Е. 1988. *Очерки потестарно-политической этнографии*. М.: Наука.
- Ламажаа Ч.К. 2010. *Клановость в политике регионов России: Тувинские правители*. СПб.: Алетейя.
- Масанов Н.Э. 1996. Казахская политическая и интеллектуальная элита: клановая принадлежность и внутриэтническое соперничество. *Вестник Евразии*, № 1: 46-61.
- Мельникова Е.А. 1995. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Северной и Северо-Восточной Европе (постановка проблемы). *Древнейшие государства Восточной Европы за 1992-1993 гг.* М.: Наука, С. 16-33.
- Мороз А. 2012. Протестный фольклор декабря 2011 г.: Старое и новое. *Антропологический Форум* 16 (online): 69-88.
- Неусыхин А.И. 1968. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родо-племенного строя к феодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья). *Проблемы истории докапиталистических обществ*. Отв. ред. Л.В.Данилова. М.: 596-617.
- Нефедов С.А. 2008. *Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока*. М.: Изд. дом «Территория будущего».
- Павленко Ю.В. 1989. *Раннеклассовые общества*. Киев: Наукова думка.
- Попов В.А. 1995 (отв. ред.). *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности*. М.: Наука.
- Попов В.А. 1996 (отв. ред.). *Символы и атрибуты власти*. СПб.
- Попов В.А. 1997 (отв. ред.). *Потестарность: генезис и эволюция*. СПб.
- Ривьер К. 1999. Социоантропология современности. *Журнал социологии и социальной антропологии*, Т.2: 117-127.
- Салинз М. 1999. *Экономика каменного века*. М.: ОГИ.
- Санглибаев А.А. 2007. Этноклановость на постсоветском пространстве. *Политические исследования*, № 6: 52-63.
- Скальник П. 1991. Понятие «политическая система» в западной социальной антропологии. *Советская этнография*, № 3: 144-146.
- Скрынникова Т.Д. 1997. *Харизма и власть в эпоху Чингис-хана*. М. Восточная литература РАН.

- Соколова А., Головина М., Семирханова Е. 2012. «Бандерлоги» на проспекте Сахарова: социологический портрет. *Антропологический Форум* 16 (online): 24-30.
- Тишков В.А. 2000. *Политическая антропология*. Lewiston etc.
- Тишков В.А. 2001. Новая политическая антропология. *Журнал социологии и социальной антропологии*, Т. IV, № 4: 68-74.
- Тишков В.А. 2001а. *Этнология и политика*. Научная публицистика. М.: Наука.
- Тишков В.А. 2003. *Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии*. М: Наука.
- Турчин П.В. 2007. *Историческая динамика. На пути к теоретической истории*. М.: УРСС.
- Фроянов И.Я. 1980. *Киевская Русь: очерки социально-политической истории*. Л.: Изд-во ЛГУ.
- Фисун А.А. *Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации*. Харьков: Константа, 2006. – 352 с.
- Фисун А. 2007. Политическая экономия «цветных» революций: неопатримониальная интерпретация. *Прогнозис*, № 2 (10): 211-244.
- Фисун А. 2007а. Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология. *Отечественные записки*, № 6 (39).
- Фисун А.А. 2010. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация. *Политическая концептология*, № 4: 158-187.
- Шинаков Е.А. 2009. *Образование древнерусского государства: Сравнительно-исторический аспект*. 2-е изд. М: Восточная литература РАН.
- Щепанская Т.Б. 2007. Феномен «команды» в российской политической культуре советского и постсоветского периодов. *Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии. Т. 2. Политическая культура и политические процессы*. Отв. ред. В.В. Бочаров. СПб.: 243-292.
- Abélès M. 1988. Modern Political Ritual: Ethnography of an Inauguration and a Pilgrimage by President Mitterand. *Current Anthropology* 29 (3): 391-404.
- Abélès M. 1990. *Anthropologie de l'Etat*. Paris: Armand Colin.
- Abélès M. 2001. *Un ethnologue à l'assemblée*. Rééd. Paris: Roches Odile Jasob.
- Abélès M. 2006. *Politique de la survie*. Paris: Flammarion.

- Abélès M., Jeudy H.-P. 1997 (éds.). *Antropologie du politique*. Paris: Armand Colin.
- Aronoff M.J. 2006. Forty Years as a Political Ethnographer. *Ab Imperio*, № 4: 23-38.
- Balandier G. 1967. *Anthropologie politique*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Blanton R.E., Fienman G.M., Kowalewski S.A. and Peregrine P.N. A Dual-Process Theory for the Evolution of Mesoamerican Civilization. *Current Anthropology*. Vol. 37. 1996. No 1: P.1-14, 73-86.
- Bratton M., Van de Walle N. 1994. Meopatrimonial regimes and political transitions in Africa. *Worlds politics* 46 (4): 453-489.
- Carneiro R. 1970. A theory of the origin of the state. *Science* No 169 (3947): 733-738.
- Claessen H.J.M. 1974. *Politieke antropologie*. Assen: Van Gorcum.
- Claessen H.J.M. 2000. *Structural Change. Evolution and evolutionism in cultural anthropology*. Leiden: Research School CNWS, Leiden University.
- Claessen H.J.M., Skalnik P. 1978 (eds.). *The Early State*. The Hague: Mouton.
- Claessen H.J.M., Skalnik P. 1981 (eds.). *The Study of the State*. The Hague: Mouton.
- Claessen H.J.M. and van de Velde P. 1987 (eds.). *Early State Dynamics*. Leiden: Brill.
- Claessen H.J.M., van de Velde P. 1991 (eds.). *Early State Economics*. New Brunswick & London: Transaction Publishers.
- Claessen H.J.M., Oosten J.G. 1996 (eds.). *Ideology and the Formation of Early States*. Leiden: E. J. Brill.
- Cohen A. 1969. Political anthropology: the analysis of the symbolism of power relationship. *Man*, Vol. 4: 215-235.
- Cohen R. 1973. Political anthropology. *Handbook of Social and Cultural Anthropology*. Ed. by J.J.Honogman. Chicago etc.: 861-881.
- Collins K. 2006. *Clan Politics and Regime Transition in Central Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crumley C. 1995. Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. *Heterarchy and the Analysis of Complex Societies*. Washington, D.C.: American Anthropological Association: 1-5.
- Crumley C. 2001. Communication, Holism, and the Evolution of Sociopolitical Complexity. *From leaders to rulers*. New York: 19-36.

- Derlugian, G., and Earle, T. 2010. Strong Chieftaincies out of Weak States, or Elemental Power Unbound. *Troubled Regions and Failing States: The Clustering and Contagion of Armed Conflict* (Comparative Social Research 27). Ed. by K. Berg Harpviken. Bingley: 27–51.
- Earle T. 1997. *How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory*. Stanford (Cal.): Stanford Univ. Press.
- Easton D. 1959. Political anthropology. *Biennial Review of Anthropology* 1: 210-262.
- Eisenstadt S.N. 1973. *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. Beverly Hills: Sage.
- Erdmann G., Engel U. 2007. Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept. *Commonwealth & Comparative Politics* 45 (1): 95-119.
- Feinman G. Mesoamerican Political Complexity: The Corporate-Network Dimension. *From leaders to rulers*. New York: Kluwer Academic, 2001, p. 151-175.
- Fogelson R.D., Adams R.N. 1977 (eds.). *Anthropology of power. Ethnographic studies from Asia, Oceania, and the New World*. New York etc.: Acad. Press.
- Fortes M., Evans-Pritchard E.E. 1940 (eds.). *African Political Systems*. New York: Oxford University Press.
- Fried M. 1967. *The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology*. New York: Random House.
- Gledhill, J. 1994. *Power and Its Disguises: Anthropological Perspectives on Politics*. London: Pluto Press (second edition, 2000).
- Johnson A.W. Earle T. 1987. *The Evolution of Human Society: From Foraging Group to Agrarian State*. Stanford (Cal.): Stanford University Press.
- Kradin N.N. 2010. Between Khans and Presidents. Anthropology of Politics in Post-Soviet Central Asia. *Social Evolution & History*, Vol. 9, No 1: 150-172.
- Kristiansen K. 2007. The Rules of the Game. Decentralised Complexity and Power Structures. *Socializing Complexity: Approaches to Power and Interaction in Archaeological Discourse*. Oxford: 60-75.
- Le Vine V.T. 1980. African Patrimonial Regimes in Comparative Perspective. *Journal of Modern African Studies*, Vol. 18, No. 4: 657–673.
- Lewellen T.C. 1992. *Political Anthropology: An Introduction*. Westport, CT: Bergin & Garvey.

- Mair L. 1977. *Primitive Government: A Study of Traditional Political Systems in Eastern Africa*. Bloomington: Indiana University Press.
- Medard J.F. 1982. The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or NeoPatrimonialism. *Private Patronage and Public Power*. Ed. by C. Clapham. New York: 162-192.
- Pauketat T. 2007. *Chiefdoms and Others Archaeological Delusions*. New York etc.: AltaMira.
- Rivière C. 2000. *Anthropologie politique*. Paris: Armand Colin.
- Roth G. Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire Building in the New States. *World Politics*, Vol. 20, No 2.
- Schatz E. 2004. *Modern Clan Politics: The Power of "Blood" in Kazakhstan and Beyond*. Seattle and London: University of Washington Press.
- Schwartz M.J., Turner W.M., and Tuden A. 1966 (eds.). *Political Anthropology*. Chicago: Aldine.
- Seaton S.L., Claessen H.J.M. 1979 (eds.). *Political Anthropology: The State of the Art*. The Hague: Mouton.
- Service E. 1962. *Primitive Social Organization: an evolutionary perspective*. N.Y.: Radmon House (2nd ed. 1971).
- Service E. 1975. *Origins of the State and Civilization*. New York: W.W.Norton and Co. Inc.
- Skalnik P. 2004. Chiefdom: a universal political formation? *Focaal* 43: 76-98.
- Vincent J. 1990. *Anthropology and Politics: Visions, Traditions, Trends*. Tucson: University of Arizona Press.
- Weatherford J. 1981. *Tribes on the Hill*. New York.
- Yoffee N. 2005. *Myth of the Archaic State: Evolution of the Earliest Cities, States, and Civilizations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zabludovsky G. 1989. The Reception and Utility of Max Weber's Concept of Patrimonialism in Latin America. *International Sociology* 4 (1): 51-66.

ФЕНОМЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

Отношение к некоторым историческим событиям, явлениям, феноменам, с одной стороны проповедуемое официальной идеологией, а с другой объективно существующее в обществе на каждом этапе его развития, зачастую может дать весьма полное представление о характере государственной власти и о самосознания народа в ту или иную эпоху. Действительно, знаковые моменты истории Отечества переосмысляются заново почти на каждом переломе, и при этом некоторые ценности, ранее казавшиеся незыблемыми, неизбежно девальвируются, или в их значимости начинают видеть новый смысл, внимание на котором ранее не акцентировалось. Предметом настоящего исследования станет рассмотрение восприятия фигуры крупнейшего национального героя России, человека во многом определившего в труднейшем и полном драматизма XIII столетии будущую судьбу нашего Отечества как суверенного и мощного государства. При этом мы постараемся ограничиться лишь наблюдением за характером отношения к личности Александра, избегая самонадеянных попыток “поставить диагноз” нравственному состоянию общества в те или иные исторические периоды. При этом необходимо оговориться, что в столь сложной сфере, к изучению которой мы приступаем, едва ли применим и метод “препарирования” культурно-исторической памяти, с целью получения слишком конкретных выводов о месте феномена Ярославича (или любой другой крупной исторической личности) в официальной идеологии и самосознании наших предков и современников. В противном случае, “на выходе” историк получит достаточно простую, прямолинейную модель-схему, которая, конечно не будет отражать реальной ситуации. Ибо очевидно, что ментальность, к области

которой принадлежит историческая память, не может быть ни простой, ни прямолинейной¹.

Начать освещение темы, вынесенной в заголовок этой работы, целесообразней всего с начала XVIII в. — то есть со времени, когда в России усилиями Петра Великого в полной мере сложилась абсолютистская государственность, а официальная идеология, не отказываясь от идеи сакральности происхождения высшей власти², приобретает четко обозначенный секулярный характер. Именно тогда почитание Александра Ярославича как святого претерпело существенные изменения: помимо духовной составляющей оно теперь стало носить и ярко выраженный светский оттенок.

Петр I, как известно, проводил реформы смело, решительно и охотно. Все они имели вполне резонное практическое обоснование. Достаточно серьезные, можно сказать, коренные перемены произошли в период его правления и в сфере деятельности Церкви, в которую первый русский император в случае нужды иногда вполне бесцеремонно вторгся. Касалось это и вопроса почитания святых.

Государь значительную часть своей жизни посвятил решению важной задачи, которая стояла перед страной в начале его правления, — уничтожению последствий Столбовского мирного договора 1617 г. и укреплению позиций России в Балтийском регионе. Именно это было главной причиной длившейся двадцать один год Северной войны со Швецией (1700—1721 гг.). Будучи человеком, исторически хорошо образованным, Петр, разумеется, осознавал, что он, по сути, является продолжателем дел Александра Невского, ратоборствовавшего в Приневье против того же грозного врага. Впрочем, и до нача-

¹ Ярким примером ущербности подобной методологии может служить недавно опубликованный на русском языке труд Ф. Б. Шенка, в котором исследователь с истинно немецкой педантичностью и аккуратностью, словно орудующий скальпелем в лабораторных условиях квалифицированный хирург, постарался с помощью внимательнейшего анализа реконструировать восприятие Александра в каждую историческую эпоху. Однако, выводы, полученные при этом, оказались слишком уж прямолинейными. Об этом говорит уже одно название глав его работы «Сакрализация Александра», «Национализация Александра», «Советизация Александра», «Экранизация Александра» и т. д. (Шенк 2007). — Оговоримся при этом, что с точки зрения конкретики, фактологической достоверности книга немецкого ученого, несомненно, представляет огромный интерес и долго не утратит научной актуальности.

² О сакрализации власти в традиционных и современных обществах см. подробно: (Крадин 2004: 205–207).

ла той войны царь относился к памяти князя с особым пиететом, и не случайно второй сын Петра от первого брака с Евдокией Лопухиной получил имя Александр (Хитров 2001: 448-449; Павленко 1994: 33). Учитывая это, необходимо признать, что предание культу святого нового характера стало со стороны государя вполне логичным шагом.

В 1723—1724 гг. мощи Ярославича были перенесены из Владимирского Рождественского монастыря во вновь построенный “парадиз” — Санкт-Петербург и почивали отныне в основанном еще в 1710 г. Александро-Невском монастыре, который по замыслу преобразователя должен был получить статус пантеона, где находили бы упокоение виднейшие сановники государства. Для достижения этой цели государь был готов даже пренебречь их последней своих почивших соратников. В частности, Б. П. Шереметьев, умерший в 1719 г., был погребен именно здесь, несмотря на то, что завещал похоронить себя в Киево-Печерской лавре (Павленко 1994: 535).

Александр Невский стал покровителем Северной столицы, но при этом его почитание приобрело некоторые новые черты. “Синодальному советнику, школе и типографий протектору, Троице-Сергиева монастыря архимандриту” Гавриилу (Бужинскому) было дано поручение составить новую службу святому, в которой делался акцент на делах Петра, как наследника славы Невского героя (Полное... 1876: 188). Вскоре новая служба была написана, и 13 января 1725 г. Синод постановил ее напечатать (Полное... 1876: 248) для рассылки по всей стране во все церкви. В этот же период в церковный обиход входит и новый иконописный канон изображения Александра — в княжеских одеждах, вместо прежней схимы. Подобного рода мероприятия проводились и всеми приемниками первого русского императора, за исключением разве что Петра II (подробно о почитании Александра Невского в эпоху Петра и его ближайших преемниках см.: Кривошеев, Соколов 2002: 12—21; Кривошеев, Соколов 2009: 179—185). Достаточно сказать, что в правление его правнука Павла I Александро-Невский монастырь приобрел статус лавры (1797 г.), а в XIX в. три монарха носили имя Александр.

В обществе эта традиция почитания князя прижилась, причем речь в данном случае идет не только о верхушке социальной иерархии, но и о ее нижних слоях — народе.

Князь оказался тесно связан с правящей династией, его культ приобрел черты *государственного*, что выражалось в частности в широ-

ком по масштабам строительстве храмов в честь Ярославича (Федотов 2004: 233—251). Именно это, помимо всего прочего, обусловило отрицательное отношение к нему после двух революций 1917 г. и последующих потрясений.

Октябрьские события ознаменовали начало крутого поворота в истории России и существеннейшие перемены в обществе. Можно по-разному относиться к установившейся тогда большевистской власти, но, учитывая ее прочность, нельзя отрицать очевидного факта — наличие у нее широкой социальной базы, поддержки населения. Не будем вдаваться в спор о том, каким образом эта поддержка формировалась, здесь достаточно указать, что она была. Необходимо признать, что мероприятия, проводившиеся Советской властью, в том числе в идеологической сфере, не могли «висеть в воздухе» и опираться лишь на штыки, напротив, они имели немало сторонников.

В новых условиях от прежнего отношения к национальным героям «старой» «царской» России не осталось и следа. В полной мере это касалось и личности Ярославича.

Александр Невский вообще оказался фигурой «неудобной». Как вполне справедливо отмечал Ф. Б. Шенк, этому способствовало три основных фактора. Во-первых, он — князь, «феодал», «эксплуататор трудового народа». Во-вторых, он — святой, причем святой, особо почитаемый, и почитаемый не только властью, но и народом, которого на новом этапе всеми силами пытались избавить от «религиозного дурмана». В-третьих, он — национальный герой, следовательно, символ «имперского великорусского шовинизма», искоренение которого также считалось в те годы одной из приоритетных задач (Шенк 2007: 236). Но самым главным, как представляется, было даже не это, а придание, как было отмечено чуть выше, в XVIII— начале XX в. почитанию князя черт проводимых на государственном уровне мероприятий. Именно поэтому личность Александра стала восприниматься как неразрывно связанная со “старым режимом”. Таким образом, и возможно, на наш взгляд, объяснить нигилизм по отношению к Ярославичу со стороны Советской власти и со стороны значительной части общества, интересы которой эта власть выражала.

Положение усугублялось общей ситуацией в области исторических исследований, сложившейся в двадцатые годы XX в. Разработка тематики, связанной с историей средневековой Руси, стала непопулярной, она считалась “немодной” среди студентов, а обращение к

ней считалась бегством от действительности. В университетах были ликвидированы историко-филологические факультеты. В науке господствовала “школа” М.Н. Покровского, глава которой любил рассуждать о необходимости преодоления великорусского шовинизма, а слово “Россия” предпочитал в любом контексте брать в кавычки и писать со строчной буквы... (О состоянии исторических исследований в те годы см. подробно: Кривошеев, Дворниченко 1994: 143–158).

Слишком велик соблазн объявить происходящее тогда только лишь следствием проводимой властями политики. Однако на деле все было совершенно иначе. В обществе, как уже отмечалось, действительно были силы, поддерживающие власть Советов, силы, готовые отказаться от исторической памяти и национальных героев. Александр Невский в этом списке был одним из первых, но далеко не единственным. Например, то же можно сказать и о К. Минине и Д. Пожарском, памятник которым на Красной Площади, кстати, представляющий собой подлинный архитектурный шедевр, многим “мозолил глаза”. Именно в эту эпоху могли появиться строчки “пролетарского поэта” Джека Алтаузена, адресованные организаторам Второго земского ополчения, освободившего в 1612 г. от польских интервентов Москву:

Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского! Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить —
Их за прилавками Октябрь застал!
Напрасно им мы не сломали шею!
Я знаю — это было бы под стать!
Подумаешь — они спасли Рассею!
А может, лучше было б не спасать?

Однако время шло, победа мировой революции становилась все более призрачной, менялась и сама власть. Совершенно сошло на нет влияние главного теоретика перманентной революции Л.Д. Троцкого. Произошли важные перемены и в сфере исторических изысканий: в тридцатых годах, сразу после смерти М.Н. Покровского, развернулась сыгравшая огромную роль для всего последующего развития советской историографии дискуссия вокруг «локализации исторического процесса по формациям» (Фроянов 1980: 231). Спор шел о том, когда именно на Руси установился феодализм, имело ли когда-либо рабовладение значение основы социально-экономических от-

ношений и т. д. В итоге возобладала концепция, основным автором которой был Б.Д. Греков. Согласно ей, на Руси феодализм, минуя рабовладельческую формацию, возник непосредственно в результате разложения первобытно-общинного строя; главным движущим фактором этого процесса стало появление крупных землевладельцев, эксплуатировавших труд феодально-зависимых крестьян (подробно о данной дискуссии см.: Фроянов 1980: 231—258)¹. Разумеется, то, что данная гипотеза приобрела характер аксиомы, имело свои негативные последствия, но в целом это стимулировало интерес исследователей к древнерусской истории.

Вместе с тем, менялось и общество, и вновь актуальным становилось изучение истории страны, решившей строить социализм внутри собственных границ. В 1934 г. было восстановлено историческое образование в средней и высшей школе, открыли двери студентам исторические факультеты, в печати появлялось все больше материалов, связанных героями прошлого.

Однако личность Александра Невского до поры оставалась в забвении. Причиной тому была, вероятно, сила инерции отрицательного отношения к святому князю. С течением времени это становилось особенно заметным, на это обращали внимание в среде эмигрантов, внимательно следивших за переменами, происходившими в СССР в течение тридцатых годов. В частности Г.П. Федотов, в статье с претенциозным названием «Александр Невский и Карл Маркс», опубликованной в газете «Новая Россия» в 1937 г., рассуждая об использовании советской печатью «Хронологических выписок» К. Маркса, в которых клеймились «псы-рыцари», с целью возвеличивания «славы великого русского народа», подчеркивал, что имя человека, положившего предел влиянию Ордена, имя Александра до сих пор игнорируется. Исследователь возмущался тем, что «в этой реабилитации национальной славы есть какие-то границы, какое-то неискорененное чувство коммунистических приличий», выражающееся в «характерном умолчании» (Федотов 1990: 154). Причину тому Г.П. Федотов видел в святости князя. Именно в этом он искал объяснение тому, что «Ледовое побо-

¹ «Нетипичные», то есть не вписывающиеся в классическую теорию «пятичленки», исторические реалии на протяжении советского периода не раз становились объектом для научных споров о соотношении власти и собственности. Ярким примером здесь могут служить полемика вокруг так называемого азиатского способа производства (см об этом подробно: Крадин 2004: 108–111).

ище остается анонимным», в то время как на тот момент «Дмитрий Донской был причислен к национальным героям России в связи с памятью о Куликовской битве» (Федотов 1990: 154–155)¹.

Однако в ту же пору ситуация уже менялась коренным образом. И власть, и общество были готовы к тому, что бы вновь обратиться к непреходящему примеру служения народу и Отечеству Невского героя. Готовилась постановка фильма об Александре Невском, фильма, которому суждено было стать целой эпохой и открывшего новую страницу светского почитания Ярославича. И конечно, находящийся вдали от Родины Г.П. Федотов не мог знать, что за эту задачу взялся на тот моменту уже всемирно известный режиссер С.М. Эйзенштейн.

Создание фильма стало важнейшим государственным делом. К созданию сценария подошли самым ответственным образом. Только третья его редакция, носившая наименование «Русь» была опубликована и представлена на суд специалистов (первую составил П.А. Павленко, вторая и третья были созданы им же в соавторстве С.М. Эйзенштейном). Историки и литераторы высказали не мало критических замечаний по поводу текста, некоторые из них имели очень резкий характер. Чего стоит только название рецензии М.Н. Тихомирова — «Издавка над историей», — опубликованной в третьем номере за 1938 г. главного исторического журнала страны «Историк-марксист» (см. переиздание: Тихомиров 1975: 375–380). Не были простыми отписками и другие отзывы, в каждом из них содержались конкретные предложения. (В дискуссии по поводу сценария, помимо М.Н. Тихомирова принимали участие ведущие ученые-историки того времени — А.В. Арциховский, Ю.В. Готье, А.А. Савич, В.Е. Сыроечковский, Н.П. Грацианский и др. (см. подробно: Кривошеев, Соколов 2010: 281—295)). Это, безусловно, свидетельствовало о неподдельном интересе к теме.

Что ж, общество действительно изменилось, настали другие времена и история страны, герои ее прошлого вновь стали национальными ориентирами для народа. На наш взгляд, все это, и в частности перемены в отношении к личности Александра Невского, является одним из главных показателей того, что «гипернигилизм», свойственный первым полутора десятилетиям после революции 1917 г.,

¹ Обращаем внимание на то, что канонизация Дмитрия Донского как святого состоялась намного позже — в 1988 г.

окончательно ушел в прошлое. Потому не в коей мере нельзя сводить все лишь к желанию советского правительства «насадить» патриотические настроения для последующего использования их в своих целях — «повысить любовь населения к родине (в авторизированном переводе книги Ф.Б. Шенка это слово набрано именно так, со строчной буквы. — *Авт.*) и политическому руководству» (Шенк 2007: 278).

Фильм С. М. Эйзенштейна стал настоящим шедевром, что было обусловлено несколькими факторами, среди которых не малую роль сыграла тщательно выверенная подготовка сценария, как с позиций исторической достоверности и художественной содержательности, так и с точки зрения политической корректности. Конечно, ничего не могло бы получиться и без режиссерского таланта создателя картины. К тому же затянувшаяся полоса неудач стала для него дополнительным стимулом к тому, что бы создать подлинное произведение искусства. Можно смело утверждать, что если с помощью «Броненосца “Потемкин”» С.М. Эйзенштейн вписал свое имя навечно в историю кинематографа, то сняв «Александра Невского» он вошел в историю своей Родины — России. Образ Ярославича, воплощенный Н.К. Черкасовым, стал хрестоматийным и вплоть до сегодняшнего дня именно таким наши сограждане и представляют себе князя.

Эпоха Великой Отечественной войны стала временем, когда в славном прошлом, в истории своей страны люди искали повод для оптимизма в самые сложные годы, когда казалось, что сил остановить натиск врага уже невозможно. Имя Александра Невского, было упомянуто в речи И.В. Сталина на знаменитом параде 7 ноября 1941 г., прошедшем на заснеженной Красной Площади. Мы не будем здесь подробно останавливаться на восприятия личности Ярославича обществом в военные годы. Все это, в общем, достаточно хорошо известно (см. напр.: Мягков, Асташин 2008: 179-200). Подчеркнем лишь, что и здесь неправильным будет противопоставлять государственную политику устремлениям простых людей, устремлениям народа: цель у всех была лишь одна — Победа.

После окончания самой кровопролитной в истории человечества войны отношение к образу князя в СССР не претерпело каких-то резких перемен. Изучение его деятельности было важной составляющей патриотического воспитания, народ воспринимал его образ, вне всяких сомнений, положительно. Но имелось одно «но», говорить о

котором было, не то что бы совсем не принято, но как-то и не совсем удобно.

Коллизия заключалась в следующем. С одной стороны, Александр Невский несомненно входил в число наиболее известных деятелей истории Отечества. В 1943 г. был учреждена советская боевая государственная награда, носившая его имя. И казалось бы все в этом смысле ясно. Но ведь с другой стороны, Ярославич, как светский властитель древности, как представитель «класса феодалов», эксплуатировавшего крестьянство, не мог быть до конца положительным героем, несмотря ни на какие воинские подвиги и дипломатические заслуги. Потому в описаниях деятельности князя часто где-то в середине текста содержались как бы затерянные сакраментальные фразы о том, что, дескать, Ярославич хотя и вел «внешнюю политику, соответствующую интересам объединения Руси», но в то же время «вооруженной силой подавлял всякие народные выступления» (Очерки... 1953: 870, 869). Впрочем, еще раз подчеркнем, что на последнем аспекте внимание отнюдь не акцентировалось, как предпочитали *не упоминать* и о том, что для верующих людей князь был не просто героем, он являлся святым (хотя информация об этом, разумеется, не носила и сколько-нибудь закрытого характера).

Такая политика «двойного мышления» не была чем-то особенным в ту эпоху. Всем нам, конечно, памятливы времена, когда, выражаясь словами поэта, были «одни слова для кухонь, другие — для улиц». Наверное, не будет слишком смелым утверждение, что подобная пагубная «двойственность» и стала причиной, позволившей разрушить великое Государство.

Впрочем, не будем отдаляться от темы. Обратим лучше внимание на следующий весьма примечательный парадокс. Как было сказано выше, значение Александра Невского для отечественной истории в послевоенные годы не ставилось под сомнение, в частности, очевидной была важность побед на Невском берегу в 1240 г. и на Чудском озере в 1242 г. Однако при всем том, места этих битв, по сути, полей ратной славы России, не были отмечены сколько-нибудь значительными мемориалами. Особенно бросалось в глаза неблагоустроенность устья Ижоры, территориально входившего в состав крупнейшего мегаполиса, второго по значимости города СССР — Ленинграда.

В начале 60-х годов минувшего столетия будущий выдающийся деятель отечественного искусства скульптор В.Г. Козенюк, будучи

еще студентом Мухинского училища, случайно, совершая лыжную прогулку, оказался в Усть-Ижоре. Он знал о Невской битве, знал, что судьбоносное сражение произошло именно на тех местах, где волей случая ему довелось оказаться. И тем большее впечатление на молодого человека должны были произвести развалины взорванного в годы войны храма, возведенного когда-то во имя Александра Невского¹. «Не соответствие значимости исторического события не совмещалось в его сознании с той убогой реальностью, что предстала перед его глазами». С тех пор тема Александра Невского стала одной из основных в его творчестве (Сушко 2009: 231).

Подобное впечатление могли испытать и другие люди, оказавшиеся на этой священной земле. Правда, к 250-летию основания Ленинграда военная общественность города добилась установки скромного обелиска, обозначившего место битвы, но он был совершенно затерян среди деревьев и соседних домов частного сектора и по масштабам абсолютно не соответствовал значимости произошедшего здесь в 1240 г. события. Такое положение сохранялось длительное время, вплоть до второй половины 80-х годов, когда в общественной жизни и общественном сознании в очередной раз стали происходить коренные перемены. Но не будем забегать вперед. Попробуем порассуждать, что было причиной подобного стечения обстоятельств. На наш взгляд, это стало материальным, если можно так выразиться, выражением все той же «двойственности», существовавшей в обществе. Лишь это могло позволить смириться и власти, и людям с тем, что местность связанная с победами, считавшимися на официальном уровне архиважными, по сути лежала в руинах.

Но времена менялись. После перестройки наша страна стала совершенно иной, и в которой раз наступила «переоценки ценностей». Некоторые деятели истории опять оказались низвергнутыми с пьедестала, кое-кто даже в прямом смысле слова. При этом Александру Невскому «повезло» намного больше, чем многим другим персонажам, более тесно связанным с идеологией Советского государства: можно

¹ Надругательство над церковным почитанием Александра Ярославича выражалось не только в разрушении храмов, воздвигнутых в его честь. Иногда подобное кощунство приобретало и другие формы, чего стоит только поэма П.Г. Антокольского «Мощи Александра Невского», созданная отнюдь не в годы послереволюционного «штурма набес», а именно на рубеже вполне благополучных послевоенных 60–70-х годов (см.: Антокольский 2002: 98–105).

сказать, что «двойственность» по отношению к князю, существовавшая прежде, сыграла в данном случае положительную роль. Хотя и на его личности пробовали «упражняться» самозабвенные сторонники ориентации на европейские «ценности», разного рода любители так называемой «альтернативной истории», да иногда ищущие легкой славы ученые-профессионалы. Смысл их инсинуаций был прост, подчас даже примитивен: Александр «предал» брата, сделал не верный исторический выбор, «отвернувшись» от Европы, которая жаждала оказать действенную военную помощь Руси, да «втянул страну в зависимость» от Орды. Сражения же, выигранные им, не имели, по их мнению, особого значения, так были недостаточно кровопролитными.

Впрочем, даже в ту пору, когда слово «патриот» преподносилось СМИ как ругательное, отношение в обществе к князю не стало отрицательным в целом. И причиной тому стало, на наш взгляд, именно то, что связь образа Ярославича с коммунистическим режимом не была незыблемой и очевидной. Именно потому как для сторонников левых идей, так и для той части населения, взгляды которой можно выразить, как ориентированные на суверенную демократию, Александр Невский по-прежнему остался национальным героем.

Очень важным было и то, что все чаще вспоминали о канонизации князя, том, что предки наши видели в нем не только воина-героя, но и святого-чудотворца. Отражением этого, помимо прочего, стал еще один художественный фильм, посвященный Ярославичу «Житие Александра Невского» (1991, режиссер Г.М. Кузнецов). В сюжетной линии картины прослеживаются некоторые мистические моменты, представить появление которых даже за несколько лет до этого было совершенно невозможно.

В 90-е годы власть лихорадочно пыталась найти идеологическую основу для объединения общества, разделенного совершенно противоположными политическими взглядами и социальными противоречиями. И казалось, достичь этой цели может помочь личность Ярославича. 6 января 1995 г. тогдашний президент России Б.Н. Ельцин подписал указ «О праздновании 775-летия со дня рождения Александра Невского», в соответствии с которым на июнь того же года было запланировано проведение праздника «Венок славы Александра Невского». Мероприятия под этим названием продолжают в некоторых регионах до настоящего времени (особенно следует выделить регулярно организуемые праздники в Старой Ладогe).

Помимо этого примерно в тот же период удалось организовать научные силы на проведения нескольких конференций, выходили в свет печатные труды об Александре Невском (см. историографический обзор: Соколов 2004: 252–281). Подчеркнем при этом, что большая их часть содержала положительные оценки деятельности князя.

Однако вся политика страны, как и общественная жизнь в целом, вплоть до конца XX столетия носила устойчиво неопределенный характер. В частности, это, если обратиться к интересующей нас теме, выразилось в том, что во всех мероприятиях, связанных с личностью Александра Невского, отсутствовала *система*, не было *необходимой комплексности*. Что ж, и это вполне отражала жизнь нашего общества, оказавшегося в те годы в состоянии неопределенности, какого-то «разброда и шатания».

И все же в последние годы произошло что-то существенное, какие-то важные перемены. Мы не сразу обратили на них внимание, и все же на современном этапе, как представляется, ситуация постепенно меняется. Прежняя «качка» уходит в прошлое. Судить об этом возможно, как по лакмусовой бумажке, по отношению в обществе к феномену Александра Невского. В 90-е годы было закончено оказавшееся невероятно трудным восстановление храма на месте Невской битвы. К юбилею Санкт-Петербурга эта территория просто преобразилась, здесь наконец-то появился памятник прославленному полководцу, все чаще сюда приезжают туристические группы. Но не это главное.

Важней другое, все заметнее поворот в курсе власти и СМИ, которые, как известно тоже являются своего рода властью. В 2008 г. на экраны вышла очередная, уже третья по счету экранизация биографии Ярославича «Александр. Невская битва» (2008, режиссер И.Е. Калёнов), фильм получился высокохудожественный и, что также существенно, в отличие от десятков подделок 90-х годов, патристичный. Все более популярной фигурой становится князь и в широких слоях российского общества. В этом смысле важной вехой стал проект телеканала «Россия» «Имя России». Изначально многие восприняли это мероприятие как очередное заказное шоу, и даже хуже того, как мильную оперу, с заранее известным концом. Однако чем дальше, тем очевидней становилось то, что мы присутствуем при каком-то очень важном, можно сказать знаковом событии. Особенно обращает на себя факт того, что победитель этого «соревнования»

деятели прошлого — Александр Невский — был определен самой аудиторией телезрителей. Это неоспоримое свидетельство того, что отношение к Александру Невскому в обществе более чем положительное, что дает авторам настоящих строк повод для пока еще очень осторожного, но все же оптимизма.

ЛИТЕРАТУРА

- Антокольский П. Г. 2002. Мощи Александра Невского. *Александр Невский. Проблемы истории России. Тезисы научно-практической конференции*. Усть-Ижора: 98-105.
- Крадин Н. Н. 2004. *Политическая антропология*. М.: Логос.
- Кривошеев Ю. В., Дворниченко А. Ю. 1994. Изгнание науки: российская историография в 20-х – начале 30-х годов XX в.. *Отечественная история*. № 3: 143-158.
- Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. 2009. *Александр Невский: эпоха и память. Исторические очерки*. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та.
- Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. 2010. К истории создания кинофильма «Александр Невский». *Новейшая история России: время, события, люди (к 75-летию почетного профессора СПбГУ Г. Л. Соболева)*. СПб.: 281—295.
- Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. 2002. «Праздненство Александру Невскому отправлять повсюгодно везде...». *Александр Невский. Проблемы истории России. Тезисы научно-практической конференции*. Усть-Ижора: 12-21.
- Мягков М. Ю., Асташин Н. А. 2008. Образ Александра Невского в годы Великой Отечественной войны. *Исторические ориентиры Российской государственности. Материалы общественно-научной конференции (4—5 декабря 2007 г. в МГИМО (У) при МВД России)*. М.: 179-200.
- Очерки истории СССР. Период феодализма IX—XV вв.*: В 2 ч. 1953. Ч. I. М: Изд-во АН СССР.
- Павленко Н. И. 1994. *Петр Великий*. М.: Мысль.
- Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания Российской империи*. 1876. Т. IV. 1724-1725 января 28. СПб.
- Соколов Р. А. 2004. Александр Невский: панорама новейших мнений. *Клепинин Н. А. Святой и благоверный великий князь Алек-*

сандр Невский / Отв. ред. Ю. В. Кривошеев, Ю. А. Сандулов. СПб.: 252-281.

Сушко А. М. 2009. Наметки к биографии. *Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. Александр Невский. Эпоха и память. Исторические очерки.* СПб.: 231-236.

Тихомиров М. Н. 1975. Издевка над историей. *Тихомиров М. Н. Древняя Русь.* М.: 375-380.

Федотов А. С. 2004. Храмы во имя святого благоверного князя Александра Невского в XIX—XX вв.. *Клепинин Н. А. Святой благоверный и великий князь Александр Невский* / Отв. ред. Ю. В. Кривошеев, Ю. А. Сандулов. СПб.: 233—251.

Федотов Г. П. 1990. Карл Маркс и Александр Невский. *Вопросы философии.* № 8: 154-156.

Фроянов И. Я. 1990. *Киевская Русь. Очерки отечественной историографии.* Л.: Изд-во Ленинградского ун-та.

Хитров М. 2001. Святой благоверный великий князь Александр Невский (подробное жизнеописание). *Святой Александр Невский – защитник земли Русской.* М.: 113-445.

Шенк Ф. Б. 2007. Александр Невский в русской культурной памяти. Святой, правитель, национальный герой. (1263-2000). М.: Новое литературное обозрение.

**ТАТАРО-МОНГОЛЫ В ФИЛЬМЕ
С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙНА «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»:
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРАДИГМЫ СОВЕТСКОЙ ПРЕДВОЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ И НАУКИ**

Изучение историографии тех или иных исторических проблем подразумевает возможность использования разнообразной методологии. При этом вполне логичным и правильным кажется обращать внимание не только на уровень развития собственно научных исследований в разные эпохи, но и дополнять предмет историографических штудий вопросом о степени проникновения в общество исторических знаний и даже более того, уровнем интереса общества к историческим знаниям. Как справедливо отмечал С.О. Шмидт, это может помочь в оценке общего уровня развития исторической науки. Общеизвестно, что в конце 30-х годов XX в. всплеск интереса к деятельности Александра Невского был непосредственно связан с появлением на экране известной кинокартины С.М. Эйзенштейна. При этом “монгольские сюжеты” в фильме почти полностью отсутствовали. В тоже время первоначально режиссер планировал уделить намного большее внимание этой теме, которая по независящим от него причинам так и осталась “за кадром”. Опираясь на архивные данные, рассмотрим этот вопрос более подробно.

Первоначальный сценарий, автором которого был крупный советский писатель П. А. Павленко, попал к режиссеру летом 1937 г. (см.: РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 410). 12 августа 1937 г. он официально подтвердил согласие снимать фильм на основе именно этого сценария. На клочке бумаге, вероятно, для памяти, С. М. Эйзенштейн записал карандашом: “Окончательно решил ставить Ал[ексан]дра Невского послал об этом записку в дирекцию” (см.: РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 428: 2). Тот первый сценарий представляет собой 23 листа машинописного текста, который в дальнейшем претерпел существенные коррективы, хотя уже здесь, в общем и целом, была определена сюжетная линия будущего фильма, привязанная главным образом к Ледовому побоищу.

Ограничиться только лишь представленным ему готовым произведением С.М. Эйзенштейн, разумеется, не мог. У него появлялись новые идеи, и П.А. Павленко с готовностью к ним прислушивался. В результате появляется новый вариант, намного более объемный (63 листа), написанный уже в соавторстве (см.: РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 411); но и этот текст впоследствии был несколько доработан, а затем передан 15 ноября 1937 г. в сценарный отдел ГУКа (см.: РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 412) и опубликован под заглавием “Русь” в журнале “Знамя” (Павленко П.А., Эйзенштейн С.М. 1937)¹ для последующего широкого обсуждения (Коршунова В.П. 1971. О работе над сценарием подробно см.: Юренев Р.Н. 1988: 136—143).

В повествовании теперь более ярко прослеживалась «монгольская» тематика. Для этого существовал, как субъективный (о нем ниже) фактор, так и объективная, связанная с общим состоянием исторических исследований той эпохи, причина. В 1937 г., то есть как раз во время создания сценария, была издана монография Б.Д. Грекова и А.Ю. Якубовского «Золотая Орда». Книга состояла из двух разделов: «Золотая Орда» и «Золотая Орда и Русь» (см.: Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. 1937). Ученые прежде всего обратились к высказанным К. Марксом суждениям, по поводу ордынской зависимости. Как известно, классик крайне отрицательно оценивал последствия влияния монголов, это, в свою очередь, определило и окончательные выводы авторов. Заметим, что подобная оценка русско-монгольских отношений оказала воздействие на все последующее развитие советской историографии (подробно см.: Кривошеев Ю.В. 2003: 98—101).

Потому в этом смысле внесение соответствующих корректив в первоначальный текст П.А. Павленко было вполне оправдано: читатель теперь не мог забыть о вынужденном подчинении Орде в ту эпоху. В частности, об этом говорилось буквально в первой же строке «Предисловия», которое теперь предваряло сам сценарий. Там же речь шла о преемственности от Александра Невского политики Дмитрия Донского, сумевшего разгромить Орду в 1380 г. Возмож-

¹ Заметим, что нумерация вариантов сценария носит условный характер. Текст его постоянно дорабатывался, о чем осведомлены были лишь заинтересованные лица. Поэтому та же публикация в «Знамени» содержала подстрочное примечание «1-й вариант», что указывало на возможность внесения изменений в уже изданный текст.

но, в определенной степени на С.М. Эйзенштейна оказала влияние книга Н.А. Клепинина, изданная в Париже еще в 1927 г., к которой, по словам Р.Н. Юренева, режиссер также проявил интерес. Автор этой работы — близкий к кругам евразийцев историк — придавал, особенное значение дипломатической деятельности князя в Орде. По мнению Н.А. Клепинина «...политика по отношению к татарам была его (Александра. — *Авт.*) самым великим, но и самым тяжелым историческим делом, послужившим соблазном для многих, но выведшим Россию из развалин на правильный исторический путь» (Клепинин Н.А. 2004: 95). Осуществление подобного политического курса было очень трудным, потребовавшим глубоких переживаний, но единственно верным и исторически оправданным решением (Клепинин Н.А. 2004: 95—100).

Проследим, в чем конкретно выразилось введение эпизодов с участием ордынцев. Во-первых, в новом сценарии получила почти законченный вид сцена конфликта рыбаков с татарскими воинами у Плещеева озера. Прежде имелось лишь упоминание «проходящего ордынца», вступившего в беседу с Александром. Теперь же появился «ордынский чиновник со свитой на конях». Один из монголов хлестнул слишком разговорчивого молодого дружинника Савву нагайкой за строптивый ответ и далее все идет примерно так, как и было снято в картине. Кроме того, в действие был введен хан. Он внимательно следил за происходящим на Руси и велел своему «эmissару» наградить Ярославича в случае победы в решающем сражении над немцами, или привести его на аркане в случае поражения. Хану предательски жалуются на Александра завидующие ему «беспрестольные, “безработные” князьки, искали хороших военных заработков» Иванко и Василько (Павленко П.А., Эйзенштейн С.М. 1937: 107—108, 105, 119).

Но самая главная особенность данного варианта сценария содержалась в финале. Он полностью отличался от того, что был в итоге представлен в фильме. После победы на Чудском озере и возвращения в Новгород¹ сценарий не заканчивался. Как раз в это время в город въезжает посол из Орды. Он дарит князю перстень в знак ханской милости и передает приказ немедленно приехать. Александр едет...

¹ Примечательно, что в сценарии князь триумфально входил именно в Новгород, а не в Псков, как должно было быть согласно историческим реалиям.

В ставке хана Ярославич выполняет все предъявленные ему уни- зительные требования: проходит меж очистительных костров, отдает меч и шлем, хотя при этом и «сжимает скулы», и даже «опускается на колени» перед шатром монгольского правителя, и лишь уже в самой юрте на прямой вопрос, хочет ли он противостоять Орде, отвечает: «Того хочу, хан, чего Русь захочет. А пошлет против тебя, – пойду». Но, несмотря на эту дерзость, получает прощение за храбрость. Однако там же в Орде Александр был отравлен (яд втирается в края его шлема) и на обратном пути умирает. Причем, смерть наступает на Куликовом поле, и испускавшему дух князю, авторы вложили в уста восклицание: «Вот тут бы и бить [татар]. Хорошо поле, радостно!» (Павленко П.А., Эйзенштейн С.М. 1937: 133—136). Но уже сразу после этого те же слова произносит Дмитрий Донской, его войско под стягами с изображением Александра громит полчища Мамай.

Конечно, подобного рода сюжет целиком и полностью вымышлен. Князь прожил до 1263 г. и действительно умер на обратном пути из Орды, но не на Дону, через который он вообще вряд ли когда-нибудь проходил, а в Городце-на-Волге. Ничего не известно и о насильственном характере его кончины — по этому поводу можно лишь строить гипотетические предположения. Кроме того, была и еще одна неизбежная в случае такого вольного отношения с исторической хронологией неточность. В 1242 г. ханом был Бату, в 1263 г. – Берке. Авторы, выходя из положения, не мудрствуя лукаво, объединили двух разных персонажей в один, дав хану имя Берке.

Представляется, что «монгольские» дополнения в текст были внесены прежде всего под влиянием С.М. Эйзенштейна. Позже он напишет строки, в которых можно найти объяснение этому. Речь идет о легенде («кажется из персидского народного эпоса»), которая запала в душу режиссеру, в ней рассказывалось «о некоем силаче, будущем богатыре, с детства имевшем призвание к свершению чего-то очень великого. В целях этого будущего свершения он не дает себе права расходовать свои силы до полного достижения их расцвета. Он идет на базар, и на него наседают, кажется, кожевенники. “Поклонись нам в ноги и ляг в базарную грязь, чтобы мы могли пройти по тебе”, — издеваясь, кричат они ему. И будущий витязь, сберегая силы для будущего, покорно стелется под ноги их — в грязь.

Как полагается, это, кажется, происходит до трех раз. Дальше витязь мужает, вступает в совершенное владение своими неслыханны-

ми силами и совершает весь положенный ему набор неслыханных подвигов.» И далее С.М. Эйзенштейн добавляет: «Этот эпизод с кожевенниками, неслыханное самообладание и жертва всем, вплоть до самолюбия, в целях достижения и осуществления изначально положенного и возложенного, меня ужасно пленил.» В том же месте режиссер прямо писал о том, что в сценарии, опубликованном в «Знамени», «этот мотив отчетливо проступает» (Эйзенштейн С.М. 1997: 288—289). По его мнению, в фильме следовало отчетливо «дать понять», «что ярлык хана даст Александру возможность собрать под собою всю Русь с тем, чтобы повести всех супротив Орды» (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 431: 28). Это было причиной, по которой князь с готовностью принимал бесчестье.

О том, что инициатива включения финала со смертью Александра Невского исходила от С. М. Эйзенштейна, свидетельствует и то, что именно он подготовил «Примечания» к переданному в сценарный отдел ГУКа тексту. В них объяснялись мотивы, по которым данный сюжет был введен в повествование.

«Авторами сознательно сделано одно историческое отступление...

Это отступление вызвано тем, что сценарий показывает не хронологию жизни и деяний Александра Невского, а имеет темой объединение русских вокруг идеи Руси и русской народности, показанной преимущественно на борьбе с интервентами.

Для этой темы последний эпизод в Орде необходим, как заключительный аккорд действий самого Александра по линии, начатой Невской победой, идущей через Ледовое побоище и завершенной его правнуком Дмитрием Донским в Куликовской битве, даваемой в конце.

В таком понимании темы, последние эпизоды могут композиционно непосредственно примыкать к победе на Чудском озере, с которой они связаны не хронологически, а тематически.» (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 412: 63—64). В архиве помимо этого сохранился черновик примечаний и печатный текст, в котором количество поездок Александра в Орду указано более точно — четыре (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 412: 65—68, 69).

Однако отстаивать подобный подход режиссеру предстояло не только перед коллегами, но и перед специалистами-историками, приглашенными информационно-методическим отделом «Мосфильма»

9 февраля 1938 г. на специальное заседание, посвященное обсуждению картины (стенограмма его к счастью сохранилась, как сохранились и некоторые письменные отзывы, данные впоследствии некоторыми из участников). Среди присутствующих были А.В. Арциховский, Ю.В. Готье, А.А. Савич, В.Е. Сыроечковский, Н.П. Грацианский. Не останавливаясь на весьма любопытных подробностях той весьма оживленной дискуссии, скажем лишь о мнениях, высказанных по поводу столь спорного с точки зрения исторической достоверности финала.

Разумеется, историки вполне предсказуемо выступили почти единым фронтом против подобного художественного приема. Причем, А.А. Савич и В.Е. Сыроечковский были категорически против вольного отношения с историей и географией (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 462: 6—7; РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 460: 13), Н.П. Грацианский не допускал возможности отравления князя в Орде, называя его «полной бессмыслицей», так как Ярославич являлся не противником Сарайского хана, а, напротив, его союзником в противостоянии с центральным монгольским правительством (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 462: 12). С.М. Эйзенштейн вспоминал, что на совещание звучало и предположение о смертельной болезни князя: «Помню, как на обсуждении сценария об Александре Невском историки судили и рядили по поводу гипотезы об его отравлении в ставке хана. “На мой взгляд, — сказал кто-то из них, — дело было проще. Александр Ярославич просто страдал туберкулезом. И надо думать, что в связи с затруднительной поездкой процесс обострился...”» (Эйзенштейн С.М. 1997: 193)¹.

Мягче других коллег высказывался по поводу драматической сцены на Куликовом поле Ю.В. Готье, полагавший, что «этот момент очень эффектный», и саму сцену, полагал ученый, «можно дать», «но не в связи с его (Александра. — *Авт.*) смертью» (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 462: 9). В общем, историк был убежден, что «эффектный конец, связанный с Куликовской битвой» «может быть» «сохранен», но «как-то иначе» (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 460: 9). К тому же это ввод «ордынских сцен» отчасти решал еще одну

¹ Действительно, Ю.В. Готье говорил: «Мы знаем, что Александр умер рано и у меня всегда такое впечатление, не было ли у него туберкулеза или какой-нибудь другой болезни в этом роде» (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 462: 8—9).

проблему, о которой говорил Ю.В. Готье. А именно, отсутствие в образе князя такой важной составляющей, как деятельность на дипломатическом поприще. Это было, по мнению исследователя, серьезным недостатком сценария. Потому в дополнение к визиту в Сарай он предлагал еще как-нибудь показать события переписи, когда Ярославич под давлением обстоятельств принял трудное, но единственно верное решение: настоял на включении Новгорода в «число» (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 462: 8–9).

И только лишь А.В. Арциховский, пожалуй, единственный из профессиональных историков, в полной мере оценил авторский замысел, показавшийся ему «вопреки многим высказываниям на заседании, допустимой художественной вольностью» (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 460: 6).

Высказанные учеными замечания, как настоятельные рекомендации киноначальства, не повлияли на решимость режиссера осветить «монгольскую тематику». Приступив к составлению режиссерских сценариев, теперь уже совместно с Э.К. Тиссэ и Д.И. Васильевым он стремился еще больше развить ордынские сюжеты.

Действие теперь должно было начинаться сценами атаки татарской конницы, избиением беззащитного мирного населения и жестокой расправой над пленными: «Лежат на земле связанные пленные. На них накатывают бревна. Между бревнами лица пленников. На бревна накатывают ковры... Бревна, покрытые коврами, расставлены блюда с пищей. Масса татарских военачальников накатывается на помост и грузно садится вокруг блюд с пищей» (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 419: 1. — Почти идентичный текст см.: РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 420: 6—7; РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 421: 5—6). Эпизод столь жестокой казни был навеян реальными историческими событиями 1223 г., когда после победы на реке Калке татарские воины именно таким способом умертвили попавших к ним в плен русских князей (НПЛ 1950: 63, 267). С.М. Эйзенштейн делает даже соответствующие эскизы будущих кадров, на которых эта жуткая экзекуция представлена весьма реалистично (отчетливо видны и бревна, и лица между ними) (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 435: 1).

С другой стороны, финал картины, связанный с отравлением князя, тоже был несколько расширен, при этом постановщики рассматривали разные возможности построения его сюжетной линии. Не ставя в это связи задачи провести детальное сравнение всех вариан-

тов сценария, обратим внимание лишь на несколько содержащихся в них наиболее примечательных моментов.

Во-первых, поездке князя в Орду теперь предшествовало столкновение народа с ордынским посольством (происходило оно либо в Пскове (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 419: 37—38), либо на пути, где ордынец повстречал «князя Александра Невского крестьянское ополчение» (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 420: 70—71; РГАЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 421: 70—71)). (Рассматривался даже вариант «убийства» разгневанной толпой ханского посла Хубилая (?!).) Во-вторых, Александра по пути в Орду должны были догонять покинувшие молодых жен Гаврило Олексич и Василий Буслаев (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 421: 42—43) и, соответственно, они принимали участие в дальнейших драматических событиях. В-третьих, более рельефно представлена была деятельность князя в Орде. В частности, показан выкуп им пленных соотечественников (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 419: 50). У С.М. Эйзенштейна имелась мысль несколько развить этот эпизод, об этом свидетельствуют одна из его заметок, датированная еще 30 ноября 1937 г.: «При уходе [русских] пленных молодой монгол тоже тянется. Его или нельзя брать и он остается или Ал[ексан]др “за одно” и его забирает». Там же представлен и эскиз будущего кадра, на котором изображен закованный в колодку монгол с очень жалобным видом (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 433: 32). При этом в полной мере сохранялась и концовка с отравлением Александра Невского и битвой Дмитрия Донского на Куликовом поле. Режиссер обдумывал особенности изображения шатра ордынского властителя, он должен был выглядеть следующим образом: «Весь... в складках-проходах», «При гневe хана из 75 % щелей вырываются вооруженные саблями» (РГАЛИ Ф. 1923. Оп. 1. Д. 433: 8). А сцена переноса тела почившего князя должна была сопровождаться титром, текст которого явно заимствован из Жития Александра Невского: «Закатилось солнце земли Русской» (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Д. 431: 25)¹.

¹ В первой редакции Жития в уста митрополита Кирилла, узнавшего о кончине Ярославича, был вложен следующий скорбный возглас: «Чада моя, разумеите, яко уже заиде солнце земли Суждольской! Уже бо не обрящется таковой князь ни единъ в земли Суждальстей!» (Житие 1995: 195). В более позднее время Суздальская земля была «заменена» на Русскую. Учитывая это, мысль о том, что данная фраза взята из некролога А.С. Пушкину, на наш взгляд, является неверной (Юрнев Р.Н. 1988: 141).

Однако как бы то ни было, итог дискуссии подвели не историки или кинематографисты, а лично И.В. Сталин, внимательно следивший за работой над картиной, и по сути, ставший ее первым зрителем. Позже режиссер будет вспоминать события тех лет с некоторой горечью: «Не моей рукой, была проведена карандашом красная черта вслед за сценой разгрома немецких полчищ. “Сценарий кончается здесь – были мне переданы слова. – Не может умирать такой хороший князь.”» (Эйзенштейн С.М. 1964: 500.)¹ Приведенные выше строки не предназначались для посторонних глаз, но и на публике, режиссер сетовал на то, что отказ от «ордынских эпизодов» не позволил показать «шекспировский поворот в характере... Александра Невского» (Эйзенштейн С.М. 1971: 119). Видимо, это было для постановщика достаточно серьезным ударом. Однако так распорядились обстоятельства.

Думается, что все же в данном случае все сложилось к лучшему. Ведь выдуманный, прямо противоречащий действительности финал, едва ли поднял бы качество фильма. А с течением времени и вовсе придал бы этой драматической сцене комический (в силу явного неправдоподобия) оттенок, что совершенно свело бы на нет изначально задуманный «шекспировский поворот». Историки и без того подчас критически проходятся по соотношению советской прессой тех лет побед Александра Невского и Дмитрия Донского, называя утверждение об их связи «анахроническим» (Бранденбергер Д.Л. 2009: 109) (что, конечно, является «перегибом» в другую сторону). И не случайно Н.К. Черкасов был уверен в том, что завершение картины триумфом «гораздо значительнее. Образ Александра Невского живет в памяти народной как образ великого патриота своей Родины, ее легендарного героя. Став свидетелями его ратных подвигов, зрители должны были расстаться с ним в момент его высшего торжества.» (Черкасов Н.К. 1953: 128.) Потому, признавая пагубность диктата по отношению к творческой личности, правильным будет признать и *объективную* правоту того, чья рука держала красный карандаш.

¹ Л.М. Рошаль обнаружил в архивном фонде Главного управления по производству художественных фильмов, находящемуся в настоящее время в РГАЛИ, экземпляр сценария «Александр Невский», в котором «ордынская» часть была отчеркнута красным карандашом (Рошаль Л.М. 2007: 282).

ЛИТЕРАТУРА

- Бранденбергер Д. Л. 2009. *Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931—1956)*. СПб.: Академический проект, ДНК.
- Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. 1937. *Золотая Орда. Очерк истории улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII—XIV вв.* Л.: Соцгиз.
- Житие (Житие Александра Невского) 1995. Первая редакция. 1280-е годы. *Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы* / Под ред. Ю. К. Бегунова и А. Н. Кирпичникова. СПб.: 190—203
- Клепинин Н. А. 2004. *Святой и благоверный великий князь Александр Невский*. СПб.: Алетейя.
- Коршунова В. П. 1971. Комментарии. Александр Невский. *Эйзенштейн С. М. Избр. произведения. В 6 т.* Т. VI. М.: 545—547.
- Кривошеев Ю. В. 2003. *Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII—XIV вв.* СПб.: Изд-во С-Петербургского университета.
- НПЛ (Новгородская Первая летопись Старшего и Младшего изводов) 1950. М.; Л.: Изд-во АН СССР.
- Павленко П. А., Эйзенштейн С. М. 1937. Русь. Литературный сценарий. *Знамя*. № 12:
- РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства)
- Рошаль Л. М. 2007. *Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд. Двойной портрет на фоне эпохи*. М.: Материк.
- Черкасов Н. К. 1953. *Записки советского актера*. М.: Искусство.
- Эйзенштейн С. М. 1964. *Избр. произв. В 6 т.* Т. I. М.: Искусство.
- Эйзенштейн С. М. 1971. *Избр. произведения. В 6 т.* Т. V. М.: Искусство.
- Эйзенштейн С. М. 1997. *Мемуары*. Т. II. М.: Газета “Труд”; Музей кино.
- Юренев Р. Н. 1988. *Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Ч. 2: 1930—1948*. М.: Искусство.

«ЧЕЛОВЕК ПОЛИТИЧЕСКИЙ» МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИЕЙ И АНТРОПОЛОГИЕЙ ПОЛИТИКИ

Обращение к опыту становления российской политологии и некоторых связанных с ее полем дисциплин позволяет зафиксировать ряд противоречивых моментов. Более глубокий анализ подобных противоречий дает основания утверждать, что они имеют значение не только для нашей еще не вполне «ставшей на ноги» отечественной науки, но и для всего международного сообщества политических наук в целом. Как представляется, наиболее показательной для существа рассматриваемой проблемы является ситуация, складывающаяся в отношении *политической антропологии*. Согласно мировой научной традиции, заложенной в период между 1940–1960-ми гг., данная дисциплина рассматривалась как часть *социально-культурной антропологии*, исследующая формирование властных отношений и институтов в доиндустриальных обществах. Наличие некоторых разногласий по конкретным вопросам не повлияло на представление о политической антропологии как конкретно-научной, но никак не философской дисциплины (Эванс-Причард 1985; Balandier 1967). Несмотря на свое достаточно позднее оформление эта дисциплина успела получить признание и в нашей советской науке, но как *потестарно-политическая* этнографии (Куббель 1979; 1988). Разразившаяся же вскоре в нашей стране «перестройка» радикально сказалась на сложившемся отечественном социально-гуманитарном знании и формирующихся в нем новых дисциплинах.

Общие перемены сначала позволили признать последние научные направления, ранее остававшихся чуждыми нашему сообществу. Первой на рубеже 1980–1990-х гг. заявила о своем праве на существование *политическая наука*. К середине 1990-х гг. проявила себя и *социальная антропология*. В силу сложившихся обстоятельств уже неопределенность взаимоотношений между новыми и обновленными областями знаний, той же антропологии, открывала благоприятные возможности для разного рода «свободы творчества» (Ячин 1998). Кроме того, прежняя оторванность от существующей общими-

ровой традиции создавала иллюзию возможности полного произвола в выборе названия и определения предмета исследования вновь открываемых дисциплин. Поэтому мы имеем ситуацию, когда, с одной стороны, в современной российской этнологии получила продолжение заложенная Л.Е. Куббелем традиция исследования *потестарно-политических* явлений (например, Попов 1997). Тем не менее, у нас в стране стала также развиваться и собственно *антропологическая* версия политической антропологии (Крадин 1997; Тишков 2000). Однако, данное направление, вероятно, в силу более ранней институционализации политической науки проходит большей частью по ее ведомству. В дополнение к указанным вариантам отечественными авторами была предложена еще и очень высоко *философская* редакция политической антропологии (Ильин, Панарин, Бадовский 1995).

Представленный плюрализм трактовок содержания и смысла рассматриваемой дисциплины можно оценить по-разному. Например, списать его на счет недостаточной компетентности некоторых авторов. Но как тогда быть с еще одной примечательной тенденцией в развитии политических наук. Позволю себе напомнить, что в 1959 г. известный классик политологии Д. Истон утверждал, политическая антропология не может существовать, поскольку ратующие за нее специалисты не смогли показать как следует выделять политическую систему среди других общественных подсистем (цит. по Lewellen 1992: 1). Другой же известный американский политолог Р. Лейн призывал к обсуждению идеи «человека политического». Внимание автора в его объемной работе было сфокусировано на системах *основных верований человека*, в формировании которых важная роль отводилась *политической социализации* (Lane 1972: 12). В соответствии с подобными установками автор полагал, что «*политическая личность* может быть определена как ...*организованный, динамический ответ на политические стимулы*». (Ibid.: 17). Идея постепенно получила признание и среди других специалистов (Вайзе 1993; Цимбурский 1995). Конечно, и в данном случае можно усмотреть только еще один пример трансформирования для своих целей ранее появившейся модели *человека экономического*. Но этот концепт смог послужить основой и для собственно философского его прочтения (Панарин 1994).

Значение дебатов о политическом человеке можно правильно понять в общем контексте с появившимися призывами к исследованию таких сюжетов, как «субъективная сторона политики», «человеческое

измерение политики» и т.д. Основной причиной, подтолкнувшей политологическое сообщество обратить свое внимание на роль *человеческой субъективности* в изучаемых им явлениях, можно считать постмодернистский вызов 1970-х гг. Ведь теоретики постмодернизма буквально ткнули многих представителей социально-гуманитарного знания в целом, претендовавших на объективность своих занятий, в этот ворох проблем, обусловленный особенностями *восприятия человеком окружающей* (объективной) *реальности*. А ведь еще в середине 1940-х гг. известный американский антрополог Кл. Клакхон предупреждал: «Тот, кто занимается *человеческими отношениями*, должен знать столько же о *глазе*, который *смотрит*, сколько и о *предмете*, на который *смотрят*» (Клакхон 1998: 32). Не удивительно, что разные дисциплины социально-гуманитарного цикла стали проявлять стремление более углубленно заняться проблемой влияния свойств и качеств человека на состояние своих сфер. В этом отношении очень примечательным представляется призыв Р. Лейна «*защитить политическую науку от нее самой*». Роль спасателя он отводил психологии, которая должна была уберечь рассматриваемую отрасль от ошибок, например, связанных с суждением о том, что столь важная категория, как *интересы*, являются сугубо *рациональными и материалистическими* (Lane 2003).

В целом же наметившиеся тенденции к активному использованию аппарата психологии для решения политических проблем, учету роли в политике фактора культуры, реальных индивидов, “новых социальных общностей”, гендерных характеристик и т.д. укладываются в общий процесс *антропологического поворота* или *антропологизации научного знания* (Кузнецов 1999). Столь примечательную перемену в настроениях сообщества зафиксировал, в частности, политический психолог В. Одайник: «В процессе моих занятий мне постоянно приходилось сталкиваться с тем фактом, что *любая политическая и социальная теория, любая концепция общества, формы правления и справедливости* покоятся, как это, в конечном счете, выясняется, на *определенном понимании человеческой природы*» (Одайник 1996).

Казалось бы, разворачивающаяся *антропологизация* должна была знаменовать новый «звездный час» для антропологии, или, по крайней мере, *общей* (генеральной) *антропологии* как *комплексной науки о человеке*. Однако, как это ни выглядит парадоксальным, в данных «благоприятных обстоятельствах» сама антропологическая наука к

концу XX в. оставалась в состоянии острейшего кризиса, поскольку под ударами постмодернистского вызова была поставлена под сомнение научность самих ее оснований. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что с человеком и в науке о человеке не все было благополучно. Формула – «*сегодня мы знаем очень много о человеке, но не знаем, что же такое человек*» – наглядно представляет общую ситуацию. А вскоре на антропологию обрушилась новая напасть.

В конце 1960-х гг. как-то незаметно в Великобритании и США возникло новое направление с непретенциозным названием *исследования культуры* (cultural studies). Когда антропологи спохватились, то оказалось, что они уже утратили монополию на изучение культуры. Более того, как прокомментировал эту ситуацию П. Вейд: «Пока антропологи томились в своей башне из слоновой кости, культурные исследования добились признания как направление *высокого интеллектуального уровня*» (Wade 1996: 4). В конце концов, пострадавшей стороне пришлось даже провести дебаты на тему: *Станут ли культурные исследования смертью для антропологии?* Принявший в них участие британский антрополог Д. Гледхил вполне обосновано причину произошедшего успешного вторжения «чужаков» в поле своей дисциплины связывал с тем, что его наука больше занималась просто «*другими*», а культурные исследования оказались сфокусированными на проблемах «*угнетенных и маргинализированных*» (Gledhill 1996: 39). В более резких оценках оппонентов антропологи вообще представлялись работающими «с людьми, оставшимися в *состоянии домодерна*, а потому они заняты «*поисками утраченного времени*» (Hobart 1996: 11). Не удивительно, как полагал этот же автор, что в современных условиях: «Строго говоря, исследования культуры не могут стать смертью антропологии, потому что, как мы знаем, она уже мертва» (Ibid.). Следует отметить, что антропология и раньше уже подверглась обвинениям в пособничестве колониализму, сексизму, расизму и этноцентризму (Huizer, Mannheim 1979).

Конечно, антропологи прилагали определенные усилия, чтобы отстоять значимость своей дисциплины (Годелье 2008). Попытку отстоять свою позицию предприняли и политические антропологи (Крадин 2011). Они стали активно заявлять о своих претензиях на изучение современности. У некоторых авторов, правда, такой «меседж» представлен в неявной форме. Например: «... политическую антропологию можно определить как антропологическую дисципли-

ну, изучающую *народы мира* с целью выявления *особенностей политической организации в исторической динамике*» (Крадин., 2004: 14). Другие же специалисты высказываются более определенно: «В последнее время антропологи активно занимаются проблемами политической интеграции (или дезинтеграции) *племенных объединений* в формирующиеся *нации*, а также такими *формальными политическими структурами*, как *партии, правительственные бюрократии* и даже *транснациональные корпорации*» (Lewellen 1992: 183). Не менее показательны и такие заявления: «... политическая антропология, соответствующая миру конца двадцатого столетия, должна стремиться к соответствию локальному и глобальному, но в более радикальном виде, чем это практиковалось ранее» (Gledhill 2000: 7). Конечно, следует признать, что реальная практика политической антропологии позволяла найти убедительные аргументы в пользу приведенных деклараций. Тот же Гледхил имел основания утверждать: «Существуют все же обстоятельства, при которых антропологи могут совершать политически значимые действия, особенно, если они будут признаны как лица, способные говорить с властью в силу своего образования, иностранного происхождения или же сочетания данных двух обстоятельств» (Ibid.: 235). Широкую известность в качестве примера возможностей данной дисциплины получили некоторые исследования по конкретным проблемам. Среди них можно отметить ставшее хрестоматийным исследование американского антрополога Дж. Везефорда «Племя на холме», посвященное Конгрессу США (Weatherford, 1981).

Но, признавая значение приведенных аргументов, хотелось бы обратить внимание и на появление работ с показательным названием «Антропология политики» (The Anthropology of Politics 2002). Особую приверженность к такому названию демонстрирует исследовательница Дж. Винсент. В одной из публикаций она представила свою позицию следующим образом: «Антропология политики обладает некоторыми особыми характеристиками, которые отличают ее от других социальных и гуманитарных дисциплин, изучающих царство политики... она основывается на *полевых исследованиях* своих специалистов, а также *анализе и синтезе*, обобщающих результаты *других исследований подобного рода*» (Nugent, J. Vincent 2004: 1). В целом же по своему содержанию работы с названием *Антропология политики* пока не очень отличаются от публикаций по политической антропологии. Однако,

270

как представляется, сам факт появления исследований с новым вариантом названия очень симптоматичен.

Сегодня, как показывают те же призывы к анализу человека политического, необходимость для *политологии* своей собственной отрасли, которая должна заниматься *проблемой человека* в данной сфере, т.е. варианта *антропологии*, становится все более очевидной. Но может, быть, речь тогда должна просто идти о *расширении поля* своих исследований *политической антропологией*? В свете обстоятельств, связанных с возникновением культурных исследований, на поставленный вопрос можно дать только отрицательный ответ. Камнем преткновения в данном случае явились кардинальные перемены в мире, обусловленные *научно-технической революцией, революцией прав человека, наконец, глобализацией*, которые преобразовали радикальным образом и сферу культуры. Произошедшие изменения были осмыслены в рамках теории *постмодерна*, провозгласившей наступление *новой исторической эпохи*.

В силу условий своей институционализации и характера решаемых задач антропология оказалась действительно не готовой к исследованию активного внедрения политики в сферы культуры. Результатом развернувшейся политизации культуры стали такие ранее неизвестные явления, как мультикультурализм, интеркультурализм, массовая культура, культурная политика, «мягкая сила» и т.д. Поэтому и возникла необходимость в создании новой отрасли науки, в качестве которой выступили исследования культуры. Но точно также существенные трансформации в новых условиях постмодерна претерпела и политика. Она теперь превратилась в плюрализованную сферу, в которой возникли свои новые направления такие, как (наряду с уже указанными) политика признания, позитивного действия, положительной дискриминации, экологическая политика, этническая политика и др. Существенные преобразования претерпели также сами политические институты и отношения в результате разворачивающейся виртуализации данной сферы. Поэтому и роль человека в политике постмодерна, конечно же, отличается от практиковавшихся на предшествующей стадии образцов.

В пользу того, что между современной политикой и полем, осваиваемым политической антропологией, существует разрыв, свидетельствует и практика еще одной отрасли, известной как *историческая антропология*. Однако одна из первых работ, с которой связывает-

ся ее формирование, уже была посвящена некоторым особенностям функционирования власти в эпоху Средних веков (Блок 1998). Это почин исследования политических явлений определенных исторических периодов поддерживают и современные авторы. В нашей стране проблемами данного рода занимается созданная А.Я. Гуревичем группа, издающая, в частности, известный альманах *Одиссей*. Границей между двумя антропологическими дисциплинами здесь чаще всего рассматривается характер используемых источников. У политических антропологов – в основном используются полевые материалы, исторические антропологи работают преимущественно с письменными текстами. В рамках же концепции хронополитического измерения политики М.В. Ильина, отношения рассматриваемых дисциплин могут быть определены следующим образом. Сначала должна быть поставлена политическая антропология, занимающаяся преимущественно, проблемами власти и властных отношений в, так называемых традиционных, общностях и «ранних государствах». Затем следует историческая антропология, связанная с анализом политики в государствах домодерна и раннего модерна. Однако, политические институты и отношения позднего модерна и постмодерна остаются в ведении политической науки. Кто же занимается проблемами человека на данном этапе?

Обозначившийся вопрос не был столь очевидным ранее, так как в условиях реального времени («современности») в нашем глобализированном мире взаимосвязаны между собой общности со стадийно различными формами политической организации (Ильин 2008, Коломер 2008). Нормальным моментом подобного взаимодействия становится *заимствования* в различных областях, в том числе и политической, *стандартов и норм*, получивших статус *эталонности*. В результате же мы имеем возникновение различных *симулякров* («превращенных сущностей»), скрывающих реальное положение вещей. Поэтому произведенная *деконструкция* позволяет утверждать, что, во-первых, нам необходимо обратиться к *проблеме человека во власти и в политике*. Я предлагаю, вслед за Дж. Винсент, определить эту область исследований как *антропологию политики*.

Во-вторых, подобное разграничение с политической антропологией требуется потому, что оно акцентирует наше внимание на существовании двух различных этапов политического развития. Первый – характеризует эпоху неинституционализированного состояния политики и

является предметом изучения, прежде всего, политической антропологии, второй – связан со временем, когда политика стала самостоятельной сферой в жизни общества и относится преимущественно к сфере компетенции истории Нового и Новейшего времени и политологии (Гуторов 2003). Очевидно, что политический человек также является продуктом последнего этапа социального развития. И, в-третьих, учитывая реалии нашего глобализованного мира, мы должны понимать, что сегодня специфика политической жизни в развитых уже постиндустриальных обществах, с одной стороны, модернизируемых – с другой – и особенно развивающихся, с третьей – создает в силу их активного взаимодействия ситуацию *повышенной сложности*. Заниматься исследованием этой сложности, исходя из теоретико-методологических оснований одной дисциплины уже невозможно. Она предполагает полидисциплинарный подход, который должен найти место и *антропологии политики*. Однако для успешной реализации требуется и более сильная теория, которую так и не предложила политическая антропология.

ЛИТЕРАТУРА

- Блок, М. 1998. *Короли-чудотворцы*. М.: Языки русской культуры.
- Вайзе, П. 1993. Homo economicus и homo politicus: монстры социальных наук. *Thesis*. 1993. Том 1. № 3.
- Годелье, М. 2008. *Антропология сегодня нужна как никогда*. Личный сайт Валерия Тишкова. <http://www.valerytishkov.ru>
- Гуторов, В.А. 2003. Об антропологическом измерении политики: “спор древних и новых” и некоторые его итоги на рубеже XX–XXI веков. *Россия и Грузия: диалог и родство культур*. Сборник материалов симпозиума. Вып. 1. СПб.: 75–85.
- Ильин, М.В. 2008. Возможна ли универсальная типология государств? *Политическая наука*. № 4: 8–41.
- Ильин, В.В., Панарин, А.С., Бадовский, Д.В. 1995. *Политическая антропология*. М.: Изд-во МГУ.
- Клакхон, Кл. 1998. *Зеркало для человека*. СПб.: Евразия.
- Коломер, Ж. 2008. Великие империи, малые нации: Неясное будущее суверенного государства. (Реферат). *Политическая наука*. № 4: 42–61.
- Крадин, Н.Н. 1997. Предмет и задачи политической антропологии. *Полис*. № 5: 146–157.

- Крадин, Н.Н. 2004. *Политическая антропология*. Учебник. М.: Логос.
- Крадин, Н.Н. 2011. Перспективы политической антропологии. *Полис*. № 6: 78–91.
- Куббель, Л.Е. 1979. Потестарная и политическая этнография. *Исследования по общей этнографии*. М.: 241–277.
- Куббель, Л.Е. 1988. *Очерки потестарно-политической этнографии*. М.: Наука.
- Кузнецов, А.М. 1999. Антропология и антропологический поворот современного социального и гуманитарного знания. *Вестник ДВО РАН*. № 4.
- Одайник, В. 1996. *Психология политики*. СПб.: Ювента.
- Панарин, А.С. 1994. *Философия политики*. М.
- Попов, В.А. (ред.). 1997. *Потестарность. Генезис и эволюция*. СПб.
- Тишков, В.А. 2000. *Политическая антропология*. Lewiston etc.: The Edwin Mellen press.
- Цимбурский, В. 1995. *Человек политический между Ratio и ответами на стимулы (к исчислению когнитивных типов принятия решений)*. *Полис*. № 5: 15–33.
- Эванс-Причард, Э.Э. 1985. *Нуэры. Описание способов жизнеобеспечения и политических институтов одного из нилотских народов*. М. Наука.
- Ячин: Е. 1998. Summa Anthropologiae: границы и возможности антропологического подхода в современном социогуманитарном познании и социальной практике. *Наука о культуре и социальная практика: антропологическая перспектива*. М.: 94–107.
- Balandie, G. 1967. *Anthropologie Polithique*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Gledhill, J. 1996. Cultural Studies. *Will be Death for Anthropology?* Ed. by P. Wade. Manchester: 38–44
- Gledhill, J. 2000. *Power and its Disguises*. Second Edition. London: Sterling, Virginia. Pluto Press.
- Huizer, G. Mannheim B. 1979 (eds.). *The Politics of Anthropology*. The Hague, Netherlands: Mouton.
- Lane, R.E. 1972. *Political Man*. N.Y.
- Lane R.E. 2003. Psychology's Role in Rescuing Political Science from Itself. *Oxford Handbook of Political Psychology*. Ed. By D.O. Sears, L. Huddy, and R. Jervice. Oxford.

- Lewellen, T. 1992. *Political Anthropology. An Introduction*. Westport, Connecticut, London. Bergin & Garvey.
- Nugent, D., Vincent, J. 2004 (eds.). *A companion to the anthropology of politics*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Vincent, J. 2002 (ed.). *The Anthropology of Politics. A Reader in Ethnography, Theory, and Critique*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Wade, P. 1996. Introduction. *Will be Death for Anthropology?* Ed. by P. Wade. Manchester: 1–10.
- Weatherford, J. Mc. 1981. *Tribes on the Hill*. NY.: Rawson, Wade.

БЫЛО ЛИ ГАВАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ГОСУДАРСТВОМ?

Вопрос генезиса государства будет оставаться одним из ключевых в политантропологическом дискурсе. Само понятие государства претерпело и претерпевает изменения, что соответствует логике развития научного знания. Спор о дефинициях важен, так как позволяет формулировать более совершенные описательные схемы (идеальные типы) реальности. С точки зрения научной традиции уже сформировались своего рода «типичные» общества, на которых показывается переход от вождеского уровня политической интеграции к раннему государству и далее к зрелому. Главное, на что обычно обращают внимание – это возникновение управленческой иерархии. Она «соблазнила» многих ученых и в случае некоторых полинезийских обществ доконтактного и раннеконтактного периодов, которые выглядят вертикально организованными. А такие максимально стратифицированные политии как Тонга, Таити и особенно Гавайи просто так хочется назвать государствами даже без большинства оговорок. Кстати, европейские первооткрыватели Полинезии и последующие авторы прямо говорили о «феодалных королевствах» туземцев с королями во главе. Особенно постарались здесь миссионеры. В случае с Гавайями мы обязаны им появлению двух-трех фундаментальных мифов. Один из них сегодня опровергнут – речь идет о таком типе брака как пуналуа, а также моргановской попытке поставить гавайцев на низшую ступень (этнический период) – дикости, на основании этой недостоверной информации и благодаря издержкам типологии родового общества (Морган 1934). Другие мифы продолжают жить.

Идея монарха: игра в слова. В гавайском языке слово «король» (английское «king») обозначается термином “мои» (здесь и далее все переводы с гавайского даются по Pukui and Elbert 1961). Есть и другой эквивалент “алии-аи-нуи”. Однако как показал Стокс (Stokes 1931) термин “мои» вводят миссионеры для перевода Библии и его лучше переводить английским словом «lord» (господь, господин). К тому же сама идея верховного господина, суверена не обязательно указывает на существование государства. Термин же “алии-аи-нуи” был привы-

чен для слуха гавайца того времени. На русский его перевести крайне сложно ввиду полисемии слова “аи”. Здесь подходят глаголы “править”, “питать”/”кормить”, “совокупляться”. Скорее всего, его нужно переводить так – “вождь-правлящий-островом”, то есть получающий кормление со всего острова (основным способом такого кормления было полюдьё, о роли и месте которого в мировой истории лучше всего написано у Ю.М. Кобищанова [Кобищанов 1995]). Здесь нужно отметить, что до легендарного гавайского правителя Уми-а-Лилоа объединить, например, Большой остров (о. Гавайи) не удавалось никому. Посему это был действительно почетный титул, но в таком же ряду стоял и титул “алии-аи-моку”. Собственно известные по первым европейским упоминаниям четыре гавайские политики (с центрами на островах Кауаи, Мауи, Оаху и Гавайи) и были “моку”. Исторически же подтвержденным является лишь объединение уделов Большого острова под властью Камеаеа I (Великого). Его реальный образ лежит в тени традиции, по сути, ещё одного мифа. Участие в формировании последнего принимали не только гавайцы, но и европейцы. Причем, то, что этот образ сильно типизирован и каноничен понятно уже из того, что жизнеописания Камеаеа и Уми-а-Лилоа часто почти неразличимы. Впоследствии при потомках Камеаеа Великого гавайцы-христиане из Лахайны (интеллектуальной столицы Гавайев 19 века) вообще создали агиографический портрет короля (см, например, Ii 1959, Катакау 1961 и др.).

Посему гавайский монарх – это “флагистон” миссионерской мысли того времени, он был необходим, чтобы доказать картину мира, которую они активно транслировали в гавайское общество.

Еще одним интересным термином, посредством которого передавалась идея старшинства было слово “хаку”. Лучше всего его перевести как “старейшина”, но тут не все так просто. Этимологизируя слово, мы можем очертить семантическое поле. Слово “хаку” лежит в основе ряда выражений, например, такого как “похаку-о-Кане” (камень (бога) Кане), им именовали место, где наказывались провинившиеся родичи, по решениям главы большесемейной общины “оха-на”. Слово “Ку” с заглавной буквы обозначало бога Ку – покровителя власти как таковой, бога верховных вождей и воинов. Явное указание на идею силы и принуждения. Но “ку” обозначает еще и твердость, устойчивость позиции (идея удержания) – в выражении “твердо стоять на ногах”, например. Данные термины образовывали семантиче-

ское поле лидерства, передавали идею старшинства. Последнее не определялось только в возрастных или гендерных категориях (старший по возрасту – младший, мужчина – женщина), оно выражало идею рангового порядка, и было связано с понятиями “капу” (гавайский вариант слова табу) и “мана”. Для алии (вождей) важнейшим было генеалогическое старшинство определявшееся старшинством их клана, причем получение самого высшего ранга достигалось благодаря инцестуозным бракам (эндогамии), практиковавшимся элитой (соотношение ранга-типа брака-табу показано в приложении 1, подробнее см. Davenport 1994). Так, Камеаеа обращался к своему сыну Лиолио словом “хаку”, так как сын его имел более высокий ранг. Сам же Камеаеа обладал сравнительно невысоким рангом “вохи”. Важная деталь, указывающая на отсутствие точного соответствия между генеалогическим старшинством и реальной властью, которую мог сосредотачивать удачливый правитель. На самом деле существовала серия параллельных иерархий и во времена Камеаеа титулатура “сегментного ранжирования” в терминах Кожановской (Кожановская 1987) была уже точно деформированной и скорее оставалась данью все еще сильной традиции.

Таким образом, сами по себе термины трудно соотносимы с конкретной реальностью и здесь остается большое поле для спекуляций. Понятия единовластного правителя, передающего свою власть по наследству (смысл слов монарх и монархия) не существовало во времена Камеаеа. По мере монополизации им власти появлялись лишь условия формирования такой системы, что было логичным в ситуации её удержания, но без европейского участия данная борьба вряд ли увенчалась успехом.

Вождество ≤ раннее государство? Теперь перенесемся в сферу «мнимых чисел политогенеза». Здесь мы будем говорить о соотношении таких понятий как вождество и государство. Теория вождества (блестящий обзор теорий вождества на русском языке см. Крадин 1995) весьма популярна среди специалистов, с момента ее рождения прошло больше полувека, впоследствии она многократно уточнялась, но сохраняет актуальность и сегодня, поскольку ничего более стройного пока не предложено. У теории есть немало критиков. Так, по мнению П.Л. Белкова вождество является до известной степени простой «негацией» государства (Белков 1995) (если есть стратифицированное общество и политический класс, но нет государства, тогда

это вождество). Можно выразиться иначе, если вы видите иерархию, но сомневаетесь в наличии, либо характере институтов (бюрократия, армия, полиция, налоги) в каком-либо государстве, то вы смело можете назвать такое государство вождеством (лучше сложным вождеством). Я утрирую, но ведь на практике так часто и бывает. Попутно отмечу, что концепт вождества удобен в первую очередь при описании социально-политической стратификации в обществе, построенном на неформальных началах (родственных, клановых, etc). С этой точки зрения он очень продуктивен при анализе “теневой” стороны современных государств и даже организаций (см., например, Skalnik 2004). Я полагаю, что эвристический потенциал теории вождества огромен именно в данном ключе.

Дело усложнили идеи школы раннего государства (Классен, Скальник). Манифест направления – книга “Раннее государство” (1978) сегодня стала классической. Важная заслуга авторов состояла в попытке объединить разные факторы эволюции государства и найти золотую середину между конфликтными и интегративными теориями политогенеза. Классен и Скальник определяли раннее государство как “централизованную социополитическую организацию для регулирования социальных отношений в сложном стратифицированном обществе, разделённом, как минимум, на два основных страта, или социальных класса – на управителей и управляемых, отношения между которыми характеризуются политическим господством первых и данническими обязанностями последних; законность этих отношений освящена единой идеологией, основной принцип которой составляет реципрокация”. (Claessen and Skalnik 1978: 640)

Однако если учесть предложенное ими подразделение раннего государства на зачаточное, типичное и переходное, становится непонятным, чем раннее государство отличается от “позднего” вождества. Зачастую основным критерием различения этих двух этапов является лишь пресловутая монополия на легитимное насилие со стороны власти, которая в раннем государстве заявляет о своих особых на эту монополию правах, отказывая в них другим традиционным институтам, за счёт чего постепенно вырабатываются институциональные практики такого поведения агентов власти, когда они могут от её имени навязать свою волю другим, не взирая на их ответную реакцию. Однако особенностью раннего государства является то, что сама эта система крайне неразвита. Внутреннее регулирование здесь

распределено между государством и традиционными институтами (советами домохозяйств, общин и т.п.). Государство предстаёт в роли структуры, которая от имени всего общества в первую очередь выступает в сношениях с внешним миром. Эта функция для него приоритетна по отношению ко всем другим. Вышесказанное означает, что такая монополия в раннем государстве часто отсутствовала, на что в свое время указывал Карнейро (Carneiro 1981: 68) (*Quod erat demonstrandum!*).

Отмечалось также, что в государственной форме организации социума должна была возникнуть потребность (должны были присутствовать известные ресурсные ограничения, большая численность населения, производящее хозяйство, городские поселения, идеологическая система и проч.), которая часто возникает в условиях внешнего давления. Ниже мы рассмотрим гавайскую политику и её эволюцию через призму теории раннего государства.

От теории к практике. Начнем с того, что вождецентричность полинезийцев обуславливалась характером адаптации островных культур к природному и социальному окружению. Потребность в полинезийском варианте синойкизма приводила в группировке людей вокруг лидера. Огромная акватория Полинезии была заселена за короткий по историческим меркам период в тысячу лет. Фактически же основной поток мигрантов в восточную Полинезию шел в VII–X веках. К XIII веку ситуация стабилизировалась и дальнейшие миграции в целом иссякли. Этапы миграций, вероятно, были таковы: 1) колонизация Маркизских островов из Западной Полинезии (300–600 г. н.э.); 2) заселение островов Общества с Маркизских островов (600–800 г.); 3) заселение острова Пасхи с Маркиз (650–950 г.); 4) первичная колонизация Новой Зеландии с островов Общества (около 1000 г.); 5) вторичная колонизация Новой Зеландии с Маркизских островов (около 1200 г.); 6) первичная колонизация Гавайев с Маркизских островов (около 600 г.) и 7) вторичная колонизация Гавайев с островов Общества (около 800 г.) (Kirch 1986). Далее начался замечательный процесс возникновения двух-трех уровневых сложных обществ на так называемых высоких островах Полинезии. Причем, как на востоке, так и на западе, где до этого люди обитали уже более полутора тысяч лет, но рост демографических показателей не приводил к “управленческой революции”. Т. Эрл полагает, что интенсификация производящего хозяйства и рост населения были не причиной, а следствием усложнения политической организации

этого времени. (Earle 1997). Однако окончательно туземные “королевства” сформировались в крупных по полинезийским меркам обществах “высоких” вулканических островов (кроме Новой Зеландии) – Тонга, Гавайи, Таити – лишь с приходом европейцев.

Среди специалистов нет единого мнения о том, когда и под действием каких факторов (эндогенных, экзогенных) возникло государство на Гавайях. Хотя все точки зрения можно разделить на две условные группы:

1. До открытия архипелага европейцами (1778 г.), процесс перехода был обусловлен внутренними причинами (Fried 1967; Bakel 1991).

2а. После открытия европейцами при вмешательстве последних, особенно в связи с “делом Шеффера” (Латушко 2011: 283–292), когда был установлен контроль Камеамеа над всей территорией архипелага. При этом “архаическое (зачаточное) государство” являлось “уникальным продуктом туземной политической культуры” и сформировалось до прихода европейцев (Seaton 1978: 270).

2б. После открытия ввиду более или менее активного влияния европейцев, в связи с культурной революцией 1819 г. (Service 1975).

Обратимся теперь к условиям возникновения государства по Классену (Claessen 2002: 106–112) Они таковы:

- Оптимальная для формирования сложного стратифицированного общества численность населения (минимум 5000 чел. + высокая плотность населения).
- Способная поддерживать численный рост населения территория.
- Система хозяйства, которая способна обеспечивать необходимый прибавочный продукт для содержания специалистов и привилегированных категорий населения.
- Наличие идеологии, которая объясняет и оправдывает иерархическую административную организацию и социополитическое неравенство.
- «Катализатор» (война, экологический и ресурсный дисбаланс и т.п.).

По основным характеристикам предпосылки перехода к раннему государству сформировались ещё в доконтактный период, но во времена Камеамеа I они были усилены острой внутривнутриполитической борьбой, чему в немалой степени способствовали европейцы (хаоле) (см. Приложение 2). В определениях теории раннего государства

держава Камеаеа подходит как к зачаточному, так и типичному, а по ряду моментов и переходному типам раннего государства. В отдельных сферах (в первую очередь фискальной) процесс формирования государства на Гавайях продвинулся гораздо дальше, чем в остальных. Однако даже в отношении налогов сохранялась двойственность. С одной стороны, вводилась упорядоченная система европейского образца, с другой, сохранялись чрезвычайные подношения и использование денег не как средства обращения, а как средства накопления (Campbell 1816).

“Типичное” раннее государство проявлялось также в элементах внеклановых отношений в структуре управления (институт наместников *куина*) (Коцебу 1821). При Камеаеа появляются полиция (иламуку) и армия, организованная по европейскому образцу, снабжаемая централизованным способом через сеть королевских складов, расположенных на всех островах архипелага. Влияние же традиционных коллегиальных органов управления (совета вождей *аха алии*) постепенно уменьшалось (Kuukendall 1938). Народные собрания постепенно превращались из органов принятия решения в органы публичного оглашения решений власти (Ellis 1963 [1818]).

Вместе с тем, административно-территориальное деление основывалось на прежней схеме: хутор *или*, район *ахупуаа*, округ *моку* (остров *нуи*). Но если раньше верховный вождь вынужден был лично контролировать местных вождей, то теперь это делали его наместники.

Письменного свода законов при Камеаеа не появилось, с целью точной передачи распоряжений власти использовались секретари из числа европейцев. Для решения проблемы контроля точности записываемой и передаваемой ими информации, была введена сложная система устного дублирования распоряжений центральной и местных властей (Головнин 1965 [1822]). 7) В социально-экономическом плане длительное общение гавайцев с хаоле приводило к разрушению старой экономической системы, основанной на контроле верховных вождей над интенсивными средствами сельскохозяйственного производства (Earle 1997), нарушался натуральный характер экономики, что приводило к резким различиям в жизни элиты и простых общинников и разрушению патриархального уклада общества (Jarves 1844), чему немало способствовали реформы Камеаеа в сфере управления, в ходе которых большая часть региональной элиты была вынуждена следовать за королём, либо направ-

лялась наместниками или земельными управляющими в другие регионы архипелага.

Таким образом, в период быстрых трансформаций социального уклада атрибутировать политическую организацию в категориях классово-теории раннего государства очень сложно, если вообще вообще возможно.

Ниже я предлагаю одну из возможных моделей формирования государства на Гавайях. Его механизм был запущен в период завоевательных походов Камеамеа на о-ва Мауи и Оаху (середина 1790-х гг.). В условиях территориального расширения, продвижение на запад обострило прежнюю проблему редистрибуции власти. Междоусобицы и торговля с хаоле требовали ресурсов, которые верховные вожди пытались получить сначала за счёт расширения сферы традиционной политэкономии (увеличения поступлений прибавочного продукта посредством интенсификации земледелия), а позже за счёт бартерных сделок с иностранцами (“сандаловая лихорадка”). Решая эти проблемы, Камеамеа предпринял меры по реформированию системы управления и землевладения. Их половинчатость обуславливалась сохранением традиционной идеологии. Культурная революция, таким образом, является тем индикатором, по которому можно определить, что процесс образования государства перешёл в свою заключительную фазу (подробную аргументацию модели см. Латушко 2009: 364–371)

Еще раз о главном. Догосударственные социо-политические структуры Полинезии выглядели «вождецентричными». Это рождало иллюзию государственной вертикали у европейских наблюдателей. М. Салинс в своё время указывал на существование двух основных типов родственных (десцентных) объединений на вулканических островах Полинезии, которые «равным образом интегрируются в политические институты различной формы» – рэмиджей и «усечённых десцентных линий». (Sahlins 1957) Базовой характеристикой рэмиджа является его экстерриториальность. Такая структура может охватывать собой часть острова, целый остров или даже группу островов, оставаясь при этом одной таксономической единицей. Сегменты рэмиджа (отдельные домохозяйства) образовывали различные рекомбинации в зависимости от экологических или экономических факторов. Так что один или несколько максимальных рэмиджей становились готовой формой для образования отдельной политической единицы. На базе ранговой иерархии формировался прообраз «штаба

управления», где верховный вождь оказывался на его вершине, а главы сегментов максимального рэмиджа становились правителями «на местах». Так из родственных объединений вырастали объединения политические. Вопрос дефиниции таких структур связан с телеологией исследователя, презумпцией превосходства государства перед другими формами политической интеграции, что заставляет трактовать конкретный социум в зависимости от субъективной позиции автора. Однако это не означает, что мы не должны искать ответы на поставленные вопросы.

ЛИТЕРАТУРА

- Белков П.Л. 1995. Раннее государство, предгосударство, протогосударство: игра в термины? Попов В.А. (отв. ред.) *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности*. М.: 165–187.
- Головнин В.М. 1965. *Путешествие на шлюпе Камчатка*. М.: Мысль.
- Классен Х.Дж.М. 2000. Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма. Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Д.М. Бондаренко, В.А. Лыньша (ред.) *Альтернативные пути к цивилизации*. М.: 6–23.
- Кобищанов Ю.М. 1995. *Полюдь: явление отечественной и всемирной истории*. М.: РОССПЭН.
- Кожановская И.Ж. 1987. *Иерархические черты социальной структуры традиционных полинезийских обществ*: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М.
- Коцебу О.Е. 1821. *Путешествие в Южный Океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах иждивением Его Сиятельства Господина Государственного Канцлера, Графа Николая Петровича Румянцова на корабле Рюрик под начальством Флота Лейтенанта Коцебу*. Ч. I, II. СПб.: Типография Ник. Греча.
- Крадин Н.Н. 1995. Вождество: современное состояние и проблемы изучения. Попов В.А. (отв. ред.) *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности*. М.: 11–61.
- Латушко Ю.В. 2009. Политика родства: модели трансформации социополитических систем полинезийцев. Латушко Ю.В., Ставров И.В. (отв. ред.) *Тихоокеанская Россия и страны АТР в изменяющемся мире*. Владивосток: Дальнаука.

- Латушко Ю.В. 2011. «Дело» Шеффера. Галлямова Л.И. (отв. ред.) *Шестые крушиновские чтения*. Владивосток: Дальнаука.
- Морган Л.Г. 1934. *Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации*. Л.: Издательство института народов Севера и ЦИК СССР. 1934.
- Bakel M.A. van 1991. The Political Economy of an Early State: Hawaii and Samoa Compared. Claessen H.J.M., Van de Velde P. (Eds.) *Early State Economics*. New Brunswick and London: 265–290.
- Campbell A. 1816. *A Voyage Round the World from 1806 to 1812, in which Japan, Kamshatka, the Aleutian Islands, and Sandwich Islands Were Visited*. Edinburgh.
- Carneiro R. 1981. The Chieftdom as Precursor of the State. Jones, G.D. and Kautz R.R. (eds.). *The Transition to Statehood in the New World*. Cambridge: 37–79.
- Claessen H.J.M., Skalnik P. (eds.) 1978. *The Early State*. The Hague: Mouton.
- Claessen H.J.M. 2002. Was the State Inevitable? *Social Evolution and History* 1 (1): 101–117.
- Davenport W.H. 1994. *Pi'o: an Enquiry into the Marriage of Brothers and Sisters and Other Close Relatives in Old Hawaii*. Boston: University Press of America. 91 p.
- Earle T.K. 1997. *How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory*. Stanford (Cal.): Stanford University Press. 268 p.
- Earle T.K. 2002. *Bronze Age Economics: The Beginnings of Political Economies*. Boulder Co: Westview Press.
- Ellis W. 1963. *A Narrative of a Tour Through Hawaii or Owhyhee*. Honolulu: Advertiser Publishing Co.
- Fried M.H. 1967. *The Evolution of Political Society: an Essay in Political Economy*. New York: Random House.
- Ii J.P. 1959. *Fragments of Hawaiian History. As Recorded by John Papa Ii*. Honolulu: Bishop Museum Press.
- Jarves J.J. 1843. *History of the Hawaiian or Sandwich Islands*. Boston: Tappan and Dennet.
- Kamakau S.M. 1961. *Ruling Chiefs of Hawaii*. Honolulu: Kamehameha School Press.
- Kirch P.V. 1986. *Rethinking East Polynesian Prehistory*. *Journal of the Polynesian Society* 95 (1): 9–40.
- Kuykendall R.S. 1938. *The Hawaiian Kingdom 1778-1854. Foundation and Transformation*. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Pukui M.K. and Elbert S.H. 1961. *Hawaiian-English Dictionary*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Sahlins M.D. 1957. Differentiation by Adaptation in Polynesian Societies. *Journal of the Polynesian Society* 66 (3): 291–301.
- Seaton S.L. 1978 The Early State in Hawaii. Claessen H.J.M., Skalnik P. (Eds.) *The Early State: Models and Reality*. The Hague: 269–288.
- Service E.R. 1975. *Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution*. New York: W.W. Norton.
- Skalnik P. 2004. Chiefdom: a Universal Political Formation? *Focaal* 43: 76–98.
- Stokes J.F.G. 1932. The Hawaiian King (Mo-I, Alii-Aimoku, Alii-kapu). *Papers of the Hawaiian Historical Society*, No 19. Honolulu.

Корреляция между типом брака, рангом вождя и табу

Тип брака	Ранг	Табу
1) Пио: брак брата и сестры, чьи родители обладали рангом <i>ниаупио</i>	Пио	«Капу моэ» – «повергающее ниц табу». В присутствии <i>пио</i> или его личных вещей каждый должен был падать ниц. Соблюдалось под страхом смертной казни
2) Хои: брак отца и дочери, племянника и тёти или племянницы и дяди, обладавших рангами <i>ниаупио</i> или <i>наха</i>	Ниаупио	То же, что тип 1
3) Наха: брак сводного брата и сестры, имеющих общего отца или мать, но оба родителя должны были быть первого или второго ранга	Наха	«Капу а нохо» – «сидячее табу». В присутствии <i>наха</i> запрещалось стоять. Соблюдалось под страхом смертной казни
4а) Папа: брак женщины, обладавшей одним из трёх вышеупомянутых рангов, со своим кузеном или младшим кузеном своих родителей	Вохи	Освобождение от <i>капу</i> вождей <i>ниаупио</i> и <i>наха</i> , но не <i>пио</i>
4б) Локеа: брак вождя одного из трёх первых рангов с кузиной или младшей кузиной своих родителей	Вохи	То же, что тип 4а

**Системная динамика доконтактных и раннеконтактных Гавайев
(численность населения, экология и хозяйство, политика)**

I.	около 800 г. н.э. (?) – 1-ый скачок численности населения (от сотен к тысячам человек)	Прибрежные долины освоены, начало движения во внутренние районы	Появление надобщинного уровня управления (центральное поселение – зависимые поселения) – формирование простых вожеств
II.	1200–1400 гг. н.э. – 2-ой скачок численности населения (от тысяч к десяткам тысяч) «формативный период» по Т. Эрлу	Движение в горные районы	Начало формирования трехуровневой организации (сложных вожеств)
III.	1400–1500 гг. – максимальная численность населения (сотни тысяч)	Рост ирригации, интенсификация богарного земледелия на о. Гавайи	Начало усобиц между гайскими вождествами
IV	1500–1650 гг. – снижение численности населения «период консолидации» по Т. Эрлу	Рост храмового строительства, использование «кула коу» (аридных территорий откуда получали необходимые строительные материалы)	Оформление крупных политий в масштабах острова

Va.	1650–1790 гг. – «период завоевания» по Т. Эрлу	Интенсификация использования «маука» (земель низкого с/х качества) на Большом острове (Гавайи)	Острая конкуренция между четырьмя правлящими кланами о-вов Кауаи, Мауи, Оаху и Гавайи. Формирование предпосылок стейтогенеза
Vb.	1791–1820 гг. – «период завоевания» по Т. Эрлу	Снижение и прекращение использования «маука» на о. Гавайи	Резкое усиление Камеаеа I и объединение всего архипелага под его единоличным правлением. Завершение процесса формирования государства в результате реформ Камеаеа и «культурной революции», начало христианизации и вестернизации

? – большое число разночтений в оценке даты начала события

РАННИЙ К.А. ВИТТФОГЕЛЬ О РОЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ФАКТОРА В ИСТОРИИ

Введение. На рубеже 1920-х–1930-х гг. молодой синолог К.А. Виттфогель, прославившийся впоследствии своей книгой «Восточный деспотизм» (Wittfogel 1957), написал две больших работы, в которых с марксистских позиций основательно и всесторонне исследовался вопрос о роли естественного фактора в истории. В первой работе, вышедшей двумя частями с разрывом почти в три года (Виттфогель 1929 и Wittfogel 1932), вопрос о роли естественного фактора в истории разрабатывался теоретически. Во второй работе, посвященной изучению производительных сил Китая (Wittfogel 1931), характер взаимодействия природы и общества в Китае был рассмотрен на огромном эмпирическом материале.

Обе работы К. Виттфогеля были замечены в Советской России и подверглись огульной разгромной критике на знаменитой ленинградской дискуссии в феврале 1931 года. К.А. Виттфогель был обвинен в «недопустимом... пресмыкании перед географическим фактором» (Иолк 1931: 65). По поводу книги Виттфогеля «Экономика и общество Китая» (1931), возмущенный критик писал (Иолк 1931: 65):

«На протяжении свыше 750 стр. мы имеем детальнейший, тщательнейший анализ климата, химического состава почвы, темперамента населения и т.д. Но... во всем объемистом томе вы не найдете ни слова о классах... Таким образом марксист считает возможным на протяжении 768 страниц анализировать “производительные силы” и “способ производства”, исключая из анализа самую суть всякого способа производства – производственные отношения и классовую структуру».

На основании подобной критики делался вывод о том, что К. Виттфогель допускает «упрощенное представление об определяющем воздействии на развитие общественных отношений географической среды» (Иолк 1931: 67–68).

Со времени ленинградской дискуссии 1931 года любой ученый-гуманитарий, предпринявший попытку специально исследовать вопрос о роли естественного фактора в истории, рисковал получить опасный ярлычок «географического детерминиста». Хуже того, он

рисковал быть обвиненным в искажении краеугольных постулатов марксизма-ленинизма, безусловную истинность которых могут подвергать сомнению только явные враги, ревизионисты и ренегаты. В знаменитом «Кратком курсе истории ВКП(б)» В.И. Сталин дал окончательное «марксистское» решение вопроса о роли естественного фактора в истории. Он заявил, что географическая среда является лишь «одним из необходимых условий развития общества», что «она, конечно, влияет на развитие общества», ускоряя или замедляя его развитие, «но ее влияние не является определяющим влиянием». По его мнению, «географическая среда не может служить главной причиной, определяющей причиной общественного развития, ибо то, что остается почти неизменным в продолжение десятков тысяч лет, не может служить главной причиной развития того, что переживает коренные изменения в продолжение сотен лет» (Сталин 1938: 113).

Талантливые разработки К. Виттфогеля о роли естественного фактора в истории были надолго преданы забвению. А любые попытки вернуться к серьезному обсуждению этого вопроса в нашей стране разбивались о скалы идеологических препятствий. Достаточно вспомнить скандальную историю защиты докторской диссертации В.А. Анучина, который был обвинен в географическом детерминизме, «идеологических вывихах» и «правом уклонизме». Во введении к своей книге «Теоретические проблемы географии» (1960), выдвинутой на защиту в качестве докторской диссертации в 1962 г., В.А. Анучин осмелился критиковать сталинский постулат о характере взаимосвязи географической среды и общества и призывал исследовать заново вопрос о взаимодействии общества и природы с позиций новой «единой географии» (Гладков 1963; Саушкин 1963; Анучин 1965).

«Преодоление» географического детерминизма в «социоестественной истории» и в концепции «социоестественных производительных сил». Не удивительно, что вплоть до начала 1990-х гг. вопрос о влиянии природной среды на развитие общества «разрабатывался совершенно недостаточно» (Гринин 2006: 200). Книга географа Э.С. Кульпина «Человек и природа в Китае» (1990), в которой 3000-летняя эволюция китайского общества рассматривалась в теснейшей взаимосвязи с изменяющейся окружающей средой, представляла настоящий прорыв на этом направлении и была с энтузиазмом встречена не только синологами, но и остальными историками. Уже в этой книге, с позиции *естественника*, Э.С. Кульпин наметил

контуры своей концепции, получившей в дальнейшем название «социоестественной истории» (Кульпин 1990; 1996; 1999; 2008).

Согласно этой противоречивой концепции, «история должна идти на двух ногах: естественно-научной и гуманитарной». Социоестественная история, по Кульпину, призвана возродить комплексный подход школы “Анналов” с ее неперменным использованием знаний естественных наук в историческом исследовании, с ее обращенностью к массовому человеку, к взаимодействию его с природой». Она должна рассматриваться как история взаимодействия человека и природы, а в рамках системного подхода – как процесс взаимодействия двух субсистем – хозяйствующий человек и вмещающий ландшафт (вмещающее пространство, подвергнутое воздействию человека, и являющееся живым биологическим организмом) внутри единой системы биосферы (Кульпин 2008: 198 сл.). О том, что позитивистские попытки школы «Анналов» превратить историю в подлинную социальную науку за счет применения естественнонаучных подходов потерпели крах еще в начале 1970-х гг., мне уже приходилось писать (Лынша 2007). Здесь нет возможности обсуждать этот вопрос еще раз.

Концепцию «социоестественной истории» с энтузиазмом поддержал историк и социо-философ Л.Е. Гринин, который, обнаружил «существенное сходство» собственного подхода с подходом Э.С. Кульпина, «основанное, прежде всего, на понимании необходимости исследовать производство и природу как... единую природно-производственную систему». Социоестественная история, по мнению Л.Е. Гринина, «открывает новые возможности научного анализа и преодолевает ограничения понятия географической среды и тупики географического детерминизма» (Гринин 2006: 201–202). Это привело его к идее рассматривать понятие производительных сил «не только как социо-философскую категорию, но по сути, как социоестественную категорию» (Там же). Таким образом, экономическое понятие производительных сил, известное со времен А. Смита и Д. Рикардо, в трудах социо-философа Л.Е. Гринина превращается, кроме того, в «социо-философскую» и в «социоестественную категорию».

Л.Е. Гринин заявляет, что с 1995 г. он первым стал систематически разрабатывать идею о том, что природную среду необходимо включать в структуру производительных сил, что «производительные силы надо рассматривать не просто как совокупность людей, техники и предмета

труда..., а как более сложную систему, неотъемлемой частью которой является введенная в оборот природа» (Гринин 2006: 201). Он стремится уточнить и усовершенствовать понятие «производительных сил» с помощью «метода выделения относительно главного структурного элемента». Очевидно, замечает Л.Е. Гринин, что «на определенных периодах или в особых условиях роль среды становится формообразующей». Однако «индустриальные производительные силы в значительной мере уменьшают, а то и сводят на нет значимость различий в богатстве природных ресурсов». Так как «в одних случаях роль относительно главного элемента выполняет географическая среда, а в других – производительные силы», «ни географическая среда, ни производительные силы не могут быть в отдельности признаны даже относительно главным фактором развития общества». Другое дело, если рассматривать их «как единую систему» в рамках категории «социоестественных производительных сил». Это позволяет Л.Е. Грину даже сформулировать закон (2006: 205):

«Будучи всегда важной, роль географической среды тем больше, чем большее место она занимает в составе производительных сил. И по-другому: чем слабее общественные производительные силы, тем больше роль географической среды. Следовательно, роль географической среды тем сильнее, чем древнее период. И соответственно: чем менее щедра природа, тем более развита должна быть технико-технологическая часть производительных сил, чтобы компенсировать эту скудость».

Если отвлечься от специфической «социо-философской» терминологии, то в содержательной части ни здесь, ни в других разделах статьи ничего нового нет. Но, чтобы убедиться в этом, читатель, конечно, должен сам ознакомиться с первоисточником (См.: Гринин 2006). Не отличается оригинальностью и схема уровней производительных сил, рассмотренная Л.Е. Грининым с позиции социоестественной истории и в «русле общей теории систем», когда «общество – элемент в системе биосферы Земли»: 1) присваивающее общество (охота и собирательство); 2) производящее общество (аграрное); 3) промышленное общество (техника – важнейший элемент); 4) информационное общество (информационные технологии) (Гринин 2006: 212 сл.).

В чем Л.Е. Гринин действительно оригинален, так это в стремлении конструировать новые «социоестественные» категории, такие, как «социоестественные производительные силы», или «производ-

ственная организация общества», которая призвана соединить (!) категории производительных сил и производственных отношений (Гринин 2006: 211). Общеизвестно, что пара категорий производительные силы и производственные отношения со времен Маркса рассматривается в их неразрывной диалектической взаимосвязи и до сих пор не нуждалась в особой категории для освящения этой взаимосвязи. Попытка Л.Е. Гринина усовершенствовать диалектику Маркса с помощью «социоестественных категорий», разрабатываемых в его социо-философии, мне представляется совершенно бесплодной. Попытки Л.Е. Гринина продвинуть теоретические разработки понятия производительных сил отчасти повторяют, хотя и в иной терминологической оболочке, то, что было сделано К. Виттфогелем еще 80 лет (!) назад, а в некоторых отношениях представляют даже шаг назад по сравнению с его более глубокими и всеобъемлющими разработками. К сожалению, Л.Е. Гринин с этими работами не знаком. Похоже, что и Э.С. Кульпин информацию о взглядах К.А. Виттфогеля черпал со вторых рук (Яшнов 1931; Никифоров 1977). В своей книге «Природа и общество в Китае» критическому разбору взглядов М. Вебера он уделил целых 14 страниц (Кульпин 1990: 10–24), тогда как К. Виттфогелю – всего полторы страницы общих рассуждений, причем без единой ссылки на его работы (1990: 24–25). А ведь сам Э.С. Кульпин справедливо заметил, что именно К. Виттфогель пытался исправить главный недостаток работы М. Вебера – отсутствие «действительного анализа производительных сил и производственных отношений» (Там же). Анализа концепции Виттфогеля в книге Э.С. Кульпина нет.

Между тем, многие идеи о роли естественного фактора в истории в забытых работах раннего Виттфогеля развиты не только раньше, но и более оригинально и более основательно. Чтобы повторно не открывать хорошо забытое старое, к ним необходимо вернуться и перечитать их заново.

Истоки Виттфогелевской концепции роли естественного фактора в истории. Вслед за такими мыслителями, как Гегель и Вебер, К. Виттфогель считал, что разработка теории и метода имеет для науки ключевое значение. Он разделял идею о том, что только теория позволяет исследователю распознавать и отбирать необходимые эмпирические факты, что только в рамках теории факты приобретают значение. Вот почему при изучении конкретной истории развития производительных сил Китая (Wittfogel 1931) К. Виттфогель

одновременно обратился к теории производительных сил и в тесной связи с этим – к разработке вопроса о роли естественного фактора в истории. Теоретическое исследование было завершено раньше и сдано в журнал «Под знаменем марксизма», выходящий на русском и немецком языках. Но лишь первая часть этого исследования под названием «Геополитика, географический материализм и марксизм» (Виттфогель 1929) была опубликована до выхода в свет его книги «Экономика и общество Китая» (1931). Уже готовый набор второй части в России был рассыпан по политическим мотивам. Эта часть под названием «Естественные причины экономической истории» была опубликована только на немецком языке в журнале «Архив социальной науки и социальной политики» (Wittfogel 1932) уже после выхода книги о Китае.

В статье «Геополитика, географический материализм и марксизм» Виттфогель излагает суть материалистического понимания истории и оригинально развивает намеки Маркса о роли естественного фактора в истории, полемизируя с такими известными марксистскими теоретиками, как К. Каутский, Г. Кунов, Д. Лукач и Н. Бухарин. В статье «Естественные причины экономической истории», насыщенной фактическим материалом, дан сравнительный анализ влияния естественной среды на конкретные исторические общества Азии, Америки и Европы.

Поводом для написания статьи «Геополитика, географический материализм и марксизм» послужили книги социал-демократа Георга Графа, ученика Каутского, и английского социалиста Джона Хоррабина по экономической географии, претендующие на «дополнение» исторического материализма с помощью идей, почерпнутых в новейшей литературе по геополитике (Р. Челлен, К. Хаусхофер). В критическом обзоре работ Графа и Хоррабина Виттфогель (1929, № 2–3: 36–42) показал, что они не только не дополняют, но и «в существенных пунктах нарушают основные требования исторического материализма» (1929, № 2–3: 17). Затем Виттфогель подверг критическому анализу основные положения геополитики в работах ее шведского основателя Рудольфа Челлена и его видного немецкого последователя Карла Хаусхофера, а также в работах географов Фердинанда фон Рихтхофена и Фридриха Ратцеля, их главных предшественников. Виттфогель показал, что эти буржуазные ученые, во-первых, выступают как идеологи и апологеты колониальной политики империализ-

ма, и, во-вторых, являются всего лишь «эпигонами географического материализма», поскольку геополитикой «принципиально не сделано *никакого шага вперед* по сравнению со старым географически-материалистическим методом» (1929, № 2–3: 20; № 6: 1).

Подлинным преемником великих географических материалистов, по Виттфогелю, является Карл Маркс. Он прослеживает истоки взглядов Маркса на роль естественного фактора в истории общества от Монтеスキе, Гердера, Гегеля и географа Карла Риттера, лекции которого слушал Маркс, вплоть до классиков политэкономии А. Смита и Д. Рикардо (№ 6: 3–14). Научное понимание роли естественного фактора в истории, как заявляет Виттфогель, возможно лишь в рамках материалистического понимания истории, открытого К. Марксом.

Свою задачу К. Виттфогель скромно усматривал в том, чтобы «изложить подлинное диалектически-материалистическое воззрение Маркса и Энгельса» на роль естественного фактора в истории. Однако изложив взгляды классиков, он в конце неожиданно сделал важную оговорку:

«Сами основатели научного коммунизма не дали связного изложения своего взгляда, но множество принципиальных замечаний и конкретных анализов в их трудах образует... такое ясное и законченное целое, что стоило только подробно исследовать сочинения Маркса и Энгельса под углом зрения данного вопроса, чтобы синтез получился, так сказать, сам собой» (Виттфогель 1929, № 7–8: 27).

Конечно же, никакой синтез сам по себе не получится, если нет субъекта, способного такой синтез осуществить. На самом деле, только в рукописи о Фейербахе Виттфогель обнаружил попытку концептуализации исторического материализма, и только в 1-м томе «Капитала» есть попытка его применить. Но и там эта попытка развита полностью лишь в отношении раннего капитализма. В остальном нам даны лишь блестящие намеки, оставляющие возможность для самого широкого понимания и интерпретации, о чем свидетельствует полемика Виттфогеля с Куновым, Каутским, Бухариным и, особенно, с Лукачем. Стремясь реконструировать и дать «связное изложение» взглядов Маркса на роль естественного фактора в истории, Виттфогель оригинально интерпретирует его, развивая собственный подход.

Виттфогелевская интерпретация понятия способа производства. В свое время Е. Иолк верно подметил, что Виттфогелевская

концепция способа производства существенно отличается от концепции, в то время уже утвердившейся в Советском Союзе, поскольку она «исключает из анализа самую суть всякого способа производства – производственные отношения и классовую структуру» (Иолк 1931: 65). Ортодоксальное определение способа производства звучит так: «Способ производства – исторически конкретное единство производительных сил и производственных отношений» (Философский энциклопедический словарь 1983: 649). В работах К. Маркса такого определения нигде нет. А опирается это определение на толкование общеизвестных мест из работ К. Маркса, таких, например, как знаменитое предисловие в работе «К критике политической экономии» (1857 г.):

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще» (Маркс 1959: 7).

Не менее знаменито и письмо К. Маркса П.В. Анненкову (1846 г.):

«Возьмите определенную ступень развития производительных сил людей, и вы получите определенную форму обмена и потребления. Возьмите определенную ступень развития производства, обмена и потребления, и вы получите определенный общественный строй, определенную организацию семьи, сословий или классов, – словом, определенное гражданское общество. Возьмите определенное гражданское общество, и вы получите определенный политический строй, который является лишь официальным выражением гражданского общества» (Маркс 1962б: 402).

Что из перечисленного здесь Марксом определено входит в структуру способа производства? Разве вышеприведенное ортодоксальное определение способа производства со всей очевидностью вытекает из приведенных цитат Маркса? Конечно, нет. К. Виттфогель одним из первых обратил внимание на то, что сам Маркс формулирует категорию способа производства расплывчато и применяет ее

непоследовательно. Так, например, в знаменитых «Экономических рукописях 1957–1959 годов» Маркс делает отношения собственности ключевым критерием различения способов производства, что особенно ярко проявилось в его очерке «Формы, предшествующие капиталистическому производству» (Маркс 1968: 461–508). Впоследствии именно на этот текст опирался венгерский критик «Восточного деспотизма» Ференц Тёкеи, отождествлявший способы производства с формами собственности (Тёкеи 1975: 51–89). На основе анализа текстов К. Маркса и Ф. Энгельса Ф. Тёкеи дал собственную формулировку способа производства: «способ производства – это конкретная тотальность, *содержание которой – развитие производительных сил, а форма которой – производственные и общественные отношения*» (Тёкеи 1975: 26).

В другом месте тех же «Экономических рукописей» Маркс подчеркивает идею о том, что производство *изначально* носит общественный характер, является «общественно-определенным производством» (Маркс 1968: 17). Еще ярче эта идея выражена в работе «Наемный труд и капитал»: «Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство» (Маркс 1957а: 441). Именно на эти тезисы Маркса опирался Дьёрдь Лукач, друг и оппонент Виттфогеля, когда сделал производственные отношения ключевой категорией своего анализа и понятия способа производства.

В своем анализе понятия способа производства К. Виттфогель опирается на те же самые тексты, но расставляет в них иные акценты. Подобно Лукачу и Тёкеи, он, тоже исходит из ключевого указания Маркса на то, что различные процессы жизни – социальный, политический и духовный – должны рассматриваться как «неразрывно переплетенные моменты» исторически конкретного целого, «с необходимостью вытекающие из способа производства материальной жизни» (Виттфогель 1929, № 6: 15; Маркс 1959: 7). Суть дела, однако, в том, что в толковании понятия способа производства все они расходятся. В своей работе «Естественные причины экономической истории» К. Виттфогель различает способ производства в узком смысле и в широком смысле слова. В узком смысле, он определял способ производства как «действительный процесс производства» или единство существенных элементов (рабочей силы, предметов труда и

средств труда) в «обмене веществ» между человеком и природой под воздействием материальной стороны процесса (Wittfogel 1932, 67/4: 475 f). Внешне эта формулировка Виттфогеля похожа на ортодоксальное определение понятия производительных сил в советской историографии. Но К. Виттфогель мыслит иначе. В этом определении способа производства Виттфогель отталкивается от Марксовой характеристики простых моментов процесса труда («целесообразная деятельность, или самый труд, предмет труда и средства труда») и его определения процесса труда в «Капитале»: «Процесс труда... есть целесообразная деятельность для созидания потребительных стоимостей, присвоение данного природой для человеческих потребностей, всеобщее условие обмена веществ между человеком и природой...» (Маркс 1960: 189 и 195). По Виттфогелю, в понятии способа производства формулируется *отношение общественно работающего человека к природе, а не отношение людей друг к другу в процессе общественного производства.*

То же самое верно и для *способа производства в широком смысле слова*, определяемого, по Виттфогелю, как *единство естественных и общественных производительных сил в целостном процессе производства в данной общественно-исторической эпохе* (Wittfogel 1932, 67/4: 486). Это конкретное единство производительных сил, по Виттфогелю, *проявляется* в производственных отношениях (Wittfogel 1932, 67/4: 477f). Производственные отношения – это *форма* проявления производительных сил (*содержания*). В такой трактовке производственных отношений Виттфогель опирается на то место в «Немецкой идеологии», где отношения людей в ходе производства Маркс определяет как «формы общения» (Маркс и Энгельс 1955: 20). Спустя более трех десятков лет, похожие идеи стал развивать Ф. Тёкеи, что отмечено выше. Не свидетельствует ли изящное определение способа производства у Ф. Тёкеи о влиянии беспощадно критикуемого им Виттфогеля? Впрочем, их толкования способа производства все же заметно различаются. Согласно Виттфогелю, решающая формулировка Маркса имеет дело *в первую очередь с отношением общественно трудящегося человека к природе (способ производства), а затем уже с отношением общественно трудящихся людей друг к другу (производственные отношения).* Единство этих отношений образует общество. Взаимосвязь способа производства и производственных отношений проявляется в том, что изменение в способе

производства вызывает изменения во всех социальных отношениях (Wittfogel 1932, 67/4: 478). Как видим, Виттфогелевское понимание и толкование Маркса изначально отличалось от ортодоксального советского толкования.

Свои взгляды на роль естественного фактора в истории К. Виттфогель развивает, исходя из указаний Маркса на то, что в материальном производстве мы всегда имеем единство человека и природы. Виттфогель развивает мысль о том, что отношение между человеком и природой является исходным, «основным»: «*”Человек и его труд, с одной стороны, природа и ее вещества, с другой”* – таково основное отношение, “*вечное естественное условие человеческой жизни, независимое поэтому от какой бы то ни было формы этой жизни, но одинаково присущее всем ее общественным формам*“» (Виттфогель 1929, № 6: 17; ср.: Маркс 1960: 195). Комбинируя многочисленные цитаты из «Капитала» Маркса, Виттфогель стремится подчеркнуть мысль Маркса о том, что «человек и природа», «человек и земля» – это «родители всего материального богатства», «два единственных исконных средства производства» (Виттфогель 1929, № 6: 17, 18). Из этого отношения он, вслед за Марксом, выводит формулу трудового процесса в ее самом абстрактном и общем виде: «простые моменты трудового процесса суть целесообразная деятельность или сам труд, его предмет и его средства» (Виттфогель 1929, № 6: 18; ср.: Маркс 1960: 189).

В ходе исторического развития эти три простых момента изменяются. «Цепь трудового процесса удлиняется» настолько, что появляются «предметы труда, уже прошедшие несколько стадий обработки» и утратившие свой «естественный» облик. Значит ли это, что *естественный фактор прекращает играть свою роль*, или становится несущественным? Нет, отвечает Виттфогель, в ходе исторического развития изменяются акценты, «но *его фундаментальное значение этим не упраздняется, а получает все новые формулировки*». По мнению Виттфогеля, в этом заключается «одна из важнейших» особенностей исторической концепции Маркса, которую он обещает прояснить «не с помощью отдельных выхваченных цитат, а путем воспроизведения самого хода мысли Маркса» (Виттфогель 1929, № 6: 18, 19).

Роль естественного фактора в истории в свете трех простых моментов труда. К. Виттфогель начинает свой анализ с рассмотрения «естественной стороны рабочей силы», отмечая, что на этот счет

у Маркса имеются лишь намеки. Виттфогель утверждает, что Маркс верил в существование специфических свойств человеческих рас, сформировавшихся в разных естественных условиях. В главе о Фейербахе он нашел упоминания о специфической телесной организации человека, специфической «энергии отдельных наций», «энергии, порожденной уже скрещением рас». В III томе «Теорий прибавочной стоимости» (по изданию К. Каутского 1905–1910 гг.) он нашел замечание Маркса о том, что «не у всех народов одинаковы задатки к капиталистическому производству», о том, что, «например, у турок, нет для этого ни темперамента, ни предрасположения» (Виттфогель 1929, № 6: 20 сл.). Виттфогель отмечает, что замечания о «прирожденных расовых чертах» и «специфических чертах отдельных национальностей проходят через всю переписку Маркса и Энгельса». Эта естественная сторона человеческой рабочей силы, конечно, «претерпевала исторические изменения». Как указывал Маркс, всякая история должна исходить из субъективных (человек) и объективных (природа) основ и «их видоизменения в ходе истории под воздействием человека». Вслед за Марксом, Виттфогель подчеркивает, что *воздействуя на внешнюю природу, человек сам изменяет свою природу в процессе трудовой деятельности* (Виттфогель 1929, № 6: 21; ср.: Маркс 1960: 188). Если так, то не свелось ли все к результату исторического развития, в ходе которого «природное» в человеке было замещено «социальным»? Нет, отвечает Виттфогель, естественные качества человека сохранялись так же, как сохранялось естественное плодородие почвы, несмотря на то, что в результате культивации ее плодородие было искусственно улучшено, и она приобрела новую природу, на которой не видно следов труда. Естественная трудовая квалификация человека (его психофизические характеристики) соответствуют первоначальному плодородию почвы. Приобретенные в результате новых условий труда и жизни свойства неотделимо сливаются с первоначальной природой человека, образуя его «вторичную природу»: «Субъективные естественные основы трудового процесса видоизменились, но они отнюдь не уничтожены» (Виттфогель 1929, № 6: 21).

Вопрос о соотношении природного и социального в человеке поставлен Виттфогелем верно в том смысле, что у человека как существа социального *всегда сохраняется и его естественная, психофизиологическая основа*. Однако истоки национальных различий (наличие или отсутствие предрасположенности к капиталистическому

производству) Виттфогель, вслед за Марксом, неверно усматривал в исходных естественных различиях наций. Вопрос о предрасположенности некоторых наций к капитализму имеет прямое отношение к тому, что Виттфогель, вслед за Марксом, назвал «вторичной природой человека». Этот вопрос верно поставил и решил М. Вебер, связавший предрасположенность к капитализму с особенностями религиозного этоса, в конечном счете – с культурой (Вебер 1990: 61–272).

Что касается вопроса о соотношении первичной естественной природы человека как биологического вида с его вторичной природой как социального существа, то сегодня он формулируется иначе. Согласно новейшим представлениям, современный человек (кроманьонец) как биологический вид выделился в животном царстве к началу верхнего палеолита, около 180 тыс. л.н. С того самого времени его первичная природа как биологического вида не претерпела никаких изменений, тогда как вся его дальнейшая эволюция как существа социального была связана с культурой. Как биологический вид кроманьонец приспособлен к охотничье-собираческому образу жизни в маленьких коллективах с ярко выраженной групповой солидарностью. А современный человек живет в городских мегаполисах, часто ощущая свое бессилие и одиночество в макрообществах, раздираемых острыми противоречиями. С тех пор социокультурное развитие прошло огромный путь, а сдвига в генетической эволюции не произошло. Культура, с одной стороны, компенсирует, заполняет вакуум биологической эволюции, с другой, все больше усугубляет этот разрыв. Отсюда стрессы, многие болезни человека, неизвестные животным, и давнее стремление человека к бегству от культуры (даосы в Китае, киники и стоики в Древней Греции и т.п.). Вот в чем суть проблемы. Кажется, первым на это обратил внимание известный археолог Л.С. Клейн (2011: 459).

Что касается «естественных предметов труда», – куда относятся все дикие растения и животные и богатства земных недр (железная руда, минералы, нефть и др.) – то все они тоже *модифицируются под воздействием человека* (например, одомашнивание растений и животных), но *не утрачивают своей естественной основы*. Естественные предметы труда – это те предметы, которые еще не прошли через трудовой акт. Сюда не будут относиться одомашненные растения и животные, и даже рыба, разводимая в пруду (Виттфогель 1929, № 6: 22).

Вопрос о месте и роли «естественных средств труда» в процессе производства Виттфогель рассматривает в ходе полемики с социал-демократами Генрихом Куновым и Германом Гортером. По мнению Виттфогеля, оба они неадекватно толкуют значение этой категории в материалистической концепции Маркса. Виттфогель исходит из Марксова понимания средств труда «в наиболее тесном смысле» слова: «Средство труда есть вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда и которые служат для него в качестве проводника его воздействия на этот предмет» (Виттфогель 1929, № 6: 24; Маркс 1960: 190). По Марксу, подчеркивает Виттфогель, «земля является для человека “исконным арсеналом средств труда”». Земля есть «естественный фактор» общественного производства, настаивает Виттфогель, *«никакие общественно-исторические модификации не упраздняют его естественности», а только придают новую форму*. В след за Марксом, он подчеркивает, что земля является для человека «даром природы», точнее – «производительной силой природы». Как «важнейшее средство производства» земля, ее почва, «представляет собою “естественную производительную силу природы” наивысшего ранга, “даровую производительную силу”» (Виттфогель 1929, № 6: 25).

Наряду с почвой «Маркс приводит, как важное средство труда, *воду*». На различных ступенях производства вода различно используется в качестве средства производства: водоемы для разведения рыб, «вода орошения увлажняет и питает растения», судоходные воды как вспомогательные средства транспорта; «водопады приводят в движение мельницы, турбины и т.д.». Все это «производительные силы природы». На последующих этапах общественного производства *становятся доступными (актуализируются) и приобретают решающее значение новые «естественные производительные силы»*, такие, как энергия угля, пара, металлов, электричества и др., которые, как указывал Маркс, «сами по себе точно так же ничего не стоят, как естественное плодородие почвы или полезные свойства воды». Но, конечно, для их использования требуются «определенные средства труда, общественно произведенные и, следовательно, имеющие некоторую “стоимость”» (Виттфогель 1929, № 6: 27 сл.; Маркс 1960: 190, 398, 521–524).

Все три простые момента трудового процесса на каждой ступени развития общества имеют, по Виттфогелю, естественную (ЕС) и об-

ественную стороны (ОС): 1) рабочая сила (ЕС: «природа человека», раса, национальный характер; ОС: организация, умения, знания); 2) средства труда (ЕС: силы природы – свойства почвы, воды, ветер, тепло и др.; ОС: машины, инструменты); 3) предмет труда (ЕС: природные вещества, не прошедшие обработку; ОС: сырьё (прошедшее сквозь «фильтр» труда) (Виттфогель 1929, № 6: 28).

Виттфогель подчеркивал, что Маркс различал *«естественно обусловленные»*, т.е. созданные природой, и *«общественно обусловленные»*, т.е. созданные человеком производительные силы (Маркс 1960: 524; Wittfogel 1932, 67/4: 473 ff). Как же соотносятся между собой эти *«естественно обусловленные»* и *«общественно обусловленные»* производительные силы? Возрастает или убывает значение естественного фактора по мере развития общественного производства? Свой ответ на этот вопрос К. Виттфогель дает в ходе полемики с Дьёрдем Лукачем.

Спор о роли естественного фактора с Лукачем. Дьёрдь Лукач считал природу *«общественной категорией»*, а природу, признаваемую за нечто независимое от общества, он называл *«фетишем»* (Lukács 1923: 240; Виттфогель 1929, № 7–8: 18). Естественно, что на вопрос, компенсирует ли развитие общественных производительных сил в современной промышленности истощение природных ресурсов (в их экономической форме) и таким образом *уменьшает ли значение естественных производительных сил*, он отвечал утвердительно. Д. Лукач заявлял о том, что *«обобществленный человек»* в течение исторического развития постепенно овладевает природой, что он *уже* осуществил *«подчинение природы категориям обобществления»* (Lukács 1923: 239f; Виттфогель 1929, № 7–8: 5).

Виттфогель считал, что Лукач дает ошибочное решение поставленного вопроса. Ошибка Лукача, по его мнению, заключается в том, что *«за активным, действенным моментом, который представлен общественно трудящимся человеком, совершенно упускается из виду другая, предметно-естественная сторона явлений»* (Виттфогель 1929, № 7–8: 5). По Марксу, заявляет Виттфогель, отношения между человеком и природой модифицируются в эпоху современной промышленности, но не исчезают. Хотя зависимость от естественных условий приобретает все более опосредствованный характер, сама зависимость, по мнению Виттфогеля, остается в силе (Виттфогель 1929, 7–8: 2). Более того, Виттфогель заявляет: *«Вместе с ростом об-*

ществленных условий (сил) производственного процесса возрастает и значение естественного момента; развертывание общественно и природно обусловленных производительных сил идет рука об руку» (Виттфогель 1929, № 7–8: 1).

Если в ходе развития общественного производства, естественный фактор не упраздняется, то какой из двух факторов, «естественный» или «общественный», является определяющим? Виттфогель утверждает, что и позиции географических материалистов (подчеркивание определяющей роли природы) и позиция Лукача (подчеркивание активной роли субъекта, определяющей роли общественных отношений) являются одинаково односторонними. Но позицию Лукача он считает «более опасным уклоном от диалектического материализма». Если Маркс неустанно повторяет, что «формы общественной жизни» (т.е. производственные отношения) производны от способа производства, то «Лукач перевертывает это положение вверх ногами», когда заявляет, что производственные отношения играют «основную, определяющую» роль в развитии общества. Таким образом, заявляет Виттфогель, Лукач «воспроизводит в сфере экономики идеалистическую мысль о доминирующем значении субъективного элемента в историческом процессе» (Виттфогель 1929, № 7–8: 17). Географический материализм без диалектики ведет к механицизму, делает вывод Виттфогель, а диалектика без материализма, как у Лукача, ведет к идеализму.

Для Лукача наиболее важно *не отношение человека к природе, а активное осмысление и структурирование общества человеком*. Таким образом, все категории являются социальными категориями, и для человеческой практики нет никаких практических и мыслительных границ, кроме тех, что он сам устанавливает. Согласно концепции, развиваемой Лукачем в «Истории и классовом сознании», для того чтобы понять и преобразовать общество, надо прежде всего осмыслить его как целостность (тотальность). Отдельные факты и процессы сами по себе непознаваемы. Они поддаются осмыслению лишь с точки зрения целого. Поэтому целое мыслится как исходное. Подход к обществу с точки зрения целостности и происходящих внутри нее процессов взаимодействия и взаимопереходов основных противоположностей – субъективного, человеческого и объективного, вещного – это, по Лукачу, и есть диалектика, представляющая собой и метод мышления о мире, и способ участия в его преобразовании:

«Данная диалектическая концепция тотальности, которая якобы так далеко отступает от непосредственной действительности, которая якобы так “ненаучно” ее конструирует, на самом деле является единственным методом мыслительного воспроизведения и постижения действительности. Конкретная тотальность, стало быть, является подлинной категорией действительности» (Lukács 1923: 22–23).

При обосновании своего подхода Д. Лукач ссылался на метод восхождения от абстрактного к конкретному, примененный Марксом в «Капитале». Лукач ссылается на указания Маркса, в которых подчеркивается, что правильным в научном отношении является не характерный для буржуазной науки путь познания «от конкретного, данного в представлении, к все более и более тощим абстракциям», а прямо противоположный путь, на котором «абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного посредством мышления», поскольку «конкретное потому конкретно, что оно есть синтез многих определений, следовательно, единство многообразного» (Маркс 1968: 37). Лукачу известно замечание Маркса о том, что «метод восхождения от абстрактного к конкретному есть лишь тот способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно конкретное». Ему известно указание Маркса на то, что ход абстрактного мышления, восходящего от простейшего к сложному, в общем и целом должен соответствовать действительному историческому процессу, «однако это ни в коем случае не есть процесс возникновения самого конкретного» (Маркс 1968: 37). Но Лукач отстаивает методологическое господство категории тотальности над эмпирическими фактами, исходя из идеи о том, что не существует «чистых» эмпирических фактов, «что факты вообще впервые становятся фактами лишь после такой методологической обработки, которая проводится по-разному в зависимости от цели познания», (Lukács 1923: 22).

По мнению Виттфогеля, абсолютизация метода восхождения от абстрактного к конкретному приводит Лукача к тому, что его *категория конкретной тотальности подменяет историческую действительность*. У Лукача история движется от сознания через «тотальность» к «действительности». Прямо противоположная Виттфогелевская концепция истории берет за основу тот подход Маркса к действительности, который провозглашен им в рукописи «Фейербах»:

«Там, где прекращается спекулятивное мышление, – перед лицом действительной жизни, – там как раз и начинается действительная положительная наука, изображение практической деятельности, практического процесса развития людей... Изображение действительности лишает самостоятельную философию ее жизненной силы» (Маркс и Энгельс 1955: 26).

К. Виттфогель, стремившийся синтезировать позитивизм с марксизмом, воспринимал очерк «Фейербах» с особым энтузиазмом, поскольку усматривал в нем прямое влияние позитивизма на Маркса. Тезис Гегеля о том, что «истина есть целое» (Гегель 1959: 10), Виттфогель толковал иначе, чем Лукач. Позитивная наука должна начинать исследование не с абстрактной категории конкретной тотальности Лукача, а – с фактов действительности. Но научное познание, начинающееся с фактов действительности, вовсе не исключает последующий синтез и воспроизведение в мышлении конкретной тотальности. Виттфогель всегда стремился дать насколько возможно более полную картину действительности, рассматривая *естественные и общественные условия производства в их конкретной взаимосвязи*. Для Виттфогеля это и есть *диалектика конкретной тотальности*. Именно такой подход, по его мнению, позволяет преодолеть крайности позиций, односторонне подчеркивающих определяющую роль либо общественного, либо естественного фактора.

Виттфогель постоянно подчеркивает, что Маркс «всегда учитывает оба момента производительности, общественный и природный». При этом он обращает внимание на важное замечание Маркса о том, что влияние естественных условий на рост производительных сил имеет противоречивый характер: они могут способствовать и уменьшению, и увеличению общественно необходимых затрат труда на единицу продукции (Маркс 1968: 285). При всем росте общественных производительных сил естественные условия могут ухудшаться. Маркс, например, говорит о том, что с прогрессом производства стоимость железа и угля удешевляется, однако истощение копей затрудняет их удешевление.

А что будет, когда запасы ресурсов на нашей планете истощатся? Т.Р. Мальтус в своей работе «Опыт о законе народонаселения» (1798) сформулировал закон, согласно которому, природные ресурсы не могут удовлетворить потребности возрастающего народонаселения, а плодородие почвы убывает пропорционально росту народонаселе-

ния. Маркс видел эту проблему, но все-таки приходил к оптимистическому выводу, что «земля..., при надлежащем ее использовании все время улучшается». Однако решение этой проблемы он связывал с новым общественным строем (коммунизмом). Маркс был убежден, что рост плодородия почвы, как и рост производительных сил в промышленности, сковывается при капитализме моментами общественного характера. Он полагал, что коммунизм откроет простор для полного развития общественных производительных сил, которые позволят поднять и *новые естественные производительные силы*. Но это, подчеркивает Виттфогель, «вовсе не означает, что прекращается борьба с природой, не означает конца “царства необходимости”» (Виттфогель 1929, № 7–8: 6,7).

Виттфогель напоминает знаменитое заявление Маркса о том, что «люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали», а под давлением совершенно определенных преднаходимых ими условий (Маркс 1957б: 119). «Действенный материализм, подчеркивающий активность человека, – заявляет Виттфогель, – подчеркивает вместе с тем объективные условия, при которых только и может проявляться эта активность» (Виттфогель 1929, № 7–8: 18). Наряду с «общественными» условиями в широком смысле (классовая структура, форма государства, право, идеология) и общественными условиями в узком смысле, т.е. условиями производственной деятельности (средства труда, организация труда, трудовая квалификация) существуют «естественные» условия, без которых «немыслимо создание материального богатства». Виттфогель, вслед за Марксом, повторяет знаменитый афоризм Петти: «Труд есть отец богатства, земля – его мать» (Виттфогель 1929, № 7–8: 19; Маркс 1960: 52). Оба неустранимые прародители всякого богатства «выполняют две *принципиально различные функции*»: человек с его трудовой деятельностью представляет активный момент, природа «представляет момент объективного субстрата, который *своей предметной структурой указывает... этой деятельности вполне определенный путь*». Человек может проявлять свою активность «только так, как это допускается доступными ему естественными средствами труда и естественными предметами труда». *Какие из естественных моментов актуализируются общественно трудящимся человеком* в каждый данный момент, зависит от совокупности общественно развернутых производительных сил

308

(умения и навыки работника, уровень развития науки, организация труда и т.д.). Но направление и возможность изменения трудового процесса в его общественной форме *зависит от общественно «доступных» в данный момент производительных сил природы*. Повышение общественных производительных сил становится возможным только тогда, когда это «допускается природой». «Определяющими и “ведущими” являются здесь... не созданные человеческим трудом, “не поддающиеся контролю естественные условия”», – делает вывод Виттфогель (Виттфогель 1929, № 7–8: 19). На ряде примеров К. Виттфогель показывает, как влияет на развитие производительных сил наличие плодородных почв и воды, климат, наличие или отсутствие полезных ископаемых, их доступность (глубина залегания, удаленность), наличие удобных путей (рек, близость моря) и т.д. и т.п. (Виттфогель 1929, № 7–8: 7–13).

Роль естественного фактора на ранних этапах истории и в исторической перспективе. Касаясь вопроса о самых ранних этапах человеческой истории, К. Виттфогель заявляет, что, «по Марксу, различный ход развития примитивных обществ проистекает из различной структуры естественных производительных сил». При этом он приводит цитату из «Капитала» Маркса, на которую, по его мнению, «обращали слишком мало внимания» (Маркс 1960: 364): *«Различные общественные коллективы находят в своем естественном окружении различные средства производства и различные средства существования. Поэтому (! К. В.) их способ производства, форма жизни и продукты различны»* (Виттфогель 1929, № 7–8: 20; ср. несколько иной перевод: Маркс 1960: 364).

Различие естественных условий в Старом и Новом Свете обусловило различие путей развития земледельческих обществ в каждом полушарии (Энгельс 1961: 30; Виттфогель 1929, № 7–8: 21). Старый Свет обладал почти всеми пригодными для одомашнивания злаками и животными, тогда как в Новом Свете из млекопитающих имелась лишь лама, а из злаков – только кукуруза. Различные естественные условия Старого Света затем обусловили «распадение на античное и феодальное земледельческое общество и на гигантскую полосу “азиатских” производственных коллективов». Если в феодальное сельское хозяйство Европы долгое время находилось на сравнительно низком уровне развития производительных сил, то в азиатских странах очень рано «была пущена в ход... необычайно продуктивная про-

изводительная сила природы в форме искусственного орошения». С многочисленными ссылками на Маркса Виттфогель утверждает, что такой путь, «был опять-таки предрезан вполне определенной комбинацией естественных моментов» и вытекал либо из необходимости контроля над паводковыми водами, либо из необходимости снабжать водой почву в засушливых климатических условиях, либо включая и то и другое вместе (Там же). Различие структуры естественных производительных сил, «именно различие в размерах территории, на которую распространяется единая оросительная система» привели к разным формам организации земледельческого труда и вырастающим (или не вырастающим) из них разным «политическим укладам».

В первой из двух статей Виттфогель дал типологию ирригационных обществ в Азии. Он выделил три основных типа: 1) «египетский» (включая Вавилон, Персию и Китай) с доминирующей ролью централизованного орошения; 2) «японский» с локальной ирригацией в изолированных местных центрах во главе с военно-феодальной знатью и 3) «индийский», промежуточный между египетским и японским (Виттфогель 1929, № 7–8: 22). Включая Китай в «египетский» тип с «доминирующей ролью централизованного орошения», Виттфогель сделал оговорку о том, что в «феодальный» период, до образования империи Цинь, централизация орошения в Китае «была преимущественно областной», тогда как Египет «представлял собою классический образец государственного единства». Господствующим слоем в обществах этого типа были «образованные чиновники то с более светским» (книжники в Китае), то «с более религиозным уклоном» (жрецы в Египте). Естественные условия в Японии (небольшие изолированные участки морского побережья, изолированные речные долины в горах) благоприятствовали освоению почв на местном уровне. Отсюда – существование ряда изолированных местных центров производства с военной надстройкой, где книжнику и жрецу обществ первого типа в японском обществе соответствует воин. «Индийский» тип, и по масштабам искусственного орошения и по размерам централизации, по мнению Виттфогеля, представляет промежуточный тип. Господствующий класс состоит здесь из двух каст жрецов и воинов, с преобладанием первой группы (Там же). Что означает преобладание касты жрецов, и кто в этом обществе является организатором ирригационных работ, Виттфогель не уточнил.

Во второй статье Виттфогель расширил свой сравнительный анализ далеко за пределы Азии, включив Европу и Америку (Wittfogel 1932, 67/4: 484 сл). Вслед за Марксом, он показывает, что каждая стадия развития общества находится в соответствии с уровнем развития производства. Поначалу новый способ производства не раскрывает своих возможностей, поскольку ему необходимо предшествует период «созревания». Виттфогель различает два вида «созревания» способа производства: «горизонтальное развитие», т.е. экстенсивное, при котором новых возможностей не открывается, и «вертикальное развитие», при котором открываются новые возможности, в каждом случае в зависимости от наличия специфических факторов, в том числе от характера общественно обусловленных производительных сил. В обоих случаях определяющую роль играют природно обусловленные производительные силы, без которых общественно обусловленные производительные силы развиваться не могут (Wittfogel 1932, 67/4: 484, 487). Виттфогель особенно интересовался «горизонтальным развитием», при котором процесс созревания сдерживался, а актуализация новых естественных элементов оказывалась невозможной либо из-за отсутствия природно обусловленных производительных сил, либо из-за того, что по каким-то причинам блокировались возможности развития других способов производства.

В своем сравнительно-историческом анализе Виттфогель следует той схеме стадий развития человеческого общества, которая была принята им в работе «История буржуазного общества». В этой схеме после стадий первобытного коммунизма и примитивного земледелия следовала стадия феодализма, которая, по его мнению, «возможно» была «промежуточной стадией» на пути многолинейной эволюции к трем другим типам обществ: античному, азиатскому и раннекапиталистическому (Wittfogel 1924: 121, 122). Приступая к анализу доиндустриальных стадий развития, Виттфогель, подчеркивает, что на ранних ступенях развития, в земледельческих обществах такие естественно обусловленные производительные силы, как наличие плодородных почв и водных ресурсов играли решающую роль среди других природных условий (Виттфогель 1929, № 7–8: 23).

Большой интерес для сравнительного анализа представляла Америка, где Виттфогель обнаружил разнообразные формы экстенсивного и интенсивного земледелия. В Америке, в областях с интенсивным земледелием, он тоже выделил три основных типа ирригационного

общества: 1) индейцы пуэбло на Юго-Западе США, практикующие интенсивное земледелие без крупномасштабной ирригации (Wittfogel 1932, 67/5: 579 ff); 2) общества Майяской и Мексиканской областей с локальной ирригацией, близкой японскому типу (Wittfogel 1932, 67/5: 587 f); 3) общества Андской области с крупномасштабной ирригацией и системой управления, схожей с китайским типом (Wittfogel 1932, 67/5: 589 ff).

Что касается Европы, то структура естественных производительных сил благоприятствовала развитию там экстенсивного земледелия и примитивного феодализма (Wittfogel 1932, 67/5: 606 f). Но развитие рабского труда в системе экстенсивного земледелия Греции и Западно-Римской империи блокировало развитие примитивного феодализма. Рабский труд составил основу расцвета античного общества, но, в конечном счете, этот путь вел в тупик. В Восточно-Римской империи, в зоне интенсивного ирригационного земледелия, рабство никогда не играло ведущей роли. Система земледелия здесь была более устойчивой, но в дальнейшем переживала застой из-за отсутствия импульсов к развитию (Wittfogel 1932, 67/5: 595 f, 600 f).

В Азии имелись многие предпосылки для зарождения мануфактурного производства и последующего индустриального роста, но они не были актуализированы из-за структуры естественных производительных сил и господствующего азиатского способа производства (АСП). АСП препятствовал развитию городов западного типа – типа, который играл решающую роль в развитии капитализма (Wittfogel 1932, 67/5: 605 f). Когда Виттфогель говорит об азиатском способе производства, он явно склоняется к мысли о том, что его зарождение почти неизбежно вытекало из структуры естественных производительных сил в Азии. Но Виттфогель нигде не говорит о том, что развитие феодализма и капитализма в Европе было необходимым. Он предпочитает говорить о том, что естественные условия в сочетании с рядом внешних и внутренних исторических факторов сделали это возможным.

Роль естественного фактора в индустриальную эпоху Виттфогель раскрывает на примере таких ключевых стран Западной Европы, как Англия и Франция (Wittfogel 1932, 67/4: 469 ff), Германия, Голландия, Италия, Швейцария и Испания (Wittfogel 1932, 67/6: 715–727). На высшей ступени развития, в эпоху расцвета крупной промышленности, «решающим является второй вид естественных богатств», т.е.

природные запасы средств труда в виде водопадов, судоходных рек, леса, металлов, угля и т.д. Местоположение этих средств объясняет варианты в развитии индустриального капитализма. Так во Франции, например, отсутствие достаточных запасов угля затрудняло развитие капитализма по сравнению с Англией, где его было много. Аналогичным образом в Англии индустриальное развитие стало замедляться по мере истощения легкодоступных запасов угля и с переходом к разработке труднодоступных пластов (Wittfogel 1932, 67/4; 469 f; Виттфогель 1929, № 7–8: 24). В дальнейшем, по замечанию Маркса, Европе грозит упадок торговли и промышленности «из-за невыгоды географического положения Европы сравнительно с Америкой».

Единственный шанс Европы – это социальная революция. Только новое поколение общественно обусловленных производительных сил, возникших в результате социальной революции, позволит в будущем компенсировать недостатки географического положения. Заключительные выводы Виттфогеля о том, что «прорыв к социализму» приведет «с первых же шагов социалистического строительства» к освобождению «огромного запаса общественных производительных сил», больше похожи на заклинания, в которые он, спустя менее 10 лет, и сам перестал верить. Но гипотеза Виттфогеля о том, что «новые общественные производительные силы» в будущем откроют доступ к таким сторонам природы, которые прежде были недоступны, и поставят «на службу общественному производству *совершенно новые естественные производительные силы*» (Виттфогель 1929, № 7–8: 24,25), представляется вполне обоснованной в рамках развиваемой им концепции актуализации естественных производительных сил. На протяжении всей работы убедительно обоснован главный, как мне кажется, вывод о том, что по мере развития общественных производительных сил будет расширяться и царство необходимости, но человек никогда не будет властвовать над природой (Виттфогель 1929, № 7–8: 25, 27).

Изучение роли естественного фактора в истории позволило К.А. Виттфогелю создать необходимый теоретический каркас для фундаментального эмпирического исследования по истории производительных сил Китая. Вышедшую в 1931 книгу «Экономика и общество Китая» он рассматривал как первую часть единого целостного исследования по истории хозяйства и общества Китая, во второй части которого предстояло изучить производственные отношения и

структуру китайского общества. Спустя четверть века в свет, наконец, вышло то, что должно было стать вторым томом «Экономики и общества Китая», но превратилось в сравнительный анализ тоталитарной власти – его «Восточный деспотизм» (Wittfogel 1957). Во всех отношениях это была уже совсем другая книга. Теперь во взаимодействии человека и природы К.А. Виттфогель первостепенное значение отводит институциональным и культурным факторам. Даже его новая номенклатура – «гидротехническое общество» (hydraulic society) и «гидротехническая цивилизация», – по собственному замечанию Виттфогеля, «делают акцент скорее на институтах, чем на географии». С помощью термина «гидротехническое общество» Виттфогель хочет подчеркнуть выдающуюся роль контроля и политической власти в этих обществах, «привлечь внимание к агроуправленческому и агробюрократическому характеру этих цивилизаций» (Wittfogel 1957: 3). Виттфогель развивает совершенно новую концепцию способа производства, в структуру которого теперь включаются и базис и надстройка. А что же с ролью естественного фактора? Как и следовало ожидать, в новом подходе Виттфогеля его роль модифицируется, но нисколько не уменьшается. Но это уже совсем другая история.

ЛИТЕРАТУРА

- Анучин В.А. 1960. *Теоретические проблемы географии*. М.: Географиз.
- Анучин В.А. 1965. История с географией. *Литературная газета*. 18 февраля.
- Вебер М. 1990. Протестантская этика и дух капитализма. *Вебер М. Избранные произведения*. М.: 61–272.
- Виттфогель К.А. 1929. Геополитика, географический материализм и марксизм. *Под знаменем марксизма*. № 2–3: 16–42; № 6: 1–29; № 7–8: 1–28.
- Гладков Н.А. 1963. Защита докторской диссертации В.А. Анучина. *Советская география*. № 4: 34–44.
- Гринин Л.Е. 2006. Производительные силы как социоестественная категория. *Человек и природа: из прошлого в будущее*. Под ред. Э.С. Кульпина. М.: 200–217.
- Иолк Е. 1931. Выступление на дискуссии. *Дискуссия об азиатском способе производства*. Отв. ред. Э.А. Корольчук. М. – Л.: 59–74.

- Клейн Л.С. 2011. *История археологической мысли*. В 2-х т. Т. 2. СПб.: Изд-во С.-Петербург-го ун-та.
- Кульпин Э.С. 1990. *Человек и природа в Китае*. М.: Наука. Глав. ред. вост. лит-ры.
- Кульпин Э.С. 1996. *Бифуркация Запад–Восток. (Курс лекций «Введение в социоестественную историю»)*. М.: Московский лицей.
- Кульпин Э.С. 1999. *Восток (Курс лекций «Человек и природа на Дальнем Востоке»)*. М.: Московский лицей.
- Кульпин Э.С. 2008. Социоестественная история – ответ на вопросы времени. *Историческая психология и социология истории*, № 1: 196–207.
- Лынша В.А. 2007. Предмет и метод истории в «классической» парадигме школы «Анналов». *Проблемы отечественной истории: Материалы научной конференции*. Ч. I. Отв. ред. О.Б. Лынша. Уссурийск: 5–50.
- Маркс К. 1957а. Наемный труд и капитал. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 6. М.: 428–459.
- Маркс К. 1957б. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 8. М.: Госполитиздат: 115–217.
- Маркс К. 1959. К критике политической экономии. Предисловие. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 13. М.: Госполитиздат: 5–9.
- Маркс К. 1960. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат.
- Маркс К. 1962а. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3.. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. М.: Госполитиздат.
- Маркс К. 1962б. П.В. Анненкову 28 декабря 1846 г. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 47. М.: Госполитиздат: 401–412.
- Маркс К. 1968. Экономические рукописи 1857 – 1859 (Первоначальный вариант «Капитала»). Часть первая. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 46. Ч. I. М.: Госполитиздат. 585
- Маркс К. и Энгельс Ф. 1955. Немецкая идеология. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 3. М.: Госполитиздат: 7–544.
- Никифоров В.Н. 1977. *Восток и всемирная история*. М.: Наука. ГРВЛ.
- Саушкин Ю.Г. 1963. Защита докторской диссертации В.А. Анучина. *Советская география*. № 4: 53–59.

- Сталин И.В. 1938. *Краткий курс истории ВКП(б)*. М.: Огиз.
- Тёкеи Ф. 1975. *К теории общественных формаций*. М.: Прогресс.
- Энгельс Ф. 1961. Происхождение семьи, частной собственности и государства. *Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения*. 2-е изд. Т. 21. М.: Госполитиздат: 23–178.
- Яшнов Е.Е. 1933. *Особенности истории и хозяйства Кумая*. Харбин.
- Lukács G. 1923. *Geschichte und Klassenbewusstsein*. Berlin: Malik Verlag.
- Wittfogel K.A. 1924. *Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Von ihren Anfängen bis zur Schwelle der grossen Revolution*. Wien: Malik Verlag, 1924.
- Wittfogel K.A. 1931. *Wirtschaft und Gesellschaft Chinas. Versuch zur wissenschaftlichen Analyse einer grossen asiatischen Gesellschaft. Erster Teil: Produktivkräfte, Produktions – und Zirkulationsprozess*. Leipzig: C.L. Hirschfeld.
- Wittfogel K.A. 1932. Die natürlichen Ursachen der Wirtschaftsgeschichte. *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* (Tübingen). Jg. 67. H. 4: 466–492; H. 5: 579–609; H. 6: 711–731.
- Wittfogel K.A. 1957. *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. New Haven: Yale University Press.

ФОРМИРОВАНИЕ КОЧЕВОГО ОБЩЕСТВА: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ

В настоящее время большинство специалистов считает, что скотоводство появилось в одно время или немного позже, чем земледелие (Шнирельман 1989: 30). Имея излишки пищи, земледельцы получили возможность вскармливать детенышей убитых на охоте животных – таким образом, происходило постепенное одомашнивание. В IX–VIII тысячелетиях до н. э. на Ближнем Востоке были одомашнены козы и овцы, несколько позже – крупный рогатый скот (Шнирельман 1989: 57, 64). Расселяясь на новые территории, земледельческие племена приносили с собой навыки комплексного земледельческого-скотоводческого хозяйства; в IV–III до н. э. земледельческие поселения распространились на обширные пространства северного Причерноморья и Прикаспия. На этих степных просторах обитали дикие лошади, тарпаны, которые вскоре были приручены населением этих мест (Кузьмина 1977: 28; Ковалевская 1977: 19). В Прикаспии и в теперешнем Казахстане лишь немногие земли были доступны для обработки мотыгой, и земледельцы селились на плодородных участках в поймах немногочисленных рек (Кузьмина 1994: 195, 199). Однако окружающие степи представляли собой изобильные пастбища, на которых паслись большие стада скота – так что в хозяйстве местного населения явственно преобладало скотоводство. На одном квадратном километре ковыльно-разнотравной степи можно было прикормить 6–7 коней или быков, а для прокормления одной семьи из 5 человек требовалось стадо примерно в 25 голов крупного скота (Мордкович 1982: 167; Марков 1976: 21), следовательно, плотность скотоводческого населения в степи могла достигать 1,3 чел./км². Эта цифра близка к оценке Ратцеля – 0,7–1,9 чел./км²; расчеты О.Г. Большакова для степей Аравии дают 1,6–1,9 чел./км² (Ratzel 1922: 173; Большаков 1989: 33). Таким образом, плотность скотоводческого населения превосходит максимальную плотность для охотников и собирателей, но она в 5–10 раз меньше, чем у мотыжных земледельцев и в сотни раз меньше, чем у земледельцев, использующих ирригацию. Экологическая ниша скотоводов очень узка и перенаселение наступает достаточно быстро.

По данным археологов, во II тысячелетии до н. э. происходило быстрое расселение скотоводов на восток, вплоть до Манчжурии; к XIII веку до н. э. степи были в основном заселены, и возможности оседлого скотоводства оказались исчерпанными (Кузьмина 1994: 205).

Решающим толчком, обусловившим переход от оседлого к кочевому скотоводству, было создание усовершенствованного уздечного набора (с мартингалом и оголовьем) в начале I тысячелетия до н. э. После освоения этой фундаментальной инновации наездничество перестало быть искусством немногих джигитов – оно стало доступно всем, и все мужчины сели на коней (Ковалевская 1977: 115; Смирнов 1966: 13). Это открыло возможность освоения дальних пастбищ, и жители степей стали кочевать вместе со своими стадами. Кочевники Средней Азии обычно зимовали в районах южнее Сыр-Дарьи, а летом перегоняли свои стада за полторы-две тысячи километров на богатые пастбища северного Казахстана (из-за сурового климата эти пастбища не могли использоваться зимой) (Толыбеков 1971: 497–498). Кочевание помогло освоить северные степи и горные луга, однако оно потребовало смены образа жизни: “С переходом к кочевому скотоводству резко изменился облик степей. Исчезли многочисленные поселки, наземные и углубленные в землю жилища бронзового века, жизнь теперь проходила в повозках, в постоянном движении людей вместе со стадами от одного пастбища к другому” (Мелюкова 1989: 5). Женщины и дети ехали в поставленных на колеса кибитках – но были племена, где на коней сели и женщины; Геродот передает, что у савроматов женщины «вместе с мужьями и даже без них верхом выезжают на охоту, выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами» (Геродот 1972: 216). Археологи свидетельствуют, что в могилы женщин – так же как в могилы мужчин – часто клали уздечку, символ всадника (Мелюкова 1989: 70,169).

Возникновение кочевничества сопровождалось появлением кавалерии и вспышкой войн (Мелюкова 1989: 5). «В поисках новых пастбищ и добычи скотоводы захватывали в сферу своего влияния... все новые группы населения, – пишет Г. Е. Марков. – Мог развернуться своего рода “цепной процесс” распространения кочевничества» (Марков 1976: 31). Действительно, после VIII века до н. э. на всем протяжении Великой Степи – от Дуная до Хингана – утверждается единая культура, говорящая о господстве в степи группы родствен-

ных кочевых народов. Эти народы – скифы, сарматы, саки – это были древние индоиранцы, «арии» (Массон, Мерперт 1982: 118–119).

Кочевничество позволило освоить новые пастбища, но плотность населения в степи оставалась низкой – к примеру, даже в конце XIX века в Тургайской области Казахстана она не превосходила 1,9 чел./км² (Алексеев 1981:80). При этом имеются сведения, что на протяжении последних двух тысячелетий численность кочевых народов не возрастала. Как отмечает А.М. Хазанов, численность хунну, живших на территории современной Монголии, и количество скота у них почти полностью совпадает с теми цифрами, которые имеются для монголов начала XX века (Хазанов 1975: 265). Экологическая ниша скотоводов была очень узкой, и голод был постоянным явлением. Китайские хроники пестрят сообщениями о голоде среди кочевников: «В том же году в землях сюнну был голод, от него из каждого десятка населения умерло 6–7 человек, а из каждого десятка скота пало 6–7 голов... Сюнну несколько лет страдали от засухи и саранчи, земля на несколько тысяч ли лежала голая, люди и скот голодали и болели, большинство из них умерли или пали... Был голод, вместо хлеба употребляли растертые в порошок кости, свирепствовали повальные болезни, от которых великое множество людей померло...» (Таскин 1973: 29,70). Арабские писатели сообщают о частом голоде среди татар; имеются сообщения о том, что в годы голода кочевники ели падаль, продавали в рабство своих детей (Хазанов 1975: 149). Недостаток средств существования породил обычай жертвоприношения стариков у массагетов; у некоторых племен было принято умерщвлять вдов, грудных детей убивали и погребали вместе с умершей матерью (Геродот 1972: 79; Эрдели 1988: 104). В условиях полуголодного существования бедуины Аравии зачастую убивали новорожденных девочек (Большаков 1989: 42). Приводимые В.П. Алексеевым данные о степных могильниках II тысячелетия до н.э. (Тасты-Бутак, Хрящевка-Ягодное, Карасук III) говорят о очень высоком уровне детской смертности; средняя продолжительность жизни взрослых составляла 34 года (Алексеев 1989: 87–90). В более позднюю эпоху, у средневековых кочевников-авар, средняя продолжительность жизни составляла 38 лет для мужчин и 36 лет для женщин (Эрдели 1988: 102).

Образ жизни кочевников определялся не только ограниченностью ресурсов кочевого хозяйства, но и его неустойчивостью. Экологические условия степей были изменчивыми, благоприятные годы сменя-

лись засухами и джутами. В среднеазиатских степях джут случался раз в 7–11 лет; снежный буран или гололед приводили к массовому падежу скота; в иной год гибло больше половины поголовья (Толыбеков 1971: 79). Гибель скота означала страшный голод, «климатический стресс»; кочевникам не оставалось ничего иного, как умирать или идти в набег – по замечанию Н.Н. Крадина, корреляция между климатическими стрессами и набегами «прослеживается чуть ли не с математической точностью» (Крадин 1991: 304).

Регулярные климатические стрессы порождали в степи обстановку вечной и всеобщей войны; эта война называлась у казахов «барымтой». «Благосостояние кочевников определялось исключительно силой того или иного казахского рода, – отмечает А.А. Кауфман, – оно поддерживалось хищничеством, барымтой и выпадала на долю родов, военно-разбойничья организация которых была наиболее развитой» (Кауфман 1903: 133). Кочевники закалялись в борьбе со стихией и в постоянных столкновениях друг с другом. В каждом роду имелся наездник, отличавшийся храбростью и физической силой; постоянно проявляя себя в схватках, он постепенно становился «батыром», «богатырем». Батыры возглавляли роды в сражениях, они были главными героями казахского эпоса (Толыбеков 1971: 207,255). «Молодых и крепких уважают, – говорит китайский историк о гуннах, – старых и слабых почитают мало... Сильные едят жирное и лучшее, старики питаются после них... Кто в сражении отрубил голову неприятеля, тот получает в награду кубок вина и все захваченное в добычу» (Бичурин 1950: 40). «Счастливыми из них считаются те, кто умирает в бою, – говорит Аммиан Марцеллин об аланах, – а те, кто доживают до старости и умирают естественной смертью, преследуются у них жестокими насмешками, как выродки и трусы» (Аммиан Марцеллин 1994: 494). Культ войны находил проявление в поклонении мечу, Геродот сообщает о поклонении мечу у скифов, Аммиан Марцеллин – у алан (Геродот 1972: 202; Аммиан Марцеллин 1994: 494).

В бесконечных сражениях выживали лишь самые сильные и смелые – таким образом, кочевники подвергались естественному отбору, закреплявшему такие качества, как физическая сила, выносливость, агрессивность. Древние и средневековые авторы неоднократно отмечали физическое превосходство кочевников над жителями городов и сел. «Кипчаки – народ крепкий, сильный, здоровый», – пишет Ибн Батута (Тизенгаузен 1934: 283). «Они так закалены, что не нужда-

ются ни в огне, ни в приспособленной ко вкусу человека пище; они питаются корнями трав и полусырым мясом всякого скота», – говорит Аммиан Марцеллин о гуннах (Аммиан Марцеллин 1994: 491). Ал-Мукаддаси видит в тюрках «самых храбрых врагов, с крепкими телами, самых выносливых при бедствиях, у которых меньше всего жизненных благ и покоя» (ал-Мукаддаси 1939: 191). Естественный отбор на силу, ловкость, выносливость дополнялся воспитанием воинских качеств, начиная с раннего детства. «Мальчик, как скоро сможет сидеть верхом на баране, стреляет из лука пташек и зверьков и употребляет их в пищу», – говорит Сымы Цянь о воспитании у гуннов (Бичурин 1950: 40). У монголов и казахов 12-13-летние юноши вместе со своими отцами ходили в набеги (Толыбеков 1971: 572; Марков 1976: 152).

Суммируя данные исторических источников и археологических раскопок, можно прийти к выводу, что для общества кочевников были характерны: малая продолжительность жизни людей, высокая смертность, периодический голод и связанные с ним колебания численности населения, постоянные войны между родами и племенами. Эти признаки в совокупности свидетельствуют о *перенаселении*, о *высоком демографическом давлении* в кочевом обществе.

Кочевники жили сплоченными родами, насчитывавшими десятки и сотни членов. Из-за нехватки пастбищ большие группы людей не могли кочевать вместе, поэтому после перекочевки на летние или зимние пастбища род обычно разделялся на группы родственных семей (казахские «аулы»). Аул состоял из 3-7 близкородственных семей, иногда это была семья отца и семьи женатых сыновей (Хазанов 1975: 269; Толыбеков 1971: 501). В состав аула могли входить и рабы, но их было мало и они, как правило, не пасли скот, а использовались для домашних работ. Для пастьбы скота не требовалось много людей, один конный пастух мог справиться со стадом в 500 овец – но требовалось знание дела и настоящая забота о скоте, чего трудно было ожидать от рабов. Кроме того, раб-пастух мог легко найти удобный случай для бегства; поэтому кочевники не держали большого числа рабов, захваченных в набегах пленников старались продать торговцам, прибывавшим из земледельческих стран (Хазанов 1975: 141–142, 146).

Пастбища обычно принадлежали всему роду или племени, и на них мог пасти свой скот любой соплеменник, первым занявший это место после перекочевки. Скот находился в частной собственности

семей, и были семьи, значительно различавшиеся богатством. Однако богатство среди кочевников было относительным: засуха, болезни скота, набеги врагов могли быстро разорить богача – и точно так же бедняк мог приобрести богатство в удачном набеге (Хазанов 1975: 62; Марков 1976: 59, 257). «Скот на самом деле принадлежит любому бурани и сильному врагу», – говорит казахская пословица (Толыбеков 1971: 257).

Смелый батыр, захвативший много добычи, становился обычно главой рода и богачом, в случае необходимости он мог приказывать своим сородичам – но на нем же лежала забота о благополучии всех членов рода. «Богатый киргиз считает своим долгом каждое лето снабдить не только неимущих родственников, но и многих знакомых, необходимым скотом... – отмечает А. Харузин. – За ссуду никакого вознаграждения не берется, а для взявшего существует только обязанность возратить скот в целости» (Харузин 1889: 222). Подобный обычай существовал у многих степных народов, у арабов он назывался «ваджа», у казахов – «саун» (Марков 1976: 267; Толыбеков 1971: 530). «Эксплуатация простых полноправных кочевников у номадов вряд ли достигала сколько-нибудь развитых форм», – отмечает Н.Н. Крадин (Крадин 1991: 315).

В условиях постоянной войны в степях необходимыми условиями выживания были единство рода и родовая взаимопомощь, родовой коллективизм. «Удалой джигит рождается для себя, а умирает за род, – говорит казахская пословица. – Чем быть султаном в чужом роде, лучше быть рабом в своем» (Толыбеков 1971: 514). Отношения взаимопомощи нашли отражение и в законах кочевых государств. По законам ойратов неоказание помощи нуждающемуся в ней приравнивалось к убийству (Марков 1976:98).

Родовыми вождями обычно становились воины, проявившие себя в сражениях. «Кто храбр, силен и способен разбирать сложные дела, тех поставляют старейшинами, – говорит Фань Е о племени ухуань. – Наследственной власти у них нет» (Бичурин 1950: 142). У большинства кочевых племен в мирное время власть старейшин была невелика, и важные вопросы решались собранием родовичей (Марков 1976: 61–63, 99, 142, 260). Н.Н. Крадин подсчитал, что лишь 3 из 27 описанных в базе данных Дж. Мердока кочевых обществ имели устойчивое деление на страты (Крадин 2006: 202). Родовой коллективизм находил свое проявление в обычаях военной демократии и в выдвижении по заслугам.

Таким образом, в конечном счете формирование общества кочевников определялось теми же тремя факторами, что и формирование общества земледельцев: географический фактор предопределял скотоводческие занятия обитателей степей, технологический фактор (создание усовершенствованного уздечного набора) обусловил развитие всадничества и кочевание, а демографический фактор в сочетании с высокой мобильностью способствовал появлению обычаев военной демократии.

Политическая карта Великой Степи обычно являла собой пестрый конгломерат враждующих родов и племен. Как отмечалось выше, государство появляется в земледельческих обществах при достижении достаточно высокой плотности населения. Плотность населения у кочевников была в десятки раз ниже, чем у земледельцев. Н.Н. Крадин отмечает, что государственность для кочевников не была внутренне необходима, что большинство кочевых обществ никогда не достигали уровня государственности (Крадин 2001а: 22). Но все же бывали случаи, когда победоносный хан объединял несколько племен и создавал кочевое государство. Как заключают многие историки, объединение кочевников обычно было ответом на создание по соседству мощного централизованного земледельческого государства (Крадин 2001:38, 43; Барфилд 2006: 429). С одной стороны, такое объединение становится необходимым для противостояния мощному противнику, с другой стороны – это была реакция подражания соседней державе. Последнее обстоятельство подчеркивается еще и тем, что управленческая структура кочевников обычно создавалась по образцу соседних земледельческих государств; так, создатель империи гуннов шаньюй Модэ заимствовал административные традиции империи Цинь, а Чингисхан перенял военную организацию у Цзинь и Ляо (Гумилев 1993: 71; Кычанов 1973: 81). Таким образом, мы можем говорить о диффузии государственных принципов земледельцев в кочевые общества.

Объединение кочевых племен в единое государство клало конец межплеменным войнам, но не снижало демографического давления в степи. Если раньше в годы “климатического стресса” кочевники шли в набег на соседнее племя, и численность населения снижалась за счет военных потерь, то теперь единственным способом спасения от голода было объединение сил степи и нашествие на земледельческие страны. Таким образом, объединение кочевников неизбежно порождало волну нашествий (См., например: Большаков 1993: 14).

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев В.П. 1989. Палеодемография: содержание и результаты. *Историческая демография. Проблемы, суждения, задачи*. Отв. ред. Ю.А. Поляков. М.: Наука: 63–90.
- Алексеенко Н.В. 1981. *Население дореволюционного Казахстана. Численность, размещение, состав, 1870–1914 гг.* Алма-Ата: Наука.
- ал-Мукаддаси, Абу Абдаллах. 1939. Наилучшее распределение для познания стран. *Материалы по истории туркмен и Туркмении*. Т. 1./ Под ред. С.Л. Волина, А.А. Ромаскевича и А.Ю. Якубовского. М.: Институт Востоковедения: 185–209.
- Аммиан Марцеллин 1994. *Римская история*. СПб: Алетейя.
- Барфилд Т.Дж. 2006. Мир кочевников-скотоводов. *Раннее государство, его альтернативы и аналоги* / Под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева. Волгоград: 415–441.
- Бичурин И. 1950. *Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена*. Т. 1. М.-Л. Изд-во АН СССР.
- Большаков О.Г. 1989. *История Халифата*. Т. 1. М.: Вост. лит.
- Большаков О.Г. 1993. *История Халифата*. Т. 2. М.: Вост. лит.
- Геродот 1972. *История в девяти книгах*. М.: Наука.
- Гумилев Л.Н. 1993. *Хунну*. СПб.: Тайм-аут.
- Кауфман А.А. 1903. *К вопросу о русской колонизации Туркестанского края*. СПб.: Ф.М. Киршбаум.
- Ковалевская В.Б. 1977. *Конь и всадник*. М.: Наука.
- Крадин Н.Н. 1991. Особенности классовобразования и политогенеза у кочевников. *Архаическое общество: узловыe проблемы социологии развития*. Отв. ред. А.В. Коротаев. М.: 301–324.
- Крадин Н.Н. 2001а. Общественный строй кочевников: дискуссии и проблемы. *Вопросы истории*. № 4: 21–32.
- Крадин Н.Н. 2001б. *Империя хунну*. 2-е изд. М.: Логос.
- Крадин Н.Н. 2006. Археологические признаки цивилизации. *Раннее государство, его альтернативы и аналоги*. Отв. ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, Н.Н. Крадина, А.В. Коротаева. Волгоград: 184–208.
- Кузьмина Е. Е. 1994. *Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение идоиранцев*. М.: Наука.

- Кузьмина Е.Е. 1977. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света. *Средняя Азия в древности и средневековье. Отв. ред. Б.Г. Гафуров, Б.А. Литвинский.* М.: 28–52.
- Кычанов Е.И. 1973. *Жизнь Темучжина, думавшего покорить мир.* М.: Вост. лит.
- Марков Г.Е. 1976. *Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации.* М.: Изд-во МГУ.
- Массон В.М., Мерперт Н.Я. 1982 (ред.) *Археология СССР.* М. Наука.
- Мелюкова А.И. 1989 (ред.). *Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время.* М.: Наука.
- Мордкович В.Г. 1982. *Степные экосистемы.* Новосибирск: Наука.
- Смирнов А.П. 1966. *Скифы.* М.: Наука.
- Таскин В.С. 1973. *Материалы по истории сюнну (по китайским источникам).* Вып. 2. М.: Вост. лит.
- Тизенгаузен В.Г. 1934. *Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.* Т. 2. М.-Л.: Изд. АН СССР.
- Толыбеков С.Е. 1971. *Кочевое общество казахов в XVII – начале XX века.* Алма-Ата: Наука .
- Хазанов А.М. 1975. *Социальная история скифов.* М.: Наука.
- Харузин А. 1889. *Киргизы Букеевской орды.* Т. 1. СПб.: А. Левенсон.
- Шнирельман В.А. 1989. *Происхождение скотоводства.* М.: Наука.
- Эрдели И. 1988. Авары. *Исчезнувшие народы .* Отв. ред. П.И. Пучкова. М.: 99–112.
- Ratzel F. 1922. *Anthropogeographie.* В. II. Stuttgart: J. Engelhorn's Nachf.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СЕТИ КАК ФАКТОР ВТОРИЧНОГО ПОЛИТОГЕНЕЗА В ДОКОЛОНИАЛЬНОЙ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ

Постановка проблемы

Стадиальная и цивилизационная принадлежность доколониальных обществ Тропической Африки – одна из самых актуальных проблем не только современной африканистики, но и политической антропологии. С одной стороны, это частный случай более общего и довольно дискуссионного вопроса об особенностях социально-политического развития восточных обществ и о соотношении этого развития с основными стадиями истории человечества. С другой стороны, от ее решения во многом зависит понимание специфики современных социально-экономических и политических процессов в развивающихся государствах Африканского континента, а также более адекватное представление о том, что же на самом деле деформировалось при образовании колониального общества – той основы, на которой строится настоящее и от тенденций трансформации которой зависит будущее постколониальных стран.

Другими словами, решение проблемы стадиальной и цивилизационной атрибуции непосредственным образом связано с особенностями политогенетических процессов в африканских условиях и специфики этнополитических организмов Тропической Африки, т.е. являлись ли они государствами или же находились на предгосударственной стадии и представляли собой вожества и/или союзы вожеств, а может быть существовали и какие-то иные формы раннеполитических (постпервобытных) организмов.

Политогенез без государствообразования и политогенетическая контроверза

Под политогенезом обычно понимается процесс становления политической организации постпервобытного общества. В результате политогенетических процессов формируется политическая власть как асимметричное и амбивалентное отношение между управляющими и управляемыми. Поэтому в центре внимания исследователей

политогенеза, как правило, оказывается *феномен потестарности* (властвования, властелинства) и основные факторы его генезиса и исторической динамики (прежде всего, экологические, этнокультурные и социально-психологические). Если потестарность трактовать как волевое доминирование, то под потестарными отношениями следует понимать те отношения между людьми и их коллективами, в которых отражается принцип иерархичности.

Асимметричность потестарных отношений, ставшая одним из детерминирующих факторов стабилизации социумов, возникла на самых ранних стадиях антропосоциогенеза и была обусловлена функциональными различиями индивидуальных ролей в человеческих коллективах, а также психологическими механизмами властвования / подчинения (подробнее см.: Потестарность 1997: глава I). В процессе политогенеза политическое общение близких по родственным и соседским отношениям людей, еще относительно равных по потестарному статусу и влиянию, сменяется отчужденными отношениями господства и подчинения, опирающихся на административный аппарат принуждения и насилия, т.е. на государство¹, если исходить из классово-государственной модели политогенеза.

Как известно, создатели *классово-государственных теорий политогенеза* трактуют государство как политическую организацию экономически господствующего класса и аппарат его диктатуры. При этом государство рассматривается как высшая стадия развития политической организации, единственная и универсальная, а генезис государства может осуществляться двумя основными путями – в результате действия факторов внутреннего развития и под внешним воздействием уже сформировавшихся государств (в форме завоевания или опосредованного воздействия), что вполне закономерно в условиях асинхронности темпов исторических процессов. В связи с этим различают *первичные и вторичные государства*.

Одно из новейших направлений политогенетических исследований, подвергающее сомнению универсальность института государства и самого феномена государственности, занимается обоснованием *безгосударственных моделей политогенеза*. Большинство

¹ Государство осуществляет также руководство, управление, координацию, контроль и другие потестарные функции, применяя такие средства осуществления власти, как авторитет, убеждение, манипуляция, запрет.

сторонников этого подхода исходит из многолинейности социальной эволюции и занято поиском и обоснованием альтернатив государству в мировой истории. В качестве альтернативных вариантов определяют полис, мегаобщину и акефальные сложные общества, т.е. социальных организмов, в которых интеграция осуществляется за счет горизонтальных, а не вертикальных связей между составляющими их социально – родственными институтами (см., например, коллективные работы: *Alternative Pathways* 1995; *The Early State* 2004, а также обзор: Крадин 2001: 147–151).

Однако, если проанализировать истоки этого подхода и основной фактический материал, на котором базируются авторы безгосударственных моделей, то все они вполне вписываются в парадигму вторичного политогенеза, а *теория парapolитейности* позволяет решить политогенетическую контроверзу (т.е. появление государственности в доклассовом обществе, что противоречит постулату о синхронности классов – и политогенеза), рассмотрев парapolитейность (государствоподобность) как результат вторичного (стимулированного более развитыми обществами) политогенетического развития, когда происходит опережающее развитие высших иерархических уровней социально-политического управления и создается возможность для появления особого – *парapolитического* – состояния постстарых организмов, в которых политогенез так и не завершился образованием государства (подробнее см.: Роров 1988; Попов 1990; 1995).

Иными словами, рассматриваемые сторонниками многолинейности социальной эволюции как однопорядковые государству неиерархические формы политической организации, будь то древнегреческий полис или политии кочевников, казаков и горцев, а также кельтов и исландцев, – не более чем «альтернативные пути» к государственности (первичной или вторичной), наряду с парapolитейностью и «ранним государством». Нельзя не заметить к тому же, что «неиерархические сложные общества» – такой же оксюморон, как и «неиерархическая власть».

Вместе с тем, мало кто обращает внимание на те предпосылки, которые способствовали развитию тенденций вторичной государственности и в частности – на наличие особых социально-коммуникативных сетей, организованных по естественным принципам – родству, гендеру и возрасту (Попов 2010).

«Общности по джаму» и «система абусаупон»

*Джаму (jami)*¹ – имена собственные, патронимы, многие из которых (а всего их зафиксировано более двухсот) объединяют сотни тысяч людей в Западном Судане (подробнее о джаму см.: Ольдерогге 1960; Арсеньев 1977; Пирцио-Бироли 2001; Маслов 2010). От обычных фамилий эти «клановые имена» отличаются тем, что носители одинаковых джаму считают себя родственниками и используют в разговоре друг с другом те же вокативы, что и для обращения к своим старшим и младшим сиблингам. Носители одинаковых джаму – «общности по джаму» – часто возводят себя к общему предку, почитают те же *тотемы* (например, тотем Кейта – бегемот, Джара – лев, Самаке – слон). Устная традиция часто приписывает «общностям по джаму» некую прародину, откуда ее представители расселились по территории всего Западного Судана.

Существует *корреляция между джаму и статусом и/или профессией*, передаваемой по наследству, т.е. по джаму можно определить традиционную профессию (например, Думбия, Сиссоко и Багайого – кузнецы, Куйате и Фофана – гриоты /сказители/) или статус (например, Кейта, Тункара, Траоре – благородные /земледельцы-воины/).

Имеется также *корреляция между джаму и этнической принадлежностью* (Кулибали, Траоре, Джара – *бамбара*; Кейта, Курума, Конате – *манинка* /*малинке*/; Тункара, Макало, Калого – *сонинке*; Майга, Хайдара – *сонгаи*; Бамба, Бенкали – *сенуфо*; Тембели, Того, Нафо – *догоны*; Уэдраого, Согодого, Зербо – *моси*; Саного, Мале – *миньянка*; Фофана, Магаса – *кагоро*; Даколо, Камате – *бобо*; Мента, Канипо, Карабента – *бозо*; Диалло, Дьяките, Ба, Сангара, Гиссе – *фульбе*; Тям, Талл, Си, Согоре – *тукулёры*; Ндияй, Фалл, Нгом – *волофы*; Ятара – *туареги*; Сиби – *мавры*; и т.д.), однако эта корреляция не касается многих крупнейших общностей, своего рода *трансэтнических* (Камара, Туре, Сисе, Сиссоко, Диавара, Конде, Конне, Самаке, Сарр, Бало и др.). Некоторым общностям по джаму (например, Сисе и Туре) приписывается роль истинных, и/или первых мусульман.

Между некоторыми джаму (например, между Кейта, Тункара и Сисе, Траоре и Дембеле) предполагается *родство*. При этом одни общности считаются «младшими», а другие – «старшими» кросску-

¹ Слово из языка бамана, на котором говорит бамбара – крупнейший народ Республики Мали; восходит к арабскому *jama'a* («собрание, сообщество»).

зенами, что выражается в представлениях об их происхождении от сиблингов-первопредков. Ассоциация с родством находит выражение и в отношениях *синанкуйя* – взаимном ритуальном доброжелательном поношении (так называемое *шуточное родство*, или подшучивание). Помимо джаму, в отношениях *синанкуйя* состоят самые различные группы людей, часто не имеющие никакого отношения к родству, даже фиктивному (например, каста кузнецов и этнос фульбе), или такие характерные для региона пары, как догоны – бозо, манинка – сонинке, фульбе – бамбара, дан – гуру, лоома – манинка и др., где элементы бинарной оппозиции представляют собой крупные этнокультурные общности. Иными словами, отношения ритуального поношения зачастую шире не только кросскузенных связей, но и родства в целом. Характерно также, что у хаусанцев аналогичное ритуальное поношение также объединяло либо кузенов, либо жителей некоторых географических областей или городов (Ольдерогге 1960: 115–136).

Еще один вид отношений между джаму – *эквивалентность*, или «тождество». Если два (иногда три или даже четыре) джаму эквивалентны (например, Дамба = Сиссоко; Кейта = Конате = Кулибали = Камара), то брачные предпочтения, а также «братские» связи у них одни и те же. Именно связи по эквивалентности обеспечивают трансэтничность (транснациональность) института джаму. Эквивалентность означает возможную смену имени при миграциях. Так, Конне оказывается Джара, если поселяется среди последних (в Сегу, например) (Маслов 2010: 111). Аналогичные явления отмечены и в аканском регионе, где субъектами эквивалентных отношений выступают надродовые институты абусуапон (Попов 1990; 1994).

Существуют также представления о *брачных предпочтениях* (предписанных или желательных / в прошлом, вероятно, – обязательных/ браках) для различных джаму и абусуапон, т.е. джаму или абусуапон воспринимаются, в том числе, и как маркеры *эпигамных общностей*. Следует заметить, что иногда взаимные брачные предпочтения между некоторыми двумя (тремя, четырьмя) джаму отождествляется с отношениями «шуточного родства».

Интерпретация феномена общностей по джаму и абусуапон, а также их аналогов представляет значительный интерес для понимания механизмов этносоциальной и политической интеграции в Западной Африке в историческом аспекте, а также для правильной

оценки современных общественных отношений в этом регионе. Так, в комментариях по поводу вооруженных столкновений в Либерии, Сьерра-Леоне и других странах Западной Африки, имевших место в 1990-е годы и в начале XXI в., как правило, используются расхожие штампы о “борьбе за власть”, “контроле над ресурсами”, “недовольной армии”, “страдающих беженцах”, “иностранном вмешательстве”. Между тем, за многими внешне хаотичными и однообразными событиями новейшей военно-политической истории большинства государств Западной Африки стоят традиционные правила социально-этнического и социально-родственного баланса.

Анализ среднего звена командного состава различных повстанческих армий в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее и Кот-д’Ивуаре указывает на сохранение (или даже реактуализацию) традиционных связей по джаму. Также можно упомянуть альянсы Джона Поля Корума и Фоды Санко в Сьерра-Леоне (середина 1990-х гг.) или Кигбафори Сооро и Ибрагима Кулибали в Кот-д’Ивуаре (2002 г.), фамилии которых представляют собой тождественные джаму. Те же тенденции проявились при формировании правительств Мали и Гвинеи в 2002 г. Так, в Мали к власти пришла группировка эквивалентных джаму Траоре – Джара – Конне – Ндиай, а «некогда весьма влиятельная группировка Кейта – Конате – Кулибали – Камара представлена министром инфраструктуры и территориального развития, а также двумя женщинами-министрами, которые, однако, находятся замужем за мужчинами Траоре и Ндиай. Примечательно, что традиционно Кейта – Конате – Кулибали – Камара считаются соперниками Траоре – Джара – Конне – Ндиай, притом, что “обмен невестами” между этими группами считается предпочтительным» (Арсеньев, Маслов 2002: 27). Так что прав был Д. Пирцио-Бироли, когда отмечал, что «поддержка в спорах и отказ свидетельствовать против своих в суде, единение в политических соперничествах» были основными функциями мандингских кланов (т.е. джаму. – В.П.) (Пирцио-Бироли 2001: 56).

Очень много похожего в особенностях формирования различных политических институтов (в том числе политических партий и партизанских отрядов) в постколониальных государствах Западной Африки и, например, в истории «империи» Уасулу, существовавшей в последней четверти XIX в. Её создателя Самори Туре современники называли Бонапартом Судана и даже африканским Чингисханом. Европейцы никак не могли понять природу нестабильности или, ско-

рее, текучести границ территории Уасулу, объясняя этот феномен ходом борьбы с французскими колонизаторами и вынужденным отступлением африканцев во внутренние районы континента, при этом они полагали, что империя Самори все время перемещалась вместе с населением. Если посмотреть на европейские политические карты Африки, то, действительно, в конце 1870-х гг. империя Самори располагалась в восточных районах современной Гвинеи, а в конце 1890-х гг. – на северо-востоке современного Кот-д’Ивуара (Niane, Suret-Canale 1961: 86–91). На самом деле, Уасулу никуда не перемещалась, тем более с многочисленным населением. Просто Самори регулярно переносил свою ставку («столицу») в более восточные регионы в пределах социально-потестарной системы, существовавшей на основе «общностей по джаму» и признававшей его верховным вождем. Известно, что архаические политические организмы, как правило, не акцентировали свое господство над территорией, для них главное заключалось в людях, в подданных. Правители распоряжались скорее людьми, чем территорией (ср.: вождь свази, а не свазиленда). Поэтому и «государственных границ» в современном понимании не существовало. То есть, никакой империи и государства Самори не создал, а его Уасулу представляла собой либо вариант парapolитейного организма, либо специфическую сетевую организацию.

«Общности по джаму» как социально-коммуникативная сеть

В исторической социологии общинные (территориальные) связи принято противопоставлять родственным (транстерриториальным). Однако на примере феномена общностей по джаму (и абусуапон) видно, что транстерриториальные структуры возникают из территориальных, но идентифицируются при этом в категориях родства и возраста. Иначе говоря, группа людей, живших вместе, а затем рассеявшихся, начинает именовать свою близость в терминах родства и возраста после преодоления территориальных границ. Но это не просто потомки мигрантов из определенной местности, принадлежность которых к джаму или абусуапон передается по наследству, – действовали также и механизмы инкорпорации. В итоге появлялась фиктивно-родственная организация, вполне адекватная современным представлениям о социальных сетях.

Сеть фиктивно-родственных отношений по джаму и абусуапон обеспечивала не столько политическое, сколько коммуникативное и символическое единство территории, крайне важное для военных

и торговых мероприятий. Как представляется, устойчивость ранне-политических образований зависела не только от военной мощи и экономической стабильности, но и от легитимности власти и эффективности коммуникаций (во всех смыслах)¹. И именно легитимность потестарной системы и коммуникация были основными функциями сетевых систем типа джаму и абусуапон вплоть до XXI в. (см. также: Попов 2006; Маслов 2010).

Заключение

Сетевые структуры, сложившиеся в доколониальной Тропической Африке (прежде всего, «общности по джаму» у народов Западного Судана, межгородские сетевые образования у хаусанцев и канури в Центральном Судане, а также «система абусуапон» у ашантийцев и других аканских народов Гвинейского побережья), способствовали появлению единых социально-коммуникативных пространств, сопоставимых с локальными цивилизациями и ставших главной предпосылкой политической интеграции.

Основным структурообразующим принципом организации сетевых сообществ является родство (реальное или фиктивное), поскольку только матрицы родства способны выразить как иерархические, так и горизонтальные отношения, причем номенклатуры родства отражают не только собственно родственные, но и половозрастные взаимоотношения.

Исторический процесс в Тропической Африке развивался таким образом, что социально-коммуникативные сетевые структуры оказались мощным фактором вторичного политогенеза.

ЛИТЕРАТУРА

- Арсеньев В.Р. 1977. Общности по «клановому имени» («джаму») у населения верховьев Сенегала и Нигера. *Этническая история Африки*. М.: 138–152.
- Арсеньев В.Р., Маслов А.А. 2002. Новое правительство Мали: возрождение традиционных связей?. *Африка: общества, культуры, языки (Чтения памяти Д.А.Ольдерогге, т. 4)*. СПб.: 25–29.

¹ На материалах других регионов и эпох к аналогичным, по сути, выводам пришел Г. Классен, который пишет об инфраструктуре, эффективности региональной организации и легитимности (Claessen 2002: 101–11).

- Крадин Н.Н. 2001. *Политическая антропология*. М.: Ладомир.
- Маслов А.А. 2010. Системы родства народов манде. СПб.: МАЭ РАН.
- Ольдерогге Д.А. 1960. *Западный Судан в XV–XIX вв. Очерки по истории и истории культуры*. М.–Л.: Наука.
- Пирцио-Бироли Д. 2001. *Культурная антропология Тропической Африки*. М.: Восточная литература.
- Попов В.А. 1990. *Этносоциальная история аканов в XVI–XIX веках. Проблемы генезиса и стадийно-формационного развития этнополитических организмов*. М.: Восточная литература.
- Попов В.А. 1994. Аканский потестарно-культурный регион в политической системе Республики Гана. *Африка: культура и общество. Традиции и современность*. М.: 214–220.
- Попов В.А. 1995. Политогенетическая контроверза, парapolитейность и феномен вторичной государственности. *Ранние формы политической организации: от первобытности к государственности*. М.: 188–204.
- Попов В.А. 2006. Сетевые структуры как фактор политогенетических процессов в доколониальной и постколониальной Тропической Африке. *Иерархия и власть в истории цивилизаций*. М.: 7–8.
- Попов В.А. 2010. Родство, гендер и возраст как принципы организации социально-коммуникативных сетей (к проблеме факторов политогенетических процессов в доколониальной Африке). *Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 г.* СПб.: 176–182.
- Потестарность: генезис и эволюция. 1997. СПб: Восточная литература.
- Alternative Pathways to Early State. 1995. Vladivostok: Dal'nauka.
- Claessen H.J.M. 2002. Was the State Inevitable?. *Social Evolution and History* .1 (1): 101–117.
- Niane D.T., Suret-Canale J. 1961. *Histoire de l'Afrique Occidentale*. Conackry.
- Popov V.A. 1988. *Secondary Forms of Political Organization in the Ethnosocial History of Sub-Saharan Africa*. М.: Nauka.
- The Early State, Its Alternatives and Analogues. 2004. Volgograd: "Uchitel" Publishing House.

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ БУДУЩЕГО МИРОПОРЯДКА

Кажется, что природа заботилась не о том, чтобы человек хорошо жил, а о том, чтобы вследствие глубокого преобразования самого себя, благодаря своему поведению он стал достоин жизни и благополучия [...] Величайшая проблема для человеческого рода, разрешать которую вынуждает его природа, — достижение всеобщего правового гражданского общества.

Иммануил Кант

Идейный контекст и выбор темы

Современная российская философия представляет собой весьма пеструю мозаику, но по большей части укладывается в континуум, полюсами которой являются столько раз высмеянные, но удивительно живучие либеральное западничество и традиционалистское почвенничество (последнее вкуче с патриотизмом, великодержавием и проч)¹.

Ярких интеллектуальных прорывов, признанных впечатляющих идей, которые хотелось бы развивать или оспаривать нет по обеим сторонам континуума.

В отношении находящихся в меньшинстве философов-западников это если не простительно, то объяснимо: им приходится хоть как-то справляться с волнами идейного импорта из европейских и американских интеллектуальных центров, тут надо успевать переваривать

¹ Некоторые идеологические явления имеют бытийные основания, и никакая дискредитация, даже со стороны таких авторитетов как С.С. Аверинцев, их не отменяет. С точки зрения макросоциологии, пока Россия сохраняет обширную территорию и большую армию с мощным оружием, пока европейцы не признают Россию равноправной частью Европы, пока при этом будет продолжаться в России сугубо западная (изначально французская и немецкая, теперь отчасти американизированная) традиция науки и образования, до тех пор продлится и культурный раскол — идеологическое противостояние между западничеством и почвенничеством-великодержавием.

новое чужое¹, а до своего и самостоятельного руки все никак не доходят (и вряд ли когда-нибудь дойдут).

Отечественные философы-почвенники находятся в более уязвимой позиции, хотя вряд ли это осознают. Универсальный масштаб, всечеловечность русской духовной и мыслительной традиции были заявлены и отчасти реализованы (Ф. Достоевским, Л. Толстым, В. Соловьевым, В. Вернадским, представителями «русского космизма»), но с тех пор остаются лишь фигурами самоутверждения. Уже несколько десятилетий муссируются довольно узкие темы националистического и имперского плана: русский характер, православная духовность, превознесение государственной идеи, державность, славные прошлые победы и собирание земель, козни внешних и внутренних врагов и проч.

Неоднократно высказанные наблюдения относительно того, что современное российское мышление (как философское, так и обществоведческое) практически ничего нового и значимого не дает окружающему миру, кроме сведений «о себе любимых», являются сильным и, пожалуй, справедливым обвинением, особенно, тем, кто привык кичиться «самобытной, оригинальной и творческой» традицией русской философии.

Эти инвективы задели и меня, посвятившего несколько лет сугубо российской проблематике². Поэтому данная работа специально посвящена общеполитическим и вненациональным, космополитическим темам, а задача состоит в том, чтобы соединить весьма абстрактную метафизику (вопросы онтологии времени, смысла человеческого существования в истории, универсальных ценностей) с проблемами и перспективами современного глобального развития.

¹ Один уважаемый профессор в моем окружении в ответ на любые попытки коллег разработать и заявить что-то оригинальное (вместо «профессиональной» интерпретации западных идей) язвительно вспоминает «Белого Рыцаря» из «Алисы в Зазеркалье», который, преподнося очередную глупость, каждый раз гордо восклицал: «Это мое собственное изобретение!»

² Результаты см. в книге: [Розов 2011].

Неклассическая онтология времени: будущее как «сад создающихся тропок»

И, взятое сразу [в определенный момент], время повсюду одно и то же, а как предшествующее и последующее — не одно и то же [...] Ведь «теперь» разделяет и возможности.

Аристотель

Геометрически выстроенная физическая картина мира, особенно, представление о четырех измерениях — трехмерном пространстве и четвертой оси времени — сыграло со всеми нами злую шутку. Пространственные образы крайне сильны и суггестивны. Мы представляем себе ось времени, уходящую в прошлое (что исчисляется годами и столетиями) и в будущее (опять же, календари и годовые отметки в планах и прогнозах укрепляют данный образ).

Еще больше убеждают нас в заданности, как бы предсуществовании единого временного вектора, устремленного в будущее и полностью симметричного вектору прошлого, действительная массивная инерционность всей человеческой цивилизации и ее природного, космического окружения. Если оставить за скобками апокалипсические сценарии ядерной войны, столкновения планеты с огромным астероидом и всеобщего разрушения (а к этим сюжетам мы еще вернемся), то смело можно предсказывать, что через 10, 50 и 100 лет будут продолжать существовать не только горы, моря и пустыни, но также города, университеты, научные центры, церкви, фирмы, финансовые учреждения, пути сообщения, средства связи, наземный, подземный, воздушный и морской транспорт. Если в том или ином виде все они будут существовать, то вполне можно представить, что *они уже и есть там на соответствующем отрезке временной оси, устремленной в будущее.*

Теперь рассмотрим совсем иную онтологию времени. *Будущего нет, и никакой оси времени, уходящей в будущее не существует* (кроме составленных когда-то людьми календарей, планов и прогнозов, существующих в настоящем). Каждый момент настоящего создает для всех вещей, явлений, процессов *спектры возможностей*. Многое остается без изменений, но некоторые возможности соединяются с другими возможностями и в следующий момент времени происходит

изменение в конфигурации вещей и явлений, что сразу же обрастает спектрами новых возможностей, в том числе, ранее недопустимых(!) Соответственно, каждый момент времени — это что-то вроде сада расходящихся тропок по Борхесу, но только за пределами следующего момента никакого сада с тропками еще не существует. *Сами тропки и их развилки создаются движением по ним*¹.

Попробуем обосновать такой взгляд на время. Когда существование некоего A полностью отрицается, то любые дедуктивные доводы становятся сомнительными, опровергающим аргументом должна служить демонстрация существования этого A , его предъявление. Однако ничего из будущего предъявить нельзя. Все «оттуда» может быть предъявлено только в настоящем. Некоторые явления можно предсказать, практически с абсолютной надежностью, с точностью до года и месяца (появление комет), или даже даты, часа, секунды (восходы и заходы, солнечные и лунные затмения)².

Здесь и кроется малозаметный логический разрыв. Есть высокая точность и верность предсказания явлений небесной механики, некоторых особо стабильных физических процессов, на чем, собственно,

¹ Несколько упрощая богатый логический аппарат А. М. Анисова [1991, 2000], чьи идеи здесь развиваются, формальный алгоритм порождения новых моментов настоящего можно представить таким образом:

Шаг 1. Есть переменные настоящего мира M_i . Все их значения определены, это элементы настоящего.

Шаг 2. Каждому элементу настоящего согласно действующим в данной части мира M_i законам Природы (в том числе, и человеческих обществ как части Природы) сопоставляется веер возможных изменений — потенциальных элементов-преемников в следующем шаге (мире M_{i+1}), среди них — оставшиеся неизменными те же элементы.

Шаг 3. Согласно законам Природы производится выбор элементов-преемников (в том числе, следов, которые считаются свидетельствами прошлого), остальные преемники уничтожаются.

Шаг 4. Сочетания некоторых элементов-преемников становятся новыми элементами мира M_{i+1} . В том числе, порождается новое как таковое, ранее не существовавшее. Иногда в некоторых частях мира некоторые переменные исчезают (или превращаются в константы), тогда как другие появляются со своими рядами значений; одни законы прекращают действие, а другие начинают действовать.

Далее следует возврат к шагу 1, и все повторяется, но с обновленным составом значений (реже — переменных и законов).

² Собственно, сама идея протяженной симметрично в прошлое и будущее оси времени появилась в связи с развитием соответствующих открытий небесной механики (ключевые фигуры: Кеплер и Ньютон).

и выстроено все измерение времени в человеческой цивилизации, так делают и сверяют часы. Однако это отнюдь не заменяет принципиально невозможную демонстрацию явлений на единой оси будущего. Верность таких предсказаний, которая в будущем (будем надеяться) подтвердится, говорит лишь о том, что для соответствующих процессов не нашлось достаточной силы возмущений, способных нарушить характер и темпы этих процессов. Иными словами, здесь мы имеем дело не с предсуществованием какого-либо будущего с расставленными на его оси солнцестояниями, затмениями и проч., а только с циклическими или монотонными физическими процессами, оказавшимися на некоторый период (астрономически не такой уж и большой), изолированными от соразмерных им по силе других процессов, способных их нарушить или вовсе прекратить. Иными словами, здесь приходится отчасти вернуться от картезианской и ньютоновской геометрической картины мира к сущностной аристотелевской, поскольку именно Аристотель определял время (*χρονος*) как «меру движения» (Физика. IV, 12, 221ab).

Тезис об отсутствии будущего как части «единой оси времени» может быть опровергнут, только когда фиксированные на этой оси будущие явления или их надежные реконструкции будут предъявлены, но не как получившиеся вследствие инерционных и изолированных процессов (см. выше), а как имеющие на этой оси свое самостоятельное бытие. Такое возможно только в сферах фантастики и кинематографа.

Согласно Августину, будущего еще нет, а прошлого уже нет (Исповедь. II. XX. 26). Неодолимый соблазн симметрии принуждает рассмотреть в том же аспекте и прошлое. Верно, что любые явления, объекты из прошлого мы можем воспринимать только в их настоящем, наличном состоянии, о большинстве же явлений и процессов прошлого мы можем судить только оставленным им следам (отпечаткам, слепкам, артефактам, прошлым текстовым описаниям) опять же существующих в настоящем. Однако на этом симметрия и заканчивается. Утверждать существование оси времени, уходящей в прошлое, как раз можно и нужно. Дело вот в чем.

Прошлое, особенно далекое, тем более, доисторическое, покрыто дымкой или даже густым туманом неопределенности. Но последняя имеет сугубо познавательную, а не онтологическую природу. Там-то и тогда-то уже произошли вполне определенные явления, но мы об

этом можем не знать, строить разные версии, поскольку оставшихся следов мало, реконструкция по ним затруднена, они допускают разные интерпретации. Заметим, что чем больше разнообразных следов оставляют явления прошлого, особенно таких следов как текстовые описания очевидцев, участников, летописцев, причем, с разных точек зрения, тем точнее и полнее делаются реконструкции, вынужденные совмещать все следы прошлого в единое непротиворечивое целое.

Вообще говоря, сама эта идея непротиворечивости указывает на нашу общую убежденность, причем, многократно подтвержденную, что при наличии более полной и разносторонней информации можно получить более верное представление о том “как это было на самом деле”. Приближением к идеалу являются современные видеозаписи, особенно, сделанные из разных точек пространства. Не так уж трудно провести мысленный эксперимент и представить наличие таких видеозаписей по самым спорным событиям в истории (речь здесь идет только о фактической стороне — что именно где и когда происходило), в том числе, по которым имеются противоречивые свидетельства очевидцев (сюда же попадает и знаменитая коллизия с “кочергой Витгенштейна” [Эдмондс, Айдиноу 2004]).

Смелая, но ложная идея множественности (соответственно, онтологической неопределенности) прошлого воплощена в гениальном фильме “Расёмон” Акиры Куросавы. Один и тот же событийный каркас¹ представлен в нескольких радикально отличающихся друг от друга версиях. Кинематографический гений Куросавы настолько могуч, что даже самым рациональным и трезво мыслящим зрителям способен внушить об «альтернативности», «расходящемся» или «неопределенном» характере прошлого. Но именно потому, что все варианты сняты на киноплёнку совершенно по-разному, легко вообразить такое полное видеодокументирование произошедшего, которое позволило бы детально восстановить по минутам и секундам все произошедшее с героями этой истории.

¹ На всякий случай напоминаю: разбойник нападает в лесу на благородную пару — молодого аристократа-самурая с красавицей-женой, затем разбойник связывает самурая, на глазах последнего насилует его жену, затем между ними тремя происходит какое-то бурное взаимодействие и, наконец, самурай от чьей-то руки умирает. За этой сценой наблюдал крестьянин, а весь фильм составлен из свидетельских показаний всех четырех участников (включая вызванный заклинаниями дух умершего самурая).

Умелые криминалисты по мельчайшим следам, а также с помощью лабораторного анализа материальных остатков, нередко восстанавливают картины именно таких преступлений (ограбления, убийства, изнасилования), причем в деталях и вполне адекватно. В этих реконструкциях, разумеется, остаются «белые пятна», но обычно никто в здравом уме (и не находясь под гипнозом литературных или киношедевров) не допускает при этом «множественности» прошлого, поскольку речь может идти лишь о недостатке информации, иными словами, о гносеологической, а отнюдь не онтологической неопределенности ранее произошедших событий.

Пусть сами явления прошлого предъявить невозможно (все существует только в настоящем, тут Августин прав), зато можно предъявить реконструкции этих явлений, причем, многие из реконструкций (именно фактов, а не интерпретаций) настолько хорошо обоснованы, что не вызывают ни сомнений, ни споров у специалистов. Ничего похожего ни футурологи, ни прогнозисты, ни предсказатели предъявить не могут, и отнюдь не из-за своей «слабости видения» будущего, а попросту из-за полного отсутствия (небытия) самих будущих явлений.

Демонстрироваться могут только предвестники прогнозируемых будущих явлений (например, данные метеорологических приборов, указывающие на завтрашнее потепление или похолодание), но, несмотря на относительную точность многих прогнозов, эти предвестники все равно принципиально отличаются от следов прошлых явлений. Первые указывают только на вероятное наступление определенного события в будущем, причем, при обязательном условии отсутствия нарушающих возмущений (см. выше); вторые же указывают на однозначное и вполне определенное прошлое бытие явления, которое уже никак не отменить и не изменить, а можно лишь полнее изучить при наличии дополнительных данных — других его следов в настоящем.

Можно с уверенностью говорить и о единой оси времени в прошлом. Те же, задающие наше исчисление времени, физические процессы (прежде всего, круговращение Земли и небесная механика) уже благополучно прошли, не встретив никаких нарушающих возмущений, поэтому допускают однозначный отсчет времени назад в прошлое в сутках, годах, столетиях и даже миллионах лет (в стратиграфии). Прошлые, уже безальтернативные, события расположились так или иначе на этой единой оси. Бывают хронологические споры

относительно того, когда именно произошло такое-то событие, имело ли оно вообще место или является фальсификатом, но сама возможность таких споров опять-таки обусловлена только недостатком данных — требуемых следов этих прошлых событий. Когда разнообразных следов, в том числе, текстовых описаний с разных точек зрения, побочных бытовых и технических документов, артефактов много (как, например, для обеих мировых войн XX в.), то споры уже ведутся только об интерпретациях или об уточнении цифр, тогда как канва событий на временной оси восстанавливается вполне уверенно.

Итак, время асимметрично. В прошлое уходят однозначно произошедшие явления, о которых с большей или меньшей уверенностью мы можем судить на основе оставшихся от них следов. Будущего вообще не существует, а есть лишь происходящее в настоящем и продвигающийся горизонт ежесекундно создаваемых (открывающихся) и исчезающих (закрывающихся) возможностей. Что дает такая онтология времени для нашего понимания социального бытия и прошлой истории, для осмысления глобального будущего и современных задач?

Значимость и познаваемость возможностей исторического прошлого

Все, что происходит сегодня, реализуемо и реально лишь постольку, что ранее для этого сложились (открылись) соответствующие возможности. То же происходит и в социальном мире: согласно историческим ритмам смены периодов стабильности и нестабильности (кризисов), то мелкими шагами, а то и крупными рывками расширяются одни возможности и сужаются другие, вплоть до исчезновения. Во всем этом участвуют люди, — от индивидов до наций и коалиций государств — причем, люди редко задумываются о невидимых спектрах возможностей, которые сужаются или расширяются в зависимости от человеческих действий в качестве их непреднамеренных следствий. Так мы выходим проблемы человеческого существования — философскую антропологию.

Длительность «горизонта действия» существенно различается для разных возможностей. Если мы путешествуем пешком или на автомобиле, то каждый день наши возможности оказаться на следующий день в другом месте прямо определяются пределами дневного перехода или автомобильного пробега, а также доступными тропами и дорогами. Сама же постройка дороги (моста, порта, завода, города,

военной базы и проч.) может создавать отсутствовавшие ранее возможности на десятилетия и даже столетия вперед.

С одной стороны, это означает, что *в истории есть сослагательное наклонение*, а если некоторые историки отказываются от него, то это их и вина и беда. Историческое познание, игнорирующее спектры возможностей, предшествующие событиям (например, войне, революции, реформам, крупным стройкам), а также спектры возможностей, открывающиеся и закрывающиеся этими событиями, становится примитивным и выхолощенным. С другой стороны, выстраивание длительных сценариев «альтернативной», или «контрфактической», т.е. вымышленной истории («если бы Наполеон погиб в детстве», «если бы Гитлера убили в Первую мировую», «если бы Крымскую войну выиграла не Англия с Францией, а Россия», «если бы колонизацию мира вели не европейцы, а китайцы или арабы» и т.д.) действительно является хоть и увлекательной, но весьма безответственной, далекой от науки, игрой ума.

В историческом познании, по крайней мере, на нынешнем этапе развития, правомерным представляется анализ одного-двух шагов в сменах спектров возможностей. Сами эти «шаги» могут иметь разную длительность в зависимости от социального, пространственного и временного масштаба изучаемого явления. Наибольшую концептуальную и методологическую трудность представляют эмпирические основания каких-либо суждений о прошлых возможностях. В этом аспекте многообещающим является подход, состоящий в оценке уровня исторической альтернативности (широты возможностей изменения) форм социально-политического устройства общества через стабильно сопутствующие изменениям этих форм показатели: остроту внутриэлитного конфликта, паритетность ресурсов между конкурирующими центрами силы, уровень социальной нестабильности и степень расщепленности внешних ориентаций [Лигостаев 2010].

Фундаментальные социальные процессы: конструирование, складывание и испытание

Люди издавна умело оперируют видимыми возможностями в искусственных *процессах конструирования*, когда все средства и ресурсы обозримы и полностью управляемы. Чтобы начерченный в проекте дом стал реальным домом, чтобы проведенная на карте железная дорога была построена через горы и реки, чтобы обрели плоть заду-

манные конструкторами океанский лайнер или космический корабль, строители последовательно выполняют известные им этапы и цепочки действий, каждый раз создавая именно те возможности, последующая реализация которых продвигает строительство по намеченному пути (наглядным представлением «производства и реализации возможностей» служат сетевые графики работ в строительстве).

В обществах, тем более, в международных процессах преобладают естественные *процессы складывания*, когда единого эффективного контроля над производством и реализацией возможностей нет. Большие и малые группы с разными ресурсами отчасти контролируют только свои весьма узкие сектора возможностей, обычно конкурируя и конфликтуя между собой, что и дает в результате «естественное» складывание.

Если конструирование — искусственно, складывание — естественно, то *испытание* — гибридно. Испытание — это, с одной стороны, попытка добиться успеха, попытка достижения цели, попытка воплотить в жизнь задуманную идею, цель, проект. С другой стороны, в отличие от конструирования, при испытании нет полного контроля над основными ресурсами и условиями. Обстоятельства *сложатся* так или иначе. Поэтому и испытание может привести к успеху, среднему результату или вовсе провалу.

Обычно мы говорим только об институционализированных испытаниях и в крайне узких областях: в спорте, в новой технике, в образовании. Следует раскрыть глаза на гораздо более широкую применимость этой категории.

Каждый брак задумывается, когда люди решают пожениться. Потом супруги пытаются строить свою совместную жизнь для достижения семейного благополучия и счастья, но далеко не все проходят успешно это испытание, о чем свидетельствует множество разводов и несчастных семей.

Каждый город в какой-то мере планируется. Но некоторые города становятся весьма привлекательными, красивыми, чистыми, уютными и безопасными, в них хотят поселиться, сюда стремятся туристы. Другие же города страдают от смога, мусора, автомобильных пробок, нищеты и преступности. Разве нельзя сказать, что одни градостроители, городские власти, «отцы города» выдержали свое испытание с честью, а другие позорно провалили его?

Каждое общество преимущественно складывается, причем, в течение многих десятилетий и даже столетий. Но история крупных лиде-

ров, государственных деятелей, тексты конституций, сводов законов, проекты реформ неизменно свидетельствуют и о попытках конструирования. Поэтому получившийся результат, качество которого наиболее явно проявляется в потоках миграции, — бегут ли из этого общества или стремятся побывать и поселиться в нем — это всегда итог испытания, того, как удаются или не удаются попытки социального конструирования в складывающихся внутри общества и вокруг него обстоятельствах.

А как нам всем вообще живется на планете Земля? Как будут здесь жить наши дети, внуки и правнуки? Нет принципиальных препятствий (кроме робости и застарелых привычек мышления), чтобы распространить категорию испытания и на все глобальное международное сообщество. Не предзаданное, а именно возникающее будущее придает смысл *испытания* для нашей жизни и нашей истории.

Каким образом и в какой логике можно рассуждать о таких абстрактных материях как испытание человечества? Если правомерно об этом говорить, то в чем, собственно, оно состоит?

И почему, собственно, смысл истории состоит в испытании? Для философского обоснования этого тезиса обратимся к мыслительному эксперименту относительно крайнего предела человеческого бытия — конца истории.

Философия человеческого бытия: от конца истории к идее испытания

В формальном отношении смысл истории — это смысл длительности, наполненной всем тем, что делают люди и что происходит с людьми. Обычно философы, по аналогии со смыслами отдельных событий, трактуют смысл *истории как некоего процесса*, имеющего начало и конец. При этом, предполагаемому в будущем «концу истории произвольно приписываются ценностные, метафизические, богословские, мистические или иные характеристики, которые, собственно и задают смысл истории.

Даже при отказе от такого приписывания следует согласиться с тем, что характер конца истории (когда бы и как бы они ни произошел) во многом определяет и ее смысл. Заметим, что наша (вместе с А.М. Анисовым) онтология времени, хоть и утверждает отсутствие будущего как расположенной на оси времени цепи событий, но отнюдь не запрещает суждений о возможностях будущих явлений, в том числе, и весьма отдаленных.

А можно ли вообще априорно судить о действительном конце истории (т.е. о полном исчезновении людей)? Из настоящего видятся две группы таких трагических возможностей.

Во-первых, при отсутствии способных к полностью автономному существованию внеземных человеческих колоний возможно обнаружение естественных процессов (связанных с эволюцией Солнца или внутренних процессов в структуре планеты Земля или траекторией каких-либо космических тел, излучений и проч.), которые приведут к наступлению условий, исключающих какую-либо возможность жизни на нашей планете (см. [Анатомия кризисов 1999, с.14-16, 27]). Все такого рода возможности подпадают под категорию *естественного конца истории*.

Во-вторых, наступление таких условий можно предсказать, если приводящие к ним процессы вызваны действиями самих людей (например, наступление «ядерной зимы» после серии ядерных ударов, или разрушение защитных свойств атмосферы как необратимое следствие массированных промышленных выбросов) [Утюжников 2001; Badash 2009]. Таким образом, здесь уже речь идет об *искусственном, или антропогенном, конце истории*.

Все прочие суждения о конце истории касаются либо ожидаемых новых исторических эпох, рисуемых с разным соотношением реализма, эзотерических или технологических фантазий (торжество Сверхчеловека по Ницше или Сверхчеловечества по Соловьеву, цивилизация кибергов у фантастов и проч.), либо выражают полностью мистические взгляды, далекие от трезвой научной традиции (Страшный Суд в Библии, «точка Омега» Тейяра де Шардена и аналоги).

Посмотрим, что можно будет сказать о смысле человеческой истории, получившей *естественное* завершение. Ясно, что люди об этом ничего уже сказать не смогут, поскольку по условию задачи никаких людей на Земле или вне нее не останется. Соответственно, наши размышления о том, «что можно будет сказать», относятся либо к представителям внеземных цивилизаций (вполне фантастических), либо к искусственно сконструированной позиции идеального внешнего наблюдателя, подобного кантовскому трансцендентальному субъекту. Предпочтем второй вариант, поскольку этому субъекту нужно придать не только любопытство и философичность, но также абсолютные познавательные способности, позволяющие выяснить причины произошедшей глобальной трагедии.

Итак, людей не осталось, человеческая цивилизация погибла. Естественные причины этого известны (здесь не важно, какие именно). При выяснении нашим трансцендентальным субъектом последовательности событий, будет раскрыта та или иная из трех главных возможностей:

1) глобальная катастрофа настигла планету совершенно неожиданно для людей;

2) о надвигающейся катастрофе было известно за некоторое время, люди начали что-то делать для спасения, но не успели;

3) о надвигающейся катастрофе было известно задолго, люди успели создать все, что могли придумать для спасения, но это не помогло.

Крайние варианты (1 и 3) представляют чистые формы и указывают, прежде всего, на недостаточность интеллектуальных (познавательных и творческих) способностей людей: в первом случае не удалось предвидеть катастрофу, в третьем случае, не удалось изобрести надежный способ спасения. Вариант 2 представляет смешанную форму: не удалось заблаговременно предвидеть, не удалось изобрести способы спасения, осуществимые за короткое время, недостаточно оказалось материального и организационного потенциала для того, чтобы успеть спастись.

Теперь обратимся к случаю *антропогенной* катастрофы (концу истории, вызванному действиями людей). Серии мощных ядерных ударов, либо разрушение защитных свойств атмосферы вследствие промышленных выбросов смогут произойти, если люди будут неспособны предвидеть губительные последствия своих действий, либо неспособны остановить эти действия, зная об их катастрофических последствиях. Кроме тех же познавательных способностей предвидения, здесь идет речь о способностях вести переговоры, убеждать, приходиться к взаимоприемлемым соглашениям, позволяющим избежать катастрофы, а также о налаживании эффективного контроля над выполнением достигнутых соглашений. Наряду с важной ролью дипломатических способностей (в широком смысле), моральной компоненты, организационных и принудительных способностей контроля, здесь также ключевую роль играет интеллектуальное творчество, поскольку только оно позволяет изобрести варианты соглашений, позволяющих сторонам воздерживаться от опасных действий и приемлемых с точки зрения их интересов.

Теперь отметим общие черты всех рассмотренных вариантов. Везде на первом плане оказываются *интеллектуальные (познавательные*

и творческие) способности людей, направленные на долговременные прогнозирование и диагностику всевозможных опасностей для условий человеческого существования, а также на изобретение способов и средств спасения — защиты и поддержания данных условий, причем, в каждом варианте эти способности оказались недостаточными. Каковы же скрытые предпосылки данного простого суждения?

Были бы они достаточны, то удалось бы выжить, пусть не всему человечеству, но его части, способной к воспроизводству, причем тогда конец истории не наступил бы. Нет ничего искусственного в приписывании варианту глобальной гибели атрибута *неуспеха*, а варианту спасения — *успеха*. Получаем следующую понятийную конструкцию: *если благодаря накопленным способностям что-то удалось сделать, то следует успешный результат, если не удалось — неуспешный.*

Теперь становится очевидным, что данная конструкция полностью соответствует понятию *испытания*. Причем, мы это понятие не приписывали ситуации конца истории априорно и произвольно. Вместо этого, мы провели мысленный эксперимент, рассмотрели возможные варианты, выявили общие черты, раскрыли неизбежные предпосылки и пришли в результате к итогу: действительный конец истории (как прекращение существования человеческого рода) может произойти во всех случаях *неуспешного прохождения человечеством некоторого испытания.*

Мысленный эксперимент высвечивает значимость сохранения базовых условий человеческого существования, причем, ответственность за это сохранение всегда имеется имплицитно, но выступает на первый план при росте соответствующих опасностей.

Отвлекаясь от конца истории и применяя полученные результаты к ходу продолжающейся истории, получаем следующий общий вывод: *люди, ведая или не ведая того, проходят испытания на адекватное познание складывающихся обстоятельств, чреватых разнообразными угрозами, а также испытания на способность изобретения и создания способов и средств преодоления этих угроз.*

Обнаруженная в предельном мыслительном эксперименте значимость категории испытания заставляет задуматься о ее роли в социальной и исторической действительности.

Смысл истории включает в себя сохранение существования человеческого рода, но им не ограничивается. Каким же образом получить

представление о необходимом дополнительном содержании? Наряду с испытанием на сохранение человеческого рода должно быть *некое глобальное испытание, связанное с позитивным достижением*. Дело в том, что история человечества включает не только и не столько сохранение устойчивости и преодоление угроз, сколько наличие необратимых, поступательных изменений (при всех сложностях исторических «возвратов» и упадков отдельных обществ).

Здесь мы выходим на фундаментальные проблемы классической этики. Есть ли единый моральный смысл человеческой истории? К чему вообще следует стремиться, причем, не отдельному индивиду или группе, а всем нациям и человечеству в целом? Эти вопросы обращают нас к теории ценностей — аксиологии.

Конструктивная аксиология: разнообразие этосных и необходимость общечеловеческих ценностей

Под *ценностями* здесь понимаются предельные нормативные основания актов сознания и поведения разумных существ (людей) [Розов 1998].

Основная масса ценностей — *этосные ценности*, т.е. принадлежащие тому или иному этосу: воспроизводящемуся в поколениях сообществу с особым вероисповеданием, культурой, убеждениями и проч.

Общезначимые ценности — это понятийное выражение главных условий, выполнение которых необходимо для сохранения возможности всех людей (индивидов, групп, сообществ) осуществлять свои этосные ценности¹.

Важный и тонкий момент: ни в коем случае нельзя смешивать общезначимость как интерактивную приоритетность и верховенство (высший, абсолютный статус). Ни одна уважающая себя культура,

¹ Проведенное различие между этосными и общезначимыми ценностями развивает давнишнюю традицию минималистского универсализма, идущую от Гуго Гроция. В последние десятилетия появилось несколько вариантов трактовки и обозначений той же идеи [Роулз 1996; Walzer 1994]. Так, Уолцер и Бааз различают культурно специфичные и богатые «большие» (тучные, толстые — *thick*) и универсальные, минимальные, «малые» (тонкие — *thin*) нравственные кодексы. «Универсальные ценности образуют некий вид «основы» ('floor') — которые ни один выбранный образ жизни не может нарушить и при этом претендовать на то, что остается хорошим или даже терпимым со стороны других» [Parekh 1999].

конфессия, национальная идеология никогда не признает какие-либо ценности более высокими, чем собственные.

В рассуждениях о реальной исторической динамике и направленности социальной эволюции сомнительным подходом является *гуманитарное прекраснотушение* — представление о том, что история управляется некими идеальными ценностями, культурными универсалиями и проч. Увы, реальная история преимущественно определяется конфликтами и доминированием [Snooks 1995; Sanderson 1995; Collins 1999; Розов 2002, гл. 3].

Теперь проясняется смысл истории как испытания: *удастся ли человечеству в объективно и перманентно складывающихся конфликтных условиях построить (сконструировать!) и поддерживать порядок надежной защиты общезначимых ценностей (thin code), а через них — обеспечивать возможности составляющих человечество этосы осуществлять свои ценности (thick codes).*

Кардинальный рефрейминг: для сохранения своего *Gemeinschaft* развивать охватывающий *Gesellschaft*

Теперь сменим аксиологический план рассуждения на социологический. Этосные ценности возникают и живут преимущественно в малых, «теплых», солидарных сообществах, которые Ф.Тённис называл *Gemeinschaft*. Целенаправленному конструированию могут поддаваться только формальные «холодные» социальные структуры, основанные на расчете, обмене, компромиссах, контрактах — *Gesellschaft* [Toennies 1957].

В этих терминах смысл истории раскрывается как *испытание человеческого рода на способность к защите, мирному сосуществованию и свободному развитию многообразия «малых, неформальных, теплых» Gemeinschaft через рациональное построение в переговорах и компромиссах обеспечивающей это многообразие системы “больших, формальных, холодных” Gesellschaft, причем, в складывающихся условиях почти перманентных ресурсных дефицитов и рецидивирующей конфликтности.*

При отсутствии серьезных вызовов у людей вообще не бывает стимулов задумывать и строить какие-то общие благонамеренные системы. Ментальный сдвиг происходит только в ситуации вызова (по А. Тойнби): роста личного и группового дискомфорта, нарас-

тания угрозы для привычной жизни и самого существования своих *Gemeinschaft*. Главным и почти универсальным поведенческим стереотипом в этой ситуации становится *групповой эгоизм*: все делать для восстановления благоприятных условий своего *Gemeinschaft* (иногда — альянса таких сообществ), *пусть и в ущерб социальному окружению*.

Вот в этом пункте и требуется важнейшее переключение ментальных установок, которое предлагается назвать кардинальным рефреймингом: *оптимальный в плане устойчивости и дружественности будущего окружения ответ на вызов (угрозу своему образу жизни и соответствующим Gemeinschaft) состоит не в попытках захвата чужих ресурсов, а в учреждении и продвижении такого охватывающего формального Gesellschaft, которое лучшим образом обеспечит безопасность и комфортные условия жизни своего Gemeinschaft и чужих Gemeinschaft (ближних и дальних, конкурирующих и даже враждебных)*.

Кардинальный рефрейминг — не такая уж и новая идея. В ее основе лежит все тот же принцип общезначимых ценностей: заботиться об условиях, требуемых для осуществления этосных ценностей, в рамках не только своего, но и других сообществ (см. выше). Кардинальный рефрейминг — это всегда переход от «игры с нулевой суммой» к «игре с ненулевой суммой», это принцип не столько деления «пирога», сколько совместных усилий по его увеличению [Фишер и Юри 1992].

Многоуровневая правовая система как оптимальная форма глобального Gesellschaft

Рассмотрим «естественное» действие социальных законов (как специфических законов Природы, появившихся в человеческих обществах) и противопоставим им требуемые «искусственные» закономерности, утверждение которых способствует успешному прохождению человечеством глобального испытания (как оно было выше сформулировано).

В обществах побеждают, получают власть, влияние и ресурсы сильнейшие, наиболее сплоченные группы. Подобным же образом, в международной системе доминируют и расширяют влияние, могущество общества с наиболее эффективными режимами, сумевшие захватить и рационально использовать значимые (климатически, ресурсно, геополитически и геоэкономически выгодные) территории.

На обоих уровнях элитарные группы с высокой внутренней солидарностью осуществляют свои этические ценности и интересы, причем, нередко в ущерб другим группам и даже целым обществам. Они также способны или даже склонны нарушать общезначимые ценности (жизнь, здоровье, достоинство, безопасность, основные права), особенно, в отношении слабых через социально-экономическую эксплуатацию и политическое угнетение собственных граждан, через геополитическую и геоэкономическую экспансию на другие общества.

Защита общезначимых ценностей требует сильных сдерживающих структур, которые, с одной стороны, резко сужали бы возможности национальных элит, мировых и региональных гегемоний, а также криминальных, террористических групп и сетей притеснять слабейших, с другой стороны, расширяли бы возможности всех сообществ, включая слабейшие, защищать свои ценности, интересы и права, с третьей стороны, сами эти структуры, получив властные и силовые ресурсы, не должны превратиться в еще один отряд хищных элит и гегемоний.

Всем этим требованиям отвечает только *правовая система с законодательными органами широкого представительства, выборностью и ротацией судейского корпуса, мощными рычагами проведения судебных решений в жизнь, гибкими связями развития с общественным мнением и интеллектуальными центрами.*

Повсеместно существующие национальные правовые системы где-то лучше, где-то хуже (а где-то скандально плохо) справляются со своими функциями. Есть малый, по мнению многих ангажированный, Международный суд в Гааге. Огромное число острых проблем, прямо связанных с нарушением общезначимых ценностей (межэтнические и территориальные конфликты, проблемы беженцев, пытки заключенных, произвол полиции, политические репрессии, незаконные аресты, притеснения оппозиционных масс-медиа, экономическая эксплуатация, сегрегация по расовым, этническим, конфессиональным, гендерным признакам и проч.) часто остаются без внимания на национальном уровне. Страсбургский суд едва справляется с потоками исков, он ограничен в ресурсах и имеет лишь региональную — европейскую юрисдикцию.

Чего не хватает главным образом, так это резкого расширения правовой и судебной системы на уровне мировых регионов и на глобальном уровне, причем, своды законов и суды нужны специализированные: по территориальным и межэтническим вопросам, по экологии,

по противодействию международной и внутренней эксплуатации, по экстерриториальной защите политических и гражданских прав (подробнее см.: [Розов 2009]).

**Вместо заключения:
испытание человеческого рода, намеченное Кантом,
еще предстоит пройти**

Вернемся к мысли Канта, выраженной в эпитафии: величайшей проблемой для человеческого рода является «*достижение всеобщего правового гражданского общества (die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft)*». Здесь есть неявная переключка с категорическим императивом как ключевым принципом Кантовой этики — относиться к каждому человеку не только как к средству, но как к цели.

Дело в том, что благодаря институту гражданства каждое национальное государство худо-бедно защищает каждого своего гражданина, оставаясь, при этом, почти полностью равнодушным к негражданам страны, к чужакам, не имея особых моральных и правовых обязательств по отношению к другим государствам с их гражданами, особенно, к более слабым и чем-либо досаждающим странам.

Можно считать, что призыв Канта¹ к созданию союза государств во всемирном масштабе через ряд попыток — международные проекты «Священного Союза» и «Европейского концерта» Лига Наций² — наконец, воплощен в Организации Объединенных Наций, которая иногда более, иногда менее эффективно защищает малые и слабые государства от притеснений и агрессии. Однако почти никто не говорит о том, что глобальная задача, поставленная Кантом, пока отнюдь не выполнена.

Всеобщий правовой и гражданский принцип, хоть и заявлен абстрактно в Декларации прав человека ООН, но по-прежнему не институционализирован на региональном и глобальном уровне и фактически не действует за пределами развитых правовых обществ.

¹ »... выйти из незнающего законов состояния дикости и вступить в союз народов, где [любое], даже самое малое государство могло бы ожидать своей безопасности и прав не от собственной мощи или собственной правовой оценки, но исключительно от такого великого союза (Foedus Amphictyonum), от объединенной мощи и от решения в соответствии с законами объединенной воли [Кант 1784/1994].

² Все они в большей или меньшей мере опирались на идеи вечного мира аббата де Сент-Пьера, Жан-Жака Руссо и Иммануила Канта.

Воплощением его как раз и должна стать *многоуровневая правовая и судебная система* как новый этап развития глобального Gesellschaft на основе общезначимых ценностей, способного в будущем вовлечь уже всех людей на планете, все столь разнообразные Gemeinschaft с их этосными ценностями в сферу общественной защиты, заботы и долга.

Важная часть испытания для человека и человеческого рода заключается в том, чтобы понять, в чем состоит это испытание. От этого понимания во многом зависит глобальное будущее. На примере великого Канта мы видим, что *философские идеи онтологически субстанциональны*: благодаря ним появляются отсутствовавшие ранее возможности.

ЛИТЕРАТУРА

- Аврелий Августин. 1998. *Творения*. Спб: Алетейа.
- Анатомия кризисов*. 1999. М.: Наука.
- Анисов А.М. 1991. *Время и компьютер. Негеометрический образ времени*. М.
- Анисов А.М. 2000. *Темпоральный универсум и его познание*. М.
- Аристотель. 1981. *Физика. Сочинения*. Т.3. М.: Мысль.
- Кант И. 1784/1994 *Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Сочинения*. Т.1. М.; Марбург: 79-123.
- Лигостаев А.Г. 2010. *Альтернативность в социально-политических трансформациях обществ: закономерности и механизмы динамики*. Автореф. дис. ...канд. филос. наук. Новосибирск.
- Розов Н.С. 1998. *Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии*. Новосибирск,
- Розов Н.С. 2009. Глобальная многоуровневая контрактно-правовая альтернатива. Стенограмма выступления на конференции, Москва, 11–12 сентября 2009 г. Электронный ресурс: <http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/glob-alter.htm>.
- Розов Н.С. 2011. *Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий России в XXI веке*. М: РОССПЭН.
- Роулз Дж. 1996. *Теория справедливости*. Новосибирск.
- Утюжников С.В. 2001. Моделирование распространения загрязнений над большим пожаром в атмосфере. *Соросовский образовательный журнал*, №4: 122–127.

- Фишер Р., Юри У. 1992. *Путь к согласию или переговоры без поражений*. М.
- Эдмондс Д., Айдиноу Дж. 2004. *Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между двумя великими философами*. М.: Новое литературное обозрение.
- Badash, L.A. 2009. *Nuclear Winter's Tale*. Massachusetts Institute of Technology.
- Collins, R. 1999. *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. Stanford: Stanford Univ. Press.
- Parekh, B. 1999. Non-ethnocentric Universalism. In: Dunne, Tim and Nicholas J. Wheeler (eds.) *Human Rights in Global Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sanderson, S. 1995. *Social Transformations: A General Theory of Historical Development*. Oxford and Cambridge: Blackwell.
- Snooks, G. 1996. *The Dynamic Society: Exploring the Sources of Global Change*. London and New York: Routledge.
- Toennies, F. 1957/1887. *Community and Society*. Trans. By Ch. Loomis. New York: Harper.
- Walzer, M. 1994. *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В РОССИИ В СЕРЕДИНЕ 1950-х–2000-х гг.: ФАКТОР «НЕФТЯНОГО ПРОКЛЯТИЯ»

Под «эффективностью» в представленном докладе понимается способность государства достигать ключевые цели. Преимущество такого подхода состоит в том, что он ориентирует на понимание исследуемой системы, истинных целей её деятельности, а не тех, которые мы пытаемся ей приписать. Согласно военно-налоговой теории государства, которая принята в нашей работе за основную, важнейшей его целью является изъятие части ресурсов общества, т.е. получение с подвластного населения средств для решения прочих задач (см. подробнее: Тилли 2009).

В обрисованном контексте можно представить упрощённую модель государства как системы обмена материальными и символическими ресурсами между тремя звеньями: центральный уровень власти – региональный уровень власти – общество. Взаимоотношения центр-периферия позволяют выйти на одно из важнейших измерений эффективности государства – работу бюрократического аппарата, причём не только в плане его подконтрольности центру, но и в плане его способности контролировать ситуацию в регионах, налаживать взаимосвязь с ключевыми группами общества, мобилизовать их как материальные, так и символические ресурсы (см. например Каппелли 2009)*. Каналы обмена ресурсами выражают взаимосвязь центра, регионального уровня власти и общества. Прочность этой взаимосвязи выступает показателем эффективности государства. Сразу оговоримся, что данная модель разработана на материалах новейшей российской истории и требует дальнейшего эмпирического уточнения.

В идеальном варианте функционирование российского государства происходит по следующей схеме: Центр, через региональных правителей, мобилизует ресурсы общества, далее перераспределяет

* Под символическими ресурсами в данной работе понимается "доверие", означающее как широкую поддержку власти со стороны общества, так и уровень лояльности между различными уровнями бюрократической иерархии.

их вниз, региональные власти организуют общественную активность на местах, в результате чего материальные и символические ресурсы системы должны непрерывно увеличиваться. Получается что-то наподобие «вечного двигателя». Это не абстракция – именно такой принцип заложен во все сколь-нибудь значимые программы экономического или регионального развития.

Схематически набросанная модель представляет собой, конечно же, «идеальный тип» – но она, тем не менее, помогает выявить несоответствие «идеала» и «реальности». Архивные документы не оставляют никаких сомнений в том, что к моменту начала Перестройки, взаимоотношения центр-периферия демонстрировали чудовищную неэффективность государства: решения Центра не выполнялись, регионы требовали всё новых вложений для их реализации. Когда такие вложения производились, они, как правило, не осваивались, омертвляясь в виде неэффективных расходов или незавершённого строительства (Савченко 2009). В функционировании государства был очевиден угрожающий сбой, ресурсы системы не увеличивались, а уменьшались.

Признать то, что уже к середине 1980-х гг. СССР был серьёзно не здоров – в этом нет особой новизны. Наиболее интересный вопрос состоит в другом. Почему до поры до времени государство здесь не разваливалось, но было способно выдерживать геополитическую конкуренцию с США, а также реализовывать масштабные проекты, такие, например, как строительство Байкало-Амурской магистрали? Разваливаться же оно начало именно тогда, когда руководство, во главе с М.С. Горбачёвым, всерьёз озаботилось эффективностью. Ещё более актуальный вопрос – как так получилось, что с начала 2000-х гг., государство в России начало быстро восстанавливаться, причём, как вскоре стало понятно, с теми же пороками, которые его погубили десятилетием раньше?

Понимание этой проблемы начинается с признания того факта, что она шире хронологического периода 1985–2000 гг. Первый рубеж, на котором можно остановится погружаясь в историческую глубь – это конец 1950-х – сер. 1960-х гг., когда перед советским государством встали те же вызовы, которые начнут разрушать его в 1980-х гг.

Бессилие государства нарастало с сер. 1950-х гг. с двух сторон, имея в основе два ключевых условия, расположенных на разных концах советской властной вертикали: с одной стороны это демонтаж

репрессивного аппарата, который обеспечивал контроль над партийно-государственной бюрократией, с другой же стороны – это традиционное исключение общества из принятия решений и контроля над их исполнением.

Демонтаж сталинской системы был обусловлен и более фундаментальными факторами, нежели общепризнанное стремление номенклатуры к самосохранению. По-видимому, именно в 1950-х–1960-х гг. произошёл первый из исторических переломов в функционировании российского государства – истощение главного средства, которым власть расточительно расплачивалась за предшествующие модернизации – человеческого потенциала. Ресурс гигантского демографического взрыва конца XIX начала XX веков был фактически исчерпан. Кроме этого, само усложнение социально-экономической системы страны делало примитивное принуждение неэффективным (Даль 2010). В новых условиях вставала задача выстраивания сложной сети взаимодействий государства и общества, увеличения легитимности власти за счёт предоставления социальных благ, действенной идеологии. Возможно, это и была фундаментальная проблема, вставшая на пути благополучного выхода из системы сталинизма.

Её пытался решить Н.С. Хрущёв с помощью постоянных реорганизаций, перетряски кадров, введения ряда демократических элементов, закреплённых в статье 25 Устава КПСС. Принятая в 1961 г. Программа построения коммунизма, в свою очередь, должна была “вдохновить” советских людей. Организационный “зуд” Н.С. Хрущёва имел чётко выраженное направление – это поиск механизма ответственности бюрократии в условиях отказа от репрессий – и это направление шло явно в сторону демократизации и открытости советской политики, более чем на 20 лет опередив Перестройку. У этой политики был и побочный эффект: она ослабляла и фрагментировала бюрократию, вела к росту противоречий внутри властной иерархии, но так и не умиротворила общество, потребительские запросы которого возрастали быстрее, чем рост возможностей советской экономики по их удовлетворению.

Исторически так совпало, что из “круга” взаимосвязанных проблем опутавших хрущёвское руководство, на короткое время удастся вырваться во времена Л.И. Брежнева.

Главное различие между периодами Н.С. Хрущёва и Л.И. Брежнева состояло в методах обеспечения управленческой эффективно-

сти государства. Новое руководство стремилось обеспечить послушность партийно-государственной бюрократии не устрашением, как И.В. Сталин, и не постоянными перестановками и реорганизациями, как Н.С. Хрущёв, но согласием с нею. Эту новую политическую стратегию можно обозначить как “брежневский консенсус”.

Стремительная кадровая динамика, нажим на региональную бюрократию, хрущёвские эксперименты со структурой управления и демократизацией политики быстро уходили в прошлое. Примечательно, что в варианте Устава редакции 1966 г. мы не найдём прежней 25-й статьи – именно той, которая регламентировала регулярное обновление руководящих партийных органов (Устав 1969). Сам Л.И. Брежнев, обосновывая изменения в Уставе, фактически, предлагал ориентироваться на интересы дела, на качества того или иного работника, а не на формальные соображения (Брежнев 1966). В такой кадровой политике виделось как минимум два преимущества. Во-первых, она позволяла держать «нужных людей» на нужных местах для максимально быстрого достижения необходимых политических и экономических целей и оперативного решения возникающих проблем. Для советской системы форсированного экономического развития, выстроенной по подобию гигантского завода, ориентация на строгие формальные правила в кадровых решениях, представлялась скорее «минусом», чем «плюсом» – демократия, как известно, стоит дорого, не только в отношении финансов, но и времени. Но именно здесь и была одна из ловушек – исходя из определения бюрократии представляющей собой «организационный контроль, достигаемый следованием письменным правилам и инструкциям» (Коллинз 2006) – можно заключить, что брежневское руководство свернуло с пути к созданию эффективной бюрократии. Вместо действия по формальным правилам пришли договоренности и личные обязательства. Именно, при Брежневе страна остановилась на полпути – на выходе из системы сталинизма и далее уже не смогла избежать революционных потрясений.

Возобладавшая политика «баланса интересов» между различными сегментами бюрократии должна была способствовать общей стабильности советского государства. Так создавалась «сеть доверия» (О сетях доверия см. подробно: Тилли 2007), состоящая из членов бюрократии, призванная обеспечивать взаимную лояльность и исключать появление внутрисистемных оппонентов правящей верхушке. Новая, политическая стратегия была призвана обеспечивать

одновременно и стабильность, и управляемость, и бурное развитие, так как ни Центр, ни регионы не были заинтересованы подводить друг друга. Стоит заметить, что описанные изменения схожи с преобразованиями В.В. Путина середины 2000-х гг. в сфере назначения губернаторов, когда подобные рациональные мотивы привели к околостенению политической системы.

Неизбежным результатом «брежневского консенсуса» стал кадровый застой, так как число статусных карьерных позиций всегда ограничено. В следствие кадрового застоя происходило замыкание в себе двух важнейших групп – партийных управленцев и специалистов. Не только хозяйственники теряли перспективу входа в политическую власть, но и «политики» становились всё менее компетентны в хозяйственной жизни, так как экономика и общество развивались и усложнялись. Формально господствующая на властном олимпе КПСС, в реальности всё более оттеснялась от руководства экономикой.

Со временем, расколотой оказалась и сама политическая ветвь КПСС – основная линия проходила между партийным аппаратом и первичными организациями, члены которых в отсутствии перспектив политической карьеры и действенных рычагов воздействия на верхи, предпочитали скорее уходить от партийного влияния, нежели обеспечивать его на местах. В этой точке интересы рядовых партийцев и хозяйственных руководителей совпадали в стремлении получать всё больше ресурсов при всё меньших плановых заданиях. А сам партийный аппарат без опоры на эти ключевые группы общества как бы «повисал в воздухе». Примечательно, что разные исследователи, на разном материале приходят к схожему выводу о том, что основным содержанием брежневского периода постепенно становилась имитация активности на всех уровнях советского общества – от бюрократии до широких слоёв трудящихся (Песков 1993; Дерлугьян 2010). Даже печально известная 6-я статья Конституции СССР, провозглашавшая КПСС ядром политической системы, может рассматриваться как симптом ослабления, а не усиления правящей роли Партии, как попытка удержать и формально закрепить уже ускользавшую власть.

Сам, по историческим меркам стремительный, переход репрессивной, но при этом динамичной, управленческой системы в состояние дряхлой беспомощности имел в своей основе и более фундаментальный фактор, чем «брежневский консенсус». Для его понимания следует обратиться к условиям, в силу которых этот «консенсус»

стал возможен. В конце 1960-х–1970-х гг. произошёл второй исторический перелом в функционировании советского государства. Россия традиционно была бедна капиталом. Объективные, прежде всего экологические и географические условия сформировали здесь «...социум с низким объёмом совокупного прибавочного продукта» (Милов 1998). Дефицит капитала компенсировался усиленной эксплуатацией людей. Но именно в сер. 1960-х гг. эта ситуация радикально меняется. Параллельно с явным истощением человеческого ресурса, брежневское руководство получило «подарок» в виде освоения крупнейших нефтяных месторождений, а затем и значительного увеличения цен на это сырьё. То есть радикально изменилась одна из основ функционирования государства – способ мобилизации материальных ресурсов.

Если Н.С. Хрущёв пытался, но не смог, или не успел до конца разрешить проблемы связанные с выходом из сталинизма, то брежневское руководство получило возможность вообще их не решать. Советские доходы от экспорта нефти стали «внешним» источником ресурсов – ослабляя взаимосвязи в цепочке Центр-периферия-общество. В этих условиях деградация инфраструктуры взаимодействия государства и общества могла быть, и была по факту, попросту проигнорирована.

Однако, цены на нефть вещь конъюнктурная, а ослабление потенциала государства – куда более долговременный фактор. Ко второй половине 1980-х гг. геополитическая ситуация поставила на повестку дня задачи модернизации, встала необходимость увеличения мобилизации ресурсов, параллельно с этим внешний их источник заметно оскудел (с сер. 1980-х гг. цены на нефть испытали значительное и долговременное снижение).

Попытки М.С. Горбачёва воссоздать эффективное государство путём нажима на региональный уровень власти и демократизации политической жизни в условиях дефицита материальных ресурсов дали результат обратный ожидаемому. Замена и прессинг первых секретарей в регионах разрушали наработанные патрон/клиентские связи, уменьшали уровень доверия между обеими сторонами. В то же время, демократизация ориентировала регионалов на поиск поддержки населения, а не Центра, открывала возможности для публичной критики высших эшелонов власти.

События августа–декабря 1991 г. знаменуют, помимо всего прочего, радикальное уменьшение роли государства в жизни общества.

Меняется и форма «изъятия» ресурсов: задачи мобилизации людей на ударный труд, выполнение планов, снимаются. Основной задачей становится сбор налогов. Вместо сложных организационных мероприятий, власть всё более ориентировалась на фискальные. По сути, российское государство 1990-х гг. – это система, пережившая упрощение вследствие истощения внешнего источника ресурсов. Если Перестройка была призвана наладить взаимодействие с обществом, то после 1991 г. эта фундаментальная задача была просто снята с повестки дня, растворившись сначала в борьбе за власть, а потом в лавировании различных сегментов бюрократии за её удержание. Нефть вскоре заменили транши Международного валютного фонда, фактически поставив страну под внешнее управление.

Когда говорится о том, что современная российская политическая система во многом вернулась к позднесоветской, «преодолев» демократические элементы, имевшие место в 1990-х гг., с этим можно только согласиться (Фурман 2010). При этом, аналитическая модель эффективности государства и гипотеза внешнего источника ресурсов как раз позволяют понять системный фактор воспроизводства позднесоветской политики. Здесь можно увидеть аналогию ситуации 1960-х гг. – внешний источник ресурсов «застал» политическую систему в момент перехода, но теперь при намного худших начальных условиях. Если СССР действительно упустил свой исторический шанс, то случилось это, скорее всего, именно в 1960-е гг., в то время как последующие развилки – это уже последствия принятых, и в ещё большей степени непринятых тогда решений (Фурман 2005; Ивантер 2011).

В 2000-х гг. политическое и экономическое укрепление страны сопровождалось не преодолением, но усилением сырьевой зависимости. Российская реальность была такова, что рост потенциала государства мог произойти только «сверху», путём консолидации Центра и увеличения притока ресурсов из внешнего источника, так как вариант «снизу» предполагал налаживание каналов взаимодействия с обществом. Эта работа в силу своей сложности и отсутствия быстрой отдачи оказалась фактически проигнорированной властями на всех уровнях. Это произошло не только в России – подавляющее большинство постсоветских государств до сих опасно зависят или от экспорта сырья, или от притока иностранного капитала (Журавлёв С., Ивантер А. 2011).

Политическая система времён В.В. Путина, со всеми её плюсами и минусами, сформировалась не по «злой воле», но скорее в силу

фундаментального противоречия: с одной стороны слабая власть + слабое общество, что неизменно порождает запрос на некое стратегическое видение власти, её работу будь то по построению демократии, сильной власти, прочной государственности и т.д.; с другой же стороны, над любым руководством довлеет необходимость оперативного управления при наличных ресурсах. Последний фактор почти всегда доминирует над первым.

Проведённый анализ позволяет сделать ряд выводов:

Во-первых, история СССР/России 1960-х–1990-х гг. демонстрирует зависимость эффективности государства от способа мобилизации ресурсов – она обратно пропорциональна ориентации на их внешний источник.

Во-вторых, деструктивная роль внешнего источника ресурсов («сырьевое проклятие») в случае СССР была многократно усилена историческим моментом. Обильные нефтяные доходы застали политическую систему страны в переходном состоянии, многократно усилив негативный эффект «брежневского консенсуса». Последний, по своей сути, был наложением конъюнктурных политических интересов на слом долговременных исторических трендов. Можно предположить следующую приблизительную формулу: незавершённый выход из сталинской модели + «брежневский консенсус» + хлынувший поток нефтедолларов + быстрое усложнение задач государственного управления = разложение государственности.

В-третьих, проведённый анализ, при всех его ограничениях, позволяет понять, где мы находимся. Задача современной российской модернизации, это как минимум третья попытка (после хрущёвских реформ и перестройки), ответить на вызов 1950-х – 1960-х гг., заключающийся в построении прочной инфраструктуры взаимодействия государства и общества.

ЛИТЕРАТУРА

- Брежнев Л.И. 1966. Отчётный доклад Центрального комитета КПСС XXIII съезду коммунистической партии Советского Союза. *XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 29 марта – 8 апр. 1966 г.* Стеногр. Отчёт. В 2-х т. Т.1. М., Политиздат.
- Даль Р.А. 2010. *Полиархия: участие и оппозиция*. М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшей школы экономики.

- Дерлугьян Г. 2010. *Адепт Бурдые на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе*. М.: Издательский дом «Территория будущего».
- Ивантер В. 2011. Это была бы другая страна. *Эксперт №1 (784) 26 дек. 2011*, Доступно: <http://expert.ru/expert/2012/01/eto-byila-byi-drugaya-strana/>
- Каппелли О. 2009. «До-современное» государственное строительство в постсоветской России. *Прогнозис*. № 1 (17): 131–175.
- Коллинз Р. 2006. Европейская социологическая традиция и социология XXI века. *Прогнозис*. №4(8): 258–274.
- Милов Л.В. 1998. *Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса*. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН).
- Журавлёв С., Ивантер А. 2011. Нефть, Капитал и диктатура. *Эксперт №1 (784) 26 дек.* Доступно: <http://expert.ru/expert/2012/01/neft-kapital-i-diktatura/>
- Песков В. М. 1993. Переход от попыток реформ к стагнации. Эволюция или революция? *Очерки истории общественных движений и политических партий России* / Под ред. В.В. Романова. Хабаровск: 282–313.
- Савченко А.Е. 2009. Политический аспект провала стратегии развития Дальнего Востока в 1987–1991 гг. (на примере Приморского и Хабаровского краёв). *Вестник ДВО РАН*. № 5: 125–131.
- Тилли Ч. 2009. *Принуждение, капитал и европейские государства. 900–1992 гг.* М.: Издат. дом «Территория будущего».
- Тилли Ч. 2007. *Демократия*. М. Институт общественного проектирования.
- Устав. 1969: Устав Коммунистической партии Советского Союза. *КПСС. Программы и Уставы КПСС*. М.: Политиздат.
- Фурман Д.Е. 2005. Перестройка глазами московского гуманитария. *Прорыв к свободе: О перестройке двадцать лет спустя (критический анализ)*. М.: Альпина Бизнес Букс.
- Фурман Д.Е. 2010. *Движение по спирали. Политическая система в России в ряду других систем*. М.: Издательство «Весь Мир».

КОНЦЕПЦИЯ РАННЕГО ГОСУДАРСТВА В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Концепция, которая избежала всеобщего признания

Раннее государство как концепция возникло с публикацией книги *Раннее Государство* осенью 1978 года, хотя использовалось ранее в некоторых антропологических трудах (Skalnik 1973; Wright and Johnson 1975). С тех пор оно использовалось антропологами, археологами, историками и регионоведами. Однако в его создании и использовании доминировали антропологи. Поэтому я сконцентрировался на месте, которое концепция раннего государства заняла в антропологии. Тридцать лет в общественных науках – достаточно большое время для того, чтобы выяснить, в какой степени эта концепция прижилась, получила признание и приобрела распространенность в дисциплине. Путем изучения энциклопедий, основных справочников, учебных пособий и исследовательской литературы в университетских курсах по всему миру можно получить представление и рассмотреть эту концепцию, как часть новой антропологической парадигмы. В этой работе я ограничиваю себя антропологической литературой с немногими отклонениями в смежные дисциплины. Я пытаюсь быть беспристрастным, насколько это возможно, и избежать самопохвалы, к которой могла бы склонить 30-я годовщина концепции. Во второй части статьи я провожу критический анализ пяти теоретических работ, опубликованных в этом специальном фрагменте.

Международные антропологические энциклопедии и справочники

Энциклопедия Общественных Наук (Kuper and Kuper 1985: 821–822) содержит статью “Происхождение Государства”, написанную Мишелем Изаром. Хотя автор не ссылается на концепцию раннего государства (далее – *РГ*), он вставляет Claessen и Skalnik 1978 и 1981 в Дополнительные Материалы. Кржистов Квасневский, автор статьи о политической антропологии в польском *Słownik etnologiczny* (Staszak 1987: 37–38), ссылается на Классена (1984) и его идею относительно

но того, что ранние государственные системы имеют шанс достичь зрелой стадии только в случае, если положительные изменения происходят в социальной, экономической, правовой и бюрократической сферах. Квасневский также упоминает Классена и Скальника в литературе (Claessen, Skalnik 1978; 1981).

Марк Абелес (Marc Abeles), один из самых влиятельных в настоящее время политических антропологов, в своей статье “Etat” (государство), опубликованной в *Dictionnaire de l’Ethnologie et de l’Anthropologie* (Bonte and Izard 1991: 239–242), ссылается на Классена и Скальника 1978, и, отождествляя в то же время раннее государство с традиционным государством, он подчеркнул, что оно обладает определенными особенностями, характерными также для негосударственных сообществ. Однако, в другой статье по политической антропологии Абелес вообще пропускает раннее государство (Bonte and Izard 1991: 579–583). В моей статье по политической системе в том же самом справочнике я отметил, что жесткость старой дифференциации между типами политических систем не была устранена введением новых концепций, таких, как концепция раннего государства, и я ссылаюсь на Claessen и Skalnik 1978 (Bonte and Izard 1991: 583–585).

Энциклопедия Культурной Антропологии содержала статью по вождествам и доиндустриальным государствам археолога Гари Фейнмана (Feinman 1996). Автор ссылается в ней на *Раннее Государство*, как на свидетельство преобладания неозволюционного использования термина «государство», введенного Фридом (Fried 1967) и Сервисом (Service 1975). Но Фейнман использует эпитеты “доиндустриальное” и “древнее”; только в конце статьи он предполагает, что “возникновение ранних государств остается ключевым научным вопросом, на который не было получено ответа” (Feinman 1996: 189–190). Следует обратить внимание на то, что Фейнман принял участие в недавнем специальном номере *Social Evolution & History*, посвященном 30-летней годовщине опубликования теории раннего государства, публикацией, посвященной “изменчивости государств”. Он отмечает, что “одним из наиболее впечатляющих аспектов *Раннего Государства (The Early State)*, как интеллектуального вклада, является степень влияния, которое книга оказала на смежные дисциплины в последние десятилетия» (Feinman 2008: 55). Очевидно, что с течением

нием времени Фейнман пришел к более положительной оценке концепции *РГ*.

Майкл Панофф и Майкл Перрин (Michel Panoff and Michel Perrin 2000), в своем неоднократно обновляемом карманном словаре по этнологии ссылаются на книгу Ситона и Классена (Seaton and Claessen 1979) без какого-либо последующего уточнения. То же самое делает Клаус Гессе (Klaus Hesse) в своей статье “Государство” (“Der Staat”) в Словаре по Этнологии (Streck 1987), когда он перечисляет *The Early State (Раннее Государство)* и *The Study of the State (Исследование Государства)* среди «новейших» вкладов в теорию государства и его происхождения.

Солидная *Дополнительная Энциклопедия Антропологии* под редакцией Тима Ингольда (Tim Ingold) содержит статью Тимоти Эрла (Timothy Earle) по “политическому господству и общественной эволюции” (Ingold 2002: 940–961). Отсутствие ссылки на концепцию раннего государства достойно сожаления и может быть объяснено только умыслом автора, поскольку совершенно невозможно, чтобы Эрл, специалист по сложным вождествам, мог быть не осведомлен о ее существовании.

Международные сборники

По-видимому, самой первой ссылкой на концепцию раннего государства является своего рода само-похвала Генри Классена в его введении к сборнику Ситона и Классена (Seaton and Claessen’s 1979). Там он впервые упоминает мою статью в книге, посвященной динамике развития раннего государства у Вольта (Скальник в книге [Seaton and Claessen 1979], в которой кратко излагается моя диссертация 1973 г.), где подчеркивается важность междисциплинарного подхода к происхождению и развитию государства и упоминается публикация *The Early State*, как подтверждение этого подхода с историческим акцентом (Seaton and Claessen 1979: 20, 23). Однако в собственной статье Классена в книге 1979 г. исследуется то, что он назвал “политическим балансом сил в примитивных государствах”, без упоминания концепции раннего государства. После выхода двух томов под редакцией Классена и Скальника последовала серия международных томов, все из которых режиссировались неослабной энергией Ханса Классена, как члены “клуба ранних го-

сударств”, как он любовно называет их¹. Совершенно логично, что концепция раннего государства была центральной в этих томах и что статьи, которые указаны в других местах, не были приняты во внимание в них. Поскольку концепция раннего государства была принята, как доказанная в этих сборниках, нам нет нужды здесь подробно останавливаться на них. Скорее интересно то, как другие значимые международные сборники интерпретировали рассматриваемую концепцию.

Книга *Переход к Государственности в Новом Свете (The Transition to Statehood in the New World)* под редакцией Гранта Джонса и Роберта Каца (Grant Jones and Robert Kautz) появилась только через три года после *The Early State*, но редакторы уже упоминают концепцию в своем введении. Обсуждая главу Дж. Хааса в сборнике, редакторы утверждают, что Хаас сконцентрировал свое внимание “в большей степени на раннем государстве, чем на его эволюционных предшественниках или процессах, которые привели к его возникновению”, и что он проигнорировал дифференциацию на примитивные и вторичные государства, поскольку “ранние государства обычно будут обнаруживать аналогичные характеристики независимо от их исторического статуса (позиция, принятая Классеном и Скальником 1978)” (Jones and Kautz 1981: 6). Годом позднее сам Хаас опубликовал свою монографию *Эволюция доисторического государства (The Evolution of Prehistoric State)*, где он не оперировал концепцией раннего государства, очевидно, потому, что он придумал свой собственный термин, доисторическое государство.

Артур Тьюден, один из редакторов *Политической Антропологии (Political Anthropology)* (Swartz, Turner and Tuden 1966), собрал с коллегами другую антологию статей по политической антропологии в конце своей карьеры (McGlynn and Tuden 1991). В своем пространстве введении редакторы вообще не упоминают концепцию раннего государства, хотя обсуждают вклады в возникновение государства с точки зрения эволюционистов, неэволюционистов и про-

¹ Литература, производимая Хансом Классеном и людьми, окружающими его, включает хорошо известные тома на английском языке, а также множество недорогих публикаций на голландском языке. Я не буду обсуждать здесь эти публикации, поскольку они касаются, в основном, концепции *РГ*, а также поскольку недавний специальный выпуск *Social Evolution and History* был посвящен этой теме (Claessen, Hagesteijn and van de Velde 2008).

цессуалистов. Однако библиография включает *РГ*, вероятно, потому что Дональд Курц, регулярный участник международных обсуждений концепции раннего государства, имеет статью в сборнике, где он ссылается на *РГ* (о Курце см. ниже).

Более десяти лет спустя российские неозволюционисты Николай Крадин и Валерий Лынша вступили в международные обсуждения из Владивостока, опубликовав работу *Альтернативные пути к Раннему Государству (Alternative Pathways to Early State)* (Kradin and Lynsha 1995). Они собрали группу российских и американских авторов, и антропологов, и археологов, чтобы оценить мультилинейность в развитии политической централизации. Российские ученые, побуждаемые своими собственными обширными исследованиями, сконцентрированными десятилетиями на поиске альтернатив марксистскому анализу классов, нашли вдохновение в книге *The Early State* (хотя некоторые из предшественников фактически были авторами глав в ней). Но, поскольку новое поколение появилось примерно во время распада Советского Союза, это вдохновение явилось к ним как необходимость ревизовать однолинейность самой концепции раннего государства. С одной стороны, эти, тогда молодые ученые, поддерживали альтернативную теорию политической антропологии, названную *политогенезом* их гуру Львом Куббелем, а, с другой стороны, они открыли параллели раннему государству в том, что они позднее назвали *аналогами раннего государства (early state analogues)*. Крадин устанавливает комбинацию вертикальной типологии зачаточного, типичного и переходного раннего государства с горизонтальным подходом. В этом отношении, например, покойный Куббель предполагал, что государство могло возникать тремя путями: военным, аристократическим и плутократическим. Мы вернемся к этой проблеме ниже.

В 1998 г. была выпущена книга *Архаические государства (Archaic States)* под редакцией археологов Гари Фейнмана и Джойс Маркус (Gary Feinman and Joyce Marcus), как еще один отклик на *The Early State*. В своем вступлении редакторы заявляют, что они решили “сфокусироваться на архаических государствах, тех, что возникали в начале истории их конкретного региона мира и характеризовались классово-эндогамными слоями общества с королевскими семьями, высшей и низшей аристократией и простолюдинами” (Feinman and Marcus 1998: 3–4). За исключением Поссела, который использует концепцию раннего государства в своем поиске объяснения негосу-

дарственной общественной сложности Индской или Хараппской цивилизации, в других случаях ссылки на нашу концепцию отсутствуют на более чем 400 страницах книги. Поссел в этой книге (Feinman and Marcus 1998: 266–267)) цитирует четыре “прямых воздействия на формирование раннего государства: (1) рост численности населения и/или популяционное давление; (2) война, угроза войны, завоевания или набегов; (3) завоевание и (4) влияние ранее существующих государств”. Далее следует цитата со стр. 642 *The Early State*, где Классен и Скальник устанавливают, что эти факторы не могут заменить «обязательные условия» экономического излишка (излишка товаров) и рудиментарной социальной стратификации. Наряду с тем, что Поссел связывает теорию образования государства Карнейро с теорией раннего государства, далее он объясняет, со ссылками на резюмирующую главу Классена и Скальника, что социальная стратификация была зашифрована в ранних государствах, завоевание, хотя и важный фактор, «не было хорошо представлено в их модели», «было обнаружено, что рост численности населения и/или популяционное давление приводит к более сложным политическим организациям», но урбанизация была фактором, играющим «решающую роль в формировании раннего государства». Поссел выяснил, что «роль торговли и коммерции, особенно в формирующих обстоятельствах ранних государств, была плохо интерпретирована Классеном и Скальником», но конкретные примеры в книге *The Early State* показали, что торговля и коммерция вместе с набегам, боевыми действиями и завоеванием могут служить в качестве «стимуляторов роста более сложных управляющих и государственных учреждений» (*Ibid.*: 267).

Превосходная работа русских, также, как рассматриваемая концепция раннего государства были, в конечном счете, установлены с появлением в печати коллективного тома исследований *Раннее Государство, его альтернативы и аналоги (The Early State, Its Alternatives and Analogues)*, первоначально опубликованного в другой книге *Альтернативы социальной эволюции (Alternatives of Social evolution)* несколькими годами ранее. Леонид Гринин, редактор и издатель журнала, оказался очень квалифицированным теоретиком, который предложил и разработал теорию аналогов раннего государства. Чтобы преодолеть “методологический тупик” в исследовании формирования сложной политической организации, Бондаренко и Гринин предположили, что “мы отвергаем концепцию, что государство было

единственной универсальной возможностью” и “признаем, что существовали альтернативные пути, отличные от трансформации в ранние государства” (Гринин (Grinin) 2004: 89). Если, в конце концов, все общества развиваются в государства, то переход к государству начинался с разных уровней догосударственной сложности, и упомянутые аналоги могли исчезнуть еще до того, как они достигали уровня раннего государства. Гринин, в ряде статей, глав и книг, которые мы не будем обсуждать здесь, показал, что общественная эволюция является главной проблемой российских специалистов в отношении раннего государства и взаимосвязанных вопросов. Можно отметить занятие ранним государством, как части и целого, марксистских обсуждений относительно социально-экономических формаций, которые доминировали в советских учениях, касающихся общественного развития (Grinin 2004).

Учебники

Сначала мы рассмотрим образец новых вводных учебников по антропологии, а затем некоторые специализированные учебники – введения в политическую антропологию.

Одним из самых влиятельных учебников в Соединенных Штатах Америки является *Антропология. Исследование этнического разнообразия* Конрада Коттака (Kottak 1997). Эта книга выдержала уже десять изданий, и были проданы многие тысячи экземпляров книги. Учебник был принят для специального среднего образования многими колледжами и университетами США. Специальная глава по вождествам и государствам вместо упоминания термина *раннее государство* ссылается на древние государства, как тождественные «доиндустриальным» государствам (*там же*: 275) и обладающие характеристиками, приобретенными также в сложных вождествах. Книга *Раннее Государство (The Early State)* не указывается в рекомендуемой литературе для чтения.

Альтернативное введение в социальную антропологию Анжелы Читер (Cheater 1986) уделяет особое внимание образованию государства, но не упоминает книгу *Early State*. В голландском учебнике один из редакторов *Early State* Генри Классен (1988) ссылается на раннее государство на многих страницах, но именно концепция раннего государства, как таковая, обсуждалась очень коротко в рамках множественных причин возникновения раннего государства. Она

была сформулирована в *Модели Комплексного Взаимодействия социально-экономического развития* (Claessen and van de Velde 1985). В британском учебнике Джоя Хендри (Joy Hendry 1999) ссылок на концепцию *РГ* нет вообще. Крис Ханн в своем *Самоучителе* упоминает книгу *The Early State* в библиографии, но не резервирует какого-либо пространства для концепции раннего государства. Он обсуждает вожества и сразу же переходит к современным государствам. Единственная уместная цитата оказывается сравнительной: «Точно так же, как ранние формы государства выросли из вожеств, так даже самые драматические политические революции двадцатого столетия основывались неизбежно на предсуществующих элементах культуры» (Hann 2000: 130). В приглашении Джозефа Ллобера в антропологию государство рассматривается, как раннее государство, в главе, касающейся возникновения цивилизации, но сама концепция не конкретизируется (Llobera 2003: 137).

Среди немецких учебников по этнологии наиболее существенным является, видимо, учебник под редакцией Ганса Фишера (Fischer 1998). В главе Жустин Стагл по “политической технологии” (“Politikethnologie”) дается только мимолетная ссылка на книгу *Early State* даже без упоминания концепции раннего государства. Одним из знающих участников дебатов, связанных с *РГ*, является Томас Баргацки, автор введения в этнологию, он упоминает «раннее государство» только в трех местах. В одном из них он задается вопросом, частично или полностью концепция раннего государства перекрывается с вожеством или даже заменяет его (Bargatzky 1997: 144). Это может означать либо то, что редакторы *Early State*, пропустив вожество в своем анализе, сами открылись для критики со стороны сторонников вожества, как универсальной концепции, либо что на самом деле, по крайней мере, некоторые формы ранних государств отождествляются со сложными вожествами.

В своем, широко используемом учебнике норвежский антрополог Томас Хилланд ссылается на концепцию раннего государства в связи с полинезийской централизованной политической системой: “Полинезийская система, описанная Салинсом, несомненно, была тем, что Классен и Скальник (Claessen and Skalnik 1978) называли “ранним государством”” (Eriksen 2001: 167). Можно задать вопрос, действительно ли это адекватная оценка концепции *РГ*. Гарвардский антрополог Майкл Херцфельд (Herzfeld 2001) в финансируемом ЮНЕСКО

проекте по состоянию дел в антропологии, написанном им на основании текстов, предоставленных 18 специалистами из разных стран, полностью игнорировал концепцию *PG*, хотя он посвятил специальную 18-страничную главу «Политике» («Politics»), опираясь, очевидно, на работу Абелеса. Означает ли это, что и Херцфельд, и Абелес рассматривают концепцию *ES*, как устаревшую, возможно, вследствие ее эволюционистских рамок и малых ссылок на нынешнюю политику в мире?

Из числа учебников по политической антропологии соотношение между теми, в которых упоминается концепция раннего государства, и теми, которые, в большей или меньшей степени, игнорируют существование ее и парадигмы, составляет примерно пятьдесят на пятьдесят. Учебное пособие Теда Левелина, профессора антропологии в университете Ричмонда, впервые опубликованное в 1983 году, уже выдержало три издания и широко используется в Соединенных Штатах (Lewellen 2004). Хотя Левелин полагается существенным образом на таких американских авторов, как Сервис, Фрид и Коэн в главе о типах доиндустриальных политических систем, при рассмотрении вопроса об эволюции государства в последующих главах он противопоставляет американских и голландских авторов, которые «с энтузиазмом решали проблему происхождения государства», тогда как британские и французские антропологис «склонны игнорировать эволюционные вопросы» (*там же*: 47). Затем Левелин обсуждает различные теории происхождения государства. Это исследование заканчивается разделом «Раннее государство: кросс-культурные данные». Автор утверждает, что в книге *Раннее Государство (The Early State)* игнорируется различие между первичными и вторичными государствами, но утверждает, что теории, обсуждаемые в книге, «первоначально применялись исключительно к первичным государствам; трудно определить качество оценок Классена и Скальника, основанных фактически на данных, полученных из разнородной группы обществ» (Lewellen 2004: 60). Левелин подчеркивает, что «ни одна из предшествующих книг не достигла таких результатов в классификации раннего государства» (*там же*), но его выводы «кажутся разочаровывающими», и он сомневается, действительно ли «системные подходы добавили так много к нашему пониманию», и не привели к «утрате специфичности». Поэтому он заканчивает главу призывом «заполнить пропуски в модели» путем интенсивных исследований:

“генерализации должны быть возвращены к археологическим раскопкам”, поскольку теория “должна занимать среднее положение в антропологии, поскольку, в конечном счете, все начинается и заканчивается в поле” (*там же*: 62).

Однако нельзя не согласиться с тем, что большинство теоретических разработок по раннему государству не были привязаны к полевым находкам теоретиков. Хотя археологи не единственные, кто занимается полевыми работами в связи с ранними государствами и их аналогами, это во все возрастающей степени становится нагрузкой археологов, если исследование формирования государства будет оставаться сконцентрированным на эволюции политической централизации в предсовременную эру. Возникает вопрос, останется ли все в таком виде, поскольку кросс-культурные сравнения не обязательно успешны в пределах одного временного сегмента, а возбуждение политических антропологов все больше подпитывается сравнением прошлого с настоящим и наоборот.

Хотя написанная хорошо известным американским политическим антропологом Джоаном Винсентом *Антропология и политика (Anthropology and Politics)* представляет собой скорее основательно прокомментированную историю политической антропологии, чем учебник. К сожалению, в этой 500-страничной книге только 40 дополнительных страниц, посвященных разработкам с 1974 года, представляют интерес. Концепция раннего государства упоминается лишь вскользь среди теорий, которые появились в упомянутый период. Две книги под редакцией Классена и Скальника упоминаются в неожиданном контексте (Vincent 1990: 398):

Формулировка Амина (Amin 1976) относительно неодинакового развития, инспирировала повторные археологический и этнологический пересмотры так называемых ранних государств. Значительная часть их была сведена вместе в двух книгах (снова в результате первопроходческого совещания ICAES в Чикаго) под редакцией Классена и Скальника, *Раннее государство (The Early State 1978)* и *Исследование государства (The Study of the State 1981)*.

Теоретическое воздействие этих книг игнорируется, концепция *РГ* практически опущена. Очевидно, что Винсента больше интересовало влияние марксизма на интерпретации политики в конце XX столетия. Широко используемая читателями хрестоматия по политической антропологии под редакцией Винсента не содержит ни одного текста из

литературы по раннему государству, а концепция вообще не упоминается в этом издании (Vincent 2002). Та же самая ситуация с другой хрестоматией, которая упоминает множество характеристик государства, но обходится без концепции *PI* (Nugent and Vincent 2004).

Марк Абелес опубликовал свою *Антропологию государства* (*Anthropologie de l'Etat*) в 1990 г. Он включил две книги под редакцией Классена и Скальника в свою библиографию, но не использовал их в обсуждении. Хотя книга содержит пространное обсуждение различных теорий происхождения государства, мы напрасно искали какую-либо ссылку на концепцию раннего государства. Возникает вопрос, а не хотел ли автор только выразить неискреннее уважение относительно существования книг без серьезного принятия их в качестве серьезных теоретических вкладов? Ответ будет отрицательным, так как Марк Абелес и Хенри-Пьер Жуди в своем введении к коллективному сборнику по политической антропологии отдают должное исследованиям по «архаическим государствам» (отождествляемым с ранними государствами) с отверганием поиска главных причин, вызывающих возникновение ранних государств (Abeles and Jeudy 1997: 7–8). Кроме того, они указывают, что «Как показано Х. Классеном и П. Скальником (1978), архаическое государство (*раннее государство*), исследованное антропологами, обладает определенными характеристиками, которые существуют в негосударственных обществах: политика и родственные связи часто тесно переплетаются, связи обмена и перераспределения здесь все еще остаются преобладающими» (*там же*: 8, мой перевод – П.С.).

Другой учебник, который широко использовался, также несется волной активизма в политической антропологии. Имеется в виду *Власть и ее маскировки* (*Power and Its Disguises*) Джона Гледхилла, автора, который интересуется неординарными сравнениями с позиции нынешней политики. Начальная фраза его Главы 3, посвященной «политике аграрных цивилизаций и возникновению западного национального государства», гласит следующее (Gledhill 2000: 47):

Может показаться, что дебаты относительно «происхождений» ранних государств имеют ограниченное отношение к современной политической жизни, но менее очевидно, что то же самое можно сказать относительно еще одного измерения политической антропологии, которое посвящается историческим ограничениям (проблемам), анализу крупных «аграрных цивилизаций».

Гледхилл полагается на анализы Майкла Манна (Mann 1986) и Джона Холла (Hall 1985), которые сосредоточили свое внимание на историческом и социологическом объяснении Западной гегемонии, а не на разнообразии политических форм, которые могли бы включать ранние государства. Это приводит его к центральной цели его учебника, и это колониализм, государства и общества “третьего мира” в сравнении с современным государством. Можно только удивляться элегантности, с которой концепция раннего государства обходится в этом важном тексте.

В противоположность Гледхиллу, русский археолог Николай Крадин написал учебник (выдержавший, между тем, на протяжении десяти лет несколько изданий), который является преимущественно неэволюционистским, но содержит критику догматического марксистского реконструктивизма. Как и некоторые другие его коллеги, он считает себя последователем Льва Куббеля и его теории “потестарно-политической этнографии” Крадин (2004: 181–182) одобрительно относится к концепции РГ, хотя он, по вполне понятным причинам, вводит современную российскую литературу, которая затрагивает широкое марксистское теоретизирование относительно происхождения и раннего этапа развития государства. Его учебник также отражает нынешний российский поиск альтернатив к однолинейному или билинейному представлению относительно политической централизации (*там же*: 183–192).

В Америке еще один учебник оперировал с концепцией РГ даже с большим одобрением, чем Крадин. Как упоминалось выше, Дональд Курц принимал участие в различных книгах (сборниках) по РГ. Он рассматривает работу группы, ведомой Хенри Классеном, как «самое исчерпывающее антропологическое исследование государства». Тем не менее, он допускает, что «сама по себе концепция государства остается сомнительной» (Kurtz 2001: 175).

Если бы мы захотели закончить этот раздел, мы бы могли сказать, что концепция раннего государства достигла только частичного результата. Во всех категориях важных трудов, рассмотренных выше, мы определяем их защитников, но также тех, кто, очевидно, преуспевает без нее. Почему это происходит? По моему мнению, это обусловлено расколом антропологов на тех, кто интересуется эволюцией и историей, и тех, кто обращает особое внимание на современную динамику политики. Последняя группа исследует государство и то, как

оно связано с другими государствами или населением, разделенным на тех, кто высоко ценит практическую пользу государства, и тех, кто является их интеллектуальными оппонентами. Так или иначе, происхождение государства и его развитие в прошлом не кажутся этим авторам важными для объяснения их роли сегодня и в будущем. Возможно, что исключением могли быть те, кто исследует постколониальное государство, особенно его неопатримониальные проявления. Однако оказалось, что анализы таких теоретиков, как Патрик Чабал (Chabal and Daloz 1999; Chabal 2009), не нуждаются в концепции раннего государства. Чабал упоминает *Исследование государства (The Study of the State)* в своей библиографии в конце своей самой последней книги, но причина этого не концепция *РГ*, а тот факт, что книга имеет слово «государство» в своем названии. Что касается сравнительной политологии, это скорее концепции культуры, религии, колдовства или идентичности, так как они формируют и информируют государство, как это было навязано Африке колониальными и постколониальными носителями власти. В лучшем случае, эти теоретики интересуются вождями и вождествами, так как они были полезны в различных формах непрямого управления (через местных вождей).

Концепция, которая стимулирует дальнейшие исследования

Само существование и явная живость журнала *Социальная Эволюция и История (Social Evolution and History)* подтверждают популярность концепции раннего государства среди приверженцев эволюционизма и других типов исторического подхода к политике. Вторая часть этого текста служит в качестве комментария к пяти работам, которые были опубликованы в специальном номера данного журнала (2009, Vol. 8 No. 1). В этом номере концепция *РГ* обсуждается и применяется к различным темам, и строго теоретическим, и направленным на интерпретацию данных относительно конкретных регионов. Эти важные интересные публикации заслуживают комментариев.

Статья Николая Крадина (Kradin 2009) посвящается генезису государства и в мировой, и в современной российской литературе. Влияние марксизма очевидно, но автору удается избежать отождествления даже с теми, кто определенно предлагает недогматическую марксистскую альтернативу. Крадин обращает внимание на трудности, связанные с установлением однозначных индикаторов государства. А именно, решающая роль родственных связей, трудности с

различием между перераспределением и налогами и рудиментарный характер органов власти и в вождествах, и в ранних государствах способствуют путанице. Поэтому Крадин приходит к правильному выводу, что “линия демаркации между вождеством и государством становится нечеткой и бесформенной при более тщательном анализе”. Позвольте мне напомнить читателю, что эта дилемма была обойдена в *РГ* созданием категории зачаточного раннего государства, которое четко отличалось от племен, которые не имели политической централизации. Наградой было исчезновение категории вождеств, что, в свою очередь, снижало богатство анализа. Поистине инновационными являются обширные ссылки Крадина на этнографические данные, подтверждающие закон Монтескье. Повсюду в мире, на Западе и Востоке, отдельные общества типа полиса, обычно защищенные естественными барьерами, были в состоянии практиковать прямую демократию, тогда как более многочисленные политические единицы использовали монархический или деспотический тип политической жизни. Это побудило Крадина популяризовать неиерархические общества в отличие от иерархических, *т.е.* вождества и государства. Таким образом, он способен понять «протестность» С. Айзенштадта, которая привела к демократическим или антиаристократическим открытым конфликтам в разных частях мира. С этой точки зрения, политики типа городов-государств не были отождествляемы с государством. Это не только опровергает марксистские заповеди относительно классового характера государства на стадии его зарождения, но и наводит на мысль о сосуществовании централизованного государства и государствовподобных политий с хорошо организованными политиями, основанными на диффузном управлении. Тот факт, что государство в конечном счете восторжествовало в мировом масштабе, не делает неприменимой модель полиса (города-государства), которая могла бы, при конкретных гарантиях глобальной безопасности, снова стать политической моделью в будущем. Эрнст Геллнер в его посмертно опубликованной книге обсуждает необходимость ограничения политического суверенитета государства «Лигой Наций с зубами», которое могло бы гарантировать вольные упражнения культурной идиосинкразии (Gellner 1998: 143), и я хотел бы добавить, где применимо, также прямые демократические мероприятия. Крадин, как и другие представители его поколения ученых Российской Академии, занятый борьбой против марксистского догматизма, осознает,

что отсутствие государства в течение, по крайней мере, характерных периодов античного мира не исключает существование цивилизации в этих негосударственных политиях. Кельтская цивилизация, политии евразийских пасторальных номадов и, возможно, также Индская или Хараппская цивилизация могли быть примерами развитых негосударственных политий. Кроме того, африканские и американские вожества и царства, хотя и редко представляющие тип города-государства политий, являются примерами других механизмов управления религиозного характера, которые не только успешно сдерживают власть вождей и королей, но и эффективно затрудняют возникновение ранней государственной организации (Clastres 1977; Skalnik 1996, 2004).

Гринин (Grinin 2009) развивает идеи Крадина далее, в направлении более четкого понимания мультинаправленности политических процессов, в его терминологии политогенеза. В своей работе, как и во многих предыдущих публикациях, Гринин отталкивается от своего тезиса относительно альтернатив централизации типа раннего государства, лучше всего выражаемой в его тезисе об аналогах раннему государству. Аналоги сложного раннего государства сосуществовали в течение продолжительных периодов времени с централизованными политиями типа раннего государства. Статья Гринина и Коротаева (Grinin, Korotayev 2009), которая следует за статьей Гринина, представляет много доказательств, которые в целом указывают на существование “сложных позднеархаических и раннецивилизационных обществ”, среди которых лишь некоторые демонстрировали свойства, которые могли бы соответствовать определению раннего государства. Едва ли существует необходимость повторять аргументы авторов. Что важно, так это то, что первичный или начальный политогенез становится в их руках изменчивым процессом, в результате чего политика лишь очень медленно превращается в квазинезависимую реальность.

С другой стороны, существование многих аналогов раннего государства делает раннее государство “особой политической формой общества”. Это имеет далеко идущие теоретические последствия. Очевидно, что концепция раннего государства возникла, как последняя модификация однолинейной теории в антропологии и других общественных науках. Разнообразие негосударственных политий, безусловно плюрализм путей, форм и структур, были загнаны в уз-

кое эволюционное горлышко, упорядочивая *все* политики в логику государства, как оно существует сегодня. К тому же евроцентристская смирительная рубашка современного государства, которая вроде бы доминирует на сцене с момента захвата колоний, была спроектирована в обратном направлении в поиске доказательства эволюционной последовательности, а именно, *зачаточное, типичное и переходное* раннее государство.

Гринин, Коротаяев и их коллеги, путем тщательного исследования этнографических и исторических свидетельств, и честного поиска дальнейшего обогащения теории раннего государства, по существу, опровергли или фальсифицировали эту теорию. В этом заключается важнейший вывод, который имеет неопределимое значение для дальнейшего суждения о политике, как то для антропологов или других специалистов. Без отбрасывания социальной эволюции, как таковой, многообразие путей включает более быстрые и более медленные вариации, которые можно было бы назвать стагнирующей динамикой (*stagnating dynamisms*). Очевидно, это справедливо и для архаических периодов, и для формирующихся государства современной эпохи. Поскольку оба ранних типа государства имели негосударственных конкурентов, то и нынешний западный тип современных государств вынужден справляться с несостоявшимися государствами и различными формами негосударственных или антигосударственных образований, такими, как Аль-Каида (см. Skalnik 2004). Однако поиск альтернатив раннему государству, начатый Крадиным, Грининым и другими в России, будет требовать расширения в исследовании современных национальных государств и их противников или альтернатив. Без этого исследование раннего государства и его аналогов будет оставаться антикварным занятием, важность которого для понимания современной политики будет сомнительной или явно игнорируемой. Как, в остальном, объяснить, что в недавней публикации под названием *Антропология государства (The Anthropology of the State)* даже не упоминается существование исследований доиндустриальных государств (Sharma and Gupta 2006).

То, что популярность раннего государства продолжает привлекать ученых, подтверждается двумя прикладными эссе, которые были включены в обсуждаемый здесь номер журнала. Лесли Гунавардана (Gunawardana 2009) один из давних участников симпозиумов и публикаций по раннему государству. В течение несколь-

ких десятилетий он проявлял особый интерес к азиатскому способу производства и другим проблемам, связанным с применением марксистского исторического материализма к Азии. Суть заключалась в том, что только государство было способно сделать землю плодородной во многих частях Азии путем строительства и поддержания крупных оросительных систем. Хотя это было опровергнуто в случае древнего Цейлона/Шри-Ланки, очевидная сила государства в Азии осталась важной научной темой. Поэтому Гунавардана в соответствии с его взглядами повторно обсуждает цитируемые примеры ранних государств в Азии и приходит к выводу, что варианты или аналоги раннего государства обогащают картину процессов Азиатской политической централизации.

Мартин Кляйн (Klein 2009), подобно Гунавардана, не опровергает раннее государство, как концепцию, но, наоборот, принимает его, как основу для своего последующего анализа. Особый интерес здесь представляет рабство, с практической точки зрения, как оно возникает, существуя во всех типах человеческих сообществ, от примитивных орд до наднациональных предприятий XXI века. Поэтому рабство ранних африканских государствах представляет собой конкретный случай, когда главы ранних государств, с одной стороны, нуждаются в определенных специалистах, которые образуют их суды и функционируют, как зачаточный государственный аппарат, но, с другой стороны, правители должны найти способы добывания средств для содержания аппарата. Социальная стратификация является движущей силой этих обоих характерных свойств, и рабы оказываются необходимы здесь. Поскольку большинство рабов принадлежало высшему вождю или королю, они были источником прибавочной стоимости в процессе политической централизации. Будучи иностранного происхождения и, следовательно, нейтральными в отношении внутренних дел государства, рабы были близкими советниками, армейскими военачальниками, шпионами и другими доверенными лицами правителя. Преимуществом рабов была их лояльность к своему хозяину, и поэтому они предпочитались родне, от которой правитель мог зависеть. Кляйн показывает, что, хотя рабство не было неотъемлемым ингредиентом в процессе возникновения раннего государства, оно является важным, если не необходимым фактором для его функционирования во времени, *т.е.* в предотвращении его

распада. Однако, если раннее или бывшее раннее, доколониальное, милитаристское государство слишком сильно зависело от рабов, его существование было нестабильным и коротким. Нет необходимости повторять здесь рассуждения Кляйна. Как историк, он педантичен в использовании данных, и можно только восхищаться его совершенным владением ими. Так как Африка является оспариваемым полем, когда речь идет о гибком равенстве между вожествами/царствами и ранними государствами, анализ Кляйном роли рабства в этих централизирующих политиях способствует более четкой картине разнообразия аборигенной политической централизации.

Заключение

Раннее государство, как термин, проник в антропологическую литературу, но, как концепция, он устанавливался, главным образом, в неозволюционистских трудах. В частности, российские неозволюционистские этнологи, археологи и антропологи, стараясь разорвать смирительную рубашку догматического марксизма, приняли вызов концепции раннего государства, чтобы найти ему надлежащее место. «Надлежащее место» означает, что раннее государство перестало быть только предшественником современного индустриального государства, так как оно не является больше преемником вожества или племени. С открытием многообразия аналогов раннего государства неозволюционизм находит свою практическую значимость. Логически большее разнообразие в антропологическом исследовании государства порождает меньшую идеологию – *измов* в исследовании политики. По индукции, исследование современных форм государства в мировом масштабе также устанавливает широкое разнообразие и типы, которые, в свою очередь, аннулируют мечты о единообразии и унификации. Правильно понятая, как теоретическая проблема, антропологическая концепция раннего государства могла способствовать более эффективному исследованию всех государств, их аналогов и «антилогов» на всех континентах не только антропологами, но и всеми другими специалистами в области общественных наук. Настоящий выбор статей показывает направление, которое, кроме антропологов, могло бы быть принято другими учеными.

ЛИТЕРАТУРА

- Abeles, M. 1990. *Anthropologie de l'Etat*. Paris: Armand Colin.
- Abeles, M., and Jeudy, H.-P. (eds.) 1997. *Anthropologie du politique*. Paris: Armand Colin.
- Bargatzky, T. 1997. *Ethnologie. Eine Einführung in die Wissenschaft von den ur-produktiven Gesellschaften*. Hamburg: Helmut Buske Verlag.
- Bonte, P., and Izard, M. (eds.) 1991. *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*. Paris: Presses universitaires de France.
- Chabal, P. 2009. *Africa: The Politics of Suffering and Smiling*. London: Zed Books.
- Chabal, P., and Daloz, J.-P. 1999. *Africa Works. Disorder as Political Instrument*. London: James Currey.
- Chabal, P., and Daloz, J.-P. 2006. *Culture Troubles: Politics and the Interpretation of Meaning*. London: Hurst.
- Cheater, A. P. 1986. *Social Anthropology: An Alternative Introduction*. Gweru: Mambo Press.
- Claessen, H. J. M. 1984. The Internal Dynamics of the Early State. *Current Anthropology* 25(4): 365–379.
- Claessen, H. J. M. 1988. *Over de politiek denkende en handelende mens. Een inleiding in de politieke antropologie*. Assen: Van Gorcum.
- Claessen, H. J. M., and Skalnik, P. (eds.) 1978. *The Early State*. The Hague: Mouton Publishers.
- Claessen, H. J. M., and Skalnik, P. 1981. *The Study of the State*. The Hague: Mouton Publishers.
- Claessen, H. J. M., and van de Velde, P. 1985. Sociopolitical Evolution as Complex Interaction. In Claessen, H. J. M., van de Velde, P. and Smith, M. E. (eds.), *Development and Decline. The Evolution of Sociopolitical Organization* (pp. 246–263). South Hadley, MA: Bergin and Harvey.
- Claessen, H. J. M., Hagesteijn, R., and van de Velde, P. (eds.) 2008. Thirty Years of Early State Research. Special issue of *Social Evolution and History* 7(1): 1–268.
- Clastres, P. 1977. *Society against the State*. New York: Urizen Books.
- Eriksen, T. H. 2001. *Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology*. 2nd edition. London: Pluto Press.
- Fischer, H. (ed.) 1998. *Ethnologie. Einführung und Überblick*. 4th edition. Hamburg: Dietrich Reimer Verlag.

- Feinman, G. M. 1996. Chiefdoms and Nonindustrial States. In Levinson, D., and Ember, M. (eds.), *Encyclopedia of Cultural Anthropology* (pp. 185–191). New York: Henry Holt and Company.
2008. Variability of State: Comparative Frameworks. *Social Evolution and History* 7(1): 54–66.
- Feinman, G. M., and Marcus, J. (eds.) 1998. *Archaic States*. Santa Fe: School of American Research Press.
- Fried, M. H. 1967. *The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology*. New York: Random House.
- Gellner, E. 1998. *Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gledhill, J. 2000 [1994]. *Power and Its Disguises. Anthropological Perspectives on Politics*. 2nd edition. London: Pluto Press.
- Grinin, L.E. 2004. The Early State and Its Analogues. A Comparative Analysis. In Grinin, L.E., Carneiro, R.L., Bondarenko, D.M., Kradin, N.N., and Korotayev, A.V. (eds.), *The Early State, Its Alternatives and Analogues* (pp. 88–136). Volgograd: Uchitel.
- Grinin, L.E. 2009. The Pathways of Politogenesis and Models of the Early State Formation. *Social Evolution and History* 8 (1): 92–132.
- Grinin, L.E., Korotayev, A.V. 2009. The Epoch of the Initial Politogenesis. *Social Evolution and History* 8 (1): 52–91.
- Gunawardana, R. A. L. H. 2009. The Early State and Theorization on the Evolution and Character of the State in Asia: Some Preliminary Observations. *Social Evolution and History* 8 (1): 133–167
- Hall, J. 1985. *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*. Oxford: Basil Blackwell.
- Hann, C. 2000. *Social Anthropology*. London: Teach Yourself Books.
- Hendry, J. 1999. *An Introduction to Social Anthropology. Other People's Worlds*. Basingstoke and London: Macmillan Press.
- Herzfeld, M. 2001. *Anthropology. Theoretical Practice in Culture and Society*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Ingold, T. (ed.) 2002 [1994]. *Companion Encyclopedia of Anthropology*. London: Routledge.
- Jones, G.D., and Kautz, R.R. (eds.) 1981. *The Transition to Statehood in the New World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klein M.A. 2009. Slavery and the Early State in Africa. *Social Evolution and History* 8 (1): 168–194.

- Kottak, C. P. 1997. *Anthropology. The Exploration of Human Diversity*. 7th edition. New York: McGraw-Hill.
- Kradin, N. N. 2004. *Politicheskaya antropologiya* [Political Anthropology]. Moscow: Logos.
- Kradin, N.N. 2009. State Origins in Anthropological Thought. *Social Evolution and History* 8 (1): 25–51.
- Kradin, N.N., and Lynsha, V.A. (eds.) 1995. *Alternative Pathways to Early State*. Vladivostok: Dal'nauka.
- Kuper, A., and Kuper, J. 1985. *The Social Science Encyclopedia*. London: Routledge.
- Kurtz, D. V. 2001. *Political Anthropology. Paradigms and Power*. Boulder: Westview Press.
- Lewellen, T.C. 2004. *Political Anthropology*. 3rd edition. Westport: Bergin and Garvey.
- Llobera, J. R. 2003. *An Invitation to Anthropology. The Structure, Evolution and Cultural Identity of Human Societies*. Oxford: Berghahn Books.
- Mann, M. 1986. *The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning to A.D. 1760*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McGlynn, F. Jr., and Tuden, A. (eds.) 1991. *Anthropological Approaches to Political Behavior*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Nugent, D., and Vincent, J. (eds.) 2004. *A Companion to the Anthropology of Politics*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Panoff, M., and Perrin, M. 2000. *Taschenwörterbuch der Ethnologie. Begriffe und Definitionen zur Einführung*. 3rd edition (the first published as Dictionnaire de l'ethnologie in 1973). Berlin: Dietrich Reimer Verlag.
- Seaton, S.L., and Claessen, H.J. M. (eds.) 1979. *Political Anthropology. The State of the Art*. The Hague: Mouton.
- Service, E.R. 1975. *Origins of the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution*. New York: Norton.
- Sharma, A., and Gupta, A. (eds.) 2006. *The Anthropology of the State. A Reader*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Skalnik, P. 1973. *The Dynamics of Early State Development in the Voltaic Area*. Unpublished CSc. dissertation. Prague: Charles University.
- Skalnik, P. 1996. Authority versus Power: Democracy in Africa Must Include Original African Institutions. Special issue of *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 37–38: 109–121.

- Skalnik, P. 2004. Chiefdom: A Universal Political Formation? *Focaal. European Journal of Anthropology* 43: 76–98.
- Staszczak, Z. (ed.) 1987. *Słownik etnologiczny. Terminy ogólne*. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Streck, B. (ed.) 1987. *Wörterbuch der Ethnologie*. Köln: Du Mont Buchverlag.
- Swartz, M.J., Turner, V.W., and Tuden, A. (eds.) 1966. *Political Anthropology*. Chicago: Aldine.
- Vincent, J. 1990. *Anthropology and Politics. Vision, Traditions, and Trends*. Tucson: The University of Arizona Press.
- Vincent, J. (ed.) 2002. *The Anthropology of Politics. A Reader in Ethnography, Theory, and Critique*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Wright, H. T., and Johnson, G. A. 1975. Population, Exchange, and Early State Formation in South-western Iran. *American Anthropologist* 77: 267–289.

ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ КОРНИ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ

Как нативная традиции, так и вслед за нею исследователи моделируют границы общности «монголы» через этнонимы и эпонимы потомков первопредков Бортэ-Чино и Гоа-Марал. Я бы хотела обратить внимание на то, что на самом деле эта общность представляла собой дуальную структуру, в которой имена первопредков репрезентируют две различные этнические компоненты – тюркскую и монгольскую. Именно эти две лидирующие группировки определяли процесс политогенеза в начале XIII века в Трехречье (Онон, Керулен, Тола) – на территории вторичной колонизации монголов, на которую они начали мигрировать предположительно в VIII в.

Сложение кочевого ядра Монгольской империи характеризуется тем, что в процесс вовлекались народы разной этнической принадлежности, что привело к тому, что даже властная элита представляла собой полиэтничное сообщество и часто обозначается как целостность *кыят-борджигин*. Вторую половину I тысячелетия принято называть древнетюркской эпохой, поскольку в степях Евразии возникают образованные тюркоязычными народами каганаты: Первый Тюркский каганат, Восточнотюркский каганат, Западнотюркский каганат, Тюркешский каганат, Уйгурский каганат, а также конфедерации енисейских кыргызов, карлуков, кимаков и приаральских огузов (гузов).

Гибель каганатов не означала полного исчезновения народов, входящих в их состав. Переселение монгольских групп с территории первоначального расселения на Аргуни-Амуре, начавшееся в 8 в., привело к созданию образований гетерогенного типа, получивших обозначение мэн-да, т.е. монголо-татары или татаро-монголы. В этом контексте огромное значение должно иметь исследование процессов идентификации и самоидентификации, нашедших отражение в письменных средневековых памятниках.

Моделируемые властной элитой границы общностей становятся эффективными механизмами конкретной социальной практики, ре-

гламентирующими принципы взаимоотношений групп (этносов, политий, союзов, конфедераций), носящих нестабильный, изменчивый характер вследствие специфики кочевых обществ, с одной стороны. С другой стороны, для конца XII – начала XIII веков постоянная изменчивость границ общностей определялась также завоевательной политикой не только Чингиз-хана, но и его предшественников и современников.

По отношению к общности, к которой принадлежал Чингиз-хан, применялся парный этноним *кият-борджигин*: «... Несмотря на то, что Чингиз-хан, его предки и братья принадлежат, согласно вышеупомянутому [своему] авторитету, к племени кият, однако прозванием детей Есугэй-бахадур, который был отцом Чингиз-хана, стало Кият-Бурджигин; они – и кияты, и бурджигины» (Рашид-ад-дин 1952а: 155). В *Сборнике летописей* двойная идентичность правящей элиты («они – и кияты, и бурджигины») упоминается лишь дважды в связи с Есугэй-багатуром, этническая принадлежность к *борджигин* не приписывается больше никому, она просто не упоминается в других контекстах. В другом месте Рашид-ад-дин пишет: «Третий сын был Есугэй-бахадур, который является отцом Чингиз-хана. [Племя] кият-бурджигин происходит из его потомства (Рашид-ад-дин 1952б: 48).

Приписывание второй идентичности при сохранении приоритета первой может указывать на то, что речь идет о союзе двух общностей, где вторая занимает подчиненное положение. Можно предположить, что термины *монгол* и *тайджиут* (см. § 57 «Тайной истории монголов» (далее: ТИМ) об избрании ханом Хутулы) или *кият* и *борджигин* выступают как обозначение воинского союза, которому присуща амбивалентность: с одной стороны, подчеркивается единство (*монгол–тайджиут* или *кият–борджигин*) общности при лидерстве монголов, с другой, – часто не только первые, но и вторые выступают как самостоятельные субъекты политической практики, где отмечаются отдельные попытки тайджиутов добиться преимущества. Можно предположить, что

именно с Хабул-хана¹ начинается возвышение *кият* (= монголов) и закрепление власти за ними на территории вторичной колонизации. При этом следует обратить внимание на связь властвующей элиты с материнским родом куралас и территорией его кочевания, поскольку в нижеследующей цитате усматривается отражение матрилатерального принципа родства, согласно которому племянники наследуют дяде по матери. Здесь земли рода куралас называются *своими*, а *куралас* – *киятами*: «Впоследствии Кадан-бахадур и Кутула-каан ушли особняком на свои юрты в землю племени куралас» (Рашид ад-дин 1952б: 36–37). Здесь же они называются племенем кият-куралас.

Что конструировалось в Монгольской империи парой маркеров *кият* и *борджигин*?

Поскольку целью источников было показать легитимность власти Чингис-хана и его потомков, то именно в его генеалогии, а не по линии старших потомков Бодончара, имплицитно указывается на связь с предками через воспроизведение этнонимов. В ТИМ этноним *киян* упоминается в пяти случаях: трижды в имени Монгэту-Киян, что означает «Киян – владыка (досл. владеющий) монголов». В кочевом обществе, где генеалогия является регулятором внутри – и межклановых отношений через ритуальную практику или брачные связи, эпоним часто заменяет имя. Так, Монгэту-Киян был старшим братом Ебугэй-багатура, отца Чингис-хана, т.е. дядей последнего. В этом

¹ Можно говорить о значимости объединения, которое сформировалось под властью Кабул-хана, поскольку потребовалась специальная маркировка его рода (группы) в качестве лидирующей через славное имя прошлого. В таблице Кабул-хана и его жены рядом с именем его внука Sorqatu-Jürki сообщается, что племя кият-юрки его уруг, а около имени Sača-Beki – «часть племени кият-юркин – его уруг». Часть племени кият принадлежало и потомству третьего сына Кабул-хана – Qutuqtu-Mönggür/Möngler (Рашид ад-дин 1952б: 34). Вариант *Möngler* (Rachewiltz 2004: Table 1) имени третьего сына Кабул-хана, бывшего младшим в его правом крыле, подтверждает идентичность монголов и кият. Можно интерпретировать *Möngler* как «The Mongols», где *Möng-* означает монгол, а *-ler* – аффикс мн.ч. в тюркских языках. В то время как через старшую ветвь потомков of Qabul Qan транслировался этноним Yürki/Jürki, к которому позднее был приписан второй – кият. Таким образом конструируется монгольская идентичность «нируны, которых также называют киятами; они разделяются на две ветви; кияты вообще и в этом смысле [они объединяют роды]: юркин, чаншиут, кият-ясар и кият-бурджигин, что означает – синеокее; их ветвь произошла от отца Чингиз-хана и имеет [поэтому] родственное отношение [к роду Чингиз-хана и его отца]» (Рашид ад-дин 1952а: 78–79).

имени, на мой взгляд, соединены два разноуровневых маркера – *монгол* и *кият*. Если последний является отражением гентильного сознания (идентичности), то первый обозначает общность гетерогенного характера – этническую. В таблице, изображающей Бартан-багатура и его детей, под именем его старшего сына Мунгэду-Киян написано: «Все кияты происходят из потомков этого Мунгэду-Кияна» (Рашид ад-дин 1952б: 49).

Единожды упоминается с этнонимом *киан* Есугэй – Есугэй-Киян, и еще раз этноним встречается в ТИМ в словосочетании *кият иргэн*, т.е. кияты (-*т* – показатель мн.ч.) или племя кият, связанном с именем Есугэя, который был харизмой этого племени. Одновременно Есугэй, как и его брат Монгэту-Киян, был монголом.

Этноним *кият* становится ведущим в конструировании истинной монгольскости – «нируны, которых также называют киятами». Джувейни писал (1260): «монгольские племена и роды многочисленны; но самыми знаменитыми сегодня стали кияты, возвысившиеся на другими благодаря своему благородству и величию, воздвигшими которых были предки и прародители Чингисхана и от которых он ведет свой род» (Джувейни 2004: 25). При этом Дж.Э. Бойл, переводчик Джувейни, так комментирует этноним кият: «На самом деле кияты являлись ветвью монгольского клана борджигинов» (там же: 539). В этом комментарии содержится несоответствие, согласно которому *племя кият* является частью монгольского *рода борджигин*. Близкой к этому мнению является и точка зрения И. де Рахевилца, написавшего, что «клан борджигин монгольского племени был якобы основан Бодончаром» (Rachewiltz 2004: 238).

Возможно, эта неточность или заблуждение инспирировано данными средневековых источников. Так, Рашид-ад-дин писал: «...хотя они происходили из племени нирун-кият и чистого рода Алан-Гоа и появились на свет от прямого ее потомка в [шестом] колене, Кабулхана, называют кият-бурджигин. Их происхождение таково: они народились от внука Кабулхана, Есугэй-бахадур, отца Чингисхана» (Рашид ад-дин 1952а: 152–153). На мой взгляд, парный этноним кият-борджигин несет в себе тот же смысл, что и монголы-тайджиуты в интронизации Хабудхана: маркирует общность, лидерство в которой принадлежит первому члену пары, т.е. монголам, киятам.

В свою очередь этноним борджигин встречается в ТИМ трижды: дважды в имени Борджигидай-Мэргэн (Rachewiltz 1972: 13), эпоним

ме, который означает “Мэргэн – владыка (досл. который владеет) борджигинов”; и один раз этноним борджигин упоминается в связи с Бодончаром, который называется “владыкой родов, составляющих общность борджигин” (монг. Bodoncar borjigin oboqtan bolba [Rachewiltz 1972: 20]). Но женой Борджигидай-Мэргэна была Монголджин-Гоа. Поскольку здесь отмечается брачная связь кланов борджигин и монгол, а браки в монгольской средневековой среде были экзогамными, то можно констатировать невозможность включения клана *борджигин* в монгольское племя. Напротив, это две разные группы. Если сторона женщин маркируется именем *монгол* и сопутствующими ему этнонимами, то брачные партнеры мужчины – рядом других этнонимов, одним из которых был *борджигин*, где *бор*¹ – означает *wolf*. Семантический ряд можно расширить. Безусловно, это значение термина *борджигин* позволяет предполагать включенность группы в общность, моделируемую рядом *тайджиут* – *нукуз* – *чинэ*, что также воспроизводит пары *тайджиут* – *монгол* = *нукуз* – *кият* = *борджигин* – *монгол/кият* = *мужское* – *женское* = *Бортэ-Чино* – *Гоа-Марал*, т.е. архетип сохраняется во всех парах. Сыном Борджигидая был Торголджин Байан, имя которого имеет явно тюркские корни: имя Торгул упоминается в надписи орхоно-енисейским письмом на камне в местности Ихэ-Асхете в Монголии (ДТС 1969: 578).

Если сочетание *кият/нукуз* актуализировалось только в *Сборнике летописей* и имплицитно содержало в себе идею как союза, так и соперничества двух групп, а именно *кият*ов, носивших более общее имя *монгол*, и *тайджиутов*, также монголизированных позже, то в паре *кият-борджигин* наиболее выразительно звучала сема (компонент значения) принадлежности к верховной властвующей структуре, причем не только в XIII веке, но и позже, может быть даже

¹ Хотелось бы обратиться на лексему, общую для имени мифического прародителя и этнонима *борджигин* – *бор*, который является одним из вариантов слова алтайской языковой семьи: *бор/боро* = *серый* по-тюркски и по-монгольски, где вариант *боро* – *буру/т/* может означать волка (Севортян 1978: 171–173, 193). «Можно, по-видимому, условно говорить о “смешении” двух лексических основ: бор “мел” и бор “серый цвет”, боз “серый”, “беловатый”, “отливающий белым”. О “смешении” говорят также сами формы: бора/боро и аналогичные им в составе форм для боз “серый”» (Севортян 1978: 193). «У лексемы боз - бор - бого широкий ареал, который охватывает все алтайские языки, по мнению же В.И. Абаева, она восходит к старому субстратному евразийскому слову» (Там же: 173). Примеры, приведенные здесь же составителем словаря, демонстрируют взаимозаменяемость слов (там же: 171–173).

особенно значительно, после нового появления монголов на исторической арене в конце XVII века¹. Но и для периода Монгольской империи актуальность парного этнонима была безусловной. На мой взгляд, парный этноним *кыят-борджигин* несет в себе тот же смысл, что и монголы-гайджиуты в интронизации Хабул-хана: маркирует общность, лидерство в которой принадлежит первому члену пары, т.е. монголам, кыятам.

Следует заметить, что в именах первопредков *Бортэ-Чино – Гоа-Марал* первая часть передает наименование животного на родном языке, тогда как вторая – на языке брачного партнера: Бортэ – волк в тюркских языках, Гоа – олениха в монгольском (тунгусо-маньчжурских) (Крадин, Скрынникова 2006: 187). Соответственно, Бортэ-Чино означает Волк-Волк, а Гоа-Марал – Олениха-Маралуха, причем составная часть имени – *Гоа* маркирует жен-монголок, как и в следующих именах: Борджигидай-Мэргэн – Монголджин-Гоа, Желтый пес – Алан-Гоа. Синонимичность собаки и волка является достаточно распространенным архетипом, «семантическая взаимозаменяемость образов собаки и волка, хорошо известная по этнографическим данным и фольклору, делает непринципиальной жесткую идентификацию

¹ Так, например, у Саган-Сэцэна *кыят* встречаются только один раз в форме *kiyod – Kiyod yasutu. Borjigin oboytu* (Sarang Secen 1990: 51, 55), когда описывается приезд Есугэя, желающего женить Темучжина на дочери хонгиратского Дай-Сэцэна. Тогда хонгиратский Дай-Сэцэн называет *кость кыят, род борджигин (Kiyod yasutu. Borjigin oboytu)* своими сватами (*anda kuda*), а увиденного во сне сокола (шонхора) – сульдэ борджигинов. Напомню, что в «Сокровенном сказании» увиденный во сне сокол называется «сульдэ рода кыят», что подтверждает синонимичность этих этнонимов. Дай-Сэцэн радуется тому, что его дочь станет женой борджигина и утверждает, что борджигины всегда брали жен у их рода (*ibid*: 51). В отличие от маркера *кыят* термин *борджигин* более актуален для этого периода и региона и упоминается довольно часто. Сначала в имени Борджигин-мэргэн – потомка Бортэ-чино (*ibid*: 47). Их значимость обосновывается тем, что борджигины называются «потомками Неба» (*tenggerlig-ün ür-e Borjigin*) (*ibid*: 54). Поскольку Небо хранит борджигинов, то для их потомков (*Borjigin-u ür-e*) – и дни благоприятные (*ibid*: 55), и их сила увеличивается (*ibid*: 74), и произносятся здравницы за процветание высочайших потомков борджигинов (*degere Borjigin-u ür-e*) (*ibid*: 119). Если же им нанесешь вред, будешь наказан (*ibid*: 110, 117). Так, например, известный правитель Эсэн, пришедший к сакральному центру – восьми юртам Чингис-хана и пожелавший получить благословение на власть, решил: «Оборву-ка, вообще потомство борджигинов» (*ibid*: 114), был за это наказан. Правители монголов, потомки Даян-хана, восстановившие титул хаган и носящие его, обозначаются в тексте следующим образом: «Потомство хагана называется родом *борджигин (qayan-u ür-e Borjigin-u uruq nereyidbei)*» (*ibid*: 122).

“фантастического животного”. В частности, в традиции восточногрозинских горцев между культовыми собаками и священными волками прослеживается “неоспоримая преемственность культа”, делающая их, по существу, двойниками» (Карпов 1996: 154). Волк в качестве предка или героя широко распространенный архетип традиционной культуры не только в восточной Евразии (там же: 151–152), причем часто он обозначается через цвет – «серый». Можно вспомнить также, что в десятом поколении мы обнаруживаем пару Хорилартай-Мэргэна и Баргуджин-Гоа, в которой мужской эпоним выступает как маркер тюркоязычной общности (*хори*), а женское имя указывает на монгольское происхождение (*баргу*), что позволяет говорить о двухчастности ядра общности, разросшейся впоследствии до размеров Монгольской империи.

Я думаю, что дополнительным свидетельством тюркской этничности борджигинов является расшифровка имени Бодончар, которому приписывается принадлежность к этой этнической группе. Известно, что он был младшим сыном Алан-Гоа, родившемуся после смерти ее мужа Добун-Мэргэна от желтолицего мужчины, проникавшего сквозь верхнее отверстие юрты и уходившего в виде желтого пса. Имя Бодончар состоит из двух частей: первая часть означает «дикий кабан» (Rachewiltz 2004: 260), значение же второй части – *чар* оставалось без интерпретаций.

Хотелось бы обратить внимание на эту часть имени – *чар*, которая мне представляется значимой. Ниже будет идти речь тех, в чьих именах отмечается этот формант. Можно предположить, что она представляет собой иное написание известного в Тюркском каганате титула/звания – *чор*. С.Г. Кляшторный пишет о разделении кочевого населения, состоящего из «десяти стрел» (*он ок будун*), на два крыла со ссылкой на Шаванна: «Восточная сторона называлась пять племен дулу, во главе которых были поставлены пять великих чоров... Западная сторона называлась пять племен нушиби. Во главе их стояло пять великих иркинов» (Кляшторный, Савинов 1994: 19). Из дальнейшего текста С.Г. Кляшторного о реформах Ышбара Хилаш-хана 634 года следует, что иркины и чоры являлись племенными вождями: «Новые реформы превращали племенных вождей (иркинов и чоров) в назначенных или утвержденных каганом “управляющих”, зависящих лично от него. Для того, чтобы сделать эту зависимость более реальной, в каждую “стрелу” был направлен член каганского рода –

шад, никак не связанный с племенной знатью и руководствовавшийся интересами центральной власти» (там же: 23).

Лидер с титулом *чор* неоднократно встречается в истории древних тюрков. Так, полководцем Сулука (“тюргеш-хагана”), который прежде носил имя Чабыш-чур [там же: 29], был «вождь сары-тюргешей Кули-Чор» (там же: 30, 35), после Сулука каганом стал его сын Тухварсен Кутчор (там же); известна правящая династия Кара-чоров (там же: 36). Особого внимания достойна надпись из Ихэ Хушоту (территория Монголии), «где рассказана судьба сразу трех поколений Кули-чоров, наследственных вождей и “бегов народа” тардушей» (там же: 71). С.Г. Кляшторный (2010: 68) упоминает также, что Моянь-чор – дотронное имя кагана Элетмиш Бильге-кагана; будущий Элетмиш Бильге-каган, а тогда вассал тюркского кагана Буян-чор» (там же: 69); «...третий сын Элетмиша Кутлуг Чор-тегин» (там же: 76). «Так описывает Бильге-каган генеральное сражение под Ланьчжоу (Кечином). Одним из героев этой битвы был Кули-чор Тардушский, сражавшийся во главе всадников-тардушей с тюменом (десятитысячным отрядом) китайского войска» (там же: 225).

Все это позволяет, на мой взгляд, предположить, что Бодончар (Бодон-чор) – младший сын Алан-Гоа – являлся вождем одного из племен (групп) тюркоязычной политики тайджиутов – борджигинов. Если вспомнить, что титул связывался с восточным, т.е. левым крылом, принадлежавшим младшему, то можно предположить, что Бодончар наследовал коренной юрт – сакральный центр общности. Но, несомненно, на его воинские обязанности указывает факт ранних страниц его жизни, когда по его предложению все пять братьев решили захватить народ, у которого не было вождя. Когда они выступили в поход, «передовым-наводчиком пустили самого же Бодончара» (Козин 1941: 82). Или в переводе И. де Рахевилца: «They had Bodončar himself ride ahead as a scout» (Rachewiltz 2004: 7).

Подтверждением моего предположения о том, что морфема *-чар* может быть монгольским вариантом *-чор*, служат материалы источников, в которых встречаются имена, содержащие этот формант. Причем, как правило, люди, их носившие, принадлежали к восточному крылу, так как были младшими в линидже. Традиция присоединения к имени форманта *-чар* отмечается в источниках и после Бодончара. Так, хорошо известен младший брат Чжамухи – Тайчар, из-за действий которого (угнал лошадей у подданного Чингис-хана)

разгорелась вражда между Чжамухой и Чингис-ханом. Неоднократно в связи с конфликтом Хубилая и Ариг-Буки упоминается Тогачар (варианты написания этого имени – Тукучар (Рашид-ад-дин 1952б: 52); Такучар, Тогочар), который был царевичем левого крыла, когда Менгу в 1255 году отправился завоевывать Китай. Согласно «Сборнику летописей» он был младшим сыном Отачи-нойона (Тэмугэ-отчи) (Рашид-ад-дин 1952б: 52), а по «Юань-ши» «Тачар, внук Тэмугэ Отчигина, младшего брата Чингиза» (Рашид-ад-дин 1960: 145). Единственным сыном Удура, двенадцатого сына (из четырнадцати) Джучи был Карачар (Рашид-ад-дин 1960: 77). Хотя формант *-чар* использовался в именах не только в качестве маркера статуса младшего сына, все-таки данные источников позволяют предположить, что подобную тенденцию можно отметить.

Конечно, трудно предположить полную осознанность идентификационных практик человеком средневековья, но следующий текст Рашид-ад-дина, безусловно, привлекает внимание: «Из-за [их] чрезвычайного величия и почетного положения другие тюркские роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали известны под их именем и все назывались татарами. И те различные роды полагали свое величие и достоинство в том, что себя относили к ним и стали известны под их именем, вроде того как в настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и его рода, поскольку они суть монголы, – [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, – все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени. Их теперешние потомки, таким образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени монголов и именуются [этим именем], – а это не так, ибо в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен. Так как в отношении их была [проявлена] божественная милость в том смысле, что Чингиз-хан и его род происходит из племени монголов и от них возникло много ветвей, особенно со времени Алан-Гоа, около трехсот лет тому назад возникла многочисленная ветвь, племена которой называют нирун и которые сделались почтенны и возвеличены, – [то] все стали известны как племена монгольские, хотя в то время другие племена не называли монголами» (Рашид-ад-дин 1952а: 102-103).

На архетипичность феномена указывают более ранние аналогии в формировании тюркских каганатов, отмеченные С.Г. Кляшторным, который писал о том, что «упоминание в орхонских памятниках сочетания *кёк тюрк*, интерпретируемого как “кёки и тюрки” (а не “голубые /синие/ тюрки” как считалось прежде. – Т.С.), “ашина (хотанно-сакская этимология слова со значением ‘синий’. – Т.С.) и тюрки”, позволяет констатировать присутствие в древнетюркских памятниках имени царского рода тюрков и возможное осознание ими, во всяком случае для почти легендарного времени первых каганов, двухсоставного характера тюркского племенного союза» [Кляшторный, Савинов 1994: 14].

Тюрки, среди которых Бодончар, возможно, был местным правителем на периферии тюркского мира, были насельниками территории, известной позже как Монголия. С миграцией на эту территорию монголыязычных групп последние вошли в тесный контакт с тюрками. Монгольский пример подтверждает мысль о том, что государства и империи никогда не исчезают окончательно, и Монгольский улус – доказательство трансляции империи в монгольских степях. Именно поэтому основные термины социальной организации Монгольского улуса имеют тюркское происхождение: *токум* (вошедший в древнетюрк. язык из иранских), *уруг* означали *линидж*, *обок* маркировал род (клан), *улус* – племя или политию.

Если вторую половину XII века можно обозначить как период борьбы за власть двух лидирующих этнических группировок, то заслугой Чингис-хана стало то, что он окончательно закрепил власть Монгольском улусе за монголами. Конечно, история формирования Монгольского улуса – это история борьбы за власть в степи различных племен, союзов, политий. Но детальное исследование позволяет говорить о том, что основными участниками этой борьбы от Хабул-хана до установления Чингис-ханом династийного правления представителей своего рода были *монголы* (они же кияты) и *тюрки* (они же тайджиуты, нукузы или чонос и борджигин), точнее, возглавляемые этими этническими группами объединения, представлявшие собой полиэтничные сообщества. Описываемые *ТИМ* и *Сборником летописей* процессы *монголизации* – это не процесс этногенеза, а процесс иного качества и уровня – *политогенеза*.

ЛИТЕРАТУРА

- Джувейни 2004. *Чингисхан. История Завоевателя Мира, записанная Ала-ад-Дином Ата-Меликом Джувейни*. М.: Изд. дом МАГИСТР-ПРЕСС.
- ДТС 1969: *Древнетюркский словарь*. М.: Наука.
- Карпов Ю.Ю. 1996. *Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа*. СПб.: МАЭ РАН.
- Кляшторный С.Г. 2010 *Рунические памятники уйгурского каганата и история евразийских степей*. СПб.: Петербургское востоковедение.
- Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. 1994. *Степные империи Евразии*. СПб.: Фарн.
- Козин С.А. 1941. *Сокровенное сказание: Монгольская хроника 1240 г.* М.-Л.: Изд-во АН СССР.
- Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. 2006. *Империя Чингис-хана*. М.: Восточная литература РАН.
- Рашид-ад-Дин 1952а. *Сборник летописей*. Т. I, Кн. 1. М.: Изд-во АН СССР.
- Рашид-ад-Дин 1952б. *Сборник летописей*. Т. I, Кн. 2. М.: Изд-во АН СССР.
- Рашид-ад-Дин 1960. *Сборник летописей*. Т. II. М.: Изд-во АН СССР.
- Севортян Э.В. 1978. *Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на букву Б*. М.: Наука.
- Rachewiltz 1972. *Index to the Secret History of the Mongols*. Bloomington (Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series, Vol. 121.).
- Rachewiltz I. de. 2004 *The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century*. Translate with a historical and philological Commentary by Igor de Rachewiltz. – Leiden-Boston: Brill.
- Sarang Secen 1990. *Erdeni-yin tobči. A Mongolian Chronicle of 1662*. Canberra: The Australian National University (Faculty of Asian Studies Monographs: New Series, No. 15).

СОВРЕМЕННАЯ САКРАЛИЗАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ*

В данной работе я хочу обратить внимание на один пока еще слабо изученный феномен, который связан с современной сакрализацией археологических памятников. При этом остановлюсь лишь на двух примерах, хотя их можно привести существенное количество. Традиция объявлять священными определенные места для реализации религиозных культов и ритуалов известна во многих, в том числе первобытных, обществах. Однако чем обусловлен аналогичный подход в постиндустриальном мире, да и еще по отношению к объектам, представляющим важность только для узкого круга специалистов-археологов, еще предстоит выяснить. Сейчас главное зафиксировать подобные ситуации, сбор сведений о которых позволит в дальнейшем систематизировать накопленные материалы для сравнительного анализа и выявления причин проявлений подобного плана.

Археологические исследования, осуществленные в 1990-е годы на труднодоступном плато Укок (Россия, Республика Алтай), породили не только значительный научный интерес к полученным находкам, но и дали толчок к частичной сакрализации этого сурового по природно-климатическим параметрам места, где были обнаружены замершие могилы пазырыкской культуры. Извлеченная мумия женщины с подачи самих археологов, а потом через средства массовой информация быстро превратилась сначала в «принцессу Укока», а потом и в прародительницу всего алтайского народа с именем Кыдым. Новоявленные «шаманы» провели молебен на плато, истолковав по своему сделанные археологические открытия. Данная ситуация способствовала оформлению особого положения укокских курганов в сознании части местных жителей, хотя выявленные археологические объекты ранее никогда таковыми не считались. Следует отметить,

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта "Древние и современные культовые места Алтая: инвентаризация, картографирование и оценка их роли в сакрализации территорий в символическом и историко-культурном планах", № 10-01-00544а/Чел.

что настоящая пазыркская элита была погребена в Центральном Алтае (в долине р. Урсул) и в некоторых других более благоприятных и привлекательных местах, чем суровый Укок.

По всей видимости, открытия новосибирских археологов, совпавшие с наметившимся ростом национального самосознания алтайских этносов, стало причиной возрождения старых и формирования новых мировоззренческих традиций. Ряд таких проявлений носит явный спекулятивный характер, а нарастающая вера в миф о «принцессе Укока» уже дает свои разноплановые плоды, несмотря на неоднократно опубликованные результаты палеогенетического анализа (Молодин 2000; Molodin 2011; Население... 2003; и др.), свидетельствующие о специфике пазыркского населения и отсутствии каких-либо связей с современными южно-сибирскими народностями.

Под давлением «общественности» мысль вернуть на родину «пра-родительницу алтайцев», что должно решить социально-экономические проблемы и остановить природные катаклизмы, подхватили представители самых разных слоев населения Республики Алтай. В этой ситуации новосибирские ученые были выставлены как люди, принесшие все мыслимые и немыслимые бедствия на Алтай (землетрясение, суициды, напряженность в обществе и т.д.) в угоду своих желаний и амбиций. Удивительно, но современная деидеологизированная власть в Республике Алтай оказалась не готова к подобного рода проявлениям явно предрассудочного характера. Кроме того, она пошла на поводу идеи возвращения на Алтай мумии, обеспечивая возможность получить и свои дивиденды.

В 1997 г. Государственное собрание – Эл Курултай приняло незаконное решение о запрещении археологических раскопок на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, которое лишь недавно было отменено под воздействием прокуратуры. В этом процессе свои политические бонусы получили многие депутаты, далекие от науки и от проблем простых граждан. Затем свою деятельность развернули разного рода «шаманы», «прорицатели», «целители», а также газетчики, киношники и другие представители средств массовой информации. Каждая категория таких участников наживала свой сомнительный капитал, порой демонстрируя элементарную безграмотность.

В настоящее время требования забрать мумию из Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) уже приобрели законченную форму. «Газпромом» выделены деньги на реконструк-

цию Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск), где планируется устроить “мавзолей для принцессы” и отдельный зал, посвященный находкам из курганов пазырыкской культуры. Совершенно понятно, что в данном акте “благотворительности” преследуется конкретная цель – положительное решение вопроса о строительстве магистрального газопровода в Китай через весь Алтай, в том числе и через Укок. В прошлом году работы по этому проекту уже стали реальностью. Возможно, что предполагающееся возвращение “принцессы” на родину сбило пелену нарастающего напряжения, и процесс пошел в другом русле.

Спровоцированная в конце 1990-х гг. ситуация дала толчок к возрождению религиозного движения сторонников так называемой белой веры, в среде которых имеются отдельные экстремистски настроенные люди. В Центральном Алтае созданы специальные площадки для осуществления ритуальных действий, направленных на поклонение природе в образе божества Алтая. Обозначившееся религиозное движение “истинного толка” с каждым годом ширится. Этот процесс не только не замечается, но и молчаливо поощряется местной администрацией. В новом формирующемся языческом мировоззрении алтайцев Онгудайского района археологические памятники также играют определенную роль. Следует указать, что в данном процессе находят отражение многие сохранившиеся досоветские традиции и верования автохтонного населения. Важными показателями подобного рода проявлений стали разрушение социально-экономической системы и идеологический вакуум, а также отсутствие широких возможностей для самореализации активных людей в условиях современной модернизации государства. Следует отметить и существенное снижение уровня образования в сельской местности.

Кратко изложенная ситуация стала одной из тем обсуждения на Всероссийской конференции “Древние и современные культовые места Алтая” и научном семинаре “Мировоззрение населения Алтая в контексте изучения культовых комплексов”, состоявшихся 15–18 сентября 2011 г. в Горно-Алтайске. В настоящее время материалы форумов опубликованы (Древние... 2011). Однако требуется продолжение исследований фиксируемых на Алтае социально-религиозных явлений. Это создаст возможности дальнейшего всесто-

роннего изучения причин современной сакрализации древних памятников.

Вторая ситуация, предлагаемая к обсуждению, имеет несколько иной вариант развития событий, состоявшихся без прямого участия археологов. Летом 2011 г. представители Института археологии провинции Шэньси (г. Сиань, КНР) совместно с российскими археологами из Барнаула и Санкт-Петербурга провели обследования нескольких археологических объектов на юге Ордоса (внутри излучины Хуанхэ). Основной задачей этих работ стал поиск памятников, которые оставили древние кочевники, находившиеся в постоянном контакте с земледельческим населением Китая, начиная с периода Западного Чжоу и до образования империи Тан. Для этого в уездах осматривались музейные собрания, а также осуществлялось знакомство с результатами уже проведенных исследований. Следует сразу отметить, что среди продемонстрированных коллекций большинство изделий не китайского происхождения являлось случайными находками, и их количество было совсем незначительным. Важным моментом в ходе экспедиции стала идентификация места нахождения широко известного, но еще слабо изученного памятника Налиньгаоту. Некоторые находки (рис. 1) из древнего погребения богатого кочевника ныне выставлены в экспозиции музея провинции Шэньси (г. Сиань), об остальных мало что известно до сих пор. Попытки осуществить археологическую идентификацию места разрушенной могилы и найденного в ней материала уже ранее предпринимались. На этот счет имеются две известные нам публикации на китайском языке. Но они не решают всего комплекса возникающих вопросов. В том числе и тех, которые обозначены в нашей работе. Поэтому важность осмотра известного, но мало изученного памятника была необходима.

Прежде, чем изложить полученные результаты, следует кратко познакомить с историей открытия памятника, а также дополнить ее новыми фактами. В 1957 г. китайский мальчик нашел неподалеку от селения металлическую бляху. Об этом он сообщил своему отцу, который предпринял раскопки, позволившие на глубине примерно трех метров обнаружить могилу с богатым сопроводительным инвентарем.



Рис. 1. Налиньгаоту. Археологические находки
в музее провинции Шэньси

Во время разведки в 2011 г. нам удалось дважды встретиться и поговорить с сыном находчика бляхи. Изложенные им сведения существенно дополнили имевшуюся ранее картину. Оказалось, что количество обнаруженных предметов было значительным. Только дедушка собрал мешок различных изделий, в том числе и те, которые затем были переданы в музей. Кроме него в процесс разграбления включились другие жители поселка. Среди них оказался наиболее настойчивый мужчина, предпринявший более широкие раскопки

найденной могилы и дополнительную проверку выброшенного грунта. По мнению рассказчика, объем его находок был даже больше, чем у дедушки. Кроме предметов сопроводительного инвентаря и частей человеческого скелета, в могиле длиной более 3 м оказались останки лошади. В воспоминаниях очевидцев отмечается то, что точно был разрушенный череп (зубы попадались и части нижней челюсти), а также кости конечностей. Но где и как они располагались не ясно.

До 1978 г. археологические предметы хранились в селе. Рассказчик вспомнил, что кроме тех вещей, которые находятся в музее провинции Шэньси, у его мамы была длинная золотая гривна с окончаниями в виде морд кошачьих хищников (тигров?). Для того, чтобы носить украшение, женщина была вынуждена обматывать гривну вокруг шеи. К сожалению, фотографий данного важного момента не оказалось, так как в те годы у китайских крестьян не было фотоаппаратов. Наш собеседник неоднократно повторял о том, что в большом количестве были найдены различные бляхи, которые пришивались на одежду. В конце 1970-х гг. все находки у местных жителей были изъяты “представителями правительства”, и в настоящее время их судьба пока неизвестна.



Рис. 2. Храм “Хэй лун цзян цзюнь” на месте древней могилы

Крестьянин проводил нас до места, где располагалась могила «знатного» кочевника. Там оказалось, что на месте вскрытой и разграбленной могилы стоит небольшой буддийский храм (рис. 2). Жители поселка в период недавних перемен (тоже в условиях обозначившегося самосознания) посчитали сделанные ранее находки необычным знаком, своеобразным знаменем, посланием свыше. Вся эта история к тому времени уже обросла мифами. В конечном итоге местные активисты приняли такое решение: добиться у далай-ламы права воздвигнуть храм в честь своего древнего предка (героя-кочевника). И этот план был реализован. Построенный храм называется «Хэй лун цзян цзюнь». Географические координаты места его нахождения такие: N – 38°42.573'; E – 109°46.165'. Высота над уровнем моря – 1277 м. Перед строительством каменных сооружений была предпринята попытка дополнительно раскопать место, где найдена могила, но повысившийся уровень грунтовых вод не позволил это сделать.



Рис. 3. Центральная композиция в храме

Осмотр храма, обнесенного забором, показал, что во дворе есть место для жертвоприношений, а внутренние стены и потолок основного здания расписаны в духе буддийских сюжетов. В центре изображена фигура са-404

мого Бога, которого называют “Полководец черного дракона” (рис. 3). Перед ним также есть жертвенник и остальные необходимые атрибуты для совершения ритуальных действий. Рядом хранятся некоторые вещи нерелигиозного содержания. В других местах на стенах представлены сюжеты героического содержания (рис. 4), символика и отдельные портреты.



Рис. 4. Боковая сюжетная композиция в храме

Неподалеку от храма находится площадка (рис. 2), на которой проводятся театрализованные представления, посвященные придуманным историям о подвигах «первопредка». Неподалеку выстроено небольшое здание, в котором предполагалось устроить музей. В настоящее время там размещены только фотографии части находок. Главное внимание привлекают не только золотая скульптура фантастического животного (грифоно-козла) и рельефное изображение тигра (рис. 1), но и согнутая часть сломанного кинжала с перекрестием в виде морд кабанов, с рельефным кольцевым навершием и прорезной рукоятью.

В ходе бесед с местным жителем выяснилось, что у него имеется одна бляха-нашивка, которая была найдена в могиле. Это изделие удалось сфотографировать и подробно описать. Аналогичное изделие уже было схематично представлено в одной из публикаций, вышедших на китайском языке. Оно представляет собой четырехлепестковую бляху с неровными краями, вырезанную из относительно толстой серебряной фольги. В центре ее находится немного заполированная выпуклина диаметром 9 мм и высотой 3 мм. Изделие имеет два отверстия для пришивания диаметром около 1 мм

Осмотр ближайшей территории вокруг храма, который располагается среди высоких и поросших кустарниками барханов наступающей пустыни (рис. 2), позволил обнаружить древние фрагменты керамики некитайского производства. Они представляют части лепного сосуда, возможно, горшковидной формы. Кроме этого, в другом месте отмечены следы культурного слоя поселения конца каменного века.

Многие известные находки с памятника Налиньгаоту имеет аналогии среди предметов скифо-сакского времени, обнаруженных, в том числе, на Алтае (Ковалев, 1999; Шульга 2010). Они, несомненно, имеют научное значение, но в данном случае для нас важна другая сторона их понимания, связанная с восприятием местным населением обнаруженного археологического памятника и оформлением его сакрализации в современных условиях. Необычный характер сделанных находок, а также создавшиеся условия позволили местным жителям представить древний объект в качестве завуалированного обозначения легитимного права проживания на территории современного населения некитайского происхождения.

Общей тенденцией для представленных примеров является то, что археологические памятники стали сакральными местами вследствие изменившихся социально-политических условий и в России, и в Китае.

ЛИТЕРАТУРА

- Древние... 2011: *Древние и средневековые культовые места Алтая*. Барнаул.
- Молодин В. И. 2000. Пазырыкская культура: проблемы этногенеза, этнической истории и исторических судеб. *Археология, этнография и антропология Евразии*. №4: 131–142

- Ковалев А. А. 1999. О связях населения Саяно-Алтая и Ордоса в V–III веках до н.э. *Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий*. Барнаул: 75–82
- Население... 2003: *Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики)* / В.И. Молодин, М.И. Воевода, Т.А. Чикишева и др. Новосибирск: Изд-во СО РАН.
- Шульга П. И. 2010. *Синьцзян в VIII–III вв. до н.э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация)*. Барнаул: Изд-во АлтГТУ.
- Molodin V. I. 2011. Ethnogenesis of the Pazyryk people. “*Terra Scythica*”. Новосибирск: 155–171.

К ВОПРОСУ О ПЛЕМЕННОМ ПРАВЛЕНИИ У ТЮРКОВ

В конце XIX в. археологическими экспедициями в Северной Монголии были обнаружены Большие рунические надписи на камне, посвященные предводителям Второго восточно-тюркского каганата (681–744 гг.), Тоньюкуку, Кюль-тегину и Бильге-кагану. Письменное наследие восточных тюрков связано с правящими племенами ашина и ашидэ, согласно китайской летописной традиции, и документально фиксируется именно для восточных тюрков (Lui Mau-tsai 1958: 4, 25–26). Одно племя выступало по отношению к другому как материнское, катунское (ашидэ), а другое – как отцовское, каганское (ашина)¹. Отношения между ними находились в тесном взаимодействии и противоречии. Выяснение вопроса об отношениях между ашина и ашидэ возможно в ходе исследования системы престолонаследия, что ставится целью предлагаемой статьи.

По китайским летописям у тюрков Первого каганата прослеживается неизменная традиция наследования от старшего брата к младшему и затем от дяди к племяннику. Из одиннадцати верховных каганов в период с 552 по 630 годы последовательно десять или девять каганов неизменно следовали этой схеме (Бичурин 1998, т.1: 225–251). М. Дрампп по китайским источникам определил, что у тюрков (Первого и Второго восточно-тюркских каганатов) наследование от старшего брата к младшему упоминается в восьми случаях, от дяди к племяннику – в трех случаях, от отца к сыну – в трех случаях и от кузена к кузену имеется только один известный случай (Drompp 1990: 95). Система наследования по линии “старший брат – младший брат – племянник (сын старшего брата)” получила название наследования по коллатеральной линии (*лат. collateralis* – боковой, окольный [Словарь 1989: 240]). Ее основным принципом должно быть объединение отцовской и материнской стороны со стороны мужских родственников, учет каждой из сторон в случае престолонаследования соответственно приобретал важное значение.

¹ Представления о каганском и катунском родах (племенах, фратриях) ввел Ю.А. Зуев на основе сведений китайских летописей и аналогии существования отцовской и материнской стороны: (Зуев 1967; Зуев 2002).

Древнетюркские надписи из Кошо-Цайдама являются аутентичными, поэтому содержащиеся в них любые прямые или косвенные сведения имеют первостепенную важность. В тексте памятника Кюльтегину читаем: “После (Бумын-кагана и Иштеми-кагана) стали каганами младшие их братья, а потом и их сыновья стали каганами” – *Anta kisrā inisi bolmīs ārinč, oγlī ta qaγan bolmīs* (КТб, 4–5). Или в другом месте, указывающее на политику китайского государства, направленную на разрушения основ тюркского каганата: “Вследствие того, что они (табгачи) ссорили младших братьев со старшими и вооружали друг против друга народ и правителей, – тюркский народ привел в расстройство свой существовавший эль” (КТб, 6). “После того, так как младшие братья не были подобны поступкам старших братьев, а сыновья (oγlī) подобны отцам, то сели на престол, надо думать неразумные каганы и несмелые каганы» (КТб, 5). Из приведенных примеров очевидно, что отношения между старшим и младшим братьями были самыми главными. В наследовании от брата к брату учитывались материнская и отцовская родственная связь. Косвенным свидетельством в пользу того, что младшим братьям наследовали сыновья их старших братьев (т.е. племянники) являются слова: «а потом и их сыновья (сыновья старших братьев) стали каганами». Ю.В. Бромлей назвал такую организацию «братской семьей» и отметил существование у многих народов, видел в ней переходную форму от материнской семьи к отцовской (Бромлей 1981: 202–229)¹.

После смерти Таспар-кагана (*кит.* Тобо, 572-581) китайские летописцы отмечают начало междоусобных противоречий в Первом тюркском каганате. Отклики этой борьбы также отмечаются в «Истории» Феафилакты Симакацты (Симакацта 1957: 72–73).

Ышбар и Далобянь оба по отцовской линии принадлежали к племени ашина, были двоюродными братьями, однако в отличие от ставшего каганом Ышбара, мать Долобяня была «низкого происхождения», т.е. не принадлежала катунскому племени в каганате. В китайских источниках сообщается, что Тобо царствовал десять лет и затем умер от болезни. Перед своей смертью он сказал своему сыну

¹ В этой статье мы хотим ограничиться только материалами периода правления тюрков, точнее Первого и Второго восточнотюркского каганатов. В отдельных работах мы уже показывали параллельные этнографические сведения о пережитках такой формы семьи: (Торланбаева, 2004; Торланбаева, 2007).

Яньло: «Я слышал, что самое близкое родство между отцом и сыном (разве?). Однако мой брат Мугань не любил своего сына Далобяня и оставил мне власть. После моей смерти ты держись прочь от Далобяня [т.е. уступи ему престол]». После смерти кагана государственные сановники узнали, что в верховные каганы хотят возвести Далобяня. Они не согласились на том основании, что мать его была «рождена народом», т.е. не из того племени с которым ашина находились в брачном родстве. Мать Яньло была знатного происхождения, тюрки глубоко уважали его. Шету \т.е. Ышбар\ прибыл после всех и сказал государственным сановникам: «Если Яньло посадят на престол, то я поведу моих старших и младших братьев служить ему. Если Далобяня посадят на престол, то я буду охранять границу и ждать его с острыми мечами и длинными копьями! (т.е. буду с ним воевать)». Шету был старшим и смелым среди каганских ашина.

Далобянь не получив престола, не подчинился Яньло. Яньло был не способен править государством. Полнота каганской власти перешла к Шету. Государственные сановники обсудили это положение и сказали: «Из сыновей четырех каганов [т.е. Кэло, Тобо, Муганя и Жутань] Шету наиболее достойный». Таким образом, они призвали и посадили его на престол с титулом Или Кюэ Ше Мохэ Шаболио-каган (т.е. Илиг Кюль Шад Бага), также он назывался еще Ышбар. Он правил в горах Отюкен. Кочевья Яньло находились близ реки Дулу (т.е. Тола). Он стал называться «Вторым каганом». Однажды Далобянь сказал Ышбар-кагану: «Ты и я – оба сыновья каганов, каждый из нас является наследником отца. Как получилось так, что я один не имею положения?» Этими словами каган был очень встревожен и назначил его Або-каганом (т.е. Апа-каганом). Або-каган вернулся в свои кочевья и возглавил свои племена (Бичурин 1998, т. 1: 234; Drompp 1990: 98).

Известные письменные источники совершенно не содержат сведений о племени, находившимся в брачном союзе с каганским племенем ашина в Первом тюркском каганате. Судя, по этому неоднозначному событию, в конечном итоге приведшему к дестабилизации в каганате, можно говорить о той огромной политической значимости, которую имела катунская сторона в правящей коалиции племен. Также, согласно китайским сведениям, в тюркской титулатуре появляются верховные каганы (даи каган) малые каганы (сяо каган).

Этот политический кризис стал темой исследований многих ученых (Гумилев 1961; Гумилев, Маршак, Хван 1965 и др.). Х. Эчеди, 410

исследуя вопрос племенной организации тюркских племен, специально останавливается на этом сведении летописей. Она исследует роль и значение, которое придавалось родоплеменным отношениям и связанного с ним системе престолонаследования в тюркском обществе. При этом во главе вопроса ставится сообщение о материнских правах у тюрков (Escedy 1972).

Действительно, причина отказа Далобяню в наследовании заключалась в “низком” происхождении его матери, тогда как сын Таспара был от катун-императрицы, т.е. принадлежал катунскому племени по материнской линии. Фактически же пересказанное выше указывает на то, что сын Таспар-кагана также как и сын Мукан-кагана от катун “второго посада” не могли занять место верховного кагана. Китайская традиция обычно такие явления в кочевых обществах объясняет или “неспособностью” править государством или “малолетством” каганов. Вероятным объяснением может быть следующее: по коллатеральной системе наследования в случае с Яньло не учитывалась старшая материнская линия (линия не супруги, а матери кагана?), поэтому стали искать такого кандидата в другой классификационной группе, а именно среди старших представителей материнской линии (среди дядей, а не племянников). Или же коллатеральная система наследования учитывала не только линии матери и отца, но и отношения старшинства в классификационной системе родства. Сын Таспар-кагана был из младшей классификационной группы. Яньло был племянником Шету и должен был уступить место своему материнскому дяде.

Примечательно, что летописцы неизменно оперируют советом “государственных чиновников”, тем самым, указывая, что в тюркском обществе слово кагана не имело первостепенного значения. Каган представлял лишь отцовскую сторону в правящей коалиции каганата.

Уважительные отношения между племянником и дядей по матери, бытовавшие в тюркском обществе, демонстрируют следующие известия летописей. После смерти Ышбар-кагана ему наследовал его младший брат, причем в “Суй шу” сообщается известие такого содержания. Повествуется, что Ишбара-каган приказал, чтобы ему наследовал его младший брат, известный под титулом ябгу-каган, Чулохэу, так как его собственный сын, Юньюйлой, был “робким по природе”. Чулохэу высказал озабоченность по этому поводу и уступал

место племяннику. Юнойлюй же отказывался и сказал, что, если он наследует престол и проигнорирует желание своего покойного отца, то будет проклят свыше, тогда как дядя его является подходящим наследником (Drompp 1990: 95).

История Второго восточно-тюркского каганата начинается с победы восточных тюрков над танскими войсками и выхода их из вассальной зависимости. Во главе восточных тюрков стояли каган из ашина и катун из ашидэ. Мужским представителем катунской стороны ашидэ с самого начала был Тоньюкук (Бартольд 1968, т.5: 314–315). Он стал соправителем и советником кагана. Первым каганом был Эльтериш (*кит.* Гудолу, 682-691) и катун Эльбильге (КТб, 11). После смерти ему наследует его младший брат Капаган-каган (*кит.* Мочжо, 691–716). В китайских источниках он назван «похитителем престола», хотя по существующей системе престолонаследия таких причин не было. После убийства Капагана верховным правителем стал его племянник тардушский шад, получивший после интронизации тронное имя Бильге-каган (716–734). В Малой надписи памятника Кюль-тегину Бильге-каган сообщает о законности своей власти над тюркским элем, оперируя сложившимися представлениями «небоподобности» каганов: «По милости Тенгри и потому что у меня самого было счастье (право?), я сел на (царство) каганом» (КТб, 9; КТм, 1). В 734 г. Бильге-каган умер и трон занял его сын, получивший тронное имя Ижань-каган, что не соответствовало системе наследования «старший брат – младший брат – племянник». О правлении Ижань-кагана источники сообщают очень кратко, а в «Цзычжи тунцзянь Ганму» говорится, что старший сын Бильге-кагана Ижань был «опущен», т.е. он не стал верховным каганом (Бичурин 1998, т. 1: 282).

Преимущественно у восточных тюрков престолонаследование соблюдало коллатеральную систему. Верховная власть представляла собой объединение двух линий, каганских ашина и катунских ашидэ, племенного “сообщества”. Историческими представителями ашина и ашидэ были Бильге-каган и Тоньюкук, по приказу которых и возводились Большие надписи на Орхоне¹.

¹ О политической тенденциозности содержания этих памятников и их разных позициях в изложении исторических событий отмечалось рядом исследователей: (Бернштам 1946; Giraud 1960; Кляшторный 1964; Gomeč 1996; Зуев 2002 и др.).

Отношения между ашина и ашидэ были противоречивыми по вопросу наследования из-за внутреннего кризиса, приводившего к зарождению моноправления. Гипотезы о том, что заставило вполне мирных скотоводов создавать военноорганизованные империи, продвигаться в сторону речных долин с оседло-земледельческим населением, существует множество (Барфилд 2008; Роджерс 2008 и др.). Одно из них принадлежит Н. Ди Космо, который считает, что это было связано с экологическим кризисом, связанным с наступлением засушливости в степной зоне Евразии и последовавшей милитаризацией общества (Di Cosmo 1999), и поэтому, как думаем мы, кризис отразился и на управлении таким обществом. Образование тюркских каганатов как вождества во главе с каганом военным вождем приводило и к усилению его племени, ставился вопрос о переходе к моноправлению, а не правлению племен, связанных брачными (союзными) узами. Вероятно, это должно было отразиться в принципе наследования власти, переходе к прямой линии, в условиях повышения роли воина-мужчины, выигрывала отцовская линия, т.е. “отец – сын”.

Вспышки кризиса в истории тюрков в связи с наследованием и междоусобными войнами, а затем падение каганата, возможные свидетельства этого явления, однако появление Больших памятников в Монголии, и хронологически относящихся к правлению Бильге-кагана, также камнеписное тому свидетельство. В одной из своих статей мы провели текстологический сравнительный анализ содержания текстов надписей Кюль-тегину и Бильге-кагану, с одной стороны, и Тоньюкука, с другой стороны, и выяснили, что они содержат разную интерпретацию одних и тех же событий (Торланбаева 2005). Соблюдение племенных устоев управления пастбищами и, соответственно, самими племенами, заключалось в необходимости двойственного соправления ашина-ашидэ, а значит соблюдения коллатеральной системы наследования. Такая позиция нашла отражение в тексте надписи представителя племени ашидэ Тоньюкука (*кит.* Ашидэ Юаньчжень). Справедливость каганского моноправления попытались доказать авторы надписей в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана. В истории каганата это отразилось в следующих событиях, которые мы попытались свести к 716 году.

Гибель Капаган-кагана от рук разбойников племени байарку вызвала репрессии со стороны главных представителей ашина, наследника престола Могияля (будущий правитель с титулом Бильге-ка-

ган) и его младшего брата Кюль-тегина (Бичурин 1998, т.1: 278–279). По свидетельству танских историографов к китайской границе потянулись тюркские племена, спасавшиеся от репрессий: «Служившие при нём (Капаган-кагане) вожди (цочжан) во множестве вступили в подданство. Их поселили в области Хэцьюй (северо-восточный угол Ордоса)» (Зуев, 2002: 30). А в «Тан шу» говорится: «По смерти Мочжо (Капаган-кагана), Кюе Дэлэ (Кюль-Тегин) всех служащих при сем хане государственных людей придал смерти; только одного Туньюйгу (Тоньюкука) пощадил; потому что дочь его Софу (Себек) была ханьшою (катун) Могиляня (Бильге-кагана)» (Бичурин 1998, т.1: 279). В надписи в честь Бильге-кагана также сообщается об откочевках тогуз-огузов: «Народ тогуз-огузов покинул страну свою и предался табгачам» (БК, 35). Откочевка массы тюркских племен означала только одно – это неподчинение власти «небороденным» и «Небом поставленным» тюркским каганам из племени ашина. Примерно в 725 г. при приеме танского дипломата Юань Чжэня в каганской юрте восседали Бильге-каган с Себек-катун, Тоньюкук и Кюль-Тегин. Китайские же летописцы по этому поводу отмечали: «Хан их добр и любит людей; из служащих при нем Кюе Дэлэ есть искусный полководец, Туньюйгу мужествен и чем старше, тем опытнее. Три упомянутых неприятеля теперь в согласии» (Бичурин 1998, т.1: 281).

Замечание И.В. Кормушина по тексту надписи Кюль-тегина на счет того, что смерть прославленного героя наступила сразу после успешного отражения им нападения на ставку-орду огузов (КТб, 48–50), является одним из важных мест надписи (Кормушин 1978: 143–145). Агрессия огузов связана с репрессиями, начавшимися после убийства Капаган-кагана, нежели с мирным приемом танского дипломата в 725 году и тем более далека от 731 года. Из текста надписи Кюль-тегина исключена та часть жизни героя, которая может быть отмечена следующими важными вехами внутривосточной ситуации в каганате: 1) положение кагана было столь критично, что стало результатом нападения на каганскую ставку огузов; 2) агрессия огузов сыграла не последнюю роль, заставившая Бильге-кагана вернуть Тоньюкука в каганскую ставку; 3) возвращение Тоньюкука в ставку Бильге-кагана стало моментом компромисса в сложных отношениях между ашина и ашидэ и означал результат неудачной попытки переворота и захвата всей полноты власти племенем ашина.

Таким образом, сооружение прижизненной стелы Тоньюкука (между 712 и 725 годами) было вызвано острым политическим племенным конфликтом 716 года, его содержание было направлено на восстановление племенного единства ашина-ашидэ. Установление же памятников в честь Кюль-тегина и затем Бильге-кагана (в 732 и 734 годах) после их смерти обозначило стремлением доказать правоту каганского моноправления и привлечь на сторону каганов ашина возможно большее число народа. Моноправление должно было изменить управление племенным обществом скотоводов, и это проявилось через четыре века, когда возникла империя Чингиз-хана. Правящая семья Чингизидов стало переходом от племенного управления обществом к надплеменному.

ЛИТЕРАТУРА

- Бартольд В.В. 1968. Новые исследования об орхонских надписях. *Сочинения*. Т. 5, М. 311–328.
- Барфилд Т. 2008 Теневые империи: формирование империй на границе Китая и кочевников. *Монгольская империя и кочевой мир*. Кн. 3. Улан-Удэ: 14–57.
- Бичурин Н.Я. (Иакинф) 1998 *Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена*. Т. I. Алматы: Жалын Баспасы.
- Бернштам А.Н. 1946. *Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII веков*. М., Л.:
- Бромлей Ю.В. 1981. *Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории)*. М.: Наука.
- Гумилев Л.Н. 1961. Великая распря в первом тюркском каганате в свете византийских источников. *Византийский временник*, Т. XX.
- Гумилев Л.Н., Маршак Б.И., Хван М.Ф. 1965 Спор о древних тюрках. *Доклады по этнографии Географического общества СССР*, Вып. 1 (4). Л.: 66–93.
- Зуев Ю.А. 1967. *Древнетюркские генеалогические предания как источник по ранней истории тюрков*. Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Алма-Ата.
- Зуев Ю.А. 2002. *Ранние тюрки: очерки истории и идеологии*. Алматы: Дайк-Пресс.

- Зуев Ю.А., Торланбаева К.У. 2002. Манихейство и Талас (к интерпретации древнетюркских надписей). *Тамыр*, № 1 (6): 19–36.
- Кляшторный С.Г. 1964. *Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии*, М.: Наука.
- Роджерс Д. 2008. Причины формирования государства в восточной Внутренней Азии. *Монгольская империя и кочевой мир*. Кн. 3. Улан-Удэ: 144–180.
- Симокатта Ф. 1957. *История*. М.
- Словарь 1989: *Словарь иностранных слов*. М.
- Торланбаева К.У. 2004. Дуальная организация и система наследования у восточных тюрков. *Шыгыс*, № 1: 28–40.
- Торланбаева К.У. 2005. Лидеры Второго тюркского каганата и Большие памятники Монголии. *Известия НАН Респ. Казахстан*, № 4: 20–36.
- Торланбаева К.У. 2007. Наследование и основы правления восточных тюрков. *Известия НАН Респ. Казахстан*, № 2.
- Di Cosmo N. 1999. State Formation and Periodization in Inner Asian History. *Journal of World History* 10: 1–40.
- Drompp M. R. 1990. Supernumerary sovereigns: superfluity and mutability in the elite power structure of the early Türks (Tu-jue). *Rulers from the Steppe: State Formation on the Eurasian Periphery*. Vol. 2. Los-Angeles: 92–115.
- Escedy H. 1972. Tribe and tribal society in the 6th century Turk Empire. *Acta Orientalia Hung.* XXV: 251–253.
- Giraud R. 1960. *L'Empire des Turcs célestes. Les régnes d'Elterich, Qapghan et Bilgä (680–734). Contribution à l'histoire des Turcs d'Asie Centrale*. Paris.
- Gomeč B. 1996. *Kök türk tarihi*. Ankara.
- Lui Mau-tsai. 1958. *Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-küe)*. Bd. I. Wiesbaden.

SOCIAL TIPPING POINTS AND TREND REVERSALS: A HISTORICAL APPROACH

Introduction: Does History Matter?

In mature sciences deep understanding of the subject translates into ability to build and fix things. Thus, we know how to construct ships for space travel and we can cure many diseases and even eradicate some. Our current understanding of the dynamics and functioning of societies, in contrast, is nowhere near the point where it can be used in practical applications. In fact, our interventions to solve a particular societal problem at times lead to a precisely opposite result.

For example, it is doubtful that when the Assembly of French Notables rejected royal proposals for fixing the state budget in 1788 they intended to start the French Revolution, in which many of them would lose their heads to the guillotine. Yet that is precisely what happened. Similarly, the primary goal of the U.S. invasion of Afghanistan in 2001 was to build a stable democratic state that would deny harbor to international terrorists. Instead, the result (as of 2011) is a corrupt, illegitimate government that can barely control the vicinity of Kabul, a wave of suicide bombings, a resurgent Taliban insurrection, and a huge drain on the U.S. Treasury that it can ill afford.

More generally, few social or political scientists today would agree that we know how to do “state building,” and perhaps even more importantly, prevent state collapse. But failed or failing states provide the setting for civil wars, separatist insurrections, and other kinds of internal wars that result in enormous amounts of human suffering. Since the end of the Cold War ten times as many human lives have been lost in such conflicts, compared to more traditional wars between states. We spend huge resources, both material and intellectual, on researching human health, but nowhere near the comparative level on studying the health of societies.

A particularly difficult task facing social and political scientists is the prediction and, indeed, understanding of social tipping points and trend reversals. Using the mathematical framework of nonlinear dynamics (which allows us to speak precisely about these phenomena), a *tipping point* occurs when a dynamical system finds itself on a boundary

separating basins of two attractors. A small exogenous perturbation can tip the trajectory into one or the other basin of attraction, resulting in very different behavior at the macroscopic level. A common mechanism for a *trend reversal*, on the other hand, is a negative feedback loop acting with a lag. To give an example from ecology, sustained population growth typically results in a build-up of countervailing forces – depletion of resources and increase in predators and pathogens – that eventually cause the population numbers to collapse. Such feedback loops can lead to a single boom followed by a bust or recurrent boom-bust cycles (more on this in Turchin 2003: 9–15). Cyclical trend-reversals, unlike tipping-point dynamics, do not involve jumping between different attractors and are, therefore, somewhat more predictable.

It is important to remember that nonlinear dynamical systems can exhibit an extremely rich spectrum of behaviors, and tipping points and trend reversals are among the simpler ones. Nevertheless, given that the application of nonlinear dynamics to social systems is still in its infancy, a focus on identifying and studying such behaviors is appropriate.

Analysis of the dynamics and functioning of complex societies (typically organized as states) is part of the new science of *Cliodynamics* (Turchin 2003, 2008) [for more on Cliodynamics: <http://cliodynamics.info/>]. Cliodynamics is one of the historical sciences, such as astrophysics, geology, paleontology, and linguistics. Generally speaking, manipulative experiments (when we change some condition and detect its effect by a comparison with unmanipulated controls) are impossible in historical sciences. Instead, progress is made by formulating general theories whose predictions can be tested with historical data, constructing large databases, and relying on natural experiments (Diamond and Robinson 2010) and *mensurative* experiments – a planned comparison between the predictions of two or more rival theories and data (Turchin 2006a). An explicitly historical approach is the key (which is why these disciplines are termed historical).

Such a focus on history, however, will strike many social scientists and, especially, policy makers as seriously misguided. We live in such a rapidly changing world that surely history cannot have any real lessons for us. There is a marked tendency among policy makers to deal with economic or political crises of today as though they were completely new and unprecedented. Such blindness to history often leads us to repeat old mistakes. As an example, investors have been caught in a speculative

frenzy on numerous occasions throughout the centuries. Eventually, such financial bubbles always burst, but in the heady days before the crash the majority blithely believes that “this time is different” (Reinhart and Rogoff 2009).

In fairness, traditional history has generally not provided useful guidance for public policy. It is easy enough to buttress one’s argument for a proposed course of action by this or that example from the historical record. The problem is, there usually are as many examples supporting the opposite course. Furthermore, the same historical evidence can be used to make entirely different, and sometimes diametrically opposed arguments. History’s lessons must be extracted in an indirect way. We need *theory* in the broadest sense, which includes (1) general principles that explain the functioning and dynamics of societies; (2) models, usually formulated as mathematical equations or computer algorithms, and (3) empirical content that deals with discovering general empirical patterns, determining empirical adequacy of key assumptions made by models, and testing model predictions with the data from actual historical societies.

Different Meanings of “Prediction”

The usual meaning of “prediction” is a statement that a certain kind of event will occur at some future time. What distinguishes prediction in science from the common usage is that we must have an explicit scientific theory on which the prediction is based. This requirement leaves beyond the pale “predictions” (*prophecies*) propounded by pundits at TV talk shows (no explicit theory) or astrological predictions (the underlying “theory” is unscientific). Within the scientific usage, we can further distinguish three kinds of predictions. The first, and conceptually the simplest one, is *projection*. In a projection exercise we ask a “what if” question: assuming certain initial conditions and a certain mechanism of change, what would be the future trajectory of the modeled system? An example is demographic projections that we can run for different scenarios of future fertility changes in the US. Whether the total fertility rate stays constant, declines, or increases will have a strong effect on the future age structure of the US population (e.g., Lee and Tuljapurkar 2001).

A *forecast* is a prediction that a certain variable will reach a specified level (or will be within the specified range of values) at a certain point in the future. Unlike the projection exercise, forecasting requires that we accept the validity of the assumptions of the underlying theory. A common

example of a forecast is the weatherman on the TV predicting that the temperature will be between 70 and 75 degrees F at noon two days hence. Forecasts are made for a variety of practical reasons usually having nothing to do with science.

The third kind of prediction (I will call it *scientific prediction* to distinguish from the others) is used to test scientific theories. Scientific prediction inverts the logic of forecasting: whereas in making forecasts we assume the validity of the underlying theory and want to know what will happen to observables, in a scientific prediction exercise we want to use the observables to infer the validity of the theory. We take it for granted that theories yielding predictions that are in good agreement with empirical patterns are preferable to those who make poor predictions. The distinction I make here between forecasts and scientific predictions roughly parallels the distinction between unconditional historical prophecies and (also) scientific predictions, made by Karl Popper and endorsed by Michael Hechter (1995:1522).

In my opinion, social scientists focus too much on forecasts, and not enough on scientific predictions. First, the state of social theory is simply not advanced enough to serve as a basis for making sound forecasts. At present time we are only beginning to understand the causes of revolutions and state collapse. When forecasts succeed, one is left with a feeling that it was simply by luck alone. When they fail (a much more frequent occurrence), we have learned nothing. On the other hand, making scientific predictions could be a very fruitful activity, if it is properly set up (see a detailed discussion in Turchin 2006a).

Second, it is important to remember that, as Yogi Berra said, making predictions is very difficult, especially about the future. Many mature sciences lack the ability to make accurate forecasts. For example, it is well known that no meaningful weather forecasts can be made farther in the future than 7–10 days, even though the theory underlying weather dynamics is perfectly understood. In addition to chaos, social systems are highly vulnerable to exogenous perturbations due to mechanisms that are not included in the forecasting model. One does not need to take the extreme position of Nassim Taleb (who sometimes sounds as though the future is nothing but one “Black Swan” striking after another) to admit this. Finally, and very importantly, social systems are self-referential, because social actors are capable of understanding and acting on forecasts. This leads to the twin problems of self-fulfilling and self-defeating prophecies.

In fact, our forecasts of state collapse and an outbreak of bloody civil war had better be self-defeating. After all the goal is to prevent such failures of policy. This observation returns us to the main point, that ability to understand social forces that cause state collapse and civil wars is much more valuable than a mere forecast, because such understanding is essential for our capacity to fix such problems.

Complex dynamics of political instability in historical societies

Static and Dynamic Approaches to Political Instability

Factors responsible for the onset of political instability are typically studied by correlating instability with various political, economic, and demographic variables in cross-national comparisons (for example, Goldstone et al. 2010). These analyses have yielded a number of very useful insights. A drawback of such *static* approaches, however, is that they focus on immediate effects of potential causal variables on instability (at best, they look back 5–10 years), while ignoring long-term dynamics. Yet quantitative historical studies indicate that long-term dynamics of political instability are not trivial. State-level societies experience waves of political instability, roughly a century long (sometimes longer), interspersed with century-long periods of relative internal peace and order. On top of these *secular* waves (with periods of two-three centuries) are superimposed cycles with periods of 50±10 years (these empirical patterns will be reviewed in greater detail in the next section).

Static analyses of systems characterized by complex dynamics may misidentify the mechanisms generating change (Turchin 2005, 2006). Therefore, static analyses of cross-national data need to be supplemented by dynamical analyses focusing on long-term time-series data in a particular state or region. So far few empirical efforts have attempted to quantify the dynamics of political instability in the long term (but see Kiser and Linton 2002, Turchin and Nefedov 2009). I am currently conducting such an empirical analysis for one particular country, the United States from the beginnings of the Republic (c.1780) to the present (Turchin 2011a, 2012).

In the following paragraphs I provide the empirical and theoretical background with an overview of long-term patterns in political violence in agrarian states and mechanisms that generate instability waves. Next I addresses the question of how the theory, developed for agrarian states, should be reformulated to apply to industrializing societies, such as USA. Finally, I present preliminary results from the US political violence (USPV) database that was constructed and analyzed as part of this study.

Empirical patterns

Recent research indicates that dynamics of sociopolitical instability in preindustrial states are not purely random. There is a regular, although dynamically complex pattern involving at least two cycles superimposed on each other (plus exogenous stochasticity on top of that). This dynamical pattern is apparent in Figures 1a and b. First, there are long-term waves of political instability with durations of a century or more that are interspersed with relatively stable periods. Second, note how the instability waves tend to look “saw-toothed” – there is a shorter oscillation with an average period of c.50 years. These two periodicities are detectable with standard methods of time-series statistical analysis (Turchin 2011b).

It appears, thus, that a typical historical state goes through a sequence of relatively stable political regimes separated by recurrent waves of internal war. The characteristic length of both stable (or *integrative*) and unstable (or *disintegrative*) phases is a century or longer, and the overall period of the cycle is around two-three centuries (Figure 1).

Historians’ periodizations tend to reflect this pattern of multi-secular (or *secular*, for short) cycles. For example, Roman history is usually separated into Regal (or Kingdom), Republican, Principate, and Dominate periods. Transitions between these periods, in all cases, involved prolonged waves of sociopolitical instability (Figure 1a).

Similarly, the Germanic kingdoms that replaced the Roman Empire after it collapsed in the West went through a sequence of secular cycles that roughly corresponded to the dynasties that ruled them (Table 1). The instability waves have also been noted by historians, and sometimes given specific labels. The best known are the Crisis of Late Middle Ages between 1300 and 1450 (Tuchman 1978, Bois 1984, 2000) and the Crisis of the Seventeenth Century (Trevor-Roper 1966). Seventeenth century’s crisis affected polities across the whole of Eurasia (Goldstone 1991), although the precise dates varied from region to region. In France, for example, the crisis unfolded during the century following 1560 (see Table 1 and Figure 1b).

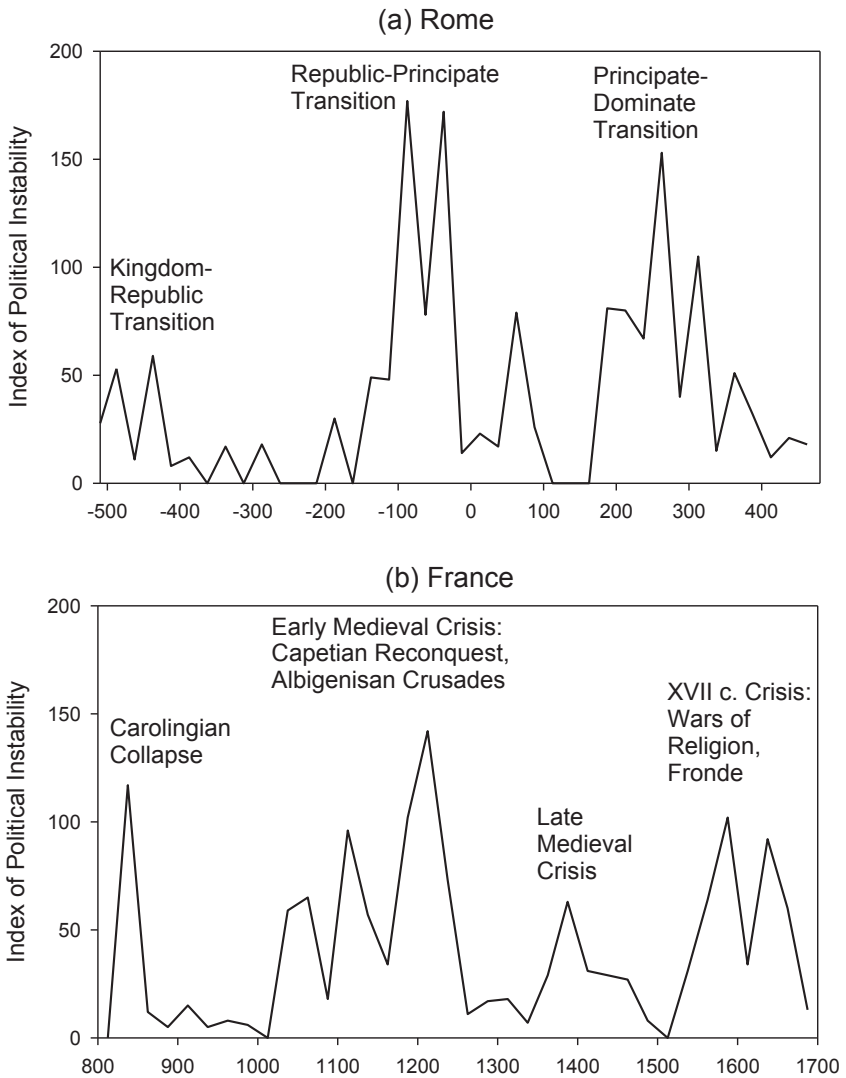


Figure 1. Long-term dynamics of sociopolitical instability in (a) Rome, 510 BCE–480 and (b) France, 800–1700 (data from Sorokin 1937). Data are plotted per 25-year interval. “Index of Political Stability” combines measures of duration, intensity, and scale of political instability events, coded by a team of professional historians (see Sorokin 1937 for details). The Roman trajectory is based on instability events that occurred only in Italy.

Table 1 A summary of the chronological sequence of secular cycles in Western Europe. This chronology focuses on the dominant state within Western Europe: first on the Roman Empire, then shifts to medieval German empires, and finally to France (modified from Turchin and Nefedov 2009: Table 10.1). The only exception is the Late Antiquity, when two parallel cycles for Eastern Roman Empire and the Franks are shown. The naming convention is to use the dynasty that ruled during the integrative phase for the whole secular cycle (thus, the datings of dynasties and cycles do not correspond precisely).

Dominant Polity	Secular cycle	Integrative phase	Disintegrative phase
Rome	Regal	650–500 BCE	500–350 BCE
Rome	Republican	350–130 BCE	130–30 BCE
Rome	Principate	30 BCE–165 CE	165–285
Eastern Roman Empire	Dominate*	285–540	540–700
Frankish Empire	Merovingian*	480–640	640–700
Frankish Empire	Carolingian	700–820	820–920
German Empire	Ottonian-Salian	920–1050	1050–1150
France	Capetian	1150–1315	1315–1450
France	Valois	1450–1560	1560–1660
France	Bourbon	1660–1780	1780–1870

* Merovingian cycle in the West, and the Dominate cycle in the Eastern Roman Empire overlapped in time.

Secular cycles are also observed in other world regions: in China with its dynastic cycles (Figure 2), in the Middle East (Nefedov 1999), and in Southeast Asia (Lieberman 2003). In fact, it is a general dynamic that is observed in all agrarian states for which the historical record is accurate enough (Turchin 2003, Turchin and Nefedov 2009, Korotayev et al. 2006).

As was noted above, the dynamical pattern of sociopolitical instability in agrarian societies is complex: it involves at least two types of cycles superimposed on each other (and exogenous stochasticity on top of that). Note that instability waves in Figures 1a and b appear “saw-toothed”: on the scale of 25 years, there is a pattern of alternating ups and downs. Spectral analysis confirms that in addition to the longer-term secular

cycles there is an oscillatory tendency with a period of c.50 years (Turchin 2011b). However, unlike the secular waves, 50-year cycles are not a universal feature of agrarian societies. For example, they do not show up in the Chinese data (Figure 2).

Explaining the empirical patterns

Such strong empirical patterns suggest that instability dynamics in agrarian societies may be governed by a general mechanism, or mechanisms. One possible explanation of why agrarian societies experience periodic state breakdowns has been advanced by the demographic-structural theory (Goldstone 1991, Turchin 2003). According to this theory, population growth in excess of the productivity gains of the land has several effects on social institutions. First, it leads to persistent price inflation, falling real wages, rural misery, urban migration, and increased frequency of food riots and wage protests. Rapid population growth also produces a “youth bulge,” and the growing size of the youth cohorts contribute to the mobilization potential of the populace (Goldstone 1991: 136). Second, rapid expansion of population results in *elite overproduction* – an increased number of aspirants for the limited supply of elite positions. Increased intralite competition leads to the formation of rival patronage networks vying for state rewards. As a result, elites become riven by increasing rivalry and factionalism. Third, population growth leads to expansion of the army and the bureaucracy and rising real costs. States have no choice but to seek to expand taxation, despite resistance from the elites and the general populace. Yet, attempts to increase revenues cannot offset the spiraling state expenses. As all these trends intensify, the end result is state fiscal crisis and bankruptcy and consequent loss of the military control; elite movements of regional and national rebellion; and a combination of elite-mobilized and popular uprisings that manifest the breakdown of central authority.

Sociopolitical instability resulting from state collapse feeds back on population growth via demographic (birth rates and mortality and emigration rates) and economic (disruption of production) mechanisms. Eventually, both popular immiseration and elite overproduction are abated, setting up conditions for the beginning of a new cycle (for a more detailed explanation of how demographic-structural processes result in secular cycles see Turchin and Nefedov 2009: Chapter 1).

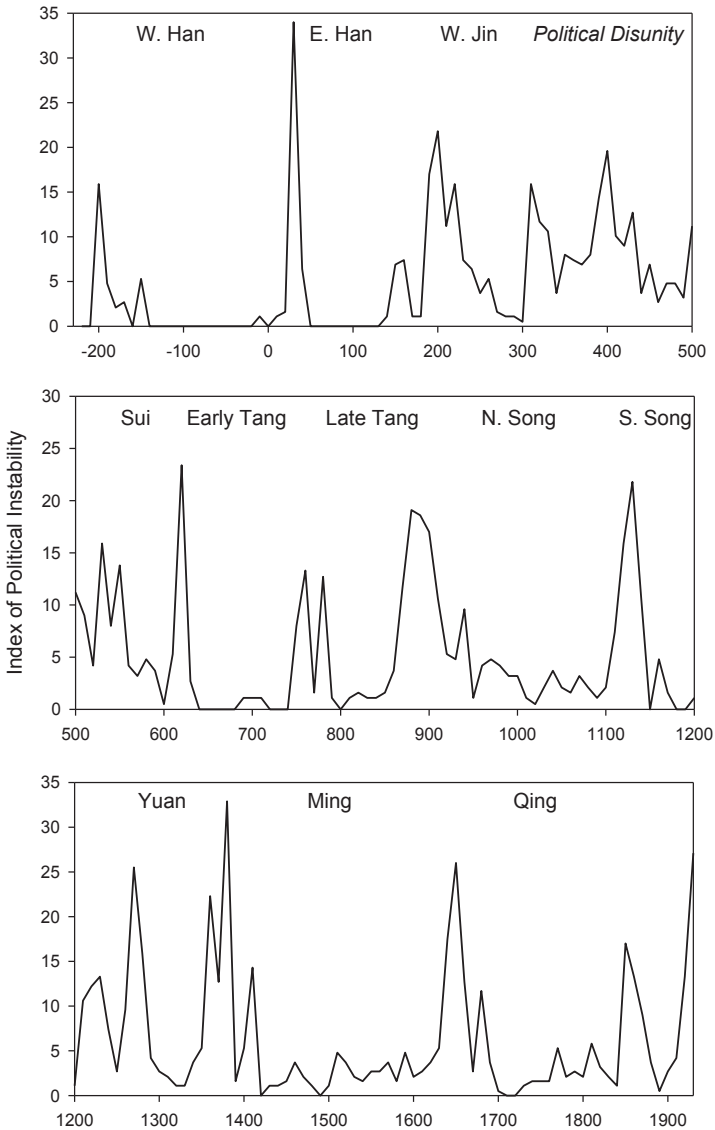


Figure 2. Long-term dynamics of sociopolitical instability in China (data from Lee 1931). “Index of Political Stability” refers to the number of instability events (civil wars, peasant uprising, major outbreaks of banditry, etc) per 10-year interval. Note that unlike in Figure 1, where labels are assigned to instability waves, here labels indicate internally stable periods, associated with a unifying dynasty.

Recent research has shown that the predictions of the demographic-structural theory find much empirical support in detailed case-studies of medieval and early-modern England and France, ancient Rome, and Muscovy-Russia (Turchin and Nefedov 2009). Furthermore, wherever we can find quantitative data on the key demographic-structural variables, we find that relationships between them conform to those postulated by the theory. Thus, the structure of dynamical feedbacks between population growth and sociopolitical instability is precisely as postulated by the model: population pressing against Malthusian limits causes instability to rise, while high instability depresses population growth leading to population decline or stagnation (Turchin 2005). Other empirically strong feedbacks between variables include the negative relationship between the supply of labor and real wages and the positive association between popular immiseration and elite incomes and numerical growth. The data also indicate that one of the most reliable predictors of state collapse and high political instability is elite overproduction (Turchin and Nefedov 2009:314).

It is important to note that secular cycles are not cycles in the strict mathematical sense. The period of oscillations is not fixed; instead, there is a statistical tendency for instability waves and, alternatively, periods of vigorous population growth, to recur on a characteristic time scale. It would be strange if it were otherwise – the demographic-structural model describes only one set, albeit an important one, of factors affecting population and instability dynamics.

An additional process (which is not part of the demographic-structural theory) that needs to be taken into account when studying secular cycles, is the “fathers-and-sons” dynamic [Turchin, 2003 #194; , 2006 #847]. This mechanism operates during the prolonged disintegrative secular trends, which are characteristic of secular cycles in Europe. The empirical observation is that disintegrative trends are not periods of continuous civil war; instead, they have internal structure with decades when sociopolitical instability is particularly high, interspersed with decades of relative pacification.

To illustrate this dynamic, note that during the disintegrative trend of late-medieval France (“the Hundred Years of Hostility”), good reigns alternated with bad ones (Turchin 2006b: 243–247). Thus the reign of John II (1350–64) was the period of social dissolution and state collapse, while that of his son Charles V (1364–1380) was the time of national consolidation and territorial reconquest. The next reign, that of Charles VI (1380–1422) was another period of social disintegration and collapse.

It was followed by the period of internal consolidation and national resurgence under Charles VII (1422–61), which finally lifted France out of the late medieval depression. This is a general dynamical pattern of alternation between very turbulent and relatively peaceful spells that is observed repeatedly during the secular disintegrative phases. A possible explanation is swings in the collective social mood.

Episodes of internal warfare often develop in ways similar to epidemics or forest fires (Turchin 2006b: Chapter 9). In the beginning of the conflict, each act of violence triggers chains of revenge and counter-revenge. With time participants lose all restraint, atrocities become common, and conflict escalates in an accelerating, explosive fashion. After the initial explosion, however, violence drags on and on, for years and sometimes even for decades. Sooner or later most people begin to yearn for the return of stability and an end to fighting. The most psychopathic and violent leaders get killed off, or lose their supporters. Violence, like an epidemic or a forest fire, “burns out.” Even though the fundamental causes that brought the conflict on in the first place may still be operating, the prevailing social mood swings in favor of cessation of conflict at all costs, and an uneasy truce gradually takes hold. Those people, like the generation of Charles the Wise, who directly experienced civil war, become “immunized” against it, and while they are in charge, they keep things stable. The peaceful period lasts for a human generation—between twenty and thirty years. Eventually, however, the conflict-scarred generation dies off or retires, and a new cohort arises, people who did not experience the horrors of civil war, and are not immunized against it. If the long-term social forces, which brought about the first outbreak of internal hostilities, are still operating, then the society will slide into the second civil war. As a result, periods of intense conflict tend to recur with a period of roughly two generations (40–60 years).

These swings in the social mood may be termed “bi-generation cycles” because they involve alternating generations that are either prone to conflict, or not. Another example of such social mood swings, also with a period of roughly 50 years, has been noted, for example, by Arthur M. Schlesinger Jr.

From Agrarian to Industrial Societies

The Industrial Revolution had a dramatic effect on the structure and dynamics of human societies. As a result, at least some of the relationships postulated by the demographic-structural theory have been made obsolete.

In particular, we could hardly expect that population increase in Western industrialized states would result in starvation. Other aspects of the theory, however, are more robust with respect to changes brought about by the Industrial Revolution. Can the theory be reformulated in a way that would make it useful for describing the dynamics of industrialized societies?

The starting point for a reformulation of the demographic-structural theory is provided by the three theory-motivated and empirically supported generalizations discussed at the end of *Secular Cycles* (Turchin and Nefedov 2009:313–14): (1) the Neo-Malthusian principle, (2) the principle of elite overproduction, and (3) the demographic-structural causes of political instability. The Neo-Malthusian principle, that sustained population growth inevitably leads to falling living standards and popular immiseration, has been, clearly, most impacted by the agrarian-industrial transition. However, it can be restated in more general terms of supply-demand relations (e.g., Borjas 2009): when the supply of labor exceeds its demand, the price of labor should decrease (depressing living standards for the majority of population). In agrarian economies demand for labor is limited by the availability of cultivable land and unchecked population growth inevitably leads to falling living standards. In modern economies, in contrast, the demand for labor is much more dynamic and can change as a result of technological advances and investments in physical and human capital. Additionally, modern societies are much more interconnected, and the balance of supply and demand for labor can be affected by international flows of people and jobs. Thus, the set of factors affecting living standards in modern societies is much more complex than for agrarian societies. Nevertheless, shifting balance between the demand and the supply of labor should have important consequences for popular well-being.

The principle of elite overproduction also can be thought of as a consequence of the law of supply and demand. The elites (in both agrarian and capitalist societies) are consumers of commoner labor. Low price of labor leads not only to declining living standards for a large segment of population (employees, especially unskilled ones), but also to a favorable economic conjuncture for the elites (more specifically, for the economic segment of the elites – employers). There are several important consequences of this development. First, the elites become accustomed to ever greater levels of consumption. In addition, competition for social status drives increased conspicuous consumption. Thus, the minimum level of resources necessary for maintaining the elite status exhibits a

runaway growth. Second, the numbers of elites, in relation to the rest of the population, increase. Favorable economic conjuncture for the employers enables large numbers of intelligent, hard-working, or simply lucky commoners to accumulate wealth and then attempt to translate it into social status. As a result, upward mobility into the ranks of the elites will greatly overmatch the downward mobility. The third consequence is that the twin processes of declining living standards for the commoners and increasing consumption levels for the elites will drive up socioeconomic inequality.

As a result of the growth in elite appetites and numbers, the proportion of the total economic pie consumed by them will increase, leading to the condition that has been termed *elite overproduction* (Turchin 2003, 2006b). Intraelite competition for limited elite positions in the economy and government becomes fierce. Competition will be particularly intense for government positions whose supply is relatively inelastic, especially at the top. A democratic system of government may allow for nonviolent rotation of political elites, but ultimately this depends on the willingness of established elites to relinquish access to power positions to ever growing numbers of elite aspirants. As a result, elite overproduction increases the probability of violent intraelite conflict. One common response by the established elites under these conditions is to close the ranks and exclude other elite aspirants from power, which causes the latter to organize as *counter-elites*.

The wave of uprising and regime changes that has been sweeping the Arab countries in the winter of 2011 appears to be an excellent illustration of demographic-structural mechanisms in action (with a caveat that I am writing as these events are still unfolding and before they have been carefully analyzed). All main ingredients, postulated by the theory appear to be present: rapid population growth resulting in youth bulges; growing economic inequality with poorer population strata increasingly immiserated, while the incomes at the top exhibiting runaway growth; and elite overproduction as evidenced by a remarkable expansion of the numbers of university-educated youths without job prospects. Demographic-structural processes are directly referred to in such articles in the popular press as “Jobs and Age Reign as Risk Factors for Mideast Uprisings” (Hamdan 2011) and “Arab World Built Colleges, but Not Jobs: Unemployment, Broad Among Region’s Angry Youth, Is High Among Educated” (Wessel 2011). This is not to say that other frequently

430

mentioned factors, e.g., despotic regimes and the spread of social media, are unimportant. As I have stressed earlier, human societies are complex systems and such epochal events as revolutions and civil wars have many causes. The relative importance of demographic-structural processes with respect to other factors in the “Arab Spring” needs to be assessed by a formal statistical analysis.

In summary, the theory suggests the following generalization: labor oversupply should lead to falling living standards and elite overproduction, which, in turn, should result in a wave of prolonged and intense sociopolitical instability. Although rapid population growth is one of the most important precursors of instability waves, it is important to stress that the demographic structural theory is not a crude Malthusian model. Population growth causes political violence not directly; its effect is mediated through social structures, most importantly power relations (thus, the theory actually integrates insights of Malthus, Marx, and Weber). Furthermore, population growth is not the only mechanism that can lead to labor oversupply. A demographic-structural analysis of American history indicates that during the nineteenth century immigration fluxes had a much greater effect, than internal population growth, on the dynamics of popular well-being and elite overproduction (Turchin 2012). Thus, we should expect that immigration waves would play an important role in explaining the dynamics of political violence in the USA. However, a detailed analysis of demographic-structural dynamics in America will have to be deferred to a forthcoming publication (Turchin 2012). In this paper my primary objective is the construction of an empirical database on American political violence and analysis of these data to determine whether long-term dynamics of instability conform to the previously observed pattern on secular waves with superimposed 50-year oscillations.

*Dynamical Patterns of Political Instability in the United States:
an Overview*

The USPV database includes 1590 unique instability events. On average there are 35 events per 5-year interval, but these events are distributed highly unevenly through time (Figure 3). The period between 1780 and 1825 was characterized by a declining trend in political violence. While the post-revolutionary era saw several significant incidents (Pennamite-Yankee War, Shays’ and Whiskey rebellions), these aftershocks of the Revolutionary War died out by 1800, and the first quarter of the nineteenth

century was a remarkably peaceful period in American history. The second quarter of the century, on the other hand, was a period of rising political turbulence. The first spurt occurred during the 1830s, but the highest level of political violence was achieved during the 1860s.

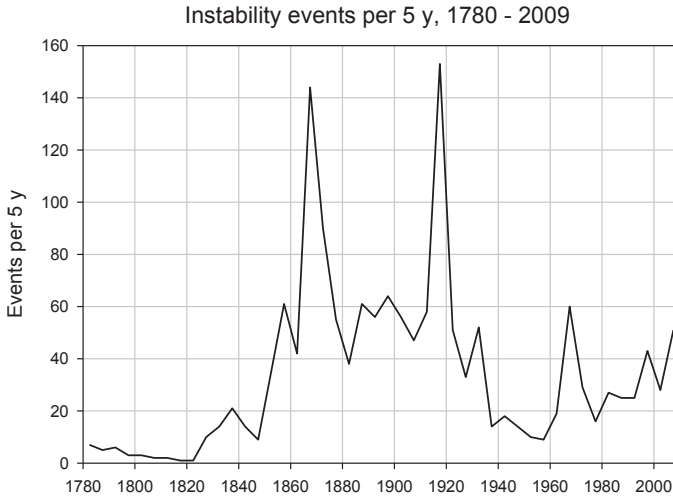


Figure 3. Temporal dynamics of sociopolitical instability in the United States, 1780–2009: fluctuations in the number of instability events per 5-year intervals.

From 1860 to 1920, the level of violence fluctuated around a very high level, with another spurt during the 1910s. The period between 1920 and 1960, however, saw a declining trend in instability. The 1940s and 1950s were the second peaceful period in American history. After 1960 the level of political violence began rising again.

Spectral analysis suggests that there are two major rhythms underlying the dynamics shown in Figure 3. The first peak in the spectrum (with a period between 115 and 230 years) indicates a long-term, or secular cycle. One complete oscillation was observed between roughly 1800 and 1950, and the rising trend after 1960 may indicate the beginning of the next secular cycle. The second peak in the spectrum is associated with a period of between 46 and 57 years. These are the prominent peaks observed around 1870, 1920, and 1970. The smaller spurt during the 1830s may or may not be part of this pattern. Interestingly, the American Revolution (1775–83) appears to fit this sequence.

REFERENCES CITED

- Bois, G. 1984. *The Crisis of feudalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bois, G. 2000. *La grande dépression médiévale: XIVe–XVe siècles*. Presses Paris: Universitaires de France.
- Borjas, G.J. 2009. *The Analytics of the Wage Effect of Immigration (March 2009)*. NBER Working Paper Series No. w14796.
- Diamond, J., and J.A. Robinson. 2010. *Natural Experiments of History*. Cambridge: MA.: Belknap.
- Goldstone, J.A. 1991. *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Goldstone, J.A., R.H. Bates, D.L. Epstein, T.R. Gurr, M.B. Lustick, M.G. Marshal, J. Ulfelder, and M. Woodward. 2010. A Global Model for Forecasting Political Instability. *American Journal of Political Science* 54:190–208.
- Hamdan, S. 2011. Jobs and Age Reign as Risk Factors for Mideast Uprisings. *New York Times* February 2, 2011.
- Hechter, M. 1995. Symposium on prediction in the social sciences. Introduction: reflections on historical prophecy in the social sciences. *American Journal of Sociology* 100:1520–1527.
- Kiser, E., and A. Linton. 2002. The Hinges of History: State-Making and Revolt in Early Modern France. *American Sociological Review* 67: 889–910.
- Korotayev, A., A. Malkov, and D. Khaltourina. 2006. *Introduction to Social Macrodynamics: Secular Cycles and Millennial Trends*. Moscow: URSS.
- Lee, J. S. 1931. The periodic recurrence of internecine wars in China. *The China Journal* (March-April Issue):111–163.
- Lee, R., and S. Tuljapurkar. 2001. Population forecasting for fiscal planning: issues and innovations. Pages 7–57 in A. J. Auerbach and R. D. Lee, editors. *Demographic change and fiscal policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lieberman, V. 2003. *Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800–1830. Volume I: Integration on the Mainland*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nefedov, S. 1999. *The method of demographic cycles in a study of socioeconomic history of preindustrial society*. PhD dissertaion, Ekaterinburg, Ekaterinburg University (in Russian).

- Reinhart, C.M., and K. Rogoff. 2009. *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press.
- Sorokin, P.A. 1937. *Social and cultural dynamics. Vol. III. Fluctuations of social relationships, war, and revolution*. New York: American Book Company.
- Trevor-Roper, H.R. 1966. *The Crisis of the Seventeenth Century; Religion, the Reformation, and Social Change*. New York: Harper & Row.
- Tuchman, B.W. 1978. *A distant mirror: the calamitous fourteenth century*. New York: Knopf.
- Turchin, P. 2003. *Historical dynamics: why states rise and fall*. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
- Turchin, P. 2005. Dynamical feedbacks between population growth and sociopolitical instability in agrarian states. *Structure and Dynamics* 1(1):Article 3.
- Turchin, P. 2006a. Scientific prediction in historical sociology: Ibn Khaldun meets Al Saud. Pages 9-38 in P. Turchin, L. Grinin, A. Korotayev, and V.C. de Munck, editors. *History and Mathematics: Historical Dynamics and Development of Complex Societies*. Moscow: URSS.
- Turchin, P. 2006b. *War and Peace and War: The Life Cycles of Imperial Nations*. N.Y.: Pi Press.
- Turchin, P., and A. Korotayev. 2006. Population Dynamics and Internal Warfare: a Reconsideration. *Social Science and History* 5(2):121–158.
- Turchin, P. 2008. Arise ‘cliodynamics’. *Nature* 454:34–35.
- Turchin, P., and S. Nefedov. 2009. *Secular cycles*. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
- Turchin, P. 2011a. Dynamics of Political Instability in the United States, 1780–2009. Manuscript.
- Turchin, P. 2011b. Wheels within Wheels: Complex Dynamics of Political Instability. Manuscript.
- Turchin, P. 2012. A demographic-structural analysis of American History, 1780–2010. Book in prep.
- Wessel, D. 2011. Arab World Built Colleges, but Not Jobs: Unemployment, Broad Among Region’s Angry Youth, Is High Among Educated. *New York Times* February 4, 2011.

**БЫЛО ЛИ ЕВРАЗИЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ?
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
«СРЕДНЕВЕКОВОГО» ТОМА
«ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ»**

В издательстве “Наука” летом 2012 г. должен выйти из печати второй том “Всемирной истории”, подготовленный в Институте Всеобщей истории РАН. Этот том имеет заголовок: “Средневековые цивилизации Запада и Востока”. При его подготовке встал вполне очевидный вопрос: насколько мы вправе ли говорить о некоем “мировом Средневековье”, то есть об особом периоде в развитии если не всех, то большинства регионов, который обладал качественным отличием от предыдущих и последующих эпох?

Существование верхней хронологической границы особых сомнений не вызывает. Можно говорить вслед за советскими историками о “феодальной формации”, конец которой был отмечен так называемыми “ранними буржуазными революциями” (после некоторых споров условной границей тогда стали считать “Английскую революцию” середины XVII в.). Можно вслед за известным французским историком Ж. Ле Гоффом взять на вооружение термин “долгое Средневековье”, которое длилось до эпохи промышленного переворота XIX столетия. Но все же господствующий в данный момент взгляд, согласно которому конец эпохи следует относить к рубежу XV–XVI вв., является чем-то большим, чем лишь данью традиции. Похоже, что в этот период Западноевропейское общество действительно начинает переходить в новое состояние. И что еще важнее, целый ряд географических открытий выводит степень взаимодействия различных частей Мир-Системы Старого света на значительно более высокий уровень, более того, обеспечил быстрое ее расширение до размеров подлинной всемирности. С этих пор развитие все большего числа стран начинает определяться воздействием импульсов, идущих из Западной Европы.

Гораздо сложнее обстоит дело с определением хронологической границы, отделяющей Средневековье от Античности. Многие востоковеды вообще сомневаются в возможности проведения такого рубе-

жа для их регионов. Где кончается Античность и начинается Средневековье в истории Византии? Факт завоевания варварами Западной Римской империи, казалось бы, относится к числу бесспорных, но выясняется, что он был настолько растянут во времени, что далеко не всегда осознавался современниками.

И все же увеличение масштаба исследования дает возможность увидеть некоторые существенные изменения. Эпоха “Поздней древности” привела в итоге к возникновению единой цепи империй: Римская, Парфянская (которую скоро сменила империя Сасанидов), Кушанское царство, империя Хань. На протяжении всего I тысячелетия до н.э., несмотря на многочисленные войны, население Мир-Системы увеличилось в разы, выросло число городов, многие из которых приобретали характер благоустроенных мегаполисов. Произошло первое реальное смыкание мира, установление в достаточной мере постоянных экономических, политических и культурных связей между всеми частями ойкумены.

Но начиная со II–III вв. н.э. все эти цивилизации сталкиваются с рядом тягчайших бедствий. Удивление историков вызывает та синхронность, с которой обрушилась империя Хань и затрещала по швам Римская империя, пораженная “кризисом III в.”. Последовавшие затем стабилизации оказались недолгими, но стоили таких усилий, что обе империи, во всяком случае, большие их части, были завоеваны варварскими племенами в течение двух следующих веков. Автор одного из авторитетных китайских исторических трактатов XIV в. отводил времени варварских завоеваний – “Лючао”, (эпохе “Шести царств”) такую же роль, которую его современник Петрарка отводил “Темному веку”. В обоих случаях речь шла о неких “серединных веках”, отделявших Древность от времени возрождения традиций.

Под ударами извне рухнули и Кушанское царство, и сменившая его в Индии держава Гуптов. Византия и Иран ценой великих усилий выстояли против нашествий варваров с севера, однако вскоре, в VII веке, столкнулись с новым врагом – арабами. Мусульманское завоевание захлестнуло большую часть Византийской империи и навсегда поглотило Иран.

Историки спорят о причинах катаклизмов, обрушившихся на империи. Был ли повинен в этом кризис рабовладельческого строя, сменившегося строем феодальным? Господствующая роль рабовладения в производстве не была общим правилом для империй “Позд-

ней древности”, а сменявшие их новые “варварские” общества были склонны применять труд рабов. Рабовладение никогда не исчезло ни в одном из регионов средневековой Мир-Системы, а на исходе периода работорговля переживает расцвет.

С большим основанием можно предположить, что содержание империй обходилось обществу слишком дорого, ведь империи по определению были нацелены на безграничное расширение, представляя себя единственно законной, всемирной формой власти. Но когда вокруг остается все меньше слабых соседей, а расходы на армию и бюрократический аппарат, призванные удержать единство территории, становятся невыносимыми, начинаются трудности. К тому же все чаще на империи обрушиваются невиданные по масштабам страшные эпидемии.

Обратим внимание, что предвестником тягчайшего для Рима “Кризиса III в.” стала Антонинова чума - пандемия, унесшая миллионы жизней. Еще страшнее будет Юстинианова чума, обрушившаяся на Византию в 544 г., – как раз когда ее армии, отбив у варваров Рим, готовились вернуть Юстиниану господство над всем Средиземноморьем. Не менее опустошительные эпидемии бушевали на другом краю ойкумены – в Китае. В V в. чума поразит западные районы Ирана. Некоторые современные историки, взяв в союзники микробиологов, утверждают, что пандемии стали следствием демографических успехов предыдущего периода, оборотной стороной медали процесса смыкания цивилизаций. Ряд причин (среди которых было и беспрецедентное увеличение плотности населения) способствовал возникновению новых штаммов болезнетворных микробов, а налаженные торговые связи или переброска войск из одного конца империй в другой стали каналом их распространения.

Эпидемии будут время от времени поражать отдельные участки средневековой Мир-Системы, но следующая пандемия – знаменитая “Черная смерть”, превзошедшая даже ужасы Юстиниановой чумы, – возникнет в середине XIV в., как раз по завершении “второго смыкания цивилизаций”. В дальнейшем такие пандемии будут периодически опустошать целые регионы, как, например, чума первой половины XVII в, поразившая Египет, страны Магриба и могущественную Испанскую империю.

Эпидемии можно считать атрибутом Средневековья, тяжелой расплатой за успехи предыдущего периода, но в результате организмы

тех, кто выжил в этих катастрофах, обретали способность вырабатывать антитела в крови, причем этот ценнейший дар передавался по наследству. Поэтому когда в дальнейшем появление европейцы появятся в Новом Свете, в Океании, Австралии или на Крайнем Севере – везде это будет сопровождаться гибелью местного населения не столько от оружия завоевателей, сколько от завезенных микробов, безопасных для самих путешественников.

Такие наблюдения интересны, но трудно поддаются верификации. Но есть фактор, видный “невооруженным глазом” при сопоставлении Древней истории со Средневековой. Речь идет об изменении роли Великой Степи, протянувшейся от Манчжурии до Приднестровья или даже Венгрии.

Мир степняков уже не раз обрушивался на оседлые цивилизации. Зачастую успех завоевателей объяснялся не просто их воинственным нравом и выносливостью, но был подкреплен технологическими инновациями. В начале II тысячелетия до н.э. боевые колесницы индоариев перевернули социальное устройство древних цивилизаций. В следующем тысячелетии жители Великой степи освоили верховую езду, что привело к потрясению основ государств Ближнего и Дальнего востока. Но помимо военных преимуществ, использование уздечки и седла позволило скотоводам посадить на коней практически все население и от оседлого и полукочевого скотоводства перейти к настоящему кочевничеству. К концу I тысячелетия до н.э. окончательно оформляется облик кочевого общества, создавшего настолько адаптированную к окружающим условиям систему (хозяйственную, социальную, военную), что она оставалась неизменной до конца Средневековья. Это внесло радикальные перемены в отношениях “цивилизация – варварская периферия”, произошедшие в исторически короткие сроки.

Эффективность кочевого хозяйства и проистекавшая из нее способность выставить множество умелых конных воинов была важным аргументом кочевников в диалоге с оседлыми цивилизациями. Но кочевники экономически не могли существовать без оседлых соседей. Конфигурации их взаимоотношений подробно описаны работами современных кочевниковедов от Бартфилда до Крадина (Barfield 1989; Крадин 2002). В данном случае для нас важно возникновение каганатов и ханств, иногда превращавшихся в “кочевые империи”. Их присутствие станет атрибутом средневековой Мир-Системы, во

многим определяя динамику ее развития. И когда кочевые империи перестанут угрожать оседлой части Евразии, то это и будет одновременно и причиной и следствием окончания средневекового периода.

Отчасти именно кочевники способствовали тому, что Средневековье во многом выглядит периодом стагнации по сравнению с Поздней Древностью. Номады способствовали убыли оседлого населения – и своими постоянными набегами, порой навсегда гасившими древние очаги цивилизации, и тем, что обращали в дикое поле пригодные для земледелия земли, и переносом инфекционных заболеваний, как например, это произошло при осаде Кафы в 1347 г. Но кочевники, действительно, выступали и “глобализаторами”, иногда вполне осознанно, как столь впечатливший Марко Поло Хубилай-хан, но чаще даже и не задумываясь о создании вселенской империи. Тем не менее, монгольские завоевания обеспечили “второе смыкание цивилизаций”. Не следует забывать, что на какое-то время наши предки, жившие на берегах Оки, Днепра и Волхова, оказались в одном политическом образовании с обитателями бассейна Янцзы и острова Хайнань.

Еще важнее, что номады придавали “мировому Средневековью” фактор системности. Общества, вынужденные соседствовать с кочевыми империями, либо находили адекватный ответ на этот вызов, либо гибли. Но другие государства (назовем их государствами “второго эшелона”) или другие регионы, вроде бы географически удаленные от кочевой угрозы, могли рано или поздно ощущать опосредованное влияние ритмов пульсации Великой степи. Это происходило тогда, когда государства, сумевшие ответить на вызов номадов (или основанные в результате завоевания кочевниками), развязывали себе руки для выяснения отношений с прежде не знавшими сильной угрозы странами “второго эшелона”. И тогда уже эти страны, в свою очередь, были озабочены поисками адекватного ответа. Так, укрепление Танской империи стало ответом на вызов со стороны Тюркского каганата, но ответом на вызов Танского Китая в Японии в какой-то мере стали реформы Тайка. И подобных примеров можно привести много.

Там, где прямое или опосредованное дыхание “Великой степи” ощущалось минимально, могло наблюдаться долговременное сосуществование мелких соперничающих между собой политических образований. Таким щитом могли быть моря, горы, героическое сопротивление сопредельных народов, бравших на себя основную тяжесть противостояния завоевателям (раджпуты, прикрывавшие собой Ин-

дию, народы Восточной Европы, ставшие буфером между Степью и Западом). Запад мог себе позволить “роскошь феодализма”, поскольку после христианизации венгров валы кочевых завоеваний перестали докатываться до Латинского мира. В эту же эпоху Византия вынуждена была воевать то с арабами, то с нагрянувшими в Подунавье болгарами, то с сельджуками. Когда сменившая Византию Османская империя, в которой ощущалось наследие кочевой традиции, освободилась от угрозы со стороны Степи, Западная Европа сразу почувствовала, что ситуация изменилась. Нечто подобное ощутили и западные соседи Русского государства уже начиная со времен Ивана III и в особенности после того, как Иван IV разгромил наследников Орды.

Сферой, где изменения всегда вполне очевидны, является эволюция вооружений. В отличие от предшествующего периода, Средневековье характеризовалось господством конницы над пехотой. Согласно некоторым теориям, именно изобретение стремени сделало возможным феодализм. Стремя давало возможность наносить таранный удар пикой, на острие которой суммировалась масса и коня и всадника, наносить рубящие удары тяжелым мечом. Есть разные гипотезы возникновения стремени: многие относят его к числу изобретений всадников Великой степи, и через аварский каганат со стремением познакомились воины западной Европы. Другие указывают на иные регионы, откуда пошло стремя (Китай, Парфия). Как бы то ни было, стремя, как некогда колесница, предопределила “аристократический” характер войны, а следовательно, и определенный тип социального устройства оседлых обществ. Во все большей степени ударную силу составляли теперь тяжеловооруженные воины-профессионалы, на содержание которых стали отводить доходы с определенных территорий. Первыми к такой системе перешли Сасанидские правители, затем она стала развиваться и в Западной Европе, во многом предопределив и успехи войск Карла Великого, и дальнейший социальный триумф европейского рыцарства. Но и степные воины продолжали плодить все новые изобретения: тюркское седло с наклонной лукой, сабля, конские панцири, и, наконец, дальнобойный монгольский лук, оставивший по себе столь глубокую память, что главным элементом церемониального вооружения русских царей до самого Петра I, будет оставаться саадак – колчан с налучником.

И только освоение огнестрельного оружия, а также формирование регулярных пехотных частей, в какой-то мере возрождавших строй

римских легионов, создало предпосылки для того, чтобы пехота начала оспаривать превосходство всадников. Но “пороховые империи” с их новым типом войска ознаменовали собой конец Средневековья.

Конечно же, самым главным отличием Средневековья от Античной и Восточной древности явилась роль “мировых религий”. Цивилизации Поздней древности, каких бы успехов они ни достигли, генетически связаны были с эпохой “очаговых цивилизаций”, со своим “полисным”, “номовым” прошлым. Это была разросшаяся до небывалых размеров власть одного полиса, одного вана, одного племени, вставшего над другими, стремящегося максимально расширить территорию империи, но не имевшего других ресурсов, кроме военной силы и не менее дорогостоящей бюрократии, чтобы удерживать своих подданных в повиновении. Роль “идеологической” скрепы играл местный культ победившего народа, культ императора, синкретически сочетаемый с местными верованиями. Падение державы обычно означало поражение ее богов, включаемых в пантеон победителей в лучшем случае на вторых ролях.

Христианство и ислам (а также, в определенной степени и иудаизм) были религиями прозелитическими, призванными завоевывать все новых сторонников, и в целом не стремящимися к синкретизму. Вселенская концепция равенства всех их последователей перед Богом и претензия на единственную правильность превращала вероучений в мировые религии. При этом они удачно справлялись с задачей поддержания единства больших цивилизационных ареалов, даже после утраты последними былого политического единства. В регионах, центрами которых были Индия и Китай, не возникло мощных монотеистических систем, но и здесь учения, возникшие в период “осевого времени” и долго существовавшие в виде философских школ, только в период Средневековья обретают стройность, и обзаведясь и догматикой, и организационными структурами (сеть монастырей со специфическим типом землевладения), становятся религиями. Раньше всего это произошло в Китае с буддизмом и даосизмом в эпоху Лючао, конфуцианство же, всегда популярное у китайских чиновников, обрело статус официальной религии или, скорее, “квазирелигии” немного позже, в эпоху Тан. Буддизм и конфуцианство распространились в Японию, Корею, Тибет, страны Юго-Восточной Азии. Стать успешными мировыми религиями было суждено не всем вероучениям, но достичь этого пытались многие, стремясь выйти за рамки сугубо этно-культурные рамки.

Средневековые религии успешно играли роль стенового хребта общества. Они придавали им “момент связанности”, и, как правило, чем сильнее было влияние такой религии на общество, тем меньше требовалось содержать воинов и чиновников для того, чтобы поддерживать определенный порядок на большой территории.

При всем своем драматизме Средневековье демонстрирует более высокий и более гибкий уровень взаимодействия внутри Мир-Системы, которая, расширяясь, втягивает в диалог новые регионы Севера Европы, Сибирь, народы тайги, сахеля и ранее неведомых островов Атлантики. Несмотря на высокую цену, взаимодействие цивилизаций приносило неоспоримую выгоду. В этом легко убедиться, взглянув на общества, не входящие в средневековую Мир-Систему, например, цивилизации Мезоамерики и Анд. Примечательно, что главные открытия “неолитической революции” земледельческие регионы Нового света сделали ненамного позже народов Евразии. Однако развитие шло здесь чрезвычайно медленно, даже в области совершенствования боевого оружия. Цивилизации оставались изолированными друг от друга. До своих великих открытий (одомашнивание животных и растений, создание письменности) каждый регион доходил самостоятельно, что резко замедляло темпы развития местных культур, и привело их к столь зримому отставанию от Мир-Системы как раз к моменту их встречи на излете Средневековья (Мак-Нил 2004; Даймонд 2009).

В невежестве, фанатизме, косности, неспособности к развитию упрекали Средневековье гуманисты и просветители. Да и сами средневековые люди, в Китае, Индии, жители исламского мира, византийцы и латиняне, русские и скандинавы, кочевники Великой степи и бедуины Сахары – охотно бы согласились с невысокой оценкой своего времени, поскольку средневековый человек свои идеалы привык искать скорее в давнем прошлом, чем в настоящем, а о том, каким должно быть будущее задумывались нечасто. Вместе с тем, именно Средневековье демонстрировало высокую динамику развития, обеспечив массу открытий. Заметим, что в этот период не было априорных лидеров в развитии культуры. Кодификации судебныхников, календарные системы, шедевры живописи и скульптуры, изобретения компаса, пороха, книгопечатания, бумаги, сложных механизмов, навигационных систем, парусов, способных обеспечивать кораблю плавание практически при любом ветре – все эти от-

крытия делали разные народы: индийцы, китайцы, арабы, византийцы, латиняне.

Но почему лишь одному региону – Западной Европе в определенный (но исторически очень важный) период вырваться вперед? Почему прорыв в новое качественное состояние относительно быстро произошел в одном месте, а в других либо осуществлялся значительно медленнее, либо вообще не случился?

Все крупные регионы Мир-Системы в XV–XVI веках испытывали подъем, однако в большинстве случаев не происходило прорыва, который позволил бы выйти за пределы принятой модели развития. Они оставались аграрными странами, зажатыми в так называемую “мальтузианскую петлю”, жестко увязывающую несущее плодородие земли с возможностями демографического роста. Если путь внешней территориальной экспансии был закрыт, то общество рано или поздно сталкивались с серьезными кризисными явлениями, чреватými гибелью данного социума.

“Отец социологии”, арабский мыслитель из Магриба, Ибн Халдун в своей “Книге назидательных примеров по истории арабов, персов, берберов и народов, живших с ними на земле” (“Китаб аль-ибар...”) сформулировал целостную социально-политическую теорию, изложенную во “Вступлении” к этому трактату своей “Книге примеров”. Надо сказать, что филологи-востоковеды призывают к большой осторожности в переводе и трактовки арабских терминов на язык современных политологов. Но Ибн-Халдуна продолжают активно цитировать исследователи, ориентированные на поиск исторических закономерностей. Общеизвестно, что по Ибн-Халдуну, народы, обладающие высокой степенью коллективной солидарности “асабийи”, с легкостью завоевывают ослабленную неурядицами страну. Победоносные суровые воины превращаются в правящую элиту и через определенный срок начинают сами ценить роскошь, их “асабийя” слабеет, они заботятся в первую очередь о своем собственном благополучии.

Упадок асабийи – важная, но не единственная причина разложения власти и государства. В сложную сеть причин у Ибн Халдуна включены также экономические, природно-климатические и демографические факторы. Причем, некоторые из этих зависимостей оказались возможным даже эксплицировать в математических моделях, характеристики которых сопоставляются с известными современной

науке историко-демографическими и историко-хозяйственными данными. Так, в основу базовой “ибн – Халдуновской” модели П. Турчин (2007) и С. Нефедов (2008) кладут следующие положения. Пока доход от ренты, приходящийся на одного члена элиты, превышает минимально приемлемый уровень для его “достойного существования, государство и знать живут в гармонии. Но когда численность представителей элиты вырастает до такого уровня, что их душевой доход падает ниже этого минимума, элита становится неудовлетворенной и начинает черпать недостающее из части казны, предназначенной на необходимые административные и военные расходы. Правящий слой с течением времени разрастается и увеличивает свои потребности, что снижает его способность адекватно реагировать на истощение общественных ресурсов, упадок хозяйственной активности, обнищание и деградацию населения. В этих условиях попытки дипломатических маневров, приобретение путем подкупа новых союзников, могут отсрочить, но не предотвратить смену власти. Ибн-Халдун, живший в странах, соседствовавших с племенами суровых берберов, но также знакомый с реалиями Великой Степи (он посетил с посольством Тамерлана), предрекал скорую гибель таких государств в результате завоевания народами, обладающими высокой “асабийей”. Теория Ибн-Халдуна, подкрепленная выкладками современных исследователей, неплохо описывает судьбы большинства политических образований средневековой Мир-Системы (Коротаев и др. 2005; Гринин, Коротаев 2009; Turchin, Nefedov 2009).

Но из этого правила были исключения, самое вопиющее из которых находилось на противоположном Ибн-Халдуну берегу Средиземного моря.

О том, почему стало возможным “европейское чудо” написаны сотни книг. Справедливо указывают на географические преимущества Западной Европы. Здесь и благоприятный климат, обеспеченный Гольфстримом, и исключительная изрезанность береговых линий, подкрепленная выгодным расположением рек, благодаря чему из любой точки Европы водным путем быстро можно было добраться до удобных гаваней открытого моря (а морские перевозки грузов обходились в десять раз дешевле речных и в сотню раз дешевле сухопутных). Сама природа создала Европу максимально приспособленной для активной торговой экспансии, опирающейся на богатство внутренних зон.

Но самым важным было то, что Запад, единственный из всех регионов старых цивилизаций, сумел избежать соседства с кочевыми империями. Появление монголов в 1241 г. в латинской Европе, показало, что ни рыцарская конница, ни феодальные замки и городские укрепления не являются надежной защитой. Разорив Польшу, Чехию, Венгрию, и выйдя к Адриатике, монголы Батыея и Судэбея внезапно возвращаются в Степь. До них дошло известие о смерти Великого хана Угэдая, и они торопились успеть к курултаю. Тогда, в XIII в. не эффективность экономики и прочность политической системы, но историческая случайность стала причиной того, что латинский Запад не был включен в державу потомков Чингиз-хана.

У европейцев так и не возникло необходимости в мощном государстве, которое объединило бы весь регион для отпора страшному противнику. А когда возникли вызовы со стороны новых держав, окрепших в постоянных контактах с кочевыми империями (Османская империя и Русское царство), то потенциал Европы уже был таков, что она могла противостоять им без тотальной мобилизации ресурсов.

Таким образом, Европа могла позволить себе “роскошь феодализма”. Это объясняло очень многое. После Тысячного года Европа в силу сложившейся уникальной ситуации, одним из проявлений которого стало беспрецедентное могущество Католической церкви, относительное равновесие в регионе поддерживалось без объединения всего латинского Христианского мира под властью одного монарха. Соперничество между правителями не давало проявиться столь естественному для других регионов стремлению блокировать изменения.

Император Юнлэ посылал в индийский океан “Золотой флот”, чьи корабли по своим качествам многократно превосходили будущие каравеллы Колумба и Васко да Гама. Но его преемники волевым решением прекратили морские экспедиции. Китай вообще неудобен для сторонников военно-технологического детерминизма в истории. Компас, порох, огнестрельное оружие, бумага, книгопечатание, куранты, реактивные снаряды, гидравлические двигатели, цепной и ременной приводы, мануфактурное производство – все эти и многие другие китайские изобретения не приводили к серьезным изменениям. Власть, правящая в Поднебесной по мандату неба, всегда находила возможности нейтрализовать нежелательные социальные последствия. В Европе же такого центра, монополично обладавшего

универсальной властью, не было, и некому было блокировать инновации.

Но не только крайне удачное стечение обстоятельств обеспечивало взлет Европы. Сама средневековая европейская цивилизация оказалась удивительно пластичной и способной динамично развиваться, вопреки изначальному взгляду на феодализм как на застойное общество. После Тысячного года католическая церковь начинает обретать свой специфический вид, сделавший невозможным императорский контроль над нею. Отобрав у императоров и королей монополию на роль посредника между небом и землей, церковь укрепила свое положение основной несущей конструкции средневекового общества.

Теория “феодальной революции”, отводящая особую роль периоду, наступившему после распада Каролингской империи, была популярна на Западе лет тридцать назад. Сегодня она не в чести у историков, подчеркивающих преемственность этого периода с предыдущим. Но при этом остается очевидным, что в ходе глубоких изменений, произошедших около Тысячного года, политическая власть оказалась в руках собственников сеньорий, осуществлявших судебные, административные и военные функции. Европа стала покрываться замками, значительно трансформировался крестьянский мир – поселения приобрели вид знакомой нам средневековой деревни, сгруппированной вокруг церкви с ее кладбищем. Перенос власти-собственности на локальный уровень вел к интенсификации крестьянского труда. Это очень важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание. Для многих средневековых обществ были свойственны земельные пожалования воинам и другим “нужным людям” за службу от мусульманских икта и союргалов, до китайских чжи тянь – (“должностных полей”) или византийских “проний”. Однако в подавляющем большинстве случаев, владельцы таких пожалований довольствовались получением “ренты” с крестьян. Их преуспевание зависело в основном от милости государя, именно при дворе правителя был основной центр их интересов, и они редко когда вмешивались в производственный цикл крестьянских хозяйств, экономическая жизнь здесь шла по заведенным распорядкам. Иное дело – земли, владельцы которых чувствовали себя полными хозяевами. Здесь возможны были разнообразные улучшения. В качестве примера можно привести удивительную экономическую активность буддистских монастырей Танской империи, обладавших крупными

земельными комплексами, до поры до времени не подпадавших под всеобъемлющее государственное регулирование и налогообложение. Схожим образом развивалось хозяйство на землях вакфов – комплексах земель пожалованных мусульманским духовным учреждениям и благотворительным – мечетям, медресе, приютам. Они избегали налогообложения, представляя собой своеобразные “оазисы экономического роста”. Укрепление владельческих прав на пожалованные земли могло стать благом для хозяйственного развития. Но это неминуемо вело к ослаблению государства. А слабое государство в окружении соседей с сильной “ассабией” долго прожить не могло – здесь Ибн-Халдун был прав.

Запад же, как мы поняли, стал исключением, в силу временного отсутствия таких соседей. Основной ячейкой не только хозяйственной, но и политической жизни здесь была сеньория, дополненная приходом и общиной. Более крупные политические структуры – монархии и империя существовали лишь в виде наброска, скорее отсылая к некоей идее государственной власти, чем осуществляя реальный контроль над властью сеньоров. На первых порах локальные конфликты без помощи монархов улаживались на местном уровне, и лишь постепенно королевская власть будет усиливать свое давление на сеньориальную систему, при помощи правоведов придавая упорядоченность феодальной иерархии, приспособлявая ее для целей королевской службы. Однако сеньория просуществует в своем “базовом” качестве еще, как минимум, семь веков. Сеньориальная система оказалась удивительно эффективной. В итоге, по сравнению с другими регионами средневековой мир-системы “надстройка” обошлась европейскому феодальному “базису” на порядок дешевле.

Сочетание эффективного господства на местном уровне с самоорганизацией непосредственных производителей, не отделенных от средств производства, было одним из многих творческих противоречий европейской феодальной системы, обеспечивавших временами впечатляющий демографический и экономический подъем. Но дело не сводилось лишь к совокупности локальных сеньорий. Главной интегрирующей силой феодальной Европы была Церковь, понимаемая и как особый институт, и как “община верных”. И лишь постепенно эту роль будут брать на себя крепнущие структуры королевской или княжеской власти, обрастающие своим чиновничьим аппаратом, который, впрочем, изначально почти полностью состоял из тех же

клириков. Именно Церковь обеспечила успешное сочетание сильной местной власти с единством всего “христианского тела”, закрепляя культурное единство окормляемого ею пространства. Таинство евхаристии обеспечивало на символическом уровне причастность каждого средневекового человека к единому корпусу.

Особенности феодальной или “церковно-феодальной” организации общества Европы, нейтрализовали действие “закона Ибн-Халдуна”. От “перепроизводства элит” страдали самые разные и весьма отличные друг от друга общества – такие как Китай в конце каждого из династически циклов, Древняя Русь времен усобиц, начавшихся при детях Ярослава Мудрого, государства Сельджукидов, Ильханов, или тайфы Аль-Андалуса. Но в средневековой Европе значительную часть господствующего класса составляли клирики, на которых распространялся обет безбрачия. Среди светской знати господствовала формальная моногамия – бастарды не могли претендовать на долю наследства. Во многих областях Европы действовал либо майорат, либо – в более смягченном виде – приоритет одного из наследников при разделе имущества. Европейская средневековая элита, при всей видимой пышности дворянской жизни, в целом обходилась обществу дешевле элиты восточной. Кроме того, акцентируемая средневековым христианством практика духовного родства, не менее важного, чем родство кровное, вносила существенные изменения в конфигурацию семейных связей на Западе. Ценностные установки, правовые традиции и цивилизационные особенности оказываются важными для макродинамических показателей.

Это лишь один из примеров, подтверждающих главное: в силу особой пластичности средневековой западной цивилизации, порождаемой, в том числе, и особым способом мышления, способом связывать между собой противоречия, феодальная Европа обрела удивительный динамизм. Динамизм был свойственен, конечно, не только Западу. Достаточно вспомнить китайское общество эпохи Сун или халифат Аббасидов. Но динамизм Запада отличался своей необратимостью. Институты, в которых традиционно видели элементы отрицания феодального мира (города, римское право, университеты, светский бюрократический аппарат, парламенты и проч.) были не “гостями из будущего”, не реликтами античного мира и не какими-то “несистемными элементами”, но органичным порождением своей эпохи, возникая не вопреки, но благодаря феодализму.

Воздействие внешних факторов, конечно, никоим образом нельзя игнорировать. Стоит напомнить еще раз, что “роскошь феодализма”

Западная Европа могла себе позволить, лишь оказавшись достаточно надежно прикрытой от гостей из Великой Степи как естественными преградами, так и стойкостью народов Восточной Европы.

Устойчивость средневекового общества, надежность и при этом относительная гибкость его социальных институтов и интеллектуальной оснастки привели к тому, что Запад, пройдя сквозь крестьянские и городские восстания, затяжные войны и феодальные мятежи, сумел самостоятельно найти выход из кризиса и начал свою впечатляющую внешнюю экспансию.

Конечно, в итоге феодальная логика уступит свое место капиталистической, принципиально ей противоположной. Но элементы, приведшие к утверждению капитализма, развивались в недрах европейского средневекового общества не вопреки феодализму, а благодаря его собственной динамике, поэтому именно в феодальной системе следует искать причины исторической исключительности Европы, накануне того момента, когда она начнет осваивать к своей выгоде весь мир.

ЛИТЕРАТУРА

- Гринин, Л.Е., Коротаев, А.В. 2009. *Социальная макроэволюция: Генезис и трансформация Мир-Системы*. М.: ЛИБРОКОМ.
- Даймонд, Дж. 2009. *Ружья, микробы и сталь*. М.: АСТ.
- Коротаев, А.В., Малков, А.С., Халтурина, Д.А. 2005. *Законы истории: Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура*. М.: КомКнига/URSS.
- Крадин, Н.Н. 2002. *Империя хунну*. 2-е изд. М.: Логос.
- Мак-Нил, У. 2004. *Восхождение Запада*. Киев: Ника-Центр; М.: Старклайт.
- Нефедов, С.А. 2008. *Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока*. М.: Изд. дом «Территория будущего».
- Турчин, П.В. 2007. *Историческая динамика. На пути к теоретической истории*. М.: УРСС.
- Barfield, T.J. 1989. *The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China*. Oxford, Basil Blackwell.
- Turchin, P., and Nefedov, S. 2009. *Secular cycles*. Princeton University Press, Princeton, NJ.

ОТ ТРАДИЦИОННЫХ СКОТОВОДОВ К КШАТРИЯМ, ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ТИП КАК ОСНОВА ИНДИЙСКОГО КАСТОВОГО СТАТУСА

Брахманическая традиция объясняет возникновение кастового строя как способ контролирования шоковой (а потом и долговременной стрессовой) ситуации контакта между ариями и автохтонами Индии. Сообщество ригведических индоариев было стратифицированным на три сословных подразделения: воины-пастухи *кшатра*, жрецы-*брахма* и простолюдины-*виши*. Брахманические и буддийские источники не оставляют сомнений, что к первым векам до н.э. в первоначальные варны индоариев, а также в пограничные категории «четвертая варна *шудра*» и «вневарновые пятые, *аварна*» вошло значительное разнообразие «племен»-*джати*¹ местного населения, а на периферии кастового общества пребывали еще не встретившиеся с индоариями автохтонные этносы. Считается также, что варны со временем исчезли, уступив место кастам. Действительно, те особые сегрегационные модели межэтнического и социального взаимодействия, которые оказали решающее влияние на формирование кастового строя индийского общества, начали формироваться уже в ходе первых контактов индоариев с доарийскими насельниками Индостана.

Кастовая организация индийского традиционного общества является особенным способом решения проблем межэтнического и социального взаимодействия: для него характерна практика налаживания межэтнических отношений способом капсуляции и регламентированного взаимодействия. Брахманское жречество через морально-этический императив религии поддерживает воспроизводство кастового строя в череде веков и поколений, поскольку видит в нем

¹ Этот брахманический термин обычно переводится как «каста», а само понятие «джати» остается в науке неразработанным. Между тем даже сегодня именно джати, которая формируется и воспроизводится как брачный круг паритетных по социальному и ритуальному статусу профессионально специализированных экзогамных кланов (квазиплемя), является основной институциональной и функциональной ячейкой индийского традиционного общества (см.: Успенская 2009: 150–171).

эффективный механизм власти и консервации неравенства. Однако устойчивость кастовой организации индийского социума предопределена и тем, что она предоставляет людям всеобщую занятость и гарантированный сбыт продуктов труда, обеспечивая их средствами существования в соответствии с кастовым статусом. Есть очень веские основания полагать, что во всех исторических модификациях кастового строя сосуществуют варны как основные статусные и джати как основные функциональные категории кастового общества: характерный для индоариев варновый (экстерриториальный сословный) принцип социальной стратификации был применен к массе сегментированных клановых общин, существовавших у индийских автохтонов, и предоставил последним способ статусного ранжирования локализованных социальных компонентов, в том числе и этнических; позднее эта модель стала определяющей в структурировании общественных единиц. Этические императивы брахманизма-индуизма объективно направлены на консервацию и воспроизводство архетипических форм социального взаимодействия и общественного сознания, и можно утверждать, что первобытная модель распределения ресурсов и структурирования социальных связей в своей развитой до логического предела форме становится кастовой моделью. В индийском кастовом обществе осуществляется виртуозная ограничительно-распределительная регламентация в общественном разделении труда, в доступе к природным ресурсам и ценностям культуры, сопровождаемая адресными религиозными наставлениями отдельным варнам, джати и кланам, в которых детально фиксированы их права и обязанности, а также предписана обязательная взаимопомощь «братям по судьбе» (Успенская 2010: 53–227).

В макросоциальном контексте кастового строя речь идет о налаживании комплиментарного взаимодействия и разделения сфер ответственности в области экономики и общественной безопасности (включая военную и магико-ритуальную защиту) между варнами и их сегментами. На «территории дхармы», каковой оказывается географический изолят Индостана, совокупность всех этнических и иных джати выстроилась в территориальную макрообщину, обитающую на «территории *дхармы*» и налаживающую комплиментарное взаимодействие в распределении ресурсов и разделении труда; агенты в разделении труда на уровне макрообщины – варны. Здесь достигается эмпирически выверенная соразмерность разных видов

производительных сил и наличествующих средств, сохраняется признаваемая «богоданной» этнокультурная множественность. Существовал и системный принцип организации социального и территориального пространства индуизма – санскритизация, и он основан на важнейшей философии практического индуизма: противопоставлении *санскрити* (культуры) *пракрити* (природе, первозданности). «Культурный» образ жизни ассоциировался с принятием брахманического¹ ритуала сопровождения жизни обрядами *санскара* и налаживанием социального взаимодействия по типу организации джати. Этот механизм социализации работал и работает во всех случаях, когда речь идет об этнически и культурно инородных соседях кастового общества, на протяжении всей его истории. Многочисленные волны более поздних, чем сами арии, иноземных завоевателей и переселенцев также приняли наставничество брахманов и мировоззренческие установки брахманизма-индуизма, освоили нормы жизни в кастовом обществе и вошли в его состав в виде отдельных джати и этнокастовых общностей, не отказываясь от многих своих добрахманических культурных традиций: происходила консервация этнокультурной специфики санскритизированного этноса (действовал принцип «собственной дхармы», или «богоданного жизненного предназначения»). Санскритизация не доводится до степени полной ассимиляции: выстраивается иерархия этнокастовых общностей и джати по параметру «уровня культурности» во главе с «носителями культуры» брахманами. Практика аккультурации-санскритизации стала воплощением социально-моделирующего влияния идеологии и государственности. В этой масштабной деятельности ярко проявлялось универсальное историческое противостояние/сотрудничество между жрецами (брахманами) и «воинами и правителями» (кшатриями), но и выстраивалась кастовая организация общества.

Антропология кастового общества свидетельствует, что уже на ранних этапах его формирования разные племена, объединения племен, профессионально специализированные общинно-клановые структуры автохтонного и иммигрантского происхождения конституировались как компоненты определенных варн в точном соответствии

¹ На начальных этапах процесса монашествующие и аскетствующие пилигримы джайны, буддисты, адживики выполняли цивилизаторскую миссию наряду со жрецами-брахманами во имя уппрочения *дхармы*.

со своим способом жизнеобеспечения, обретали соответствующий «своей» варне социальный и ритуальный статус, от которого зависели все схемы общения. В специализации варн отражены, как это хорошо заметно, хозяйственно-культурные типы (ХКТ) этносов Южной Азии. Здесь для брахманической традиции важны и “хозяйство”, и “культура”, а осознание ландшафтно-климатической обусловленности экономической деятельности разных этносов надо назвать в числе удивительных для своего времени и своей среды прозрений брахманской теории и практики. Эта обусловленность принималась брахманами-идеологами кастовой организации как “богоданная доля, судьба”. Так, ХКТ кочевых и полукочевых скотоводов оказывался соответствующим кшатрийскому “жизненному предназначению”. Со времен ариев скотоводство считается наиболее почтенным и престижным из доступных небрахманам занятий и сообщает практикующим его *джати* очень высокий социальный статус. Подвижность, воинские умения и некоторая агрессивность в отстаивании своих интересов, а также способность налаживать административное управление на завоеванных территориях по каналам родственных связей – черты, характерные для ХКТ кочевых скотоводов, – позволяли им легко стать «воинами и правителями» в самых разных частях Индии даже еще в XVIII в. Самый распространенный в Индии ХКТ оседлых пашенных земледельцев жаркого пояса придает практикующим его этносам невысокий статус *шудра*: в индуизме земледелие рассматривается как ритуально нечистое занятие, несовместимое с ненасилием *ахимса*. Это представление связано с учением о *сансаре* и философией биосоциального континуума одушевленных *джати*. Многие лесные племена охотников, собирателей и рыболовов тропического пояса в составе кастового общества сохранили свой традиционный образ жизни практически в неизменной форме до настоящего времени и входят в низшие слои *шудр* – среди них многочисленны касты собирателей даров леса, корзинщиков, сборщиков кокосов и т.д. *Вайшья* фактически стали посредниками в движении продукта труда от работников из четвертой варны к тем, кто стоит выше, не хочет общаться с местным населением, но нуждается в товарах и услугах, произведенных *шудрами*; это своеобразный буферный слой между жреческой и властной элитами общества и производителями материальных благ. Высшая варна брахманов объединила те *джати*, для которых «врожденным» является запрет на физический «труд ру-

ками». «Неприкасаемые», напротив, занимаются только самым тяжелым трудом. Таким образом варны стали статусными категориями; варновый статус определяется способом жизнеобеспечения. Степень «культурности» и ритуальной чистоты «врожденного» занятия джати становится главным маркером ее социального статуса – неслучайно многие джати называются по своей профессии.

Пожалуй, наиболее выразительный пример санскритизации скотоводов-кочевников представляют собой раджпуты. В этом случае мы наблюдаем типичную, если воспользоваться термином Н.Н. Крадина, «ксенократическую» власть номадов (Крадин 2007: 27–28). Индийская специфика этой ксенократии очевидна.

Раджпуты (*раджпута джати*) – этнокастовая общность, имеющая иноземные этнические корни. В кастовой иерархии они кшатрии, воины и правители, защитники брахманов и индуизма. Влияние раджпутов на политическую и общественную ситуацию в стране было особенно велико в VII–XVIII вв., когда в их руках были сосредоточены властно-административные и воинские функции в большинстве государств Северной Индии. В Северной Индии сегодня составляют до 15% населения, в Раджастане 21%. На юге и востоке раджпутов практически нет: они сосредоточились в ландшафтно-климатических условиях тех западных районов, которые резко отличаются от соседних Хиндустана, основой жизни которого является пахотное земледелие, и от влажных западных приморских районов Юга, где тысячелетиями выращиваются рис и драгоценные пряности. Раджастан, половину территории которого занимает пустыня Тар, и соседние области примыкают к ареалу засушливого климата и неустойчивого земледелия пустынь и полупустынь Синда и Юго-Западной Азии (север бассейна Аравийского моря). Предки раджпутов, скотоводы-кочевники засушливых степей и полупустынь, пришли в Индию как завоеватели и переселенцы и остановились в своем продвижении на восточной границе родного для себя экологического ареала, отвоевав эти территории у доарийских этносов: *бхилов, мина, сахария, гондов* и т. д. Традиционная культура жизнеобеспечения раджпутов имеет такие особенности, которые не соответствуют высоким кастовым стандартам и говорят о том, что их кочевые предки, пришедшие в Индию с эфталитской волной, не знали лесов, гончарного дела и земледелия. Но они хорошо знали культуру коневодства, что

для Индии огромная редкость, и, как считали английские колониальные этнологи, были «скифами» и огнепоклонниками (Тод 1978; Smith 1920: 137). Воинский образ жизни был для них так же естествен, как для других кочевых племен Центральной и Передней Азии. Он оказался хорошо соответствующим кастовому предназначению кшатриев – воинов и правителей. Появившись в орбите кастового строя, кочевники подпали под влияние брахманизма-индуизма и идеологический контроль брахманов. Они сумели вписаться со своим хозяйственно-культурным типом и умениями и в экологическую, и в социальную ниши Северной Индии, что обусловило их успешность и процветание. По всем правилам кочевнической экономики раджпуты наладили в Индии взаимодействие со своими оседлыми соседями-земледельцами, лесными племенами охотников и собирателей и даже джайнскими общинами торговцев и бухгалтеров.

Как многочисленные успешные завоеватели, они вошли в состав кастовых общин в качестве защитников мирных земледельцев (получив за это землю и став землевладельцами), были санскритизированы в VI–VIII вв н.э. и с тех пор считаются полноправными наследниками кшатриев, воинами и землевладельцами-правителями.

Раджпутская этнокастовая общность структурируется по модели кочевнической социальной организации, в которой основными элементами являются генеалогические линии *вамша* (Солнечная, Лунная, Огненная, Змеиная), ветви *шакха*, экзогамные патрилинейные кланы *кула*, линиджи и т.д. Иерархия *кул* важна для гипергамии, которая делала границу раджпутской общности открытой снизу. Это привело к включению многих соседствующих джати в раджпутскую общность и создавало однородную культурную среду в раджпутском окружении. Традиционные социальные связи в раджпутской общности чрезвычайно сильны. Они определяют не только родственные эмоциональные контакты, но системообразующие экономические, ритуальные, а в прошлом и военные, взаимные обязанности раджпутских групп друг перед другом. Имущество клана не делится; оно, по обычаям раджпутов, должно только прирастать. Самым значительным предприятием клана испокон веку считалось завоевание земли. Земледелие как таковое является для раджпутов табу; в стремлении к расширению территорий отражалась характерная для кочевых сообществ черта:

необходимость подчинения общин с иными ХКТ, на земле которых они налаживают управление по своим родственным связям. Достижению этой цели способствовал закон первородства (майорат); в раджпутской родственной организации и сегодня есть категория *чхота бхаи* («младшие братья»), потомки младших ветвей княжеских домов, наиболее скромно живущая часть раджпутского общества. Само название *раджпут* (букв. «сын раджи») связано с потестарными традициями: клан назывался раджпутским в том случае, когда сумел основать правящую династию, пусть даже в одной деревенской общине.

Раджпутское княжество считается образцом соответствующего дхарме способа организации государственной власти и управления; по своей сути оно – эффективная машина управления на завоеванной территории, населенной нераджпутами. Раджпуты сели на всех этажах государственного управления: высшие члены клана контролировали ситуацию на общегосударственном уровне, низшие члены правящего клана и вассальные землевладельцы «доходили» до каждого подданного этого государства, будучи вписанными в общину как ее защитники. В индийском традиционном обществе место для раджпутов как «воинов и правителей» было буквально зарезервировано. Власть персонифицируется в лице первородного главы старшей ветви правящего клана, происходящего от основателя династии. Концепция коллективной власти клана *бхаибандх* (букв. «узы братства») провозглашала принцип равенства членов клана в отношении к земле и власти. Считалось, что каждый раджпут должен иметь для своего пропитания хотя бы *чурса* – участок земли «размером со шкуру». В правящем клане Марвара, например, где практически вся земля была приобретена прямым захватом, т.к. в пустыне земледельческое население сосредоточено в немногочисленных оазисах, особенно заметно было пользование территорией не только на равных основаниях, но и в равных долях. Раджа считался первым среди равных; он был обязан обеспечить гарантированное соблюдение интересов правящего клана в целом и каждого отдельного человека в нем. Способы контролировать раджпу и минимизировать его власть были многочисленны и изобретательны. Когда раджпуты получили надстройку над своими государствами в виде Могольской империи, процессы разрушения патриархальных отношений ускорились.

Однако раджпутский способ забирать уже собранные общинными руководителями налоги, не вмешиваясь во внутренние дела населения, оказался столь эффективен, что моголы (которые и сами были кочевой ордой) заимствовали опыт раджпутов для системы управления Могольской империи. Характерная для могольской системы *мансабдари* практика пожалования государственным чиновникам, обладателям чина *мансаб*, земельных наделов *джагир* в обмен на службу падишаху со своим военным отрядом копирует систему внутрикланового распределения земельной собственности. Изменился лишь состав правящей группы – получить *мансаб* и соответствующий ему *джагир* могли не только раджпуты правящего клана. Особенности раджпутской государственности в ее «надстроечном» над кастовыми общинами характере хорошо прочитываются по историческим источникам.

Став кшатриями, раджпуты создали удивительную философию и практику воинского служения, которые основаны на кодексе чести *раджпутти* и представлениях о жизненном предназначении кшатрия. В этой философии жизни заметное место отводилось поддержанию чести клана, апофеозом которого были самоожжение вдов *сати*, жертвенное самоожжение женщин и детей клана в условиях военной опасности *джаухар*, жертвенная битва *шака*. Существовал инфантицид девочек. Подробнее о раджпутах см. (Успенская 2000). Вплоть до XX в. раджпутская общность регулярно пополнялась корпоративными группами, связанными с военным делом и властью, выходцами из разных местных этносов.

В самой Индии те воинственные племена, которые не завоевали счастья обладать благодатными землями, долгое время вели полукочевой образ жизни пастухов и лесных охотников в малопригодных для земледелия засушливых горных районах Декана. Английские колонизаторы называли их «не склонные к сотрудничеству элементы», «криминальные» или «мародерствующие» племена. Некоторые представители этой категории сумели, однако, подняться на уровень кшатриев. Процесс социализации начался только в середине XIV в., когда они вышли с Деканского плато в соседние непривычные ландшафты и стали занимать новые для себя социальные ниши. Этому способствовало укрепление власти появившихся мусульманских правителей и угасание старинных земледельческих

династий Юга. И те и другие нуждались в наемных армиях; здесь и пригодились воинские навыки мобильных горных пастухов. Военные отряды и следующие за ними колонисты-земледельцы начали наводнять обжитые земли благополучных южных царств. К началу XVII в. наемные феодалы-воины установили собственные территории власти (так называемые *полигары*) и обрели кшатрийский титул *наяк*. *Каллар*, ныне вполне уважаемая тамильская земледельческая и землевладельческая кастовая общность, имеющая в своем составе городских адвокатов, врачей, инженеров, чиновников, является примером поздней санскритизации горных пастухов по типу кшатриев. В последней четверти XVII в. несколько линиджей калларов оказались в роли правящей верхушки небольшого княжества Пудуккоттей в Тамилнаде. Хотя *каллары* характеризовались своими соседями как дикие разбойники (*каллар* на тамильском означает «воры»), а позднее были включены англичанами в число криминальных племен и попадали под действие специального репрессивного закона, в Пудукоттей они создали династию раджей и, соответственно, династический клан Тондейман. Они пользовались значительным авторитетом в регионе и остались в истории как достойные кшатрии, которые провозгласили политику наведения в государстве «контроля и порядка» и успешно ее проводили, сформулировали для себя кшатрийский кодекс чести *камтунату*, которого строго придерживались, и в целом культивировали в своей среде множество черт высокосанскритизированной власти (Успенская 2010: 381–400). Движение к оседлости и земледелию дало здесь не столько социальный прогресс, как его понимает эволюционная теория, сколько место в иерархии варн, со всеми вытекающими из положения в варнах социальными привилегиями и обязанностями. По мысли брахманских идеологов, кшатрия нельзя было «выгнать» и заместить разбогатевшим шудрой. Поэтому пусть шудра остается земледельцем и работает на чужой земле. Если у шудр почему-то много земли в руках – например, родственные кланы сохранили компактно расположенные старинные владения, – они не могут править на ней сами, их лидеры пусть пригласят кшатрия-воина, скотовода без земли, какой уж есть в данное время и в данной местности: вчерашний разбойник, пастух без стад, пришлый вооруженный отряд, а все вместе пусть поселят, кормят и защищают брахманов – для освящения своего участка «территории дхармы».

ЛИТЕРАТУРА

- Крадин Н.Н. 2007. *Кочевники Евразии*. Алматы: Дайк-Пресс.
- Успенская Е.Н. 2000. *Раджпуты. Традиционное общество, государственность, культура*. СПб.: МАЭ РАН.
- Успенская Е.Н. 2009. К вопросу о природе индийской касты. *Журнал социологии и социальной антропологии*. № 3: 150–171.
- Успенская Е.Н. 2010. *Антропология индийской касты*. СПб.: Наука.
- Smith V.A. 1920. *The Oxford history of India. From the earliest times to the end of 1911*. Oxford: Oxford University Press.
- Tod J. 1978. *Annals and Antiquities of Rajast'han, or, the Central and Western Rajpoot States of India*. 2 Vols. New Delhi: M.N. Publishers.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

- к.и.н., доц. *Беляев Дмитрий Дмитриевич*, Российский государственный гуманитарный университет, Москва
- д.и.н., проф. *Бондаренко Дмитрий Михайлович*, Институт Африки РАН, Москва
- д.и.н., проф. *Бочаров Виктор Владимирович*, Санкт-Петербургский государственный университет
- к.и.н., доц. *С. А. Васютин Сергей Александрович*, Кемеровский государственный университет
- к.и.н., доц. *Вдовченко Евгений Викторович*, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
- чл.-корр. РАН *Головнев Андрей Владимирович*, Институт истории и археологии УрО РАН, Уральский федеральный университет, Екатеринбург
- д.ф.н., проф. *Гринин Леонид Ефимович*, Волгоградский центр социальных исследований
- д.и.н., проф. *Дашковский Петр Константинович*, Алтайский государственный университет, Барнаул
- проф. *Дерлугьян Георгий Матвеевич*, Северо-Западный университет, г. Чикаго
- проф. *Карнейро Роберт*, Американский музей естественной истории, Нью-Йорк, США
- проф. *Классен Хенри Дж.М.*, Лейденский университет, Голландия
- д.и.н., проф. *Кортаев Андрей Витальевич*, Российский государственный гуманитарный университет, Москва
- чл.-корр. РАН *Крадин Николай Николаевич*, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
- д.и.н., проф. *Кривошеев Юрий Владимирович*, Санкт-Петербургский государственный университет
- д.и.н., проф. *Кузнецов Анатолий Михайлович*, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
- к.и.н. *Латушко Юрий Викторович*, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Дальневосточный федеральный университет
- к.и.н., доц. *Лыньша Валерий Алексеевич*, Дальневосточный федеральный университет, Уссурийск

Мейкшан Илья Александрович, Алтайский государственный университет, Барнаул
к.ф.-м.н., д.и.н., проф. *Нефедов Сергей Александрович*, Институт истории и археологии УрО РАН
д.и.н., проф. *Попов Владимир Александрович*, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург
д.ф.н., проф. *Розов Николай Сергеевич*, Новосибирский государственный университет
к.и.н. *Савченко Анатолий Евгеньевич*, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток
проф. *Скальник Петр*, Университет Градец Кралове, Чехия
д.и.н., проф. *Скрынникова Татьяна Дмитриевна*, Институт восточный рукописей РАН, Санкт-Петербург
к.и.н., доц. *Соколов Роман Александрович*, Санкт-Петербургский государственный университет
д.и.н., проф. *Тишкин Алексей Алексеевич*, Алтайский государственный университет, Барнаул
к.и.н. *Торланбаева Кенже*, Институт востоковедения КазАН, Алматы
проф. *Турчин Петр Валентинович*, университет Коннектикута, США
чл.-корр. РАН *Уваров Павел Юрьевич*, Институт всеобщей истории РАН
д.и.н. *Успенская Елена Николаевна*, Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Беляев Д.Д.</i> Еще раз к вопросу о социально-политической организации ольмекской археологической культуры.....	3
<i>Бондаренко Д.М.</i> Государство и идеология родства.....	30
<i>Бочаров В.В.</i> Власть: мужчина и женщина.....	42
<i>Васютин С.А.</i> Тюркские и Уйгурский каганаты: два пути политического развития.....	61
<i>Вдовченков Е.В.</i> Катафрактарии и сарматский социум: постановка проблемы.....	71
<i>Головнёв А.В.</i> Нордизм и ордизм в Северной Евразии.....	82
<i>Гринин Л.Е., Кортаев А.В.</i> Вождества и их аналоги: к типологии среднесложных обществ.....	92
<i>Дашковский П.К., Мейкшан И.А.</i> Некоторые особенности развития элиты в кочевых обществах Южной Сибири и Центральной Азии в древности и средневековье.....	124
<i>Дерлугьян Г.</i> Исламский не-фактор на Северном Кавказе.....	137
<i>Карнейро Р.</i> Теория ограничения: разъяснение, расширение и новая формулировка.....	162
<i>Классен Х.Дж.М.</i> Теория раннего государства сегодня.....	190
<i>Крадин Н.Н.</i> Современные тенденции политической антропологии.....	219
<i>Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А.</i> Феномен Александра Невского в исторической и современной идеологии власти и общественном сознании.....	242
<i>Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А.</i> Татаро-монголы в фильме С.М. Эйзенштейна «Александр Невский»: идеологические и политические парадигмы советской предвоенной культуры и науки.....	256
<i>Кузнецов А.М.</i> «Человек политический» между политической антропологией и антропологией политики.....	266
<i>Латушко Ю.В.</i> Было ли гавайское государство государством?.....	276
<i>Лыниша В.А.</i> Ранний К.А. Виттфогель о роли естественного фактора в истории.....	290
<i>Нефедов С.А.</i> Формирование кочевого общества: факторный анализ.....	317

<i>Попов В.А.</i> Социально-коммуникативные сети как фактор вторичного политогенеза в доколониальной Тропической Африке.....	326
<i>Розов Н.С.</i> Философско-антропологические основания политико-правовой регуляции будущего миропорядка.....	335
<i>Савченко А.Е.</i> Эффективность государства в России в середине 1950-х–2000-х гг.: фактор «нефтяного проклятия».....	356
<i>Скальник П.</i> Концепция раннего государства в антропологической теории.....	365
<i>Скрынникова Т.Д.</i> Древнетюркские корни правлящей элиты Монгольской империи.....	387
<i>Тишкин А.А.</i> Современная сакрализация археологических памятников в Центральной Азии.....	398
<i>Торланбаева К.У.</i> К вопросу о племенном правлении у тюрков.....	408
<i>Turchin P. (Турчин П.)</i> Social Tipping Points and Trend Reversals: a Historical Approach [Социальные точки возврата и обратные тренды: исторический подход].....	417
<i>Уваров П.Ю.</i> Было ли евразийское средневековье? Размышления по поводу «средневекового» тома «Всемирной истории».....	435
<i>Успенская Е.Н.</i> От традиционных скотоводов к кшатриям, или хозяйственно-культурный тип как основа индийского кастового статуса.....	450
Сведения об авторах.....	460

Научное издание

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ**

Материалы международной конференции

В авторской редакции
Технический редактор *А.А. Лядичева*
Компьютерная верстка *Е.А. Прудкогляд*
Дизайн обложки *С.В. Филатов*

Подписано в печать 05.04.2012
Формат 60×84 / 16. Усл. печ. л. 26,97. Уч.-изд. л. 28,04.
Тираж 300 экз. Заказ

Издательский дом Дальневосточного федерального университета
690950, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Отпечатано в типографии Издательского дома ДВФУ
690990, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 10